

Валерий Есенков



ИОАНН ГРОЗНЫЙ

Царь Московский

Валерий Есенков

**Иоанн царь московский Грозный**

«Автор»

**Есенков В. Н.**

Иоанн царь московский Грозный / В. Н. Есенков — «Автор»,

ISBN 5-88610-076-7

«Рождение Иоанна, вошедшего в наше историческое сознание под возвышающим, однако зловещим именем Грозного, предшествуют события необычайные, точно предопределяющие своим встревоженным духом необычайность его земной жизни, правления и недоброй судьбы в лишь отчасти разгаданных летописях, сказаниях и легендах самобытной русской истории, и злое семя этих необычайных явлений уходит в такое далекое прошлое, что события, едва ли верно осмысленные впоследствии, с течением времени не могут не стать роковыми...»

ISBN 5-88610-076-7

© Есенков В. Н.

© Автор

## Содержание

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Часть первая                      | 5   |
| Глава первая                      | 5   |
| Глава вторая                      | 13  |
| Глава третья                      | 25  |
| Глава четвертая                   | 35  |
| Глава пятая                       | 43  |
| Глава шестая                      | 54  |
| Глава седьмая                     | 68  |
| Глава восьмая                     | 78  |
| Глава девятая                     | 88  |
| Глава десятая                     | 97  |
| Глава десятая                     | 104 |
| Глава двенадцатая                 | 120 |
| Глава тринадцатая                 | 127 |
| Глава четырнадцатая               | 134 |
| Глава пятнадцатая                 | 142 |
| Глава шестнадцатая                | 151 |
| Глава семнадцатая                 | 157 |
| Глава восемнадцатая               | 163 |
| Глава девятнадцатая               | 171 |
| Глава двадцатая                   | 181 |
| Глава двадцать первая             | 185 |
| Глава двадцать вторая             | 195 |
| Глава двадцать третья             | 200 |
| Глава двадцать четвертая          | 207 |
| Глава двадцать пятая              | 219 |
| Глава двадцать шестая             | 229 |
| Глава двадцать седьмая            | 246 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 253 |

# **Валерий Есенков**

## **Иоанн царь московский Грозный**

### **Часть первая**

#### **Жребий**

#### **Глава первая**

### **Великий Князь Василий Иванович**

Рождение Иоанна, вошедшего в наше историческое сознание под возвышающим, однако зловещим именем Грозного, предшествуют события необычайные, точно предопределяющие своим встревоженным духом необычайность его земной жизни, правления и недоброй судьбы в лишь отчасти разгаданных летописях, сказаниях и легендах самобытной русской истории, и злое семя этих необычайных явлений уходит в такое далекое прошлое, что события, едва ли верно осмысленные впоследствии, с течением времени не могут не стать роковыми.

В Казани, принужденной силой оружия преклониться под окрепшую руку Москвы, верховную власть внезапно захватывает беспокойный Саип, незадачливый отпрыск всё ещё могущественных крымских Гиреев, остервенело ненавидящих миролюбивое русское племя. В один день и без того недружественная Казань становится враждебна Москве. Стремясь заручиться серьезной поддержкой, Саип-Гирей, размышлявший о великих завоеваниях, какими когда-то прославились его отдаленные, пролившие моря крови предки, отдается под власть турецкого султана Сулеймана Великого, перед мощью которого трепещут все государи Европы, и просит у него войск для решительной победы над московскими варварами, какими христиане неизбежно представляются правоверному мусульманину.

Весной 1524 года великий князь Василий Иванович объявляет поход на дерзостную Казань. Неторопливо, к началу лета собираются разношерстные рати. Вниз по Волге ладьями сплавляются полки под водительством татарского хана Шиг-Алея, перебежавшего на московскую службу, а с ним князь Иван Бельский да князь Михаил Горбатый-Кислый, передовой полк ведут Семен Курбский да Иван Ляцкий, артиллерией, или нарядом, как она именуется в те времена, ведает Михайло Захарьин, посредственный воевода, однако ближайший советник великого князя в военных делах, в походе государево око его. Следом за ними из Нижнего Новгорода, тоже ладьями, груженными хлебом и тяжелыми осадными пушками, должен спуститься князь Иван Палецкий. Посуху движутся походным порядком конные полки дворянского ополчения воеводы Хабара Симского. Заблаговременно распускается устрашающий слух, будто всего под московскими стягами ополчается на взбунтовавшуюся Казань не менее ста пятидесяти тысяч ратных людей, тогда как в действительности воинов, пушкарей и посошных прислужников не наберется и пятнадцати тысяч.

Только седьмого июля полки Шиг-Алея, Ивана Бельского и Михайлы Горбатого-Кислого высаживаются на берег и располагаются станом у Гостиного острова, на виду у татар. Благодетельный слух о бесчисленном воинстве приводит задиристого Саип-Гирея в смятение. Распавшийся сдуру завоеватель, не успевший возвеличить свое скромное имя хотя бы самой скудной, самой плевой победкой, трусливо спасается в Крым, оставив своим заместителем несчастного племянника Сафу-Гирея тринадцати лет и пригрозив неизвестно кому, что в скором времени воротится во главе несметного турецкого войска, которое выручит Казань из осады и навсегда покончит с проклятой Москвой.



Может показаться, что Казань, покинутая на произвол судьбы своим мечтательным предводителем, должна пасть после первого выстрела, а то и не дожидаясь его. Не тут-то было. Три недели Иван Бельский и Михайло Горбатов-Кислый проводят в полном бездействии, ожидая подхода конных полков, уместных в открытом бою, однако только что не излишних при взятии крепостей. Один татарский хан Шиг-Алей предпринимает, впрочем, не особенно притязательные попытки сломить сопротивление ещё не начавшейся сопротивляться Казани, для чего пишет Сафе-Гирею письмо, в котором предлагает по добру по здорову покинуть столицу и тем предотвратить обильное пролитие крови своих соплеменников, на что тринадцатилетний мальчишка заносчиво отвечает: «чья победа, того и царство: сразимся», и выводит в поле татарскую конницу. Сражения всё же не происходит. Татары остаются в бездействии, видимо, поджидая Саип-Гирея во главе полчищ союзников-турок, и лишь изредка беспокоят московский стан безуспешными, вялыми нападениями.

Внезапно в Казани вспыхивает пожар. Одна из деревянных стен выгорает чуть не до самого основания. Тем не менее ни Бельскому, ни Горбатову-Кислому и в голову не приходит, пользуясь этой свалившейся с неба удачей, захватить приступом пришедший в смятение город. Московские полки не производят даже видимости попытки покинуть свой стан и хладнокровно наблюдают за тем, как татары у них на глазах спешно, но энергично возводят новую стену.

Лишь двадцать восьмого июля, когда новая стена была благополучно возведена, Иван Бельский решает перенести свой стан на луговую сторону Волги к речке Казанке, ближе к тому месту, где прохладается Сафа-Гирей с конными татарами и пешими черемисами, однако по-прежнему не приступает к осаде, не командует приступ, отговариваясь тем, что ожидает подмоги, которая точно застряла в пути.

Между тем черемисы всюду перенимают дороги и опустошают окрестности, лишая пришельцев возможности пополнить запаса продовольствия и кормов. В стане Бельского, таким простым способом заключенным в осаду, начинается голод. Среди воинов, разомлевших от праздности, распространяется возмутительный слух, что конница Хабар Симского полностью уничтожена соединенными силами татар, черемис и чуваш и что ладьи Ивана Палецкого перехвачены черемисами. Воеводы теряют головы, воинов охватывает панический страх. Всем очевидно, что надоть бежать, но куда? Подниматься вверх на ладьях или идти сухим путем на Свиягу представляется слишком опасным. Решаются сплавиться вниз, где-нибудь возле Переволки бросить ладьи и кружным путем добраться до спасительной Вятки.

Стан свернуть всё же не успевают. Одному из гонцов удается проскочить между неприятельскими заслонами. Гонец доставляет радостное известие, что лишь передовой отряд был разбит, но затем на берегу Свияги удачливый Хабар Симский одержал полную победу над соединенными силами татар, черемис и чуваш, взял полон и трофеи, а многие супротивники во время бегства утопили в реке.

В самом деле, спустя несколько дней подходит конница Хабар Симского, за ней следом подплывают ладьи Ивана Палецкого, правда, лишь разрозненные остатки обильного каравана, остальные погибли в завалах из камней и деревьев, устроенных черемисами в узких протоках между многими островами, стесняющими течение Волги.

Воеводы, воспрявшие духом, пятнадцатого августа все-таки приступают к осаде. По местам расставляют тяжелые пушки и начинают обстрел, татары исправно отвечают со стен, однако в первый же день они теряют главного своего пушкаря и прекращают огонь. Из Казани выносят дары, просят пощады и дают клятву тотчас направить в Москву представительное посольство бить челом великому князю, чтобы вновь принял Казань под свою пресветлую руку.

Наемный литовцы и немцы, приданные на подмогу Бельскому и Горбатову-Кислому, по-солдатски грубо требуют приступа, справедливо указывая на слабость обороны Казани, впрочем, не из жадности благородной победы, а из подлой жадности ограбить зажиточный город. Московские воеводы уже исчерпали свой воинственный пыл. Они ссылаются на голод и начавши-

еся болезни, а потому считают приступ невозможным и поспешно снимают всего лишь вчера начавшуюся осаду. Возвращение полков к родным печам и лежанкам превращается в крошечное бедствие, более похожее на наказание свыше. Около половины ратных и посошных людей, так и не вступивших в героическую схватку с вековым врагом, погибает в пути от Болезней и голода. Наэлектризованная сообщением о бесславных потерях молва обвиняет Ивана Бельского в том, что его подкупили казанцы. Великий князь Василий Иванович сгоряча решает наказать малодушного воеводу строгой опалой, да об воеводе, подвигнутый стародавним обычаем, печалует митрополит Даниил, то есть испрашивает помилование ради Христа, и великому князю приходится сделать вид, что дурного под Казанью ничего не случилось.

Ивана Бельского, может быть, выручает также и то, что из напуганной, хоть и не взятой Казани в самом деле прибывает посольство. Татары униженно молят московского великого князя утвердить в достоинстве казанского царя строптивого мальчишку Сафу-Гирея, клянясь, в обмен за великую милость, состоять в вечной дружбе с Москвой.

Русские люди исстари не верят клятвам татар, живущих обманом и грабежом, а потому великий князь Василий Иванович требует от послов какого-нибудь весомого, вещественного залога верности коленопреклоненных просителей. Натурально, никакого вещественного залога у них не находится, послы прибыли в Москву с пустыми руками, с одним лукавством в от века коварной татарской душе.

Все-таки для продолжения переговоров на тему залога великий князь Василий Иванович назначает в Казань князя Пенкова, а тем временем ищет верный способ иными средствами покончить с осточертевшей Казанью, коли не удастся доконать её вооруженной, всё ещё слишком слабой рукой. Надо отдать ему должное, московскому великому князю приходит на ум поступить с татарами так, как испокон веку поступают русские витязи удельных времен во времена кровавых междоусобий: он повелевает прервать торговые сношения с Казанью, а чтобы беспощадная мера заодно не угробила и московской торговли, завести свою ярмарку выше по волге, в противовес многолюдному казанскому торгу.

Ярмарку закладывают на месте уединенного монастырька, когда-то основанного святым Макарием Унженским, затем ограбленного и разрушенного бессовестными казанцами, ещё при московском великом князе Василии Темном. Место избирается неосмотрительно, наспех. Оно давно запустело, население, когда-то прибывшее к монастырьку, вскоре после набега переселилось в иные края, не желая торговать и возделывать землю под постоянной угрозой разорения и жестокого татарского плена. К тому же новая торговая площадь непривычна, неторна, тогда как торговля предпочитает старинные, обжитые пути. Московские, тем более иноземные торговые люди посещают Макария неохотно, торговля хоть и ведется возле бывшего монастырька, но ведется необильно, точно сквозь силу, её оборот разорительно, смехотворно ничтожен.

Как всегда, от крутых торговых запретов убытки несут обе стороны, такого хода событий никогда нельзя избежать. В Москве тотчас возвышаются цены на все предметы восточной торговли, ощущается острая нехватка в соленой рыбе, в икре, которые из Каспийского моря поступают через Казань. Татары остаются без соли, поступающей к ним с обильных промыслов Галича и Соли Камской, армянские, персидские, астраханские торговые люди не получают русских бесценных мехов, казанская казна лишается пошлин, которыми не только сытно живут, но и богатеют как на дрожжах все торговые города.

Оскудение регулярной торговли оказывается страшнее пушечных залпов. Казань становится покладистой и смиренной. Переговоры князя Пенкова проходят успешно. Москва может в течение нескольких лет дышать спокойно и не опасаться бандитских набегов со своих восточных украин. На какое-то время замиренны и западные украинны, с неугомонной Литвой подписано перемирие, имеются некоторые основания думать, что перемирие будет продлено ещё на несколько лет. Наступает момент, крайне редкий в залитой кровью чужеземных наше-

ствий русской истории, когда московский правитель получает возможность оглядеться и позаняться разрешением тех внутренних неурядиц, которыми заняться необходимость приспела давно и которыми никак не давали заняться беспокойные, чересчур падкие на захваты чужих территорий соседи.

В общем, великий князь Василий Иванович может быть вполне доволен своим продолжительным, мирным правлением, если сравнивать его с бурным правлением его отца и с ещё более бурным правлением его сына, который пока что не появился на свет. Правда, он не принадлежит к числу тех немногих государственных гениев, которых обуревают великие замыслы, которым внезапно пробудившаяся судьба повелевает бросать человечеству новые идеи, взбуждающая мерно колышущееся море людское, выводить на новые пути свой закоснелый народ и тем пропахивать глубокие борозды на каменистой почве всемирной истории.

Великий князь Василий Иванович не преобразователь, не зачинатель, не родоначальник новой эпохи, но он и не слабый, бесхребетный, безвольный правитель, выпускающий из своих слабых рук накопленное достояние предков, разоряющий подданных, навлекающий на хиреющую державу беду и позор, подчас долго несмываемый в недоброй памяти поделом неблагодарных потомков. Вовсе нет, он рачительный, дельный, ревностный продолжатель, даровитый и умный завершитель трудного дела более сильных отцов. Он не только не утрачивает наследственной отчины, но и увеличивает, приумножает её, причем приумножает не жестокими битвами, не лютым кровопролитием, а единственно редким умением использовать благоприятные обстоятельства, подчас недвусмысленным нажимом своих дипломатов, подчас неисполненной, однако вполне реальной военной угрозой, а большей частью сообразительностью и ловкостью оборотистого хозяина, предприимчивого дельца, свойство, издавна отличавшее московских великих князей.

Без капли пролитой крови великий князь Василий Иванович приобщает к Московской Руси вольный торгово-ремесленный город Псков. Так же без капли пролитой крови присоединяет Рязань. Не успевают его осадные пушки клееными ядрами зажечь укрепленный дубовыми стенами град, как на его великодушие сдается когда-то отнятый литовскими захватчиками Смоленск. Непокорность псковских, рязанских, смоленских князей и бояр, склоняющихся ковать крамолу на московского великого князя, он смиряет не казнями, но бескровным, хоть и насильственным переселением на новые земли, где опальным князьям и боярам предоставляются новые, не менее доходные вотчины и никакими стеснениями не урезанные права.

В течение двадцати лет своего благоразумного, рачительного правления, тоже без пролития крови, тоже не прибегая ко многим опалам и казням, ему удается почти полностью отстранить многошумную боярскую Думу от важнейших государственных дел, до крайних пределов умалить её когда-то первостепенную роль и превратить её необходимые, неизбежные приговоры в пустую формальность, в дань старинным обычаям, которые уже устарели, но без которых, как ни досадно, всё ещё нельзя обойтись.

Он думает независимо от мнений своих наклонных к своеволию слух и поступает так, как находит полезным для себя лично и для своей отчины, какой, по его убеждению, остается великое княжество, а если подступает необходимость держать совет в особенно важных или запутанных обстоятельствах, он держит совет с двумя-тремя из самых доверенных, самых приближенных князей и бояр в своей спальне, подальше от ушей заседающих в Думе чрезмерно говорливых, но большей частью бестолковых так называемых первых лиц Московского великого княжества, да и тут чаще всего обходится и без них, приглашая к совету избранных дьяков, которых возвышает и низводит в ничтожество по своему бесконтрольному разумению.

Везде и во всем его полная воля, подручные князья и бояре безмолвно склоняются перед ним, не смея в чем бы то ни было ему возражать, не смея хоть в чем-нибудь сказать ему «встречи», все они, хоть через силу, кривясь и ворча, почитают государеву волю великого князя волей самого неоспоримого Бога, все величают его ключником и постельничим Божиим, все



как один, пусть не в душе, а единственно на словах, полагают, что всё, что делает государь, делает через него сам Господь, все лгут и льстят ему прямо в глаза, и если он возвращается из очередного похода разбитым, с большими потерями, подручные князья и бояре твердят, что великий князь воротился с блестящей победой.

Любого из них он может возвысить по своему усмотрению, унижить опалой, постричь в монахи, заточить в суровой монастырской тюрьме, отнять самую жизнь, не говоря уже об имуществе и земельных владениях, которыми они владеют по праву наследства. Мало того, что он так бесцеремонно поступает с любым и каждым из подручных князей и бояр, если им приходит в голову выступить против него, он с той же бесцеремонностью вмешивается в дела церкви, назначает и низводит митрополитов, даже для видимости не созывая освященный собор, который только и облечен правом, согласно церковным уставам, возводить кого-то из иерархов на митрополичий престол.

Так же неожиданно, по своему произволу он раздает свои милости, прощает вины. Он правит железной рукой, что, разумеется, не может не вызывать недовольство среди подручных князей и бояр, ещё помнящих привольное житье беспутных удельных времен, когда единственно сила была правом того, кто поднял меч, и кое-кто из самых родовитых из них, в первую голову Бельские, Шуйские, Мстиславские, Ростовские, Воротынские, пытаются перебежать на службу к соседям, в Литву или в Польшу, где паны и шляхта благоденствуют на своей полной воле, ни одного самостоятельного слова не позволяя вымолвить своим выборным королям, он за ними следит, уличает в крамоле, однако редко прибегает к тюрьме, тем более к смерти, а всего лишь требует от них нового крестного целования, что впредь из Московского великого княжества не побегут, и налагает на уличенных клятвопреступников значительный денежный штраф.

Он оставляет уделы своим братьям Семену, Андрею, Дмитрию, Юрию, однако запрещает им иметь детей до тех пор, пока у него самого не родится наследник, и держит их в том же суровом повиновении, как любого из подручных князей и бояр, зато безжалостно устраняет любого претендента на великокняжеский стол: его племянник Дмитрий погибает в тюрьме, в тюрьме кончает дни последний Шемячич, князь Василий Иванович, тюрьма становится последним приютом для мужа его сестры князя Холмского, тоже возможного соперника для него самого и в особенности для долгожданного сына, которому он хотел бы и прямо обязан передать власть и владения московского великого князя.

Отчего же подручные князья и бояре безропотно терпят его крутой нрав, его железный кулак, Отчего не возмущается Дума, которой по обычаю должно принадлежать первое слово в делах, отчего не сопротивляются, не плетут заговоров, не предпринимают ни явных, ни тайных попыток низложить его или даже убить?

Единственно оттого, что великий князь Василий Иванович в самом деле не гений, не преобразователь и зачинатель, не родоначальник новой эпохи, а всего лишь рачительный, дельный, ревностный продолжатель, в сущности, такой же заурядный правитель, как и они. В его не знающее перемен и потрясений правление гнев государев внезапно косит то одного, то другого из подручных князей и бояр, однако великий князь Василий Иванович ни делом, ни словом, ни побуждением, ни даже намеком или во сне не затрагивает вековых устоев, которые достались великому княжеству от таких любезных, всего лишь несколько десятилетий назад отступивших удельных времен и с которыми ни сам он, ни тем более подручные князья и бояре не желают и не могут расстаться, если хотят не только именоваться, но и действительно быть он великим князем, а они подручными боярами и князьями: он не посягает на местничество, он не посягает на самый принцип вотчинного землевладения, он оставляет каждому из подручных князей и бояр их боевые дружины, с которыми они как будто все вместе, однако каждый в отдельности, каждый сам по себе отправляются на войну.

Во всей тогдашней Европе невозможно отыскать другого такого удачливого, благоразумного и, по правде сказать, гуманного государя, и этот гуманный, благоразумный, удачливый государь не может не помнить, и с каждым годом сильней и сильней, что обязан передать свою сбереженную, приумноженную бескровными приобретениями и прирезками отчину, свою по существу уже абсолютную власть в надежные, в умелые руки, но кому же он их передаст? Он может передать свою отчину и свою власть только братьям, но его братья, как всем известно, малоспособны, ничтожны, недеятельны, им не по уму, не силам и собственные уделы, достанься любому из них верховная власть, им не смирить внутренне всё ещё не смирившихся князей и бояр, не отбиться от внешних врагов, которые только и ждут удобного случая, чтобы и с востока, и с юга, и с запада ворваться в Московскую Русь, вырвать из её единого целого Великий Новгород, Псков и Смоленск, а Москву превратить в смиренную данницу, вся история Русской земли научила и отца его и его самого, что этот порядок наследования, заведенный ещё воинственным Святославом, не может не повести к самым губительным следствиям, к распадению только что завоеванного единства, если не к полной утрате всего отцовского и приумноженного им достояния, то непременно к длительной смуте, к братоубийству, к бессмысленной кровавой резне, без которой никогда не обходится тщеславная, самолюбивая битва за власть.

И на его собственной совести тоже зияет то и дело отдающая болью гнойная рана. Дело в том, что Московская Русь слишком ещё молода и потому не имеет членораздельного закона о престолонаследии, как не имеет и многих других образующих государство законов, без которых не заводится устойчивого порядка, не складывается государства как определенной системы органов управления и распределения власти от самого верха до самого низа. Лишь одно правило более или менее обозначилось здесь в течение двух последних столетий: едва заслыша приближение смерти, отец по духовному завещанию передает отчину своим сыновьям, оговорив до последнего межевого столба все выгоды и размеры уделов, считаясь единственно с иерархией старшинства, и, как издревле повелось, вскоре после кончины отца сыновья ввергаются в братоубийственную резню, чтобы переделить уделы по-своему, не по очередности и праву рождения, а по праву и убедительной силе меча.

Несмотря на неисчислимые бедствия, которые приносит этот хоть и древний, однако в высшей степени неразумный порядок наследования в течение нескольких кровопролитных столетий Русской земле, этот порядок наследования благополучно доживает до конца пятнадцатого века и вступает в шестнадцатый век, так что Иоанн Васильевич Третий незадолго до смерти делит свою отчину между пятью сыновьями, хотя и оставляет своему любимцу Василию не равную долю с прочими четверьмя, но две трети своего достояния, в том числе и Москву.

Исторический опыт все-таки учит московских великих князей, что необходимо тем или иным способом покончить с этим погубительным, неразумным порядком наследования, и понемногу, исподволь обозначается новый порядок: передавать отчину в руки старшего сына, чтобы тем самым оберечь от разрушения самое ядро Московского великого княжества. Ещё великий князь Василий Васильевич, прозванный Темным, измышляет, казалось бы, верное средство, чтобы упрочить этот более благодетельный порядок наследования и ещё при жизни назначает старшего сына Ивана своим соправителем. Его сын поступает по примеру отца и так же при своей жизни назначает соправителем старшего сына от первой жены. Однако, к несчастью, старший сын умирает прежде отца, и тут выясняется, к немалому затруднению и великого князя и его подручных князей и бояр, что новый порядок наследования может быть так же несовершенен и погубителен, как несовершенен и погубителен древний порядок наследования по старшинству в большой семье великого князя, когда покойному наследовал не сын, а брат.

Затруднение объявилось именно в том, что от этого прежде отца умершего сына остался сын Дмитрий, которому в согласии с логикой нового порядка наследования должна в будущем перейти верховная власть московского великого князя. Так бы этому и суждено было быть, когда бы Иван Васильевич не вступил во второй брак и от второго брака не пошли сыновья,

после чего поневоле возник неразрешимый вопрос, кому передавать владения и власть и титул московского великого князя: старшему внуку от первого брака или старшему сыну от новой жены?

Понятия о законности, о правопорядке настолько ещё спутаны, смутны на необустроенной Русской земле, что оба решения представляются равно сомнительными, и проблема, как обыкновенно в подобном стечении обстоятельств, разрешается не законом, но случаем, всенепременным русским авось, то есть не разумом, не ясным пониманием пользы для всего государства, а действием человеческих пылких и оттого неразумных страстей.

Софья Палеолог, вторая жена Ивана Васильевича, теоретическая наследница выброшенных из стольного града Константинополя императоров Восточной Римской империи, по вполне понятным причинам затевает интригу в пользу своего сына Василия, тоже теоретического наследника тех же потерпевших поражений императоров, и разгневанный великий князь, ей муж, не желая, чтобы женщина вмешивалась в серьезные мужские дела, венчает на великокняжеский стол старшего внука, причем для упрочения этого малоубедительного решения наскоро фабрикует подходящий обряд и венчает по этому обряду старшего внука в успенском соборе, причем венчание совершает митрополит, та что сама православная церковь освящает гневливую волю великого князя, что по тем временам должно представляться сильнее и выше закона.

Казалось бы, этим политическим и церковным обрядом устанавливается новый порядок наследования и впредь Московское великое княжение станет передаваться только от старшего сына к старшему сыну. В действительности ничего нового не происходит, несмотря на благословение митрополита. В Московском великом княжестве между светской властью великого князя и духовной властью митрополита мало-помалу углубляется и расширяется глубокая трещина. Православная церковь, хотя ещё сохраняет авторитет и могучую власть над умами и душами верующих как вокруг трона, так и в стране, но уже не является последней инстанцией в разрешении многосложных и часто запутанных государственных дел. Великий князь обыкновенно поступает как ему вздумается, как почитает разумным и полезным для благополучного течения государственных дел, а митрополит всего лишь соглашается с ним.

Вот почему венчание старшего внука на великокняжеский стол, в унижение церкви, не оставляющей честолюбивой надежды возвыситься над светской властью, оказывается и очень непрочным и очень недолговечным. Софья Палеолог, хитроумная византийка, в конце концов возвращает себе расположение капризного мужа, после чего в затуманенных женским коварством глазах Ивана Васильевича права сына Василия становятся более весомыми, чем права внука Дмитрия и права Юрия, во втором браке старшего сына, так что внук Дмитрий ни с того ни с сего попадает в темницу, под неусыпную стражу, в железы, а между Юрием и Василием составляет уговор о старшинстве, в согласии с которым чадолюбивый отец жалует Василия, в обход Юрия, великим князем и самодержцем Московской Руси.

Таким образом, единодержавная воля московского великого князя, из каприза, из бабьих интриг, бесцеремонно, бесстыдно нарушает и стародавний обычай, и ею же предложенный порядок престолонаследия, и почтенную святость религиозных обрядов, при этом не вызвав ни возмущения церкви, ни тем более возмущения засмирненных подручных князей и бояр.

Вместо прочного, бесчувственного закона устанавливается вольная воля, горячо любимая предрасположенной к анархизму русской душой. После кончины великого князя его сыну Василию предоставляется на выбор: либо принять его завещание, сделанное в обход и старшего племянника и старшего брата, либо рискнуть и выпустить на свободу безвинно страдающего племянника, либо, для полноты справедливости, передать московское великое княжение Юрию, старшему брату, то есть предлагается поступить единственно так, как левая нога или чуткая совесть подскажет, однако, по слабости человеческой, он не делает ни того, ни другого: несчастный племянник так и оканчивает свои безвестные дни в глухом заточении, а старший брат Юрий решительно отстраняется от всех государственных дел. Такой выбор означает

только одно: великий князь Василий Иванович добросовестно исполняет предсмертную волю отца, однако перед своей совестью поступает бесчестно.

Он не ограничивается этим первым бесчестием, которое тем не менее приносит ощутимую пользу московскому великому княжеству, предотвратив междоусобие, разор и разброд, он всеми правдами и неправдами не позволяет своим кровным братьям жениться, чтобы его братья не имели наследников прежде, чем у него появится сын, и этим вполне естественным актом не принесли жестоких бедствий на Русь, надолго запомнившей бесчинства Шемяки. Наследник может быть только у него одного, таким необычным распоряжением пытается он разрубить сложный вопрос о престолонаследии, а вместе с ним и запутанную судьбу самой династической идеи на Русской земле, только вот наследника ему Господь не дает, не иначе как за грехи.

Скоро уже двадцать лет как он женат на Соломонии Юрьевне из довольно невзрачного рода сабуровых, по мнению многих, женщине добродетельной, благочестивой и скромной, и все эти долгие годы Соломония не имеет детей, то есть не дает государю и мужу наследника, продолжателя многотрудного дела московских великих князей отовсюду терзаемого великого княжества, причем все эти годы для всех остается неразрешимой загадкой, он ли бесплоден, она ли не способна зачать, поскольку оба люди безупречно нравственной жизни, так что ни жене, ни мужу и в голову не приходит поискать истины на стороне.

Между тем, мужчина представительной внешности, с миловидным лицом, с сердцем мягким, даже сентиментальным, что мало вяжется с основным настроением сурового времени и с его по необходимости жестким обращением с подручными боярами и князьями, нежный и верный супруг, великий князь Василий Иванович создан не только для рачительного правления, но и для тихого семейного счастья и не представляет себе семьи без детей, точно так же, как не может позволить себе ввергнуть дело правления в чужие, неизвестные, случайные руки, захватившие власть единственно по праву меча.

Люди такого душевного склада во все времена тяжело непоправимую бесплодность супруги или свое собственное бессилие дать новую жизнь, все-таки великий князь Василий Иванович все эти долгие годы строго таит свое личное горе, поскольку, обремененный многими трудами правления, не имеет права обнажать свое слабое место и, со всех сторон окруженный врагами, всегда должен представляться могучим и сильным.

Так, почти неприметно, в трудах и боях, в ожидании естественного чуда рождения, он приближается к пятидесяти годам, к тому преклонному возрасту, до которого в его воинственное, смертельно опасное время доживают лишь самые большие счастливицы. Какой срок отпущен ему для зачатия, какой срок отпущен ему на земле, ведомо, как свято он убежден, единственно Богу. Сам великий князь Василий Иванович может только предполагать, что срок остается слишком короткий, что медлить больше нельзя, что если даже ему повезет и у него родится наследник, наследника надобно вырастить, воспитать, приготовить к трудам и мукам правления, что, стало быть, с Соломонией необходимо расстаться и выбрать, на благо себе и княжению, другую жену.

## Глава вторая

### Развод

Мысль о разводе и другом браке является совершенно естественно, сама собой, поскольку эта мысль отвечает самым задушевным стремлениям великого князя, однако до чего же тяжела, до чего мрачна эта обыкновенная в его обстоятельствах мысль! Мало на его израненной совести незаживающих ран Мало ему кончины племянника, ничем, кроме факта рождения, не виноватого перед ним! Мало ему насильственного безбрачия родных братьев, которые тоже виновны перед ним только в том, что позднее, чем он, появились на свет! На этот раз он должен не только взять ещё один тяжкий грех на свою болящую, боязливую душу, но, в сущности говоря, он должен совершить преступление.

Всегда тягостно разрывать давние, привычные, в крепкий узел сплетенные счастьем и бедами связи, всегда жаль расставаться даже с нелюбимой, но ставшей с течением времени необходимой подругой, а великий князь Василий Иванович к тому же лишен какой-либо возможности пусть и самые обременительные, очевидно бесплодные узы супружества расторгнуть законным путем. Православная церковь строго-настрого запрещает развод, и приблизительно в то же самое время, на другом краю христианского мира, Генрих Тюдор, английский король, вынужден испрашивать соизволения римского папы, чтобы развестись со своей, тоже окончательно бесплодной, женой, и римский папа соизволения своего английскому королю не дает.

Запрет церкви для благочестивого человека непреодолим и сам по себе, а великий князь Василий Иванович принадлежит к числу старинных людей твердой, искренней, неукоснительной веры. Это неустанный молещик, основатель новых монастырей, строитель храмов в самой Москве и едва ли не во всех городах Московского княжества. Ему трудно, практически невозможно решиться нарушить святые уставы венчания. Вдобавок к этому он человек мягко-сердечный и совестливый, он не способен ни с того ни с сего обречь верную, добродетельную, добропорядочную супругу на горести, стыд и позор, которые грозят брошенной, разведенной жене.

Разумеется, великий князь Василий Иванович правитель десятка не робкого, он сам по своему вкусу поставляет митрополитов и вполне способен уладить любые формальности, если не с нынешним, если заартачится, местоблюстителем, тогда с тем, кого сам изберет. В его тягостном положении формальности развода, может быть, самое несложное, самое преодолимое из затруднений. Куда более сложное затруднение заключается в том, что при живой жене второй брак считается недействительным и дети от такого брака именуются выблядками, как в те времена официально выражаются охочие на язык русские люди, то есть лишаются права наследования.

Тут уж не формальность, тут вековый обычай, тут неизменный, неисправимый закон, и даже если великий князь Василий Иванович приищет приличный способ его обойти по кривой, на его наследника всё едино падет тяжелая тень сомнения в его птичьих правах на престол, а для ещё не успевших отжить и забыться порядков и нравов воинственных удельных времен более чем довольно и самой легкой тени сомнения, чтобы устранить выблядка вооруженной рукой, оттого каждый князь, каждый боярин с таким непреодолимым упорством и дорожит как своей родословной, так своей вооруженной дружиной и ни под каким видом не соглашается ей распустить, такого несчастья даже и представить себе не может никто, из чего прямо следует новая междоусобица и почти неизбежный распад московского великого княжества, собираемого такой кровью, такими трудами нескольких поколений московских великих князей и всё ещё не собранного, не упроченного, не укрепленного до конца.

Собственно, полностью этого затруднения не имеется никаких возможностей устранить, в силах и самого самодержавного из монархов лишь несколько посмягчить, поуменьшить неми-

нуемые последствия развода и нового брака, чтобы хотя бы отчасти ослабить те бедствия, которые всенепоколебимо обрушатся на ни в чем не повинную голову ожидаемого наследника.

К замысловатому делу смягчения непоправимых последствий развода и повторного брака великий князь Василий Иванович подступает с твердостью, но осторожно. Он заходит издалека и обращается к митрополиту с запросом, может ли признанный глава русского православия освятить словом Христовым необходимый развод и благословить второй брак, который должен быть заключен исключительно ради благополучия Московского великого княжества, а не прихоти ради, поскольку, все это знают, и князья и бояре и весь русский народ, в таком тонком деле, как производство наследника, слово церкви всегда остается решающим.

Митрополит Даниил поставлен великим князем своей волей и по своему усмотрению, без совета с освященным собором, следовательно, его судьба целиком и полностью определяется благорасположением или недовольством того, кто возвел его в высший сан. Но и без этой полной зависимости от воли правителя он готов помочь великому князю по своему твердому, громко провозглашенному убеждению. После кончины Иосифа Волоцкого митрополит Даниил, любимейший ученик и некоторое время преемник на месте игумена Иосифова Волоколамского монастыря, является вождем и вдохновителем любостяжательства, которое стоит за всемерное упрочение великокняжеской власти, за самое тесное переплетение интересов светской власти и церкви, за влияние церкви на светскую власть и за сохранение и приумножение церковного землевладения при помощи светской власти, другими словами разнообразная помощь великому князю в любых затруднениях прямо-таки вменяется в обязанность Даниилу самим Даниилом. Вдобавок, Даниил по натуре покладист, искателен, двуличен, вместо христианского аскетизма, который он усердно проповедует с кафедры, жизнь проводит в разврате роскоши, в разврате чревоугодия, так что на время богослужения принуждается наводить искусственную бледность на свой разжиревший, лоснящийся лик, тем самым греховно вводя прихожан в заблуждение. К тому же Даниил изворотлив, хитер и никогда не упускает ни выгод церкви, ни своих собственных выгод. Он вовсе не отвечает великому князю твердым отказом, помилуйте, всё земное в руце Христа, и в то же время не дает согласия на развод. Он замышляет с помощью великого князя поставить последнюю точку в разногласиях между московской митрополией и константинопольским патриархом. В течение столетий ни один московский митрополит не поставлялся без благословения, данного в столице Восточной Римской империи, что, с одной стороны, сплачивало византийское и московское православие в единое целое, направленное против ненавистного европейского католичества, а с другой стороны, ставило Москву в зависимость от второго Рим, и не в одних делах церкви, но и в делах государства, что, естественно, мало приходилось по вкусу набирающим силу московским правителям. Понятно, что с падением Константинополя и разрушением Восточной Римской империи стало естественным поставлять митрополитов прямо в Москве, не испрашивая благословения патриарха, оказавшегося, по сути дела, в турецком, то есть в мусульманском плену. Против нового порядка вещей выступили на Русской земле нестяжатели, суровые проповедники нравственной чистоты во всех без исключения решениях и предприятиях московского великого князя, в том числе и в вопросах о поставлении митрополита, и самым яростным противником церковной независимости Москвы оказался пришлый афонский инок Максим, по прозвищу Грек, которого митрополит Даниил считает не только идейным, но и своим личным врагом. Прикинувшись в этом деле невинным сторонником нестяжателей, митрополит Даниил за благословением на развод и второй брак советует обратиться именно в поверженный Константинополь, заранее зная, скорее всего, что оттуда никакого благословения не последует, в надежде с помощью этой зловредной интриги окончательно рассорить московского великого князя с константинопольским патриархом. В угождение своему государю он сам составляет личное послание к патриарху. Приблизительно в тех же выражениях составляет свое послание к патриарху и



великий князь Василий Иванович, для убедительности нагрузив своего письмоносца вполне вещественными и дорогими дарами.

Караван движется медленно, поскольку Московская Русь со всех сторон обложена переутомленным алчностью неприятелем, только что без красных флажков, как поступают во время охоты на волка. В общей сложности на путешествие в столицу бывшей Восточной Римской империи и обратно уходит около двух лет. Два года спустя письмоносец доставляет ответ патриарха. Патриарх очень любезен, рассыпается в благодарностях за вещественные дары, что и понятно в его довольно скудном турецком пленении, прибавляет похвалы мудрому правлению московского государя, о котором он за дальностью расстояния мало что путного знает, однако наотрез отказывается благословить его развод и второй брак, чего и ожидает от него Даниил.

После такого ответа митрополиту предоставляется великолепная возможность показать, кому действительно принадлежит духовная власть на Русской земле и кто истинный помощник московского великого князя в многотрудных, ответственных и чрезвычайно опасных перипетиях правления: московский митрополит или черте где находящийся константинопольский патриарх. Правда, и на этот раз он своего согласия не дает. Он вместо согласия красноречиво рассуждает о том, что его папское слово обретет всю свою полновесную значимость только тогда, когда будет оборвана последняя, уже и в самом деле призрачная связь между русской землей и поверженной Восточной Римской империей, и разъясняет несколько в этом случае наивному великому князю, что лишь после этого решительного и праведного в высшей степени шага он станет верховным и единственным руководителем русского православия. Для окончательного же упрочения его власти остается сделать немного: необходимо с корнем вырвать самую мысль о том, что московский митрополит должен поставляться константинопольским патриархом, а эта недостойная мысль умрет только тогда, когда будет устранен с его пути Максим Грек, в настоящее время находящийся под высоким покровительством великого князя. Великому князю тем самым предоставляется выбор: предать церковному суду Максима Грека, человека умнейшего, широко образованного, чистейшей нравственной жизни, близкого ему по убеждениям, либо окончательно отказаться от мысли зачать в новом браке наследника и хотя бы отчасти предотвратить неизбежную в будущем смуту на Русской земле, прямо-таки при перемене династии неотвратимую по обычаям и привычкам удельных времен. На политическом поприще личные пристрастия и симпатии редко принимаются во внимание, за двадцать лет своего довольно благополучного управления великий князь Василий Иванович поступался ими не раз, поступает и теперь и выдает Максима Грека головой Даниилу. Предлог для предательства, можно сказать, сам собой идет ему в руки: искренний, детски правдивый, как и подобает благочестивому иноку, Максим Грек высказывается категорически против развода и второго брака великого князя, какими бы государственными нуждами они ни оправдывались, поскольку, всем известно, браки заключаются на небесах и могут быть расторгнуты лишь небесами, то есть своевременной кончиной одного из супругов. И всё же его противодействие великому князю в этом важном, но по существу частном и светском вопросе действительно только удачный предлог. Максим Грек прямо-таки поперек горла стоит Даниилу своей горячей проповедью нестяжания и гневным осуждением любостяжательства. Призванный с Афона для перевода греческих богословских и богослужебных трудов и для исправления уже существующих переводов, в которые вкралось много ошибок, искажающих или затемняющих истинное слово Христа, он, едва обжившись в Москве, начинает к своему изумлению замечать, как далеко московские иноки отступили от заповеданной Христом бедности и простоты благочестивого жития. Последователь Джироламо Савонаролы, фанатик аскетизма, Максим Грек бесстрашно обрушивается на недостойное иноков пристрастие к мирскому, то есть греховному образу жизни. В одном из его поучений будто бы сам Господь отвечает епископу, изыска-

щему при встрече, с каким усердием он служит Ему, дивящемуся от души, чем же он прогневал Его:

– Вы наипаче прогневали меня, предлагая мне доброгласное пение и шум колоколов, и украшение икон, и благоухание мирры. Вы приносите мне всё это от несправедливой и богомерзкой лихвы, от хищения чужого имущества, ваши дары смешаны со слезами сирот, с кровью убогих. Я истреблю ваши дары огнем и отдам на расхищение скифам, как я сделал с иными. Пусть примером вам послужит внезапная гибель всеславного и всемогущего царства Греческого. И там всякий день приносилось мне благолепное пение, со светлосумящими колоколами и благоуханной миррой, совершались праздничные торжества, строились предивные храмы с целебными мощами апостолов и мучеников, и скрывались в храмах сокровища высокой мудрости и разума, и ничто это не принесло им пользы, потому что они возненавидели убогих, убивали сирот, не любили правого суда, за золото оправдывали обидящего, их священники получали свой сан через подкуп, а не по достоинству. Что мне в том, что вы меня пишете с золотым венцом на голове, когда я среди вас погибаю от голода и холода, тогда как вы сладко насыщаете себя и украшаете разными нарядами? Удовлетвори меня в том, в чем я скуден, я не прошу у тебя золотого венца, посещение и довольное пропитание убогих, сирот и вдовиц – вот мой кованный золотой венец. Не для доброшумных колоколов, песнопений и благоуханных мирр ходил я на землю, принял страдание и смерть. Моя вся поднебесная, я исполняю небо и землю всеми благами и благоуханиями, я отверзаю руку свою и насыщаю всякую тварь земную! Я оставил вам книгу спасительных заповедей, поучений и наставлений, чтобы вы знали, чем можете угодить мне, вы же украшаете книгу моих слов золотом и серебром, а силу написанных в ней повелений не принимаете и исполнять не хотите, но поступаете противно им. Я не приказал вам скрывать на земле сокровища и прилагать к ним сердца свои, а вы расхищаете, убогих нещадно, без сострадания обижаете, убиваете всяким способом мерзкого лихоимства, сами пируете с богачами, а бедным, стоящим у ваших ворот, изнемогающим от холода и голода, кидаете кусок гнилого хлеба. Я нарек сынами Божиими рачителей мира, а вы, как дикие звери, бросаетесь друг на друга с яростью и враждою! Священники мои, наставники нового Израиля! Вместо того, чтобы быть образцами честного жития, вы стали наставниками всякого бесчиния, соблазном для верных и неверных, объедаетесь, упиваетесь, друг другу досаждаете, во дни божественных праздников моих, вместо того чтобы вести себя трезво и благочинно, показываете другим пример, вы предаетесь пьянству и бесчинству. Моя вера и божественная слава делается предметом смеха у язычников, видящих ваши нравы и ваше житие, противное моим заповедям.

В другом его поучении, построенном как принципиальный спор двух взглядов на благоустройство церкви, любостяжатель оправдывает громадные богатства и земельные владения монастырей тем, что каждый инок в отдельности решительно ничем не владеет:

– Прекрати свое длинное суесловие. Мы не заслуживаем никакого осуждения за то, что приобретаем имения и владеем землями и селами. Ни у кого из нас нет ничего своего. И никому из нас не позволено ничего взять себе, но всё принадлежит монастырю. Поэтому мы справедливо называемся нестяжательными, ибо никто из нас не имеет ничего собственного, но всё у нас – общее всем.

Нестяжатель же, то есть сам Максим Грек, таким образом разоблачает этот очевидно своекорыстный софизм:

– Говоришь ты мне нечто смешное. Это нисколько не отличается от того, как если бы многие жили с одной блудницей и, в случае укоризны за это, каждый стал бы говорить: я вовсе не грешу, ибо она есть одинаково общее достояние всех. Или если бы кто вышел на разбой в шайке и произвел вместе с другими грабеж, а потом схваченный и под пыткой стал бы говорить: я совсем невиновен, я ничего не взял, всё награбленное осталось у других.

По мнению Максима Грека, монастырь не должен владеть никаким земным достоянием, тем более землями, которые обрабатываются чужими руками, но всем инокам следует упорно заниматься духовным своим устроением и учить других божественной истине, а жить трудами собственных рук или милостыней.

Вместо прямого, открытого возражения любостязательный Даниил привлекает Максима Грека к суду, однако и на суде поступает бесчестно. Зная, что великий князь Василий Иванович более привержен идее церковного нестяжания, митрополит вылавливает ошибки, которые Максим Грек допустил в своих переводах, не принимая, разумеется, во внимание, что большая часть их вызвана не злым умыслом, а всего лишь недостаточным знанием русского языка, обвиняет его в крамольных сношениях с наказанными опалой Иваном Берсенем-Беклемешевым и Федором Жареным, наконец в оскорблении великого князя, которого вождь нестяжателей будто бы именовал гонителем и мучителем, причем подбивает свидетелей клеветать на него, свидетели же, подготовленные митрополитом, дают показания, будто Максим Грек шпионит в пользу турецкого султана, входит в сношения с турецким послом, сносится с оттоманской империей грамотами и призывает турок на Русь.

Отвергнув все эти явно липовые, явно высосанные из пальца, несостоятельные обвинения, Максим Грек тем не менее признает, что действительно нередко беседовал наедине с Иваном Берсенем-Беклемешевым, который порицал влияние матушки Софьи Палеолог на великого князя Василия, скорбел, что великий князь не слушает ни от кого никакого совета, упрекал великого князя в том, что тот воюет со всеми, а свою землю держит в неустроении, жаловался, что великий князь отобрал у него двор в Москве. О себе же Максим Грек говорит:

– То, что у меня на сердце, о том я ни от кого не слыхал и ни с кем не говаривал, а только думал себе в сердце такую думу: идет государь в церковь, а за ним идут вдовы и плачут, а их бьют! Я молил Бога за государя и просил, чтобы Бог положил ему на сердце и показал над ним свою милость.

Тем не менее на основании ложных показаний и очевидных уловок митрополита освященный собор признает Максима Грека еретиком и государственным преступником. Его отлучают от церкви и отказывают ему в погребении по христианским обрядам, а как государственного преступника приговаривают к пожизненному тюремному заточению. Его помещают в Волоколамский монастырь, где он несколько лет проводит в железках, в холоде, в голоде, во тьме и в грязи, по его выражению, «мразы и дымы и глады уморен бых».

Этой безвинной жертвой купив благословение митрополита на развод и новый брак, великий князь Василий Иванович принимается переманивать на свою сторону подручных князей и бояр, с которыми прежде с давних пор не советуется, поскольку на этот раз приговор подручных князей и бояр также должен утвердить законность сомнительных прав предполагаемого наследника от второго, предосудительного по всем понятиям брака, поскольку при живой жене второй брак не может быть признан законным. Один такая попытка вызвать сострадание подручных князей и бояр попадает в псковскую летопись:

«Того же лета поеха князь велики, царь всея Роусии, в объездъ; бысть же шествовати емоу на колесницы позлащеннеи оружниицы с ним, яко же подобает царем; и возревше на небе и виде в гнездо птиче на древе, и сотвори плач и рыдание велико, в себе глаголющее: люте мне, кому оуподобюся аз; не оуподобихся ни ко птицам небесным, яко птицы небесныи плодовици суть, ни зверем земным, яко звери земнии плодовици суть, не оуподобихся аз никому же, ни водам, яко же воды сия плодовици суть, волны бо их утешающа и рыбы их глумящеся; и посмотри на землю и глаголя: Господи, не уподобихся аз ни земли сеи, яко и земля приносит плоды своя на всяко время, и Тя благословять, Господи...»

Верно, великий князь Василий Иванович и в самом деле находится в отчаянном положении, поскольку подобными причитаниями, едва ли не нарочно разыгранными представлениями с жалостными вздохами и пролитием слез довольно трудно вызвать сочувствие в черствых,

настроенных враждебно сердцах, тем более перетянуть на свою сторону рыцарей удельных времен в таком важнейшем для великого княжения деле, как развод и второй брак великого князя, тем более трудно переменить нравы и убеждения целого общества, а нравы и убеждения этого общества чрезвычайно суровы и строги: женитьба при живой жене не угодна Богу и потому невозможна. Тем более представлений этого рода слишком мало для подручных князей и бояр, которых так бесцеремонно, так обидно оттеснили от власти и которые уже прикидывают вперед, кто встанет над ними через год, через два, через несколько лет, законный государь, все-таки имеющий в их глазах кое-какое право повелевать, или выблядок, повиноваться которому для них, прирожденных князей, потомков и Мономаха, и Всеволода, и Михаила Тверского, и невозможно и унижительно. Даже покладистый, страдающий совестью митрополит Даниил, получивший в обмен на благоволение Максима Грека, не торопится своим пастырским словом покрыть этот безусловно непростительный грех.

Великий князь Василий Иванович возвращается в Москву около десятого сентября, всё ещё не подыскав веских оснований для расторжения бесплодного брака, и как будто внезапно ему на помощь приходит не кто-нибудь, а родной брат Соломонида, в этом смысле самый надежный свидетель, какого только можно представить себе. Тотчас заводится сыск. Брат Соломонида дает показания, либо продиктованные его нравственным долгом, поскольку речь идет о проступках по тем временам чрезвычайных, безусловно осуждаемых как нравами общества, так и установлениями церкви, либо клеветнические, исторгнутые предложением каких-либо выгод, и в том и в другом случае бесповоротно решающие земную судьбу Соломонида. Сыскное дело гласит:

«Лета 7034 ноября 23 дня, сказывал Иван: говорила мне великая княгиня: есть де жонка, Стефанидою зовут, резанка, а ныне на Москве, и ты её добуди, да ко мне пришли, и яз Стефаниды допытался да и к себе есми её во двор позвал, да послал есми её на двор к великой княгине с своею женкою с Настею, а та Стефанида и была у великие княгини, и сказывала мне Настя, что Стефанида воду наговаривала и смачивала ею великую княгиню, да и смотрела её на брюхе и сказывала, что у великие княгини детем не быти, а после того пришел яз к великой княгине и она мне сказала: посылал ты ко мне Стефаниду и она у меня смотрела, а сказала, что у меня детям не быти, а наговаривала мне воду Стефанида и смачиватися велела от того, чтобы князь великий меня любил, а наговаривала мне воду Стефанида в рукомойнике, а велела мне тою водою смачиватися, а коли понесут к великому князю сорочку и порты и чехол и она мне велела из рукомойника тою водою смочив руку, да схватывать сорочку и порты и чехол и иное какое платье белое, и мы хаживали есми к великой княгине по сроку по чехол и по иное по что по платью, и великая княгиня, разверну сорочку или чехол или иное что платье великого князя, да из этого рукомойника и смачивала то платье. Да Иван же сказывал: говорила господине мне великая княгиня: сказали мне черницу, что она дети знает (а сама безноса) и ты черницу добуди, и яз тое черницы посылал добывать Горяником зовут детина (а ныне от меня побежал), и он черницу привел ко мне на подворье, и та черница наговорила не помню масло, не помню мед пресной, да и посылала к великой княгине с Настею, и велела ей тем тертиса от того ж, чтоб её князь великий любил, да и детей едла, а опосле того и сам яз к великой княгине пришел и великая княгиня мне сказывала: приносила мне от черницы Настя, и яз тем терлася. К сей памяти яз Иван руку приложил...»

На обороте памяти приписано тем же писцом:

«Да Иван же говорил: а что ми господине говорити, того мне не испамятовати, сколько ко мне о тех делах женок и мужиков прихаживало...»

Широкая масса простого народа, укрытая непроходимыми дебрями да болотами от стеснительного надзора для неё и ныне и присно и во веки веков воровской власти, не находит предосудительным чародействовать ворожбой, наговорами и приворотными зельями, близкое её нехитрой душе наследие языческих предков, тогда как та же ворожба, наговоры да приво-

ротные зелья, явись они в хоромы боярыни, тем паче в хоромы великой княгини, сурово осуждается православием как одно из тяжчайших преступлений против Святого Духа, который без зелий и ворожбы знает отлично, что кому дать и что от кого отобрать.

Известие о чародействе и преступных наклонностях Соломонида в один день меняет отношение к ней. Митрополит Даниил готов без промедления благословить расторжение брака с той, которую церковь именует преступницей, еретицей, чуть ли не ведьмой. Великий князь Василий Иванович, тоже не мешкая, призывает подручных князей и бояр и «нача с плачем» им говорить:

– Кто будет моим и русского царства наследником? Братья ли, которые не умеют править и своими уделами?

Ближние бояре, его совет, слишком редко им созываемый, разумеется, хорошо понимают, куда клонят слезные речи великого князя, они поневоле, искреннее возмущенные попытками Соломонида приворожить к себе государя, уже целиком на его стороне. К тому же великий князь Василий Иванович хоть и тверд по отношению к ним, потачки никому из них не дает, но в то же время и милостив, никого не подвергает пыткам и казням, слишком распространенным по всей Европе в то свирепо-жестокое время, а если кого из них и подвергает опалам и высылкам, по заслугам или впадши в праведный гнев, то по прошествии недолгого времени возвращает опальных и вновь приближает к себе, чем в сердца многим поселяет рабскую преданность, даже любовь. По этой причине не может быть ничего удивительного, что ближние бояре дружно отвечают ему, впрочем, без слез:

– Государь, неплодную смоковницу посекают, иную сажают на место её в вертограде.

Правда, находятся также и те, тоже из доверенных, ближних, кто поднимает против такого решения вполне ясный обличительный голос, голос протеста. Серьезней, раскатистей прочих звучит протестующий голос пустынного инок Вассиана, в миру Патрикеева, сына литовского выходца князя Ивана, постриженного в монахи насильственно, за его упрямую приверженность к безвинно заточенному князю Дмитрию, серьезней, раскатистей особенно потому, что это голос суровой, но искренней, истинной веры, присущей всем без исключения нестяжателям, которые нравственный закон ставят превыше всего, тем более превыше своекорыстных, скользких и путаных расчетов политиков. Ему в помощь протестует и князь Семен Курбский, удачливый воевода, приобщивший к Москве далекую Югорскую землю, также известный строгой верой и продолжительными постами. В среде горожан расползаются темные слухи, народная молва осуждает великого князя и молча становится на сторону попавшей в опалу супруги.

Ну. С такого рода протестами во все времена поступают до крайности просто: пустынного инок Вассиана заточают в узилище Волоколамского монастыря, известного своей приверженностью к великому князю и по этой причине только что принявшего на грязь и холод и глад неосторожное откровенного Максима Грека, Семена Курбского отсылают подальше от великокняжеского двора, а на ропот народный не обращают никакого внимания, поскольку для всякой власти народ естественно глуп и ни буквы не смыслит в тонкостях государственных дел.

Наступает очередь Соломонида. Обвинение в чародействе грозит ей таким же тягостным заточением, как Максиму Греку и Вассиану. Под угрозой жестокой расправы её склоняют к добровольному иночеству, что подвело бы под права предполагаемого наследника от нового брака более прочное основание, и по некоторым сведениям перепуганная Соломонида сама умоляет великого князя отпустить её в монастырь. По крайней мере такой версии придерживается так называемая Типографская летопись:

«В лето 7034 благоверная великая княгиня Соломонида, видя неплодство чрева своего, якож и древняя она Сара, начат молити государя великого князя, да повелит ей облещися в иноческий образ. Царь же и государь всеа Руси не восхоте сътворити воли ея, начат глаголати сице: «Како могу брак разорити, аще ли сиа съворю, и второму несть ми лествь съвьку-

питися», понеже государь благочестив, правдив и съвершитель заповедем Господним и законному повелению. Христолюбиваа ж великаа княгини с прилежанием и с слезами начат молити государя, да повелит ей сътворити, яко ж хочет. Царь же и государь всеа Руси ни слышати сего не въсхоте и приходящих от неа велможь з злобою отреваа. Великая же княгини, видя непреклонна государя на моление еа, начат молити святейшего архиепископа Богом спасенного града Москвы Данила митрополита всеа Руси, да умолит о сем государя и сътворит волю еа быти, понеж бо дух святыи всеа пшеницу в сердце еа и да възрасти плод добродетели. Святейшии же Данил митрополит все Руси, моления слез еа не презри, много много моля о сем государя с всем священным сънмом, да повелит воле её быти. Царь же и государь всеа Руси, видя непреклонну веру еа и моления отца своего Данила митрополита не презре, повеле сътворити волю еа. Благоверная же великая княгиня, аки от пчел сота от царьских уст насладився, с радостью отходит в обитель Господа Бога Спаса нашего Рождества в дивичь монастырь, еже есть зовом на рве, и ту остризает власы главы своеа от отца своего духовного никольского игумена Давида, и наречено бысть имя ей в мнишеский чин София...»

По сей вероятности, повествование о добровольном пострижении Соломонида вставлено в летописный свод самим Даниилом, пекущемся как о собственном добром имени, так и о будущем правителе Русской земли. Он не принадлежит к числу строгих пастырей, для которых дела веры и церкви первее греховных дел государя и государства. Человек уклончивый, снисходительный, делами мирскими озабоченный едва ли не более, чем делами небесными, привыкший быть не столько суровым наставником, сколько услужливым пособником великого князя, митрополит не только дает согласие на расторжение бесплодного брака и тем самым делает немаловажный шаг к полному подчинению русской православной церкви земным нуждам московских великих князей и царей, но и спешит, спустя месяца три после испомещения добродетельной Соломонида в Спасский монастырь Рождества, официально засвидетельствовать и утвердить эту самую благоприятную для него самого, для великого князя и его будущего наследника версию, будто Соломонида своей доброй волей затворилась в обители, вопреки желанию, даже при упорном сопротивлении великого князя.

Понятно, что противники расторжения брака, пусть и неплодного, изображают обряд пострижения как бесчеловечное насилие над слабой женщиной и самый что ни на есть деспотический произвол. Более вероятно, что под угрозой строгого тюремного заточения Соломонида в самом деле соглашается удалиться в монастырь по добру по здорову, и только в последний момент, окончательно осознав. Какое печальное будущее она избирает, несчастная женщина, в течение двадцати лет безропотно покорная мужу, внезапно оказывает сопротивление: она отказывается идти в монастырь, всё ещё, вероятно, надеясь на благоразумие и великодушие великого князя.

И тогда верные слуги великого князя прибегают к насилию. Во всяком случае передают, что её под руки выводят из терема и совершают обряд пострижения в Рождественском девичьем монастыре под присмотром надежных людей, причем злые языки утверждают, будто Шигона, один из самых доверенных слуг великого князя, взявшийся исполнить это грязное дело, принуждает Соломону не только словами, но и побоями. Говорят также о том, что, облакаясь в ризу монахини, Соломонида торжественно объявляет сквозь слезы:

– Бог видит и моему гонителю отомстит за меня.

Пострижением жены от живого мужа, добровольным или насильственным, не только совершается тяжкий грех перед Богом, но и бросается в сознание подручных князей и бояр жаркая искра возможного мятежа, которая принимается тихо тлеть в возбужденных умах рыцарей удельных времен, чтобы, рано или поздно выйдя наружу, вспыхнуть пожаром измен, предательств, заговоров и отравлений.

Самое время великому князю одуматься, остановиться, только великий князь уже не может ни одуматься, ни остановиться, да и права остановиться лишен, поскольку нужен наслед-

ник, наследник необходим, и Московскому великому княжеству и ему самому. И события катятся далее своим чередом. Несмотря на то, что по церковным уставам и общему убеждению муж принявшей постриг жены прямо обязан тоже постричься и уйти в монастырь, митрополит Даниил благословляет великого князя на второй брак, и подручные князья и бояре с раболепно покорностью поддерживают это новое посягательство на общественную мораль и негласно обычаем утвержденное право.

Вероятно, и двуличный митрополит Даниил, и хитроумные князья и бояре, своим одобрением освящая и сомнительного свойства развод и другой брак, твердо рассчитывают на то, что великий князь Василий Иванович и на этот раз изберет невесту из какого-нибудь малоприметного, обедневшего московского рода, каким был род и к тому времени уже полузабытых Сабуровых, ведь все они понимают, что даже если новый брак действительно разрешится наследником, отец едва ли увидит его совершенные лета, стало быть, на какое-то более или менее продолжительное, беспокойное время реальная власть в Московском великом княжестве перейдет к родне его матери, и тогда обедневшему, малоприметному роду не удастся отеснить в неизвестность старинных князей и бояр, как это проделал над ними великий князь Василий Иванович.

Ещё более вероятно, что и митрополит, и подручные князья и бояре, своим потаканием его новой прихоти или заботе о благе отечества прибирают великого князя к рукам и что впредь великий князь уже из их цепкой, анархически настроенной воли не выйдет, во всяком случае именно им предоставит слишком ответственный, слишком важный выбор невесты, как было прежде, когда нарочно отряженные на это дело писцы переписывали всех боярских и княжеских и даже дворянских девок-невест, числом до полутора тысяч, чтобы супруга московского великого князя была не чужая, а положением и кровью своя, то есть опять-таки покорная воле митрополита и подручных князей и бояр.

Однако к величайшему изумлению всех своих подданных великий князь Василий Иванович ведет к алтарю именно чужестранку, хотя и княжну и старинных русских кровей, да из пришлых, литовских князей, к тому же с обычаями совершенно не русскими, да ещё опасного, ненавистного рода, скверней же всего, очень возможно, что тайную католичку, хотя пока что в Литве пока что почти все ещё русские и православные люди, а принадлежность к католической вере на Русской земле почитается больше, чем преступление, это несмыслимый грех.

Хоть и чужестранка, но русская и наверняка ещё не опутанная католической верой, невеста приходится дочерью Василию Глинскому, выходцу из Литвы, род которого, по его утверждению, что очень сомнительно, ведет начало от татарского хана, сравнительно недавно, всего лишь при самодовольном и бесславном Мамае, вступившего на службу к литовскому князю Витовту. Там, в литовском великом княжестве, род Глинских соприкасается с традициями европейской культуры с её утонченной галантностью, зародившейся под воздействием плодотворных идей гуманизма. Михаил Глинский, родной дядя Елены Васильевны, кичится своим рыцарским прошлым, чуждым, абсолютно неприемлемым для хоть и своевольных, но все-таки истинно русских московских князей и бояр, службой Альбрехту Саксонскому, затем императору Максимилиану, которая протекала в прекрасной Италии, что истинно русским московским князьям и боярам представляется как измена и грех, ещё более кичится сердечным приятельством с польским королем Александром, правда, ныне покойным, который Московскому великому княжеству был непримиримый, истинный враг.

Елена Васильевна, по всей вероятности, воспитана в духе европейской галантности, куртуазности, служения музам и танцам, не ведомым обособленной, замкнутой, своеобразной Русской земле. Во всяком случае, она резко выделяется при довольно строгом и мрачном дворе московских великих князей и умеет понравиться, кому хочет и когда захочет понравиться. Наследница авантюристов, искателей приключений, рыцарских поединков, нашествий и грабежей, она особенно выделяется своим пренебрежением, своим полным непониманием обычаев

и нравов страны, которая её приютила, так что все понимают, не могут не понимать, что она способна совершать самые неожиданные поступки, и благочестивым, почитающим превыше всего старину московским умам такая способность должна представляться поистине опасным грехом.

Многие говорят, что чертовка вскружила седую голову великого князя, чуть ли не околдовала его. Может быть, и вскружила, но если и вскружила, то самую малость. В день бракосочетания ей всего-навсего около тринадцати лет, в крайнем случае не больше пятнадцати, предельный возраст для невесты московского государя, она ещё слишком юна, как ни рано созревают женщины того скоротечного времени, чтобы кружить головы, околдовывать и соблазнять.

Да великие князья и не женятся по любви, Василий Иванович вступает в привычный, расчетливый, династический брак. Подобно митрополиту Даниилу, подобно подручным князьям и боярам, он не может не понимать, что скорей всего умрет прежде, чем его наследник встанет на ноги и собственной рукой сможет смирить своих всегда готовых к мятежу князей и бояр. На кого он оставит его, кто возьмется поддержать его мудрым советом, опытом воина, полком и мечом?

Великий князь Василий Иванович давно раскусил, что его окружение далеко, себе на беду, от сплоченности, от единства интересов и устремлений. У него под рукой стародавнее московское боярство, уходящее корнями во времена основания заштатного Московского княжества, потомки удельных и великих князей, ведущих свое родословие если не от самого Рюрика, то по меньшей мере от Владимира Мономаха, да ещё литовские выходцы, которые считаются родством с Гедимином. Мало того, что все три сорта подручных князей и бояр беспрестанно ссорятся между собой из-за мест и в боярской Думе, и за место в храме, и во время походов, когда производятся назначения на командные должности в войске, они ещё люто ненавидят друг друга и давно передрались бы между собой из-за первенства на вошедшей в силу Московской Руси, если бы их не удерживали от новых междоусобий воля, дипломатия и полки великого князя.

Кто из них примет сторону его предполагаемого наследника, кто скорее всего поднимет мятеж? Мятеж скорее всего поднимут потомки удельных и великих князей, тоже пришельцы, тоже чужаки на Москве, именно эта ватага князей и бояр, орудуя, точно мечом, своим происхождением от известных, даже прославленных когда-то людей, оттесняет на вторые роли и старомосковских бояр и недавних, не успевших укорениться перебежчиков из Литвы, это они сердито ворчат про себя, что им негоже ходить в подручниках московского государя, который знатностью рода уступает любому из них, стало быть, кому же как не им устранить бессмысленного младенца или слабого отрока и поставить своего государя из более по их мере почтенного рода, подобно тому, как польские паны и шляхта по своему вкусу избирают своих мало-сильных, поневоле покладистых королей.

Таким образом, из чувства самосохранения прежде всего старомосковские бояре и литовские выходцы потомков удельных и великих князей не поддержат, им куда выгодней принять сторону законного, хотя бы отчасти, наследника, в надежде воротить себе прежнее положение и прежнюю власть, какой они располагали в Литве или при московских князьях Калитина сени, а заодно укоротить спесь и наглые притязания своих супротивников, всех этих тверских, рязанских, ярославских, ростовских и Шуйских, не способных забыть, что когда-то они были первее московских князей и бояр. Одни примут сына великого князя Василия, другие поддержат сына княгини Елены Глинской, вышедшей из Литвы, только союз между теми, кто оскорблен, задвинут назад, убережет его наследника от беды низложения, а вместе с тем убережет и Московскую Русь от кровавых междоусобий и смут.

Соблазнительно думать, что в этом отчасти загадочном браке таится ещё одна, хорошо скрываемая, далеко идущая мысль. Довольно дано, лет двадцать назад, когда польский король



и литовский великий князь Александр Ягеллончик покинул сей бранный мир навсегда, великий князь Василий Иванович обращался к виленскому епископу и панам радным, «чтоб они похотели его на государство Литовское», в таком случае Московское великое княжество и Литовское великое княжество, мирно и в добром согласии, могли составить единую, по своей мощи единственную в Европе державу и все старинные русские земли простейшим путем, без новых и долгих усилий, без затяжных братоубийственных войн, могли бы восстановить свою естественную, первоначальную общность.

Наумов, посланец московского великого князя, несколько запоздал с этим разумным, нисколько не удивительным предложением, способным предотвратить неизбежное кровопролитие по меньшей мере двух ближайших столетий. Сигизмунд, брат покойного Александра, был уже избран и польским королем, и литовским великим князем. Правда, надежда на мирное разрешение многовекового конфликта ещё оставалась. Михаил Глинский, владевший чуть ли не половиной Литвы, сам претендовал на корону великого князя, а потому отказался присягать Сигизмунду на верность и поднял мятеж. На помощь ему великий князь Василий Иванович двинул московские рати. Полки князей Одоевских, Трубецких, Воротынских пришли на Березину и продвинулись в сторону Вильны, полки князя Щени действовали в направлении Орши.

В те смутные дни Сигизмунду посчастливилось извернуться, набрать наемных солдат и со всех сторон отбить нападение. Московские полки отступили, Михаил Глинский с толпой своей родни и подручников вынужден был покинуть Литву и перейти на службу Москве.

Таким образом, сын Елены Глинской будет русским по крови, а по месту пребывания его дедов и прадедов отчасти литвином, и не окажется ли это счастливое обстоятельство решающим для виленского епископа и панов радных, когда, придет время, Придется им избирать другого великого князя? К несчастью, именно теперь, когда великий князь Василий Иванович избирает его родную племянницу в жены, Михаил Глинский замаливает грехи в монастырской тюрьме, тем не менее самая опала может пойти на пользу его ожидаемому потомку, да и что же опала, после венчания, выдержав для приличия какое-то время, дядю великой княгини можно освободить, простить, воротить ему и прежние владения, и прежнюю честь.

И все-таки, если такого рода предположения и входят в расчеты великого князя, ему прежде всего надлежит со всех сторон упрочить законность и нового брака и ожидаемого наследника. В его довольно наивное время, впрочем, как и в более просвещенные времена, внешность играет серьезную, подчас чрезвычайную роль, так что остроту ума не шутя определяют длиной бороды, и великий князь Василий Иванович решается на героический шаг: он в прямом смысле слова изменяет свой лик. Накануне венчания он совершает символический обряд обновления, обривает наголо голову и обнажает лицо от бороды и усов, точно в новый брак вступает не прежний супруг великой княгини Соломонида, которому обычай велит постричься вслед за женой, а какой-то другой человек. Летописец глубокомысленно рассуждает по этому поводу:

«Царем подобает обновлятися и украшатися всячески».

Таким образом, и с этой стороны дорога как будто открыта. Свадебные торжества начинаются после Крещения, в мясоед, двадцать первого января 1526 года, в воскресенье, и двух месяцев не проходит со дня заточения Соломонида в Рождественский девичий монастырь. Сам митрополит Даниил совершает обряд венчания в Успенском соборе. Когда подают новобрачным вино, великий князь Василий Иванович бросает порожнюю скляницу оземь, разбивает её и растирает в прах каблуком сапога. Новоиспеченную великую княгиню Елену отводят в опочивальню в великокняжеский терем. Василий же Иванович объезжает московские монастыри, по возвращении в Кремль коня передает конюшему, первому лицу после великого князя, Федору Васильевичу Овчине-Телепневу-Оболенскому. Колпак его держит Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский, в обязанность которого входит в мыльне мыться с великим князем и у его постели проводить свой ночлег. Празднества длятся неделю, оканчиваются

в двадцать восьмой день января. А тем временем в городе Пскове, только что утратившем свою независимость усердием новобрачного, летописец с сокрушением сердца заносит в свой манускрипт:

«В лето 7031 князь великий Василий Иванович постриже княгиню свою Соломонию, а Елену взял за себя; а всё то за наше согрешение, якоже написал Апостол: иже аще пустит жену свою и оженится иною, прелюбы творит»...»

Стало быть, ещё одна незримая искра возмущения и мятежа принимается тлеть на Русской земле.

## Глава третья

### Тайна рождения

Причем обнаруживается в самое короткое время, что какие-то непримиримые супротивники московского великого князя, с примерной осторожностью укрываясь в тени, весьма старательно возжигают всё новые и новые искры, уже прямым путем клонящие к возмущению и мятежу. Пока новобрачные погружаются в первую сладость медового месяца, в обители Рождества Пресвятой Богородицы на Рву, за избами литейщиков и пушкарей, поднимается странная суэта, мало подходящая для отошедших от земной суеты, предавшихся благочестию иноков, занятых исключительно покаянием, постом и уединенной молитвой. Даже самый доброжелательный летописец, терпимо принимающий и внезапный развод, и новый брак, почитает своим долгом поставить в известность как дальних, так и особенно ближних потомков:

«Благовернаа же велика княгини инока Софиа, видя Богу неугодно ту пребыти еи, мнози от велмож и от сродник еи, и княгини и боярыни, нача приходити к неи посещения ради и мнози слезы проливаху, зрящее на ню...»

Сродницам естественно поплакать над горькой судьбиной бывшей великой княгини, ещё вчера восседавшей на самой вершине, а ныне оказавшейся опозоренной, разведенной женой, низринутой с глаз долой в монастырскую келью. Трудно заподозрить в злом умысле и венных кумушек, всегда готовых явиться там, где горе людское, лишь бы имелась благая возможность посудачить, посплетничать, попричитать и под конец выразить вслух сове бесчувственное сочувствие. Но вместе с ними в уединенную келью новопостриженной инокини посещает и кто-то ещё из княгинь и боярынь тех влиятельных родовитых семейств, которые пользуются любым предлогом, даже тенью предлога, чтобы напакостить московскому великому князю и хотя бы отчасти ослабить его твердую власть.

Именно враждебно настроенные княгини, боярыни вскоре распускают злокозненный слух, будто, трех месяцев не прошло после венчания с неугодной Еленой, приблизительно пятнадцатого апреля 1526 года, у Соломонида за семью печатями в келье увидел свет сын, который по крещении на восьмой день, по имени святого великомученика, покровителя Москвы, наречен был Георгием или, как в московском обиходе более принято, Юрием.

Слух оказывается до того упорным и стойким, что докатывается не только до великого князя, но и до германского посла Герберштейна. По всей видимости, коварный слушок повергает великого князя в недоумение. С одной стороны, выходит, что он способен зачать, что и Соломонида способна зачать и что при таком стечении неожиданных обстоятельств развод с ней и пострижение безвинной супруги в монахини есть тяжкий грех на его совестливой, любящей Бога душе. С другой стороны, легко подсчитать, что Соломонида понесла от него не позднее последних дней августа и не могла об этом не знать в драматический час пострижения. Отчего же она о своем положении никому не сказала, не предъявила сведущим в таких делах повитухам явные доказательства своей хоть и поздней, но плодовитости? Отчего её ближайшие прислужницы ничего не заметили и не донесли кому следует о столь важном, явным образом знаменательном факте? Наконец, почему игуменья обители Рождества Пресвятой Богородицы на Рву оставила без внимания неуставное положение высокопоставленной инокини, тем более оставила без внимания разрешение от бремени в стенах вверенного ей высшими властями монастыря и тоже не донесла кому следует? По всему выходит, как ни крути, что слух о сыне Георгии ничего более как крамольный, именно злокозненный слух.

О Сигизмунде же Герберштейне нужно сказать, что он серьезный, удачливый дипломат и шпион, человек любознательный не только по наложенным на него обязанностям явного и тайного соглядатая, достаточно образован, довольно сносно владеет русским наречием, чуждым и трудным для европейца, умеет сблизиться с наиболее значительными и осведомленными

из московских князей и бояр, умудряется ознакомиться с кое-какими русскими летописями и даже запускает свой далеко не рассеянный глаз в официальные документы, которые не могли попасть в его руки просто так, за здорово живешь, явным образом кое-кто из врагов великого князя ему удружил. Такой человек не способен ни с того ни с сего поверить всякому вздору, не может и не имеет права не проверить его, не расспросить доверенных лиц, если, понятно, он сам не участвует в заговоре против неговорчивой, строптивой Москвы, которую безуспешно усиливается повернуть против непобедимых, активно наступающих турок. Видимо, слух представляется ему достаточно выгодным, а потому убедительным, тем более что ему становится известным и то, каким образом воспринимает этот поразительный слух великий князь Василий Иванович, и германский дипломат и шпион помещает это поистине странное происшествие в свои распространявшиеся по всей Европе «Записки о московских делах»:

«Вдруг возникла молва, что Саломея беременна и разродится вскоре. Этот слух подтвердили две почтенные женщины, супруги первых советников, казнохранителя Георгия Малого и Якова Мазура, и уверили, что они слышали из уст самой Саломеи признание в том, будто она беременна и вскоре родит. Услышав это, государь сильно разгневался и удалил от себя обеих женщин, а одну, супругу Георгия, даже побил за то, что она своевременно не донесла ему об этом...»

Наказав провинившихся домашними средствами, как обыкновенно приключается при патриархальном московском дворе, великий князь Василий Иванович далее действует как разумный человек и умудренный опытом государственный деятель. Его повелением в обитель рождества Пресвято Богородицы на Рву, что за Пушечной слободой, отправляют вершить следствие самые доверенные дьяки Третьяк Михайлович Раков и Григорий Никитич Путятин Меньшой. Следствие дает поразительный результат, о котором доводит до сведения современников и потомков всё тот же дипломат и шпион Герберштейн:

«Во время нашего тогдашнего пребывания в Московии некоторые клятвенно утверждали, что Саломея родила сына по имени Георгий, но никому не желала показать ребенка. Мало того, когда к ней были присланы некие лица для расследования истины, она, говорят, ответила им, что они недостойны видеть ребенка, а когда он облечется в величие свое, то за обиду матери отомстит. Некоторые же упорно отрицали, что она родила. Итак, молва гласит об этом происшествии двояко...»

Тогда великий князь Василий Иванович учиняет правильный розыск. В сопровождении доверенных лиц в обители на Рву появляются две боярыни, сведущие в женских делах, тщательно осматривают Соломону, которую германский дипломат и шпион именует Саломеей на европейский лад, сломив каким-то образом сопротивление с её стороны, и убеждаются по состоянию её тела, что «она никогда не была непраздна», в чем и уверяют клятвенно великого князя.

Видимо, благоразумно желая погасить эти неприятные, чреватые жесточайшим кровопролитием слухи, великий князь Василий Иванович решает отправить ставшую неудобной монахиню Софью подальше от московских сплетниц и кремлевских палат, «в обитель Пречистыя Владичица Богородица оа Покрова в Богом спасаемый град Суждаль», а на её содержание, как предписывает обычай, делает вклад:

«Се яз князь великий Василий Иванович всеа Руси пожаловал есми Пречистые святыя Богородицы игуменью Ульянею и всех сестер: что есми их пожаловал, дал есми им в дом Пречистые Покрова в Суждале, свое село Павловское с деревнями и с починки, что было княж Михайлово Бибичева...»

Кажется, после переселения подальше от досужих рассказней разного рода княгинь, боярынь и сродниц, после довольно щедрого дара, который как-никак обеспечивает беспечальное и почтенное пребывание в тихой заглазной обители, великому князю Василию Ивановичу остается только основательно позабыть самое имя инокини Софьи, которая, в слепой жажде

отомстить ему за порочащий её имя развод, согласилась поддержать вредную, чрезвычайно опасную своими последствиями молву о рождении у неё сына Георгия, стало быть, незаконнейшего наследника московского великокняжеского стола.

В действительности происходит нечто необъяснимое. Протекает не более пяти месяцев, как бывший супруг вновь одаривает, и на этот раз не весь монастырь, не всё сообщество смиренных монахинь во главе с игуменьей Ульяной, но всего лишь одну из них, именно Софью:

«Се яз князь великий Василий Иванович всеа Руси. Пожаловал есми старицу Софью в Суздале своим селом Вышеславским з деревнями и с починки, со всем с тем, что к тому селу и к деревнямъ и к починком истари потягло до её живота, а после её живота ино то село Вышеславское в дом пречистые Покрову святыя Богородицы Ульяне и к всем сестрам. Или по ней иная игуменья будет в том монастыре у Покрова святей богородицы, в прок им. Писан на Москве, лета 7035, сентября 19 дня...»

Оформив дарение, великий князь Василий Иванович благополучно отъезжает в Можайск, свою отчину, и услаждается звериными ловлями, любимейшим из своих развлечений. Между тем в Можайск съезжается поистине скопище иноземных послов. От римского папы Климента VII прибывает епископ скаренский Иоанн, Леонард Нугарельский от Карла V, императора Священной Римской империи германской нации, Сигизмунд Герберштейн от его брата австрийского эрцгерцога Фердинанда, Петр Кишка и маршалок Богуш от польского короля Сигизмунда. Зверинные ловли, к его сожалению, прекращаются. Московскому великому князю приходится вести путанные, тяжелые, бесперспективные переговоры с представителями крупнейших европейских держав, которые безраздельно властвуют в Европе и вот наконец обращают внимание и на Московскую Русь, оценивают её растущую мощь и намереваются прокатиться за её счет к благополучному миру с могущественной Оттоманской империей, угрожающей основательно расправиться с европейской цивилизацией, как перед тем расправилась с цивилизацией византийской, а римский папа, кроме того, пытается в очередной раз подчинить православные русские земли католической церкви, то есть себе самому. Стелет он мягко:

«Папа хочет великого князя и всех людей русской земли принять в единение с римской церковью, не умаляя и не переменяя их добрых обычаев и законов, хочет только подкрепить эти обычаи и законы и грамотою апостольскою утвердить и благословить. Церковь греческая не имеет главы; патриарх константинопольский в турецких руках; папа, зная, что на Москве есть духовнейший митрополит, хочет его возвысить, сделать патриархом, как был прежде константинопольский, а наияснейшего царя всея Руси хочет короновать христианским царем. При этом папа не желает себе никакого прибывтка, хочет только хвалы Божией и соединения христиан. Известно, что Литву не надобно оружием воевать: время её воюет, потому что король Сигизмунд не имеет наследника, после его смерти Литва никак не захочет иметь над собою государя из поляков, а поляки не захотят литвина, и оттого оба государства разорятся. А если великий князь захочет стоять за свою отчину константинопольскую, то теперь ему для этого дорога и помощь готовы...»

Великий князь Василий Иванович, правитель разумный и дальновидный, раскусывает с первого чтения, что сильно лжет святейший отец, выставляя напоказ свое бескорыстие, своей властью он не желает делиться ни с кем, тем более с папой, он сам поставляет московских митрополитов, оттого они и служат ему верой и правдой, а возвысит римский папа московского митрополита до патриарха, московский патриарх станет верой и правдой римскому папе служить и всенепременно обернется лютым супротивником московскому государю и вей Русской земле, чего ни один московский государь, если в здравом уме, ни под каким соусом сам не допустит и завещает наследникам не допускать. Не помышляет он и константинопольской отчине, как льстит и соблазняет его римский папа, известный корыстолюбием, властолюбием и другими пороками, которые осуждает Христос. Напротив, он усиливается в вечный мир вступить с воинственным турецким султаном в надежде, что тот перестанет поддерживать крым-

ских татар, истинное бедствие, нещадных разорителей открытых московских украин. С этой целью он засылает послов в Константинополь-Царьград и у себя на Москве привечает и обхаживает турецких послов. Оттого он и отвечает уклончиво, но деликатно, как положено, через ближних бояр:

«Государь наш с папою хочет быть в дружбе и согласии, но как прежде государь наш с Божиею волею от прародителей своих закон греческий держал крепко, так и теперь с Божиею волею закон свой держать крепко хочет...»

Ещё более уклончиво и деликатно он велит отвечать о военном союзе.

«Мы с Божиею волею против неверных, за христианство стоять будем. А с вами и с другими христианскими государями хотим быть в любви и докончании, чтоб послы наши ходили с обеих сторон наше здоровье видеть...»

Собственно, послы императора, эрцгерцога и римского папы именно о докончании хлопотать и явились в Можайск, то есть о вечном мире, да вот только не всех государей Европы о вечном мире с великим князем какой-то далекой, в их представлении захолустной Москвы, а всего лишь о вечном мире между русской землей, с одной стороны, и Польшей с Литвой, с другой стороны, причем по своим тайным, отчасти и явным намерениям мир этот оказывается грабительским, невыгодным, более того унижительным именно для Русской земли.

С благословения этой шайки европейских послов Петр Кишка и Богуш как условие вечного мира предъявляют безоговорочное требование польского короля и великого князя литовского Сигизмунда отдать Литве тотчас русский Смоленск, русский Псков и русский великий Новгород, на что, понятное дело, московские бояре от имени великого князя отвечают бесповоротным отказом и в свою очередь требуют воротить Русской земле стариннейшие русские города Витебск, Полоцк и Киев, после чего, как приключалось не раз, мирно-грабительские переговоры заходят в тупик.

Епископ Иоанн, граф Леопольд и барон Сигизмунд фон Герберштейн вовсе не желают стать в этом на столетия затянувшемся споре славян беспристрастными судьями и уж конечно не становятся на сторону московского великого князя, который требует всего лишь возвращения исконных русских земель, нагло уворованных у разоренной, обессиленной татарами Северо-Восточной Руси. Они принимают сторону Польши с Литвой и предлагают московскому великому князю, разумеется, во имя единства христианского мира, уступить супротивникам хотя бы половину Смоленска, поскольку им чужого не жалко, на что, ещё более разумеется, получают прямой и полный отказ.

В итоге не может быть и речи о вечном мире, даже о перемирии сроком на двадцать лет, как хотелось бы польскому королю Сигизмунду. Обе стороны соглашаются продлить перемирие лишь на семь лет, до 1533 года, единственно, по их лукавому заявлению, из уважения к папе и императору. В ответ, желая самым наглядным образом подчеркнуть, как возмущают его непристойные предложения польского короля и литовского великого князя, Василий Иванович повелевает за столом своим отводить места польско-литовским послам много ниже, чем послам германского императора Карла и австрийского эрцгерцога Фердинанда.

Тем не менее договорную грамоту скрепляют торжественно. Указав на изготовленный документ, проговорив: «исполню с Божией помощью». Прочитав негромко молитву, великий князь целует массивный золотой крест, который подает ему двумя руками думный боярин, затем уверяет послов в своих дружеских чувствах и к папе Клементу, и к императору Карлу, и к эрцгерцогу Фердинанду, обещает в ближайшее время обменяться послами и с папой и с императором, тогда как польским и литовским панам всего лишь кивает слегка головой, велит кланяться королю Сигизмунду и желает им счастливой дороги, что означает, что им пора отъезжать.

На том и расходятся в разные стороны. Великий князь Василий Иванович может возвратиться в Москву. Ему удастся ничего не проиграть во время этих замысловатых перегово-

ров, да не удастся и выиграть, разве что в ближайшее семилетие он может не опасаться внезапного нападения от беспокойных литовских украин, хотя в действительности, несмотря на любые договорные грамоты, на тех украинях что ни день происходят враждебные стычки, то литовцы нападают на русских врасплох, то русские на литовцев, тоже врасплох, захватывают земли, жгут и разоряют селенья, уводят скот и полон. Все-таки можно поспокойней вздохнуть и ополчаться только против ненасытных крымских татар.

Жизнь в Москве как будто шевелится заведенным порядком. В феврале, год спустя после венчания, как и было задумано, под поручительство виднейших князей и бояр, получает свободу и все права состояния Михаил Глинский, предполагаемая опора великой княгини Елены Васильевны. И вдруг великий князь Василий Иванович совершает невероятный, необъяснимый, хотя внешне самый обыкновенный поступок:

«Того же лета поставил князь великий церковь камену с пределы на своем дворе во имя преображения господа бога и спаса нашего Иисуса Христа и другую церковь поставил камену же у Фроловских ворот святого мученика Георгия...»

На первый раз ничего особенного, из ряда вон выходящего не происходит. Великий князь Василий Иванович, человек истинно верующий, благочестивый, уже возвел своими пожертвованиями немало церквей и теперь прибавляет к ним ещё две, одну в пределах Кремля, другую у Фроловских, впоследствии Спасских ворот. Однако почему же этот последний небольшой каменный храм об одной тонкой изящной главе посвящается именно святому мученику Георгию? Разве он успевает забыть, что не умолкает молва о его законном сыне Георгии, будто бы рожденном инокиней Софьей, да ещё как раз год назад? Разве сам он не посылал доверенных лиц для того, чтобы освидетельствовать опальную Соломону и установить, была ли она «с коробом», как говорят, могла ли разрешиться от бремени сыном? Разве не отправлял её в заглазый монастырь, в богом спасаемый Суздаль? Не может не помнить. Тогда ради чего он этим храмом у Фроловских ворот словно бы нарочно поддерживает, утверждает молву? Признает ли он этим каменным храмом рождение сына? Ставит ли его во искупление греха?

Этот всегда осторожный, благоразумный политик не способен поступить необдуманно. Едва ли в его намеренье входит каким-нибудь образом задеть, оскорбить великую княгиню Елену Васильевну, для которой храм во имя святого мученика Георгия должен служить каким-то тайным намеком. По всему видать, что в новом супружестве он счастлив безмерно, о чем можно заключить хотя бы и по тому, что он почти не расстается с юной супругой, а когда нужда все-таки заставляет расстаться, дня почти не проходит, чтобы стареющий муж, правитель, занятой человек, не писал бы ей таких нежных, таких чувствительных писем, которые представляются абсолютно невозможными в обиходе тогдашней московской семьи.

Такие отношения чересчур необычны, чересчур противоречат старинным обычаям, и потому нетрудно представить себе, что любое происшествие в этой семье, как только оно выплывает наружу, вызывает толки и смуту в горах русских умах. Разумеется, как и во всякой семье, далеко не всё выплывает наружу, тем более не всё сквозь преступления и туманы столетий доходят до нас, однако бывают такие обстоятельства в отношениях между супругами, которые при всем желании не представляется никакой возможности скрыть.

Прежде всего эта истина относится к детям, а именно детей великая княгиня Елена Васильевна не приносит супругу, детей, которых он с таким нетерпением ждет, детей, ради которых взял на душу тяжкий грех расторжения брака с порожней Соломонидой, детей, которые одни могут оправдать в его глазах и в глазах многих подручных князей и бояр и этот противный христианской морали развод, и этот новый, такой непривычный, такой подозрительный брак.

Тогда для чего же этим каменным храмом во имя святого мученика Георгия он напоминает всем и каждому о том таинственном сыне, которого ему с неистребимым упорством приписывает немилостивая молва? Желает ли он искупить беспокоящий грех расторжения брака с супругой, которая оказалась брюхатой? Искушает ли он грех перед маленьким сыном, кото-

рого в душе признает, однако уже не имеет права признать? Или, чего нельзя исключить в его безвыходном положении, наедине сам с собой он подумывает о том, чтобы признать этого неизвестно откуда прибывшего сына в том случае, если неплодной окажется и великая княгиня Елена Васильевна?

О чем-то он размышляет, ведь идет второй год его второго супружества, а Елена Васильевна всё ещё остается без «короба». Конечно, надежда на «короб» ещё не потеряна. По меркам времени он давно считается стариком, тогда как великая княгиня Елена Васильевна слишком юна, ей, возможно, тринадцать или четырнадцать лет, ему необходимо приладиться к ней, ей необходимо накопить животворящую женскую силу, созреть. Какое-то время у них ещё есть, но это время стремительно убывает, ещё год, ещё два – и придется объявлять о наследнике, кого же он объявит тогда, чье имя он назовет?

Верно заметил папа Клемент: Сигизмунд, литовский великий князь и польский король, не имеет наследника и по этой причине Литву и Польшу в скором времени ожидает распад и кровавая смута, они сами себя воюют, по выражению папы, так что не надо сторонним оружием воевать. Та же немилосердная участь ожидает и Московское великое княжество, пока у великого князя не появится прямого наследника, а тут ещё как на грех что ни год его воюют оружием.

Крымский хан Сайдет-Гирей присылает послов, послы нагло требуют даней, великий князь Василий Иванович никаких даней не желает давать, полагая резонно, что время татарских даней давно миновало, предпочитает отделаться от разбойников кое-какими подарками, тогда как Литва ежегодно отправляет за Перекоп не менее семи с половиной тысяч дукатов да ещё на семь с половиной тысяч прибавляет товаров. Пока в Москве неприятные переговоры искусно затягиваются, царевич Ислам-Гирей своей голодной конной ордой угрожает открытым настежь южным украинам. Всё лето 1527 года полки стоят на оке, готовясь отразить нападение, великий князь Василий Иванович переносит ставку в Коломну, чтобы лично руководить военными действиями, об этих приготовлениях царевичу доносят лазутчики, и коварный Ислам-Гирей затаивается где-то в бескрайних заокских степях, однако, как только поздней осенью, так и не дождавшись врага, дворянское ополчение расходится по городам и селениям, татары появляются под Рязанью, грабят и жгут рязанские села и нацеливаются устремить опустошительный набег на Коломну и на Москву.

По счастливой случайности полки князя Одоевского и князя Мстиславского не успевают отойти от Угры. При первом известии о вероломном наскоке татар они успевают встать у них на пути. Неожиданность их появления перед врагом, уверенном в полной своей безнаказанности, приносит им полную и стремительную победу. Понеся большие потери убитыми и полоненными, Ислам-Гирей заворачивает потрепанную орду к Перекопи, полагаясь лишь на быстроту и выносливость татарских диких коней.

Слепой гнев помрачает великого князя. Василий Иванович повелевает утопить ханских послов, лишь немного спустя, успокоившись, он извещает Сайдет-Гирея, что его послы-де были растерзаны возмущенной толпой. В виде протеста Сайдет-Гирей повелевает ограбить московских послов, что за Перекопью приключается чуть ли не с каждым московским посольством, и как ни в чем не бывало продолжает требовать увеличенных даней, равных тем, какие даются слабодушной Литвой.

Дань означает признание верховной власти крымских татар над Русской землей, и великий князь Василий Иванович ни под каким видом не может согласиться на них, из чего следует, что оголодавшие, озлобленные татары, не имеющие доходов, кроме разбоя по всему югу Русской равнины, снова придут, и если они нагрянут в те несчастные дни, когда Московское великое княжество окружит кровавая смута, только что упрочившее свою независимость Московское великое княжество вновь разлетится на мелкие части, которые тотчас растащат в разные стороны и Литва, и Польша, и Крым, и Казань. А он уже чувствует первые признаки смуты.



Ему доносят верные люди, что удельный князь Юрий, нелюбимый, может быть, ненавидимый брат, переманивает в свои и без того значительные полки служилых людей, что князь Федор Мстиславский, всего год назад из Литвы перебежавший на московскую службу, только что так славно отбивший крымских татар, лелеет намеренье, недовольный малыми вотчинами, пожалованными ему, обратным ходом перебраться в Литву, натурально, уведа за собой целый полк служилых людей, что ненадежны и другие князья, которым мнится заоблачное счастье за уж очень близким от Москвы рубежом.

Конечно, брата Юрия можно заставить ещё раз целовать крест на том, что перестанет переманивать служилых людей в свой удел, можно отобрать крестоцеловальную запись от князя Мстиславского и от всех тех, кто уличен или заподозрен в измене, и найти за них десятка два или три поручителей, которые ответят имуществом и головой, если сохранить верность не поможет ни целованье креста, клятва, по видимости, святая, да великий князь Василий Иванович знает отлично, как слабо удерживает эта величайшая клятва его подручных князей и бояр от новых измен.

Ему наследники, дети нужны. Не вызывает сомнения также и то, что великая княгиня Елена Васильевна едва ли не больше, чем он, понимает, что наследники, дети нужны позарез, и когда без зачатия пролетает и год и другой, она принимает свои, самые, впрочем, обыкновенные, самые употребительные меры против бесплодия: она обращается к Богу, отправляется на богомолье по святым местам, то в Переславль, то в Ростов Великий, то в Ярославль, то в неблизкую Вологду, то ещё на более далекой Белое озеро, пешком, как простая мужичка, посещает святые обители, отправляется едва приметными тропами в затаенные пустыни, раздает щедрую милостыню, многие ночи и многие дни проводит в слезах и молитвах, прося у милосердного Бога благодатной тягости в своих юных, но жаждущих чреслах.

Немудрено, что близкие и всякого рода сердобольные люди от души сочувствуют великой княгине и великому князю, опытные политики прикидывают в уме, кто сможет занять искусительное место очевидно стареющего великого князя, но неосторожно оброненные искры мятежа всё явственней затлевают во враждебных умах, и злые языки уже внятно шепчут о том, что сбывается, сбывается предсказание насильственной инокини Софьи, что всесправедливый Господь лютой карой карает ослушников и никогда не благословит нечестивого брака детьми.

Наконец, приблизительно три года спустя с того греховного дня, как была пострижена Соломонида, после стольких тревог и молений, у счастливой Елены Васильевны зарождается плод. Однако это вполне естественное событие в семействе молодой, созревшей, сформировавшейся женщины и мужчины, едва достигшего пятидесяти лет, только подливает масла в прежний, тлеющий пока что тихо огонь. Злые языки всё настойчивей распространяют нехорошую клевету, будто виновник зачатия вовсе не сам нечестивый, а потому бесплодный Василий, а молодой князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский, несомненный полюбовник великой княгини Елены Васильевны.

Самый год, когда великая княгиня Елена Васильевна ходит брюхата, выдается тревожным, тяжелым. Князь Иван Палецкий доносит из Нижнего Новгорода, что в замиренной было Казани подрастающий Сафа-Гирей, по обычаю басурманскому, нарушает данные клятвы и подбивает казанский народ восстать на Москву. Приходится скликать полки и вновь отправлять под Казань, чтобы предотвратить возмущение и, следовательно, неминуемое, ожесточенное разорение восточных украин. Вниз по матушке Волге спускается так называемая судовая рать, предводимая Иваном Бельским, сушей идет конное дворянское ополчение во главе с Михаилом Глинским, с ним князь Михаил Васильевич Горбатый-Кислый, Кубенский, Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский и менее известные из подручных князей и бояр, расставленные по местам исходя исключительно из знатности рода.

На этот раз Сафа-Гирей намеревается нанести москвитам серьезное поражение. Его умышлением предместье Казани укрепляется острогом, окапывается глубокими рвами, не одо-

лимыми для конных полков. Всё Арское поле перегораживается от Булака до речки Казанки новой стеной. Для пополнения своих войск он призывает луговых черемис, воинов жестоких и стойких, от его тестя другого Мамая приходят ногаи, свирепые и воинственные, однако нестойкие в затянувшейся битве, склонные при первом же сильном натиске бежать с поля боя во всю прыть своих легконогих коней. Он не собирается отсиживаться в глухой обороне. Навстречу дворянскому ополчению он отправляет конных татар и ногаев, в надежде остановить москвитов и затем разгромить их по частям.

Михаил Глинский всё же подходит к стенам Казани, правда, с боями, отразив несколько нападений, внезапных, но скоротечных. Сверху подплывает Иван Бельский с караваном тяжело груженных ладей. С ладей выгружают пищали и пушки. Казалось бы, воеводам остается только расставить их по местам и приступить к правильной осаде хорошо укрепленной, но одиноко поставленной крепости. Так и поступают в нормально организованных армиях, тогда как в московском стане заваривается обыкновенная свара между князьями по родословиям и чинам, Иван Бельский и Михаил Глинский не могут договориться, кто из них первый, кому командовать, кому подчиняться и что следует предпринять, а пока дерзко настроенные татары совершают внезапные вылазки и бесцельное стояние под Казанью ограничивается вполне безвредными стычками.

Убедившись, что москвиты ничем не угрожают Казани, татары позволяют себе тревожить их только днем, а ночами беспечно спят, даже не выставив необходимых в таких обстоятельствах караулов. Нет ничего проще захватить их врасплох, тем не менее воеводы и тут продолжают топтаться на том же месте запутанных родословий и ещё более запутанных чинов до седьмого колена. Тогда несколько десятков молодых воинов на свой страх и риск подползают неприметно к стене, смолой и серой обмазывают её низ и вдруг поджигают. В татарском остроге вскипает ошалелая суматоха, когда все куда-то бегут и никто не знает куда бежит и зачем. Она достигает и до московского стана. Московские воины, внезапно выскочив из глубокого, привольного, беспечного сна, конные и пешие, кто в доспехах, кто в исподнем белье, бросаются сквозь дым и пламя на приступ, выбивают обомлевших татар из острога, опустошают предместье, сами обезумевшие и полусонные бьют и режут таких же обезумевших, полусонных татар. Сафа-Гирей, видимо, тоже обезумевший от внезапности нападения, выводит из крепости нестройные толпы татар и ногаев и устремляется с ними куда глядят его перепуганные глаза. Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский гонится за ним со своим легким конным полком, но, верно, не прытко, поскольку Сафа-Гирей успевает укрыться в Арском лесу. Татары растеряны до того, что ворота Казани в течение трех часов остаются открытыми. Московские воеводы могут за крепостные стены вступить беспрепятственно и навсегда покончить с осточертевшей Казанью. Они и тут умудряются упустить драгоценное время. Иван Бельский и Михаил Глинский никак не могут установить, кто из них имеет бесспорное право вступить первым в Казань и кому, стало быть, достанутся приятные лавры столь важной, столь долгожданной победы.

Тем временем на растерянную, мятущуюся Казань наползает черная туча, сверкают молнии, гремят громы небесные, хлещет дождь редкой силы, и без того потерявшие рассудок от ночного переполоха пушкари и посошные разбегаются, бросив на произвол судьбы вверенные им пищали и пушки. Татары, напротив, приходят в себя и замыкают ворота. Внезапно из пелены сплошных потоков дождя на поле несостоявшейся битвы появляются черемисы, в короткой схватке вырезают всех, кто попадает под руку, в том числе князя Дорогобужского, князя Оболенского-Лопату и ещё несколько воевод более мелкого ранга, захватывают обоз с запасом продовольствия, ядер и пороха и увозят семьдесят пушек, так что москвиты в прямом смысле слова остаются ни с чем.

Всё же казнь просит мира, клянясь хранить прежнюю верность Москве и принимать своего правителя только по воле московского великого князя. Иван Бельский тотчас начинает

отход. Москва вновь встречает этого странного полководца угрюмой молвой, будто изворотливые казанцы купили у него легкий мир серебром. Великий князь Василий Иванович с грозным лицом приговаривает его к смертной казни, даже не подумав о правильном розыске. Ивана Бельского оковывают в железы и заточают в темницу. И вновь митрополит Даниил, тоже не утруждаясь правильным розыском, печалует, просит о милости. Напоминая благочестивому великому князю, что Иван Бельский его племянник со стороны матери. И вновь великий князь Василий Иванович освобождает Ивана Бельского от наказания, в данном случае едва ли заслуженного, натурально не подозревая о том, что оставляет жизнь зачинщику мятежа.

Да и самое появление на свет божий царственного младенца сопровождается мрачным знамением: двадцать пятого августа 1530 года, в семь часов пополудни, посреди ясного неба сверкают молнии, гремит неистовый гром и какое-то время его раскаты в необъяснимой ярости следуют один за другим, в ту же минуту, как, впрочем, впоследствии утверждают, у великой княгини Елены Васильевны рождается сын.

Спустя десять дней после самого радостного свершения в его многотрудном правлении великий князь Василий Иванович отвозит младенца в Троицкий Сергиев монастырь. Обряд крещения совершают игумен Иоасаф Скрипицын, столетний инок Кассиан Босой и святой Даниил Переславский. В честь славного деда наследник престола нарекается Иоанном. Обливаясь сладкими слезами счастья, умиления и трепетной благодарности Господу, умягченный добрым сердцем отец принимает из рук святителей своего долгожданного первенца, опускает его на раку святого подвижника Сергия, основателя единственной в своем роде обители, и молит угодника, чтобы наставил невинное, пока что абсолютно беззащитное дитя и взял под защиту в неминуемых треволнениях и опасностях жизни.

Счастье великого князя не имеет границ. Он сыплет золото в казны монастырские, преобильно отпускает на бедных, повелевает растворить вес темницы, снимает опалы с многих подручных князей и бояр, провинившихся перед ним, в том числе с Мстиславского, Щенятева, Суздальского-Горбатого, Плещеева, Мороза, Лятцкого и многих других, прежде подозреваемых в том, чтобы были недоброжелательны к великой княгине Елене Васильевне, поручает соорудить богатые арки для мощей святых митрополитов Петра и Алексия, для одного золоту, для другого серебряную, наконец дозволяет меньшому брату Андрею жениться и дает ему в жены княжну Ефросинью Хованскую, которая в положенный срок приносит Андрею сына Владимира, стало быть, двоюродного брату младенцу великого князя, ещё одного претендента на великокняжеский стол.

Рождение Иоанна не только награждает исключительным счастьем отца. В его лице Русская земля получает прямого наследника, то есть получает гарантию мира, единения и независимости Московского великого княжества, добытые многими трудами и многой кровью нескольких поколений русских людей. Следом за этим поистине благоприятным приобретением выясняется, и это особенно важно здесь подчеркнуть, что династическая идея, то есть идея прямого наследования государственной власти от отца непременно к старшему сыну, понемногу овладевает умами и насчитывает довольно многих приверженцев среди верных патриархальным устоям руководящего сословия московского общества. Подворье великого князя наполняется усердными поздравителями, причем почитают своим долгом явиться не одни официальные лица, которым по своему положению при дворе положено по малейшему поводу, хотя бы притворно, лебезить, умиляться и поздравлять великого князя со всем, с чем только можно поздравить. С утра до вечера толкуются посадские люди Москвы и многих других городов, испытывая единственное желание взглянуть на счастливого государя и лично заверить его, что и города и села и все счастливы вместе с ним и желают многая лета и ему самому и его долгожданному сыну. Младенца своим попечением не оставляет и церковь. Пустынники, святые отшельники из отдаленных углов Московского великого княжества являются в стольный град, чтобы благословить царственное дитя в его пеленах. Во всех этих бесчисленных поздрав-

лениях и пожеланиях слышится явственный голос всей русской земли: она возлагает на царственного младенца большие надежды, с его именем, с предстоящей жизнью его она связывает благоденствие, процветание, мир, ненарушимость своих рубежей, то есть всё то, чего от правителя ждет испокон веку земля.

Всенародный праздник точно удваивает силы великого князя. Великая княгиня Елена Васильевна вновь понесла. Вскоре ещё один сын озаряет счастьем преклонные лета отца. То ли во искупление греха, то ли бросая дерзкий вызов судьбе, его называют Георгием-Юрием, как и того, что приписывает инокине Софье злая молва, верно, в надежде с корнем вырвать самую память о нем. Приблизительно в те же дни в Суздале появляются доверенные люди великого князя и его именем требуют, чтобы инокиня Софья выдала им своего пока что никем не виданного Георгия-Юрия, если он, вопреки всякому вероятию, все-таки существует. Вместо сына инокиня Софья будто бы предъявляет небольшое надгробие, красиво украшенное резьбой, но без имени, без даты рождения и даты кончины. Надгробие вскрывают, тогда же или немного позднее, но в погребении обнаруживают лишь рубашечку мальчика трех-пяти лет и тряпье. Неизвестно. Продолжает ли инокиня Софья морочить голову бывшему мужу, или этим ложным погребением оберегает действительно существующего ребенка, известно только, что на этот раз великий князь Василий Иванович обрушивает на нечестивицу свой праведный гнев, о чем сокрушенно скорбит летописец:

«Князь великий Василий московский... остриг её в мнишество не хотящу и не мыслящу ей о том, и заточил в далечайш монастырь, от Москвы более двухсот миль, в земли Каргапольский лежащ, и затворити казал ребро свое в темницу, зело нужную и уныния исполненную, сиречь жену, ему богом данную, святую и неповинную...»

Но и эта попытка заткнуть рот стоустой молве оказывается напрасной. С рождением второго сына в семью великого князя приходит несчастье: если первый сын, Иоанн, растет здоровым и крепким, то Георгий-Юрий оказывается болезненным, слабым и к тому же глухонемым, а так как в те времена таких детей не умеют учить разговаривать жестами, он представляется окружающим дурачком.

Стоустая молва возрождается, едва этот слух о несчастье в семье великого князя расползается по Москве. Припоминается, что в Калитином семени не случалось такого рода болезней, что и все Глинские тоже здоровы как на подбор, тогда как среди Оболенских немало всякого рода уродов, чему свидетельством множество выразительных прозвищ: Немой, Лопата, Глупый, Медведица, Телепень, Сухорукий. Других доказательств злокозненным людям не нужно: Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский является отцом и второго сына великой княгини Елены Васильевны. Правда, и сам Иван Федорович и его отец Федор вполне здоровые, нормальные люди, он это обстоятельство уже не способен никого вразумить, клеймо выжжено на всю остатную жизнь: незаконные дети, и одного этого нарочито поставленного, однако бессмысленного клейма будет довольно, чтобы вспыхнул мятеж.

И всё сходится так, что ждать остается недолго.

## Глава четвертая

### Кончина отца

С первой минуты, с первым жаждущим жизни криком своим Иоанн попадает в благодатнейшую атмосферу истинно счастливой семьи. Едва ли справедливо будет сказать, будто великая княгиня Елена Васильевна горячо, до беспамятства любит своего престарелого мужа. Эта гордая, своевольная, не совсем уже русская женщина едва ли способна на долгое, сильное, укорененное чувство, слишком уж быстро после кончины законного мужа является у неё любовник, малозначительный и бесцветный, которого ей так рано начинают приписывать, впрочем, приписывать задним числом. И все-таки мы не располагаем ни одним сколько-нибудь ясным или хотя бы туманным намеком на то, что она равнодушная к великому князю, тем более что она относится к нему с нескрываемой холодностью. Скорее всего её чувства смутны, не совсем понятны для неё самой, тем более недоступны для её окружения. По-настоящему, с истинной страстью она любит только свое новое положение, любит ту безграничную власть, которая внезапно падает на её своевольные руки, когда великий князь избирает её, и она, любя эту власть, с той же силой любит самого носителя власти, не имея ни способности, ни желания различать, сколько в её пылающих чувствах тщеславия, честолюбия, авантюризма, к которому склонны все Глинские, а сколько естественной женской любви.

Что касается великого князя, то он без ума от своей ненаглядной Олены, главным образом потому, что именно от неё наконец дождался наследника, он не только обожает её яркую, мгновенно созревшую красоту, её необыкновенную, стремительно расцветающую женскую привлекательность, своеобразно оттененную знакомством, пусть и поверхностным, с европейской культурой, но и самое сердце её, будто бы полное великого разума, далее чего, как известно, мужчине в любви уже невозможной дойти, хотя и в этой любви, может быть, больше сердечной благодарности за сыновей, чем неизбежного и простительного безумия старости.

Нечего говорить, что с ещё большим, может быть, более истинным пылом он любит своего несравненного сына, которому надлежит продолжить великое дело его. Он не в состоянии дня прожить без своего ненаглядного Ваньки, и если приходится с ним расставаться, когда дела или прелесть охоты призывают его, он отправляет своей Олене письмо за письмом, выпрашивая о сыне, здоров ли, что кушает, как почивал. С самого утра до обеда великий князь Василий Иванович правит дела великого княжества, судит и рядит землю свою, совместно с немногими избранными боярами и подручными дьяками, после же обеда никакими делами не занимается, и нетрудно сообразить, что большая часть этого послеобеденного, свободного, беззаботного времени отдается юной супруге и желанному сыну. Летние месяцы, с ранней весны по глубокую осень, великий князь Василий Иванович, приверженец мира и тишины, проводит в Острове, в Воробьеве или на Воронцове поле в Москве, и уж это сладкое время не может не оставить у малыша, может быть, неосознанных, однако неизгладимых и самых лучших воспоминаний.

И эта неизъяснимая благодать кончается разом и вдруг, кончается навсегда, чтобы уже никогда, никогда хотя бы тенью, слабым намеком не возвратиться к нему.

Лето 1533 года выпадает тяжелое, знойное, полное мрачных знамений. От конца июня до самого сентября на раскаленную землю не падает ни капли живительного дождя, до того доходят жарь и хмарь, что иссыхают вековые болота, угасают ключи, пожары буйствуют в непроходимых лесах, багровое тусклое солнце скрывается из вида за два часа до заката, от тяжкого смрада горенья людям нечем дышать, и в разгар долгого летнего дня не всегда можно распознать лица друг друга, путники не видят перед собой сотни раз изъезженного пути, птицы не могут летать. На мутном небе, подернутом гарью, бледнеет призрачным светом грозная, немигающая комета.

В довершение бед в начале знойного августа Сафа-Гирей, бежавший из Казани под крыло к дяде, крымскому хану, поднимает орду и ведет на Рязань. С ним идет его брат Исмаил, который отчего-то, возможно, из подлости или решив оправдать себя за этот внезапный набег, извещает великого князя. Степные сторожи заблаговременно доносят о великой силе татар, великий князь Василий Иванович успевает призвать братьев Юрия и Андрея, скликает полки, выдвигает их на Оку, посадским людям повелевает свозить имущество в Кремль на случай прорыва татар и по стенам выставить пушки, чтобы изготавиться к долгой осаде, выстаивает обедню в успенском соборе и со своим полком выступает в Коломну.

На половине пути его перенимает гонец князя Андрея ростовского, стоящего в Рязани наместником, который доносит, что татары выжгли предместья и рассеялись по селениям, принявшись за свой обычное дело грабить и жечь, и что Рязань готова к осаде, если татары решатся её осадить. Великий князь Василий Иванович выдвигает за Оку передовые отряды с повелением добыть языков и вызнать из них намерения набежавших татар. Князь Дмитрий Палецкий рассеивает одну из случайно подвернувшихся шаек татар, другую шайку настигает Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский, стаптывает её своими конями, устремляется вослед за бегущими, в пылу погони насккивает на основные силы орды, часть своих людей теряет убитыми и полоненными и сам остается в живых единственно благодаря лихому скоку своего боевого коня.

Впрочем, и этих двух стычек оказывается довольно. Узнав от пленных, что сам великий князь подходит с полками, татары точно растворяются в густом мареве пространных степей. Пять дней спустя великий князь Василий Иванович возвращается с победой в Москву, торжествующий и счастливый, предвкушающий наслаждение осенней охоты, без которой лишается не менее половины прелести жизни.

Однако двадцать четвертого августа посреди белого дня ярило, тусклое от зноя и гари, по верху точно срезается, затем пропадает совсем, на изумленную землю падает крошечная тьма, и бедные люди, глядя на грозящие мором и голодом бесчинства немилосердной природы с ужасом ожидают неминуемых, катастрофических перемен.

И перемены в самом деле приходят. В свои пятьдесят четыре, по тогдашним меркам немалые годы великий князь Василий Иванович чрезвычайно бодр и духом и телом, не ощущает никаких признаков дряхлости, любит работу ума и движение, а потому не знает болезней. Как ни в чем не бывало, законно радуясь и гордясь успешным отражением разбойного наскока хищных татар, он с Оленой, с Иоанном, с недавно родившимся Георгием-Юрием отправляется в Троицкий Сергиев монастырь и там, двадцать пятого сентября, в день святого Сергия Радонежского, стоит службу, как всегда отойдя в сторону и опираясь на свой высокий великокняжеский посох, после чего, не помышляя об отдыхе после военных трудов и дороги, переправляется в Волоколамск, где, заведенным обычаем, предается веселому, бодрому удовольствию гонкой осенней охоты. Вдруг в Волоколамске обнаруживается недуг, поначалу казалось бы незначительный: небольшая болячка без верха и гноя, признак отравы, слегка беспокоит великого князя на сгибе колена.

Тем не менее великий князь Василий Иванович отправляются в баню, верное средство и от более серьезных болезней, а после бани обедает со своими боярами. На другой день он как будто ни в чем не бывало выезжает в поле с борзыми собаками, однако внезапно изнемогает, торопится возвратиться с половины охоты, не дождавшись затравленной дичи, и ложится в постель. К постели больного призывают немцев, его личных лекарей. Лекари, хоть и немцы, лечат его исконными русскими снадобьями: к больному колену прикладывают смесь меда с мукой, печеный лук, раскаленные горшки и семенники. Под воздействием снадобий поначалу небольшая болячка, как и должно было быть от такого лечения, воспаляется, чирей вскрывается, откуда ни возмись из малой болячки зеленый гной выходит, ни много ни мало, тазами.

Великий князь Василий Иванович теряет потребность в еде и ощущает не знакомую прежде тяжесть в груди.

Кажется, всё это недуги неважные, к тому же короткие, не занимают долгого времени, чтобы тревожиться, тем более серьезно опасаться за жизнь. Может быть, прежде никогда по-настоящему не болея, великий князь Василий Иванович слишком пугается своего непривычного, хоть по видимости небольшого недуга и тем способствует его скорейшему и погибельному развитию. Как бы там ни было, спустя несколько дней, втайне от своих приближенных, великий князь Василий Иванович посылает в Москву за духовными грамотами отца и деда, с явным намерением как можно скорее составить свое завещание, сам же с примерным присутствием духа дожидается зимней дороги и только тогда повелевает ехать в Москву, причем въезжает в стольный град так, чтобы его нездоровье осталось неприметным для глазастых иноземных послов. В княжескую опочивальню его вносят уже на руках. Он тотчас повелевает собрать самых ближних бояр и в их присутствии составляет духовное завещание.

Своей волей, находясь в твердой памяти и здравом уме, великий князь Василий Иванович старшего сына своего Иоанна определяет наследником на великокняжеский стол и до совершеннолетия, то есть до пятнадцати лет, поручает его опеке ближних бояр, а также назначает удел младшему сыну Георгию-Юрию и вдовой удел своей ненаглядной Олене. Эта по всем правилам составленная, абсолютно законная духовная грамота позднее была отчего-то утрачена, можно думать, что с умыслом. По этому странному случаю крайне важно отметить, кто из ближних бояр присутствует при её составлении и кто из бояр вообще в последние годы особенно близок к нему.

Итак, при составлении завещания присутствуют князья Иван и Василий Шуйские, Михаил Захарьин, Михаил Воронцов, Михаил Тучков, Михаил Глинский, казначей Головин и дворецкий Шигона Пожогин. Ничего удивительного или сколько-нибудь неожиданного в таком последнем решении великого князя Василия Ивановича заподозрить нельзя. Во все прежние годы он выказывает едва прикрытое приличием пренебрежение к боярской Думе и советуется только с немногими, нередко с двумя или с тремя, главным образом с теми, кого сам избирает, кого сам приближает к себе, чаще всего находя способных и верных помощников в темной среде незнатных людей, чем вызывает когда тайное, а когда и явное неудовольствие родовитых князей и бояр, бесталанно, однако с раскаленным тщеславием заседающих в Думе.

Пока великий князь Василий Иванович был силен и удачлив в делах управления и войны, боярская Дума ничем не выказывает своего неудовольствия столь бесцеремонным отстранением этого старинного учреждения от ведения государственных дел, и если подручные князья и бояре ворчат, то ворчат келейно и тайно, опасаясь гнева великого князя и неминуемо следующих за гневом хоть и кратковременных, преходящих, но всё же тяжелых и небезопасных опал, и если поднимают свой голос открыто и принародно, то лишь в таких очевидных, бесспорных делах, как насильственный развод и вторая женитьба.

Теперь умирающий государь, до последней минуты сохраняющий ясность и трезвость рассудка, хорошо понимает, что его только что вышедший из пеленок наследник не имеет пока ещё силы удержать задорных, тщеславных, честолюбивых, насквозь греховных князей и бояр, что боярская Дума, опираясь на давний, весьма неясный, запутанный порядок, вернее сказать, беспорядок престолонаследования, может с легкостью нарушить его монаршую волю и вовсе отстранить его малолетнего старшего сына от управления московским великим княжением, насильно в монахи постричь, как сам он делывал много раз, оковать в железы, сгноить в сырой и гнойной монастырской тюрьме.

Тогда, до той минуты неподвижно лежавший без сил, он вдруг поднимается с помощью Михаила Захарьина, с верой, с любовью, со слезами умиления принимает причастие, Вновь опускается на одр уже не только тяжкой болезни и призывает митрополита, кровных братьев

Юрия и Андрея, а также подручных князей и бояр, которые спешат в полном составе собраться в Москве, едва успели слышать о смертельном недуге своего государя.

Именно в присутствие митрополита, надеясь на то, что авторитет церкви придаст его последней воле незыблемую силу закона, он поручает Богу, деве Марии, святым угодникам и митрополиту сына своего Иоанна, объявляет, что именно этому сыну, и никому другому, дает великое княжение под руку, наследие великого отца своего, выражает надежду, что совесть и честь братьев, Юрия и Андрея, помогут им исполнить крестное целование и что все они станут служить его наследнику усердно в делах земных, а также в ратных делах, прибавив торжественно:

– Да будет тишина в Московской державе, да высится над неверными рука христиан.

Лишь после такого напутствия он отпускает митрополита и братьев, но всё та же скорбная мысль о неповиновении, об измене тревожит его, и он настойчиво повторяет подручным князьям и боярам:

– Ведайте, что державство наше идет от великого князя киевского, святого Владимира, что мы природные вам государи, а вы наши бояре извечные. Служите сыну моему, как мне служили, блюдите крепко, да царствует над землею, да будет в ней правда! Не оставьте моих племянников, князей Бельских, не оставьте Михайлу Глинского: он мне ближний по великой княгине. Стойте все заедино, как братья, ревностные ко благу отечества! А вы, любезные племянники, усердствуйте вашему юному государю в правлении и в войнах, а ты, князь Михайла, за моего сына Иоанна и за жену мою Олену должен охотно пролить всю кровь свою и дать тело свое на раздробление!

Игумену Троицкого Сергиева монастыря Иоасафу он воспрещает выезжать из Москвы и обращается с просьбой к нему:

– Отче, молись за державу, за моего сына и за бедную мать его! У вас я крестил Иоанна, отдал угоднику Сергию, клал на раку святого, поручил вам особенно: о младенце-государе молитесь!

Поручив наследника Богу, митрополиту, игумену и подручным своим, великий князь Василий Иванович призывает самых доверенных, самых близких бояр, своих верных, самых надежных советников: Михаила Захарьина, Михаила Воронцова и Василий Шуйского, а с ними ещё младшего брата Андрея, которого любил, которому больше других доверял. Именно этим четверым избранным он поручает опеку над малолетним сыном и молит о том, чтобы они приняли в этот опекунский совет ещё князя Глинского, человека хоть и приезжего, но сослужившего верную службу.

Го помощники, разумеется, самым искренним образом соглашаются на эту последнюю просьбу своего повелителя, однако же просят со своей стороны Василий Шуйский за своего брата Ивана, а Михаил Захарьин за своего двоюродного дядю Михаила Тучкова, каждый уже здесь, у одра умирающего, торопясь закрепить за собой большинство.

Таким образом, за несколько часов до кончины великого князя окончательно составляется опекунский совет, но уже не только из самых доверенных, не только из самых, по убеждению великого князя, достойных людей, общим счетом из семи человек: Захарьин, Воронцов, двое Шуйских, Глинский, Тучков и младший брат великого князя Андрей.

С ними беседует умирающий государь с трех часов до семи, выказывая завидное хладнокровие, христианскую твердость и трепетную заботу о делах и судьбах Московского великого княжества, которое на ближайшие двенадцать лет поручает единственно их твердой верности, их благоразумному попечению и помыслам о благе отечества.

Только после того, как все последние распоряжения отданы, все дела будущего правления установлены и разрешены, умирающий государь вспоминает о сыновьях и жене, но, человек чувствительный, чуткий, с нежным сердцем, с пылким воображением, великий князь Василий Иванович колеблется, призывать ли их на последнее благословение, не испугает ли молодую



жену и в особенности малых детей его жалкий вид и тот гнусный смрад, который исходит из болящего, отравленного неведомыми ядами тела. Он прав: нечего делать малым детям у одра умирающего отца, им ещё не по силам и потому рано встречаться со смертью, тем более со смертью самого близкого человека.

Однако бояре, люди более грубого, более практического, положительного склада души и ума, чем умирающий государь, настаивают на последнем свидании, в особенности младший брат Андрей Старицкий, может быть, из желания ещё и ещё раз утвердить ещё слишком юное право племянника на великокняжеский стол в противовес возможным притязаниям брата Юрия, старшего дяди, за которым, что бы ни говорили, старинное право удельных времен. Наконец умирающий государь соглашается. Михаил Глинский и Андрей Старицкий бегут за великой княгиней Еленой Васильевной, Иван Глинский бежит за детьми.

На руках вносит он Иоанна в затемненную горницу. Великий князь Василий Иванович, с трудом удерживая крест святого Петра, всё ещё твердым голосом говорит:

– Буди на тебе милость Божия и на детях твоих! Как святой Петр благословил сим крестом нашего прародителя, великого князя Иоанна Даниловича, так им благословляю тебя, первенца, сына моего.

И наказывает мамке его:

– Гляди, Аграфена, не отступай от сына моего Иоанна ни пяди.

Великую княгиню Елену Васильевну вводят под руки князь Андрей Старицкий и боярин Челяднин. Она бьется, рыдает навзрыд. Он ласково уговаривает её:

– Перестань, не плачь, легче мне, благодарю Бога, не болит у меня ничего.

Как ни бьется, как ни рыдает, она все-таки вопрошает его о самом важном, самом главном для неё, остающейся жить и вдоветь без него:

– Государь, князь великий! На кого меня оставляешь, кому детей приказываешь?

Он твердо выражает свою государеву волю, чтобы и малейшей возможности не осталось для кривотолков и перемен:

– Благословил я сына моего Иоанна государством и великим княжением, а тебе в духовной грамоте написал, как писалось в прежних грамотах отцов наших и прародителей, как следует, как прежним великим княгиням шло.

Он благословляет и сына Юрия, но крестом святого Паисия и о нем говорит:

– Приказал я и в духовной грамоте написал, как следует.

Затем просит Олену уйти, видимо, оглушенный истерическим криком её. Да и что они для него? Он простился и навсегда уходит от них.

Надо сказать, что уходит он с чистой совестью, оставляя малолетнему сыну самую благополучную, самую благоустроенную из всех тогдашних европейских держав. Пределы Московского великого княжества раздвинулись вширь, однако не вследствие грабежа и захвата иноплеменных, чужеродных и чужих территорий, но законным путем возвращения в единую государственную семью исконных, некогда единых русских земель, отторгнутых и поработенных иноплеменными, и это величайшее из деяний произведено великим князем Василием Ивановичем либо вовсе без пролития крови, либо с малым количеством жертв с той и с другой стороны, тогда как за те же десятилетия только одни грабительские походы французских отрядов в Италию стоят около сотни тысяч убитыми с обеих сторон. Украины Московского великого княжества укреплены и упрочены, и опять-таки укреплены и упрочены без жестоких потерь, так что Московская Русь становится не только недоступной, но и опасной для соседей-захватчиков, добытчиков чужого добра, которые издавна заливали кровью и разоряли её.

Эта внезапно возрожденная, упроченная держава становится всё более заметной величиной как в азиатской, так и в Европейской политике, и уже астраханский хан выражает желание заключить с ней договор о дружбе и братской любви, Петр, воевода молдавский, просит у московского великого князя защиты от наглых притязаний неудержимо-хищной Литвы, а

европейские государи всё чаще обращают свой предательский взор на восток, именно там рассчитывая найти главную ударную силу против катящейся неодолимым валом турецкой волны.

Внутри Московского великого княжества царят спокойствие, мир, хоть и зыбкое, однако согласие в мятущейся среде подручных князей и бояр. Как знать не знает и ведать не ведает ни одна из европейских держав, и опять-таки это спокойствие, этот мир, это согласие достигнуты единственно мудрой политикой московского государя, без многочисленных казней, без массового террора, тогда как всего лишь за два года крестьянской войны германские княжества потеряли не менее ста тысяч жителей, во время правления короля Генриха VII в Англии повешено около семидесяти тысяч, а во время правления его сына короля Генриха VIII более ста тысяч бродяг, то есть ни в чем не повинных английских крестьян насильственно согнанных алчными лордами с обрабатываемой ими земли.

Ширится, становится всё обильней, разнообразней торговля как с Западом, так и с Востоком. Московское великое княжество ввозит с запада серебро, сученое золото, награбленное испанцами в только что открытой Америке, медь, зеркала, сукна, иглы, ножи, вина и кошельки, с востока получает парчу, шелк, ковры, драгоценные камни и жемчуга, вывозит в немецкие земли воск, кожи, меха, в Турцию и Литву меха и моржовую кость, к татарам седла, узды, сукна, холсты, одежду и кожи в обмен на выносливых татарских коней, к тому же необходимо отметить, что из великого княжества воспрещается вывозить оружие и железо, а русский мед славится на все стороны света.

Понемногу начинает пошевеливаться и внутренняя торговля. Деревянную посуду везут из Калуги, рыбу из Муром, сельдь из Переславля и Соловков. Население ещё очень редко, дороги, естественно, скверны, однако и дороги становятся лучше и население гуще, плотней по мере приближения к общерусскому центру, к Москве. Москва раскидывается так широко, что в ней считается, явно преувеличенно, до ста тысяч жителей, приблизительно столько же, сколько и в Лондоне. В стольном граде поддерживается строгий полицейский порядок, на ночь улицы замыкают рогатки, так что одной этой мерой почти искореняются воровство и разбой. Казна московского великого князя полна и богата, тогда как германские императоры, английские и французские короли не только постоянно нуждаются в наличных деньгах, но и по уши в долгах у богатых евреев, и эти богатства приобретаются не ограблением заморских владений, не бессовестными, грабительскими налогами, а прежде всего бережливостью и благоразумным расчетом в делах.

Другими словами, Русская земля благоденствует под управлением московского великого князя, и это благоденствие достигается за какие-нибудь не полные три десятка спокойных, уравновешенных лет. Исторический опыт этих благополучных десятилетий лучше разного рода политических и философских систем утверждает, что Русская земля нуждается именно в сильной, единодержавной, рачительной власти великого князя, которая опирается на содействие, на разум, на жизненный опыт немногих, с государственным благоразумием отобранных самим государем приверженцев, но более не ограниченной никакими другими учреждениями, старой или новейшей формации, и благодетельность именно этой формы правления лишней раз подтверждается тем, что Русская земля вновь придет к этой формуле власти спустя два столетия при Петре, который благодаря ей преобразит Московское царство в Россию и двинет её семимильными шагами вперед.

Таким образом, великий князь Василий Иванович оказывается глубоко прав, когда по своему духовному завещанию передает всю полноту власти в великом княжестве единственно своему старшему сыну и немногим приближенным боярам, которые и прежде верой и правдой служили ему, за прегрешенья бывали сурово наказаны, но бывали и прощены, без чего не случается никакого правления. И стоит только опекунам, оставляемым без его державной руки, добросовестно исполнять его последнюю волю, честно следовать крестному целованию, которым подручные князья и бояре обязываются служить его малолетнему сыну как ему самому,

управлять с государственным разумением, отложив в сторону жажду власти и алчность приобретательства, и Русская земля, неуклонно шествуя по пути благоденствия и прочного гражданского мира, в самое ближайшее время непременно станет одной из счастливейших и величайших держав, раскинувшись между Европой и Азией, укрывшись за неприступностью своих крепостей.

Только один истинно тяжкий грех тяготит душу умирающего правителя. Он постоянно помнит Соломону, помнит свой второй брак, заключенный вопреки христианской морали и стародавним русским обычаям, и загодя своего духовника готовит к тому, чтобы в его последний час над ним был совершен обряд пострижения. Теперь этот час наступил. Приложившись к образу великомученицы Екатерины, как будто на несколько мгновений забывшись, великий князь Василий Иванович обращается к своему духовнику Алексею:

– Видишь сам, что лежу болен, а в своем разуме, но когда станет душа от тела разлучаться, тогда дай мне дары, смотри же рассудительно, времени не пропусти.

И, передохнув, подзывает митрополита Даниила, владыку коломенского Вассиана, братьев, предбудущий опекунский совет:

– Видите сами, что я изнемог и приближаюсь к концу, а желание мое давно было постричься, постригите меня.

Митрополит Даниил как будто колеблется, но все-таки посылает за одеянием инок, тогда как самых ближних, именно тех, кого он оставляет в помощь ещё несмышленому отроку Иоанну, приводит в ужас это естественное желание великого князя, известного своим благочестием. По правде сказать, ужасаться у них достаточно оснований. Как ни болен великий князь Василий Иванович, он остается в твердом сознании и лишь изредка забывается, что скорее говорит о тяжелой болезни, а не о близком конце. В таком случае ещё можно надеяться, что великий князь одолеет болезнь и воротится к жизни, ведь прежде он никогда не болел. Что же станет тогда с великим княжением? Рядом с великим князем останется живой государь, но уже не светский владыка, а инок, обязанный отречься от мира, утративший право на власть.

И князь Андрей Старицкий, младший брат, и Михаил Воронцов, и Шигона категорически возражают и митрополиту и самому великому князю. Перебивая друг друга, они напоминают ему:

– Князь великий Владимир киевский умер не в чернецах, а не сподобился ли праведного покоя? И иные великие князья преставились не в чернецах, а не с праведными ли покой обрели?

Вспыхивает спор у одра умирающего, непристойный, противный смирению, заповеданному Христом. Тогда великий князь Василий Иванович, всё ещё сохраняющий твердый рассудок и голос властителя, подзывает митрополита и говорит голосом тихим, но внятным:

– Исповедал я тебе, отец, всю свою тайну, что хочу монашества, чего так долежать? Сподоби меня облещись в монашеский чин, постриги.

Передохнув, вопрошает:

– Так ли мне, господин митрополит, лежать?

Произносит из икосов, выбирая слова, кладет крест всё ещё твердой рукой, повторяет несколько раз:

– Аллилуйя, аллилуйя, Господи, слава тебе!

А доверенные, ближние всё томят его и томят, не хотят исполнить последнюю волю его, предвещая мятежное будущее. Уже коснеет язык, но умирающий продолжает просить пострижения, берет край простыни и целует её, силится осенить себя крестным знаменем, но правая рука уже отказывается служить, и одному из бояр приходится её поднимать.

Старец Мисаил наконец вносит одеяние инок. Готовясь к обряду, митрополит Даниил передает епитрахиль Троицкому игумену Иоасафу. Супротивников не отрезвляет самая святость мгновения. Князь Андрей Старицкий и Михаил Воронцов пытаются вырвать её. Разыг-

рывается позорная, непристойная сцена, которая обрывается только тогда, когда вышедший из себя митрополит Даниил бросает ужасные, оказавшиеся пророческими слова:

– Не благословляю вас ни в сей век, ни в будущий! Его души никто у меня не отнимет. Добр сосуд серебряный, но лучше позлащенный!

Обряд пострижения наконец совершается. Уходящему великому князю им дают Варлаам. Впопыхах забывают доставить мантию для нового инок. Троицкий келарь Серапион снимает свою. На грудь Варлаама возлагают Евангелие и покрывают его ангельской схимой. Безмолвие наступает. Вдруг, в двенадцатый час ночи по московскому времени, со среды на четверг, третьего декабря 1533 года, восклицает стоящий у изголовья Шигона:

– Государь скончался!

И утверждает, что видел собственными глазами, как из тела инок Варлаама вышел дух в виде тонкого облака.

Москвичи не спят в эту тревожную, может быть, переломную ночь. Едва из хором выбивается скорбная весть о кончине великого князя, на всем пространстве Кремля и далее от его каменных стен поднимается плач и проливаются неподдельные слезы: Русская земля теряет великого государя, который в течение двадцати восьми лет обеспечивает ей хотя бы относительный, но все-таки мир и покой, рачительностью и твердостью предотвращая распри и мятежи, уберегая от кровопролитий и смут. А что ждет её впереди? Ведь всем и каждому куда как известно, что наследник почившего государя ещё слишком мал и что князь Юрий Иванович, его дядя, человек самомнительный и крутой, не прочь наместо него взойти на великокняжеский стол.

Такую опасность предвидит и митрополит Даниил. Ещё облачают неостывшее тело в полное одеяние инок, а он, отведя Юрия и Андрея, братьев покойного, в переднюю избу, уже берет с них крестное целование в том, что станут честно служить великому князю Иоанну Васильевичу всея Руси, жить в уделах своих, по правде стоять, государства под ним не хотеть, не сманивать от него служилых людей, против недругов, латинства и басурманства, крепко стоять, прямо и заодно. В том же берет он крестное целование с подручных князей и бояр, с боярских детей и княжат. Остается лишь крестную клятву беспорочно держать, как велит голос благоразумия да православная вера.

## Глава пятая

### Мятеж

Беда единственно в том, что неукоснительно следовать державной воле почившего государя требует лишь православная вера, с которой давным-давно научились полюбовно договариваться по церквям да монастырям подручные князья и бояре, да голос благоразумия, который способен расслышать в исколотой завистью и самомнении душе далеко не каждый из тех, кто приблизился к власти, а лишь исключительный, истинно государственный ум, редчайший дар во все времена, особенно редкий в Русской земле, когда самой мысли о государственности ещё только предстоит народиться.

Другая беда заключается в том, что державная воля почившего государя вступает в прямое противоречие с древним обычаем, к тому же поддержанным ещё неясным, неустановившимся правом наследования, беда неотвратимая, особенно потому, что подручные князья и бояре, не говоря уж о людях посадских, о землепашцах, звероловах и рыбаках, живут не благоразумием, не идеями о смысле и святости государства, не осознанным пониманием смысла и будущего Русской земли, но привычками, обычаем и преданием старины, которые вошли в кровь и в плоть, коренятся глубоко в подсознании, держатся в нравах, оправдываются укладом жизни в каждом тереме, в каждой княжеской и боярской усадьбе. Тронь эти обычаи, эти предания старины, и весь этот омраченный тщеславием и честолюбием люд встанет стеной на защиту праотеческих, пусть уже давно обесмысленных истин. Этому люду пришлось не по нраву и те малые новшества, которые понемногу вводил великий князь Василий Иванович, чтобы укрепить свою, государеву власть. Берсень Беклемишев лишь выражает общее мнение:

«Которая земля переставливает обычаи свои, и та земля недолго стоит, а здесь у нас старые обычаи князь великий переменил, ино на нас которого добра чаяти?..»

Немудрено, что подручные князья и бояре сдерживают свои темные, мятежные страсти всего несколько дней. Они присутствуют на погребении инока Варлаама и на поставлении нового великого князя. В Успенском соборе собираются епископы и архимандриты, князья и бояре, московские купцы и простые посадские люди. Митрополит Даниил благословляет трехлетнего, пока что несмышленного отрока святым православным крестом и возглашает торжественно-громко:

– Бог благословляет тебя, государь, князь великий, Иоанн Васильевич, владимирский, московский, новгородский, псковский, тверской, югорский, пермский, болгарский, смоленский и иных земель многих, царь и государь всея Руси! Добр и здоров будь на великом княжении, на столе отца своего.

Затем едва ли что сознающему Иоанну поют многолетие, подручные князья и бояре подносят предписанные на этот случай дары и расходятся в глубине души оскорбленные. Владимирский, смоленский, тверской и многих земель? Вот уж нет! Это они – владимирские, суздальские, ростовские, ярославские, курбские, тверские, смоленские, Одоевские, серпуховские! Им ли повиноваться трехлетнему отроку из рода каких-то малозначительных, малозначимых московских князей, происхождение которого вдобавок неясно и едва ли законно? Да и откуда свалился этот порядок наследования, о котором отродясь не слыхали ни деды, ни прадеды?

В самом деле, разве отошедшему в иной мир повелителю непременно должен наследовать его старший сын, а не его старший брат, как множество раз происходило в многочумной истории русского племени? Разве опека над несовершеннолетним, неспособным наследником должна перейти в руки семи своевольно, по прихоти, по случайному выбору названных, к тому же захудалых или пришлых бояр, а не к известнейшим и знатнейшим, даром же собранным в боярскую Думу, именно Бельским, Шуйским, Оболенским, Одоевским, Горбатову, Пенькову, Кубенскому, Барбашину, Микулинскому, Ростовскому, Бутурлину, Ворон-

цову, Захарыну и Морозову, издревле имевшим свой властный голос в решении государевых дел?

Даже напротив, корыстным душам, исколотым самомнением, завистью, спесью, некрепким или нетрезвым умам, отуманенным преданием старины, представляется вполне основательным, чтобы державу ведал не трехлетний, ничего не смыслящий отрок, старший сын во второй раз женатого великого князя, а его дядя, умудренный летами и долгим правлением на уделе своем в ближнем Дмитрове, или боярская Дума, в которой сидят представители знатнейших русских фамилий, а не какой-то небывалый, определенный единственно волей покойного великого князя опекунский совет, и во всех этих скитаниях некрепких или нетрезвых умов забывается или не принимается в расчет из лукавства, что этот старший брат великого князя ровно ничем не отличился в управлении крохотным Дмитровом, а боярская Дума раздирается местничеством, забывается или не принимается в расчет потому, что и сами приверженцы старшего брата или полновластия подручных князей и бояр ничем путным не отличаются в делах управления и войны и что сама замшелая идея местничества решительно ни в одном уме не вызывает сомнения в том, насколько она плодотворна и плодотворна ли она вообще, для сомнения в этой давно устарелой идее время ещё не пришло.

Похоже, что первым принимается действовать именно старший брат, удельный князь Юрий Иванович, только что целовавший крест на верность малолетнему Иоанну. Он понимает, как и все вокруг него понимают, что утвердить свое право наследования он может только вооруженной рукой. Свой удельный полк он может в один день посадить на коня, но его полк, две-три сотни служилых людей, слишком слаб против объединенных семи опекунских полков, которые, натурально, без промедления выступят против него.

Чтобы увеличить свои вооруженные силы и ослабить противника, князь Юрий Иванович исподтишка переманивает к себе в Дмитров служилых людей, в первую очередь, в первую очередь князей и бояр, которые, перейдя на службу в удел, приведут к нему и свои удельные да вотчинные полки. Его козни не ускользают от бдительного ока Михаила Глинского и Василия Шуйского, самых опытных в такого рода подлых и скользких делах, благодаря этим достоинствам, правду сказать, и определенных в опекунский совет. Они и готовятся принять к ослушнику суровые меры и нарочно подсылают к нему своих слуг, чтобы миром избавиться от него. Во всяком случае, Юрию Ивановичу советуют удалиться в Дмитров по добру по здорову, и как можно скорей:

– Поедешь в Дмитров, то на тебя никто и посмотреть не посмеет, а будешь здесь жить, то уже ходят слухи, что схватят тебя, непременно, истинный Бог.

Может быть, угадывая, из чьих пакостных рук кормятся его незванные доброхоты, удельный князь Юрий Иванович отвечает так, как и положено отвечать:

– Приехал я к государю, великому князю Василию, а государь, по грехам, болен. Я ему крест целовал, да и сыну его, великому князю Иоанну Васильевичу, так как же мне крестное целование преступить? Я готов на своей правде и умереть!

На самом деле он не испытывает никакого желания умирать на этой правде, для него стеснительной и неприятной, да и за правду свое крестное целование не признает. Он угадывает обостренным чутьем человека, давно жаждущего любой ценой захватить верховную власть, что не успело ещё тело его брат остынуть, как назревает конфликт между опекунским советом, внезапно возникшим вопреки стародавним обычаям, и боярской Думой, которую этот незваный, незнамый опекунский совет оттесняет от власти, да так, что того гляди отставит совсем.

Разумеется, претензии опекунского совета на власть могут быть признаны законными лишь потому, что он действует не только по завещанию великого князя, но и с согласия подручных князей и бояр, присягнувших на верность отроку Иоанну, больше того, с согласия церкви, в лице митрополита Даниила принявшей от совета семи крестное целование на верность вновь обретенному великому князю. С этой стороны претензии боярской Думы на вер-

ховную власть впредь до совершеннолетия Иоанна не имеют под собой законного основания, однако на стороне боярской Думы несокрушимая сила традиции, которая в глазах подавляющего большинства русских людей, не привыкших повиноваться закону, заменяет закон.

Даже самому недалёковидному из политиков ясно, что оба претендента на верховную власть, и опекунский совет и боярская Дума, неминуемо должны перегрызться между собой, должны наброситься друг на друга и погрязнуть в затяжной, непримиримой борьбе, пока желанная власть не останется за одной из сторон, и удельный князь Юрий Иванович едва ли допускает ошибку в расчете, что его поддержит боярская Дума, если он поднимает мятеж не против неё, а против совета опекунов.

Его мятежу надобен только предлог, а тут предлоги как нарочно возникают сами собой. Первый предлог для мятежа дает сам великий князь Василий Иванович. Предвидя, что именно честолюбивый, несмирившийся Юрий станет оспаривать власть у его столь долгожданного и всё ещё малолетнего сына, он не включает дмитровского удельного князя в опекунский совет, зато вводит в него младшего брата, Старицкого удельного князя Андрея и тем наносит Юрию, как и прочие князья и бояре, дорожащему неоспоримым обычаем местничества, самое жестокое оскорбление, которое смывается только кровью, причем мало отыщется подручных князей и бояр, которые решились бы по этой причине князя Юрия за эту кровь осудить.

Другой предлог к мятежу дает сам опекунский совет, да и как ему такого предлога не дать, если опекунский совет не располагает ни необходимым согласием, ни подлинной силой, без чего власть можно взять, порой взять довольно легко, но ни в коем случае нельзя удержать. Отчасти вина тут лежит на самом скончавшемся государе. По страсти и из настоятельных нужд великого княжества втянувшись в хлопотливое и не совсем честное дело развода и нового брака, он в последние годы поневоле приближает к себе большей частью не тех, кто достоин и сведущ в делах управления, но главным образом тех, кто из низкопоклонства или корыстных расчетов поддерживает расторжение брака с неплодной Соломонидой и венчание с прелестной Оленой. Всё это мелкие. Случайные люди, ищущие не самоотверженного служения, не честно добытой славы, а только щедрой подачки, увесистой кости, брошенной с великокняжеского стола, всё это вечные прислужники, вечные лизоблюды, проползающие поближе к источнику льгот и даяний, единственно ради того, чтобы урвать ещё одну вотчину, ещё один косяк лошадей или хоть шубу из великокняжеской кладовой.

Пока был жив великий князь Василий Иванович, в качестве его верных прислужников эти князья и бояре были приемлемы и даже на месте, однако быть полезным прислужником ещё не значит оказаться на своей воле дальновидным и дельным политиком. Всё это люди неглупые, небесталанные, но вследствие своей мелкой, мышиной натуры не способные к самостоятельным, тем более к решительным действиям, которых от правителя сплошь и рядом требуют враждебные обстоятельства. Неплохие советники, как правители они более чем заурядны, и уже самой своей заурядностью, очевидной для всех, вводят соперников в соблазн мятежа.

В этой пестрой компании заурядных людей один Михаил Глинский выделяется и военным и политическим опытом. К тому же на его стороне оказываются немалые преимущества: он приходится дядей вдовствующей великой княгине и двоюродным дедом малолетнему государю, который пока что не ведает ни о чем и нуждается в том, чтобы его поддерживала и оберегала родня. Наконец сама по себе это натура сильная, страстная, прирожденный авантюрист, сродни беззастенчивым кондотьерам тогдашней Италии, в которой недаром же он побывал в составе хищных отрядов императора Максимилиана. Эти явные преимущества позволяют ему занять первое место в опекунском совете, чего, по правде сказать, ему делать не следовало, поскольку он чужестранец, прибывший к Москве из враждебной Литвы, то есть однажды уже изменивший своему прежнему законному государю, затем пытавшийся возвратиться в Литву, то есть изменить и новому своему государю, которому крест целовал, уже за эту попытку прямо обвиненный в измене и двенадцать лет проведенный в тюрьме, так что подручные князья и бояре

с большим удовольствием пойдут за любым смельчаком, который попытается избавить их от этого перебежчика и чужестранца, тоже преступающего обычаи местничества.

Кто может предотвратить неизбежный мятеж, назревающий у всех на глазах, и неизбежный развал Московского великого княжества, подобный мятежу и развалу сравнительно недавних времен Василия Темного? Какая сила способна соединить эти разрозненные интересы противоборствующих групп и отдельных людей? Кому дано сохранить мир и покой на Русской земле? Этой силой может быть только православная церковь, однажды сплотившая ту же Московскую Русь на великий подвиг Куликовской победы, этим лицом, обязанным противостоять мятежу и развалу, должен стать митрополит Даниил, освятивший своим незыблемым словом завещание великого князя и принявший крестное целование от беспокойных князей и бояр, давно недовольных тем убийственным для них обстоятельством, что единодержавие крепнет, растет и с каждым годом отодвигает их всё дальше в сторону от распределения вотчин и льгот, косяков лошадей и великокняжеских шуб.

Однако, вопреки своему положению, митрополит Даниил никак не подходит на многотрудную роль миротворца. Скорее напротив, это смутьян, возмутитель спокойствия, возведенный на кафедру волей случая, услугой интриг, а не единственно надежным правом таланта, достоинства, опытом государственного ума. Хранитель и порука государевой чести, он клянется гарантировать свободу и безопасность новгород-северского удельного князя Василия, из мятежного рода Шемяки, но не произносит ни единого слова, когда ни в чем не повинного гостя, поверившего его пастырской клятве, бросают окованного в железы в тюрьму. Давший обет служения Господу, обязанный, в соответствии с возложенным саном, являть собой образец любви к ближнему, он не печалится ни о ком, никому не говорит утешительных или учительных слов, чем принуждает честных, истинно благочестивых людей сокрушаться о том, что с его всхождением на кафедру митрополита пребывает в отсутствии митрополит на Руси. Устремленный не столько к небесному, сколько к земному, чревоугодник, любитель вина, перед богослужением обкуривающий себя серным дымом, чтобы придать своей цветущей физиономии грешника бледный вид изможденного праведника, он с такой страстью занимается своим земным достоянием, что его обвиняют в нечистоплотном обращении с казенными суммами, недаром деревни и села митрополичьего дома богатеют и населяются много быстрее и обильнее вотчин тоже жадных, тоже своекорыстных князей и бояр.

Немудрено, что этот сомнительной репутации пастырь, клятвопреступник и нечистый судья, не только не останавливает мятеж, созревающий как на дрожжах, но ещё и сам вмешивается в политическую борьбу и сеет новый раздор, впоследствии обернувшийся против него самого.

Михаил Глинский, всего лишь авантюрист, способный плести интриги, затевать мятежи и храбро биться на любом поле любого сражения, больше всех остальных князей и бояр опасается родных братьев покойного государя, имеющих по меньшей мере такое же право на верховную власть, как и он, тоже потомок великих, правда, литовских князей. Митрополит Даниил, в надежде выхлопотать для митрополичьего дома новые прирезки и привилегии, берется ему услужить, а может быть, и сам опасается мятежа со стороны хоть и немощных, ни на что путное не способных, но все-таки братьев умершего великого князя. Как бы там ни было, стремясь пресечь их возможные претензии на великокняжеский стол, он призывает к себе дмитровского удельного князя Юрия и старицкого удельного князя Андрея и берет с них крестное целование в том, что они ни сном ни духом не замышляют против своего облеченного, пока что прозрачной, властью племянника, причем то ли в спешке, то ли по недалекости своего разумения митрополит Даниил нарушает утвержденную обычаем церемонию крестного целования и тем дает третий предлог к мятежу.

Правда, старицкий удельный князь оказывается до того ничтожен и слаб, что на отступление от заведенного ритуала не обращает необходимого в его же интересах внимания. Зато



дмитровский удельный князь, человек действительно беспокойный, не без кровотокащих претензий и затаенных обид, возмущается, отчего это у него отбирают крестное целование на верность, а ответного крестного целования не дают, то есть не подтверждают его прародительских прав на удел. Невинное, казалось бы, упущение или злой умысел склонного к махинациям митрополита наводит удельного князя на мысль, а не хотят ли и в самом деле лишить его и его семейство наследственного удела, а его самого схватить, оковать, удушить, как обыкновенно происходит в борьбе за власть не в одной только русской земле.

Отказавшись оставить Москву и занять оборону в окраинном Дмитрове, может быть, ещё окончательно не решив, как ему поступить, он все-таки принимает меры для своей безопасности и спешит умножить свои вооруженные силы. За чей счет? Известно, за чей: его доверенные прислужники и лизоблюды продолжают сманивать самых нестойких, самых недалеких, самых завистливых или обиженных из подручных князей и бояр. Третьяк Тишков, его дьяк, соблазняет Андрея Шуйского перейти на службу к дмитровскому удельному князю, возможно, он же, или кто-то другой из той же ватаги смутьянов, делает такое же предложение Борису Горбатову. Они действуют по известному правилу всех провокаторов: Андрею Шуйскому нашептывают за пьяным столом, что Борис Горбатый уже дал согласие на отъезд, а Бориса Горбатого уверяют, что Андрей Шуйский принял их предложение и чуть ли уже не увязал сундуки.

Какое-то время назад князь Андрей Михайлович Шуйский уже отъезжал на службу к Юрию Дмитровскому. Тогда великий князь Василий Иванович потребовал его возвращения. Удельный князь Юрий Иванович не стал возражать и выдал отъездчика. Воротившийся князь Андрей за попрание крестного целования был сослан на службу в дальнюю крепость, затем переведен в Нижний Новгород, где командовал полком правой руки при Иване и Василии Шуйских, после чего получил отпущенье греха.

Такого рода обид подручные князья и бояре не забывают по гроб жизни и даже после, в своем потомстве, не могут простить. Князь Андрей готов вновь подрядиться в службу к дмитровскому удельному князю и участвовать в мятеже против сына уже потому, что был когда-то наказан отцом, однако первый опыт отъезда его кое-чему научил, он опасается, как бы в случае неудачи колеблемый ветром князь Юрий Иванович снова не предал его. Из осторожности он возражает Тишкову:

– Ваш князь вчера крест целовал великому князю, добра ему клялся хотеть, так отчего нынче зовет людей от него?

Тишков отговаривается насилием, как издавна принято у всех тех, кто преступает крестное целование или присягу:

– Князя Юрия бояре приводили заперши к целованию, а сами ему за великого князя целованья не дали, так что это за клятва и честь? Это неволя!

Андрей Шуйский все-таки наведывается тайно к Борису Горбатову, тоже только что отбывшему ссылку, однако в тот раз великому князю целовавшему крест на него. По тем же причинам, что и Андрей Шуйский, Борис Горбатый готов отъехать и участвовать в мятеже, но тоже колеблется, дмитровскому князю не верит, и Андрей Шуйский уговаривает его:

– Поедем вместе, а здесь служить – не выслужишь ничего: князь великий млад, несмышлен, оттого о князе Юрии и носятся слухи, аль не слыхал? Если князь Юрий сядет на государство, и мы к нему раньше других прибежим, так этим выслужим у него.

Борис Горбатый, должно быть, зная нрав князя Андрея, не склонен ему доверять: коварен род Шуйских весь до единого. Как знать, может быть, в случае удачи он и готов присоединиться к мятежникам, именно ради того, чтобы ухватить или вымолить кусок пожирней, тем не менее вслух отвечает отказом. Андрей Шуйский тотчас доносит на Бориса Горбатого как на отъездчика, страшась, имея на то основания, что тот первый на него донесет. В свою очередь, князь Андрей как в воду глядел, Борис Горбатый доносит на Шуйского.

Получив два доноса, присовокупив к ним упорные слухи о том, что дмитровский удельный князь замышляет мятеж, опекунский совет обязан принять неотложные и по обстоятельствам суровые меры для пресечения мятежа, однако опекунский совет до того ничтожен и слаб, что колеблется, спорит, ни на что не решается и тем не только не связывает, но развязывает тоже не особенно храбрым мятежникам руки. Михаил Глинский тоже не смеет ничего предпринять. Как все авантюристы, дети удачи, он хорош там, где необходимы отвага и сила, но, как все случайные люди, в крупных делах управления и политических битв он не уверен в себе. В глубине души он сознает, как шатко его положение, шатко именно потому, что в этой стране он всем чужак, что нет ни одного человека среди подручных князей и бояр, на которого бы он мог опереться, что одни сторонятся его, другие завидуют богатству и блеску его былых приключений, тем более завидуют внезапному возвышению, третьи презирают его за измены, недаром же, судачат они, великий князь Василий Иванович перед смертью просил подручных князей и бояр именно за него.

Такому человеку опора нужна, а где её взять? И Михаил Глинский совершает роковую ошибку, которая будет стоить ему головы: он обращается за поддержкой к племяннице, к Елене Васильевне, вдовствующей великой княгине. Правда, у вдовствующей великой княгини Елены Васильевны никакой власти нет, перед кончиной об этом прямо и грубо объявил великий князь Василий Иванович. По старинному праву удельных времен она впредь до их совершеннолетия опекает своих малолетних детей только в том, что касается их наследственного имущества. Докладывая ей, в присутствии опекунского совета и думных бояр, о делах политических, государственных, Михаил Глинский делает вид, будто её опекунство распространяется также и на верховную власть, будто верховная-то власть принадлежит именно ей. Елене Васильевне, в девичестве Глинской, рассчитывая на то, что станет действовать у неё за спиной, и подручные князья и бояре молча соглашались на такую подмену, предпочитая иметь дело с молодой неопытной женщиной, а не с опекунским советом, тем более не с её дядей, которого хоть и терпят, но не переносят с трудом.

Разумеется, Елена Васильевна не сморгнув глазом подыгрывает своему некстати хитроумному дяде. Она говорит, обращаясь ко всем:

– Вчера вы сыну моему крест целовали на том, что будете ему служить и АО всем добра хотеть, так вы по тому и делайте: если является зло, то усилиться ему не давайте.

Не теряя времени даром, Михаил Глинский отдает приказ князя Юрия Ивановича взять под стражу, оковать и заточить в тех же покоях, в которых окончил свои дни его племянник Дмитрий. Андрей Шуйский также отправляется в темницу на ближайшие пять безрадостных лет. Тем же ударом Михаил Глинский избавляется и от младшего брата покинувшего сей грешный мир государя. Испугавшись, вполне основательно, что его ждет та же страшная участь, князь Андрей Иванович выражает горячее желание удалиться в свою удельную Старицу и в обмен на это желание просит прирезать к его уделу кое-какие участки соседских земель, то есть требует платы за свое добровольное отстранение от слишком хлопотных государственных дел.

В соседских землях ему отказывают самым решительным образом, но все-таки, в знак благоволения и благодарности, нагружают его возы всяким хламом, оставшимся в кладовых почившего брата, великого князя. В виде разнообразной посуды и залежавшихся праздничных шуб и с величайшим удовольствием выпроваживают домой, так что чуть ли не в день погребения инока Варлаама в опекунском совете на одного члена становится меньше, и это приятное обстоятельство окончательно развязывает Михаилу Глинскому руки.

Он уже готовится, опираясь на вдовствующую княгиню, присвоить всю полноту великокняжеской власти себе, но не успевает воспользоваться своим на день или два укрепившимся положением. Он торопится закрепить на военном и дипломатическом поприще, где он опытнее и сильнее всех остальных князей и бояр. От имени малолетнего Иоанна он отправляет послов в Крым и в Литву, которым поручено довести до сведения главных супротивников Рус-

ской земли о новом правлении, уверить хана и литовского великого князя в его прочности на наследственном троне и тем отвести угрозу войны. Хорошо разбираясь в международных делах, он в первую очередь ждет нападения со стороны крымских татар, которые непременно возжелают воспользоваться кончиной московского великого князя для разбоя и грабежа, и поднимает в Коломну полки под водительством Ивана Федоровича Овчины-Телепнева-Оболенского, удалив его таким простым способом из Москвы, и братьев Дмитрия, Ивана и Семена Бельских. В самое время: одно появление московских полков на южной Украине вразумляет ненасытных татар.

Так легко и успешно укрепив безопасность Московского великого княжества, Михаил Глинский распространяет свое влияние на все прочие государственные дела. Старшим боярам, прежде всего Федору Мстиславскому и Дмитрию Бельскому и самой Думе он оставляет только почетное право судить и рядить, но приговаривать так, как будет угодно ему. Московским великим княжеством управляет он сам, правда, при этом с большим искусством делая вид, будто управляет опекунский совет. Во всяком случае, польский гонец доносит своему государю и сему, что «на Москве старшими воеводами, которые з Москвы не мают николи зъехати – старшим князь Василий Шуйский, Михайло Тучков, Михайло Юрьев сын Захарьин, Иван Шигона, а князь Михайло Глинский, тые всею землею справуют и мают справовати до летъ князя великого», то есть до совершеннолетия Иоанна.

И если польский гонец, от донесения которого зависит внешняя политика панов радных и короля, не сомневается в прочности опекунского совета и самого Глинского, значит именно опекунскому совету и Михаилу Глинскому на тот день принадлежит реальная власть на Русской земле. Это законная власть, определенная духовным завещанием великого князя, и она находится в опытных и крепких руках. У неё имеются все основания продержаться ближайшие двенадцать лет, когда Иоанн, по праву наследия, займет великокняжеский стол.

Гонец, конечно, более шпион, чем дипломат. Польский король отправляет его на разведку, а сам, как и после кончины великого князя Ивана Васильевича, ждет в Москве смуты и готовит полки, надеясь на этот раз навсегда покончить с крайне неудобной, ненавистой Москвой. Его намерения выдает уже появление гонца. Михаил Глинский от имени малолетнего Иоанна отправляет к королю Сигизмунду сына боярского Заболоцкого, который должен передать опасные грамоты для польских послов. Перед отъездом Заболоцкий получает наказа:

– Если спросят про великого князя братьев, князя Юрия и князя Андрея Ивановичей, где теперь князь Юрий и князь Андрей, то отвечать: князь Андрей Иванович на Москве у государя, а князь Юрий Иванович государю нашему тотчас по смерти отца его начал делать великие неправды через крестное целование, и государь наш на него опалу свою положил, велел его заключить.

Король Сигизмунд не очень верит словам Заболоцкого: смуты при малолетнем правителе слишком обычны в те неопределенные, переходные времена, и в Европе, и в Польше, и на Русской земле. Кроме того, нельзя исключить, что в Москве сидят его соглядатаи и соглядатаи доносят ему, что стремительным возвышением князя Михаила Львовича Глинского недовольны многие из подручных князей и бояр. Выжидая, пока это недовольство не превратится в мятеж, он решает не торопиться с послами. Больше того, он позволяет себе высокомерно разговаривать с беглым князем, когда-то обвиненным в смерти его брата короля Александра. Заболоцкому он поручает сказать:

– Хочу быть с великим князем в братстве и приязни точно так же, как отец наш, король Казимир, был с дедом его, великим князем Иваном Васильевичем. И если он на этих условиях захочет быть с нами в братстве и приязни, то пусть шлет к нам своих великих послов, да чтобы не медлил.

Таким тоном переговариваются только со своими вассалами, а возвращение к условиям мира между великим князем Иваном Васильевичем и королем Казимиром не только оскорби-

тельно, но и означает ещё, что Москва обязывается возвратить литовцам старинный русский город Смоленск. Король Сигизмунд даже не считает нужным скрывать, что это не предложение подумать и обсудить, но требование, которое следует исполнить так, как он говорит. Он повелевает литовскому гетману Юрию Радзивилу придвинуть полки к литовским украинам, ведет переговоры с татарами о совместном походе против Москвы и отправляет тайных гонцов к самым недовольным, нестойким или подлым московским князьям и боярам с предложением перейти на польско-литовскую службу, единственно ради того, чтобы усилить уже забродившую смуту и ослабить боеспособность законных московских властей.

Князю Михаилу Львовичу хорошо понятен этот гнусный язык. Опытный воин, он отдает приказ Семену Бельскому в товариществе с Иваном Ляцким готовить в Серпухове полки. С таким же приказом князь Иван Михайлович Воротынский отправляется в Одоев собирать свой удельный полк. Дмитрий Бельский в товариществе с Иваном Овчиной-Телепневым-Оболенским стоит с полками в Коломне. Таким образом обеспечивается оборона безобразно открытых, со всех сторон незащищенных московских украин, и со стороны Литвы, и со стороны крымских татар.

К несчастью, опытный политик и воин, князь Михаил Львович совершенно не разбирается в людях, что крайне опасно, а часто погибельно для любого правителя. Он не замечает, что его племянница, лишь по капризу судьбы ставшая московской великой княгиней, такая же авантюристка в душе и так же честолюбива, как и он сам. Он неосторожно сеет опасную мысль о правительнице Елене Васильевне, всего лишь ради того, чтобы прикрыть этой искусно расцвеченной ширмой прикрыть свое для многих оскорбительное могущество, однако и на версту не подпускает легкомысленную племянницу к власти, не принимая в расчет, что Елена всё ещё молода и красива и как никто опасна для него именно своими женскими прелестями, если оттолкнуть её от себя, если не бросить ей видимость власти, тем более что ей и нужна только видимость, а не тяготы государственной власти. Ещё меньше он замечает, как опасен для него Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский, поскольку ошибочно убежден, будто это ничтожество ничем не способно ему навредить. Он не принимает в расчет, что ему, иноземцу, дважды изменнику, чужаку, посягнувшему на единоличную власть, никто не простит такого бесчинства и что московские князья и бояре поддержат любое ничтожество, лишь оно им помогло избавиться от него.

Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский и в самом деле ничтожество. Этот молодой человек из родовитой, однако второстепенной семьи, прежде не достигавшей боярского чина, выдвигается ещё в начале правления великого князя Василия Ивановича как рубака отчаянной смелости, какой, впрочем, ни одному из московских воевод не занимать. Ему поручают передовой полк небольшой рати, расположенной в Туле, командование которым требует не столько полководческого искусства, сколько самой отчаянной храбрости в возможной схватке с татарами, затем, лет через пять, его ставят вторым воеводой сторожевого полка во время похода Василия Шуйского на Литву, где он отличился более тем, что остался в столкновении с неприятелем жив. Все-таки его замечают, и ещё четыре года спустя он становится вторым воеводой полка левой руки, позднее возвышается до первого воеводы полка левой руки да так и застревает на этих второстепенных ролях, лишь однажды оказавшись наместником в порубежной Калуге.

Он более, используя семейные связи, отличается при дворе и в конце концов добивается права мыться в мыльне с великим князем и спать у его постели, нечто вроде сторожевого пса. Свое в известном смысле, по дворцовым понятиям, высокое положение он использует довольно своеобразно: пользуясь тем, что его родная сестра служит мамкой у малолетнего Иоанна, Иван Федорович проникает в интимные покои великой княгини, строго-настроено закрытые для посторонних мужчин. Возможно, уже при жизни великого князя Василия Ивановича он становится возлюбленным прелестной Олены, возможно, именно он является отцом её второго

ребенка, больного от рождения Юрия, возможно, об этой греховной связи догадывается или знает великий князь Василий Иванович, может быть, по этой причине и не пожелавший видеть её перед смертью и определив ей всего лишь вдовий, крайне скудный, жалкий удел.

Собственно, роль возлюбленного при вдовствующей великой княгине, пусть и очень красивой, малозавидна, однако мысль о правительнице Елене Васильевне стремительно прорастает как в голове Ивана Федоровича, так и в голове самой прелестной Олены. Ей очень хочется стать и в самом деле правительницей, тогда как он при ней станет правителем. Вдвоем они станут втрое сильнее. Прелестная Олена исподтишка привлекает на свою сторону боярскую Думу, которая заранее готова на любые проделки, лишь бы устранить со своей дороги наглого чужака и воротить себе прежнее, то есть полновластное положение, которого её начал лишать великий князь Иван Васильевич и окончательно лишил великий князь Василий Иванович и которое и не подумал восстановить князь Михаил Глинский. Всего месяц спустя после кончины супруга она возводит своего возлюбленного в боярский чин и вскоре затем в чин конюшего, чрезвычайно важный в системе московского управления, и боярская Дума, всегда до крайности щепетильная в назначениях этого рода, и бровью не ведет, когда такие чрезмерные милости валяются на малородовитого и вполне заурядного человека, возможно, рассчитывая на то, что такое ничтожество из её боярской воли не выйдет.

Неизвестно, принимал ли Иван Федорович участие в новой интриге. Известно, что кто-то эту интригу затеял и провел в жизнь: исподволь распространяется слух, что следом за удельным Дмитровским князем Юрием Ивановичем готовится опала на его племянников Бельских, двоюродных братьев малолетнего Иоанна. Семен Бельский склонен верить этому слуху. Сговорившись с Иваном Ляцким, из рода Захарьиных, он тайно сносится с польским королем Сигизмундом, оба изменника получают от вражеского правителя опасные грамоты и, вместо обороны Серпухова от возможного литовского нападения, перебегают на службу в Литву, причем перебегают не в одиночестве, а с отрядами своих служилых людей. В те же дни князь Иван Михайлович Воротынский сговаривается с польским королем об условиях, на которых и он готов перейти на польско-литовскую службу, да не с одним отрядом служилых людей, а прямо вместе с уделом, то есть с городами Одоевым и Новосилем, стоящими на страже литовских украин, что прямо угрожает целостности Московского великого княжества, а московские согластатаи доносят королю Сигизмунду, что подбираются и другие князья и бояре, готовые перебежать на службу к нему, и только ждут, хорошо ли он наградит за измену Семена Бельского да Ивана Ляцкого. Что ж, король Сигизмунд награждает их хорошо и, в свою очередь, ждет полного развала на русской земле, как только подручные князья и бояре толпами к нему побегут.

В столь крутых обстоятельствах князь Михаил Львович действует решительно и твердо, как и должен действовать достойный правитель. Его повелением берут под стражу Дмитрия Бельского по подозрению в сговоре с беглецом, однако вины не находят и отпускают без наказания. Иван Бельский уличается как сообщник брата Семена и попадает в железы и в заточение. Полностью изобличается Иван Михайлович Воротынский и отправляется вместе с детьми в заточение на Белое озеро, где и умирает менее года спустя.

У князя Михаила Львовича появляется благая возможность разделаться и с самим опекунским советом. Михаил Захарьин, один из членов совета, состоит в родстве с Иваном Ляцким, изменником, и с Иваном Воротынским, замышлявшим измену. Родство, по нашим понятиям, не особенно близкое, особенно с Воротынским, всего лишь первым браком женатым на одной из Захарьиных, однако во времена местничества даже седьмая вода на киселе сплавливает родственников в одну большую семью так, что все они, всегда и во всем, как в служении московскому князю, так и в измене, действуют заодно. Таким образом, Михаил Юрьевич вполне может быть любым образом замешан в измену и Ляцкого и Воротынского, если не прямым пособничеством, то хотя бы сочувствием, одобрением или согласиём на побег, и Миха-

ила Юрьевича без докучных хлопот разбирательства препровождают под стражу, однако в темнице держат что-то уж слишком недолго. Что за причина? На этот счет никаких известий не сохранилось. Человек он, как и Овчина-Телепнев-Оболенский, довольно ничтожный, правда, совсем в другом отношении. Служит он очень давно, без приметного продвиженья наверх, всё больше на невидных местах, третьим, в лучшем случае вторым воеводой, лишь в одном из последних походов командует артиллерией, и на всех местах является государевым оком, то есть доносчиком, стало быть, знает всё обо всех. Можно предположить, что, под угрозой вечного заточения где-нибудь и подальше Белого озера, Михаил Юрьевич делится кое-какими сведениями с Михаилом Львовичем, а заодно отрекается от всяких претензий на опекунство, ставшее опасным для жизни, предает не только порученного его чести малолетнего государя, но и своих совместников по совету опекунов, и благодаря такому поступку, который благородным никак невозможно назвать, отделяется легким испугом. Больше того, его отпускают не только с миром, но и с почетом и оставляют в Москве.

Многим из подручных князей и бояр либо по догадке ведомо, либо прямо открыто, что Михаил Юрьевич служит государевым оком. Его заточение, в особенности его быстрое и окончательное помилование рожают панику среди тех, кто, подобно Бельскому и Ляцкому, намеревался бежать, ведь Михаил-то Юрьевич вполне мог выдать любого из них. Никому не хочется прогуляться на Белое озеро, где чаще всего умирают от голода или побоев, и сам собой составляется заговор: Михаила Глинского, этого выскочку, чужака и насильника, надо поскорее убрать, пока он не убрали того и другого и третьего. Иван Федорович, отныне боярин, конюший, настраивает против него боярскую Думу, которая чувствует, что её час наконец наступил, что теперь или никогда она может вернуть себе прежнюю власть.

Князь Михаил Львович спохватывается: Иван-то Федорыч не так прост, как он полагал, необходимо его с племянницей разлучить, в противном случае далеко ль до беды? Человек он решительный, смелый, мятежник и воин, с деликатностью, вообще малоизвестной в те грубые времена, не знаком. По этой причине он совершает ещё одну роковую ошибку: там, где необходимо действовать мягко, обольщать и умасливать, он поступает по-солдатски, резко и грубо, чуть не публично позорит племянницу, обличает разврат, особенно греховный в её положении, когда и года не протекло со дня кончины великого князя-супруга.

Самой собой разумеется, своей грубостью он достигает обратного действия. Оскорбленная племянница окончательно переходит на сторону боярской думы, уже настроенной против него. Через Ивана Федоровича боярской Думе дается понять, что Елена Васильевна, ради истины и справедливости, готова на всё. Не проходит и двух недель со дня бегства Семена Бельского и Ивана Ляцкого и расправы над Воротынским, а бояре, которые вынуждены действовать быстро, уже являются к правительнице олене, бьют челом и докладывают, что её дядя, Михаил Львович Глинский, всего-навсего, отравил её горячо любимого мужа, великого князя Василия Ивановича, а малолетнего Иоанна намеревается зачем-то выдать полякам.

Приходится признать, что умственные способности московских князей и бояр, желающих присвоить всю полноту власти себе, слишком невелики: большей нелепости придумать нельзя. Что великий князь Василий Иванович кем-то отравлен, ним у кого из них, похоже, сомнения нет, однако Михаил-то Львович причём, ему-то злодейство зачем? Они об этом, конечно, не думают. Просто-напросто они решили убрать ненавистного чужеземца, вообразившего о себе черт знает что и не думают ни о чем, наперед получив уверения, что вдовствующая великая княгиня примет любую ложь ради своего возвышения. И вдовствующая великая княгиня с замечательной легкостью, без каких-либо возвышающих её колебаний, без зазрения совести, выдает дядину голову в обмен на видимость власти, поскольку о реальной власти в её руках и речи не может идти, хотя понимает, при всем своем легкомыслии, что никого дядя Михаил Львович не отравил и не думал выдавать малолетнего Иоанна своему кровному врагу польскому королю Сигизмунду.

Видимо, как раз в эти смутные дни тайно уничтожается духовное завещание великого князя Василия Ивановича, в котором не содержалось и не могло содержаться ни слова о правительнице олене. Отныне подручные князья и бояре утверждают прямо обратное, именно то, будто умирающий государь назначил единственной опекуншей великую княгиню Елену Васильевну, мать малолетнего великого князя, что выглядит правдоподобно только для тех затуманенных прелестью глаз, которые видят всё, что угодно, лишь бы увиденное было выгодно им. В полном согласии с этим наспех состряпанным заветом покойника Михаила Глинского и вместе с ним весь опекунский совет обвиняют в злостном и воровском присвоении государственной власти, в желании править помимо и независимо от вдовствующей великой княгини, что, разумеется, объявляется прямым нарушением священной воли покойника, благо с уничтожением духовного завещания эта воля доподлинно становится никому не известной, а скрепивший то духовное завещание своим пастырским словом митрополит Даниил упорно молчит. После этого нечего удивляться, что виновных в исполнении подлинного завещания без промедления заключают под стражу.

Правда, не всех, только Глинского и Воронцова, и судьба обоих опекунов оказывается на удивление различной, хотя и того и другого одинаково обвиняют не в чем ином, как в заговоре, направленном против здравствующего великого князя. Воронцов, по всей вероятности, следует по дорожке, протоптанной Михаилом Захарьиным, то есть так же малодушно, хотя и не так истово кое-кого предаёт и отрекается от своих обязательств и прав. В благодарность за трусливое смирение и покаяние его не только вскоре отпускают на волю, но ещё отправляют с почетным поручением в Великий Новгород, воеводой и наместником новгородским, который, между прочим, располагает старинным правом вести самостоятельные переговоры со Швецией. Напротив, Михаила Глинского, всем здесь чужого, почти всем ненавистного, без лишних сожалений заточают в темницу, морят голодом и успешно доводят до смерти.

Не успевает Москва оглядеться после погребения инока Варлаама, а в опекунском совете из семи остаются невредимыми только трое бояр. Сметливые Шуйские, лукавые, ловкие, тотчас делают вид, что никакого опекунского совета и не было никогда, на заседаниях боярской Думы мирно сидят на своей лавке и преспокойно живут как ни в чем не бывало, уходя всё дальше и дальше в день, вплоть до забвения. Что касается Михаила Тучкова, то и он совершенно стушевывается, исчезает куда-то из вида, точно и не жилось на свете никакого Михаила Тучкова.

Таким образом, победа достается, легко и бескровно, вдовствующей великой княгине и ей возлюбленному Овчине-Телепневу-Оболенскому, никаких протестов, тем более возмущений не слышно, что лишний раз свидетельствует о том, как ещё слаба в умах московских князей и бояр идея единодержавия и связанная с ней идея законности, идея верности принятым на себя обязательствам, скрепленным не как-нибудь, а торжественным и прилюдным целованием святого креста. Предательство никому не ставится в поношение, поскольку сама идея предательства едва ли проникает в сознание тех, кто правит на Русской земле. Подручные князья и бояре руководствуются случаем, а не честью, личной выгодой, а не служением государственным интересам. Все они пока что не граждане, не подданные своего государя, а частные лица, которые пекутся единственно о собственном достоянии, а там хоть трава не расти.

## Глава шестая

### Правительница Елена Васильевна

Устранение Михаила Глинского, сильного воина, якобы ради того, чтобы малолетний великий князь не попал в руки польского короля Сигизмунда, оказывается на руку именно польскому королю, который только и ждет наибольшего, лучше окончательного ослабления Русской земли, после чего нанести ей уже последний, смертоносный удар. Соглядатаи доносят ему, что между князьями и боярами уже воцарился мелочной, явным образом склочный раздор, что в Москве доходит чуть ли не до ножей из-за того, кому первому быть, что в Пскове по каким-то причинам отсутствует гарнизон и только торговые и посадские люди сходятся самовольно на вече, на котором судят и рядят, как им оборону держать, коли нагрянет Литва, да наместник и московские дьяки хода им не дают.

Приблизительно месяц спустя после заточения Глинского литовский гетман Юрий Радзивил и в самом деле направляет киевского воеводу Андрея Немировича и дворного конюшего Василия Чижа в сторону Новгород-Северского, а князя Александра Вишневецкого на Смоленск. И до того на Москве закружились, сбились с толку умы, что никакая опасность вторжения им нипочем. Подручные князья и бояре до того заняты дележкой власти и сведением личных обид только что не до седьмого колена, что не выставляют полков, и литовские лихоимцы движутся беспрепятственно по оставленной без защиты русской земле. Всей западной Украине Московского великого княжества грозит разорение, может быть, потеря порубежных селений и городов. Положение, почти безнадежное, слава Богу, спасет мужество гарнизона и посадских людей, вооруженных чем ни попало: крепостное сиденье у русского человека в крови. Литовской нечисти удастся сжечь один Радогощ. Литовских хищников отбивают и от Стародуба и от Чернигова и от Смоленска. Им приходится везде с потерями отступить.

Может быть. Внешняя угроза в конце концов несколько протрезвляет подручных князей и бояр. Кое-как придя в себя от страха нашествия, они договариваются о разделении власти. По-прежнему официальным правителем является великий князь Иоанн, достигший четырехлетнего возраста. От его имени составляются грамоты, от его имени ведутся переговоры, он лично принимает иноземных послов, причем слова приветствия произносит не только по-русски, но и на татарском наречии. Официальной правительницей при нем становится вдовствующая великая княгиня Елена Васильевна, в девичестве Глинская, и весь этот недолгий период и без того взбаламученной российской истории, с 1533 по 1538 год, именуется правлением Елены Глинской, хотя в действительности мать великого князя лишь представляет, то есть совместно с подрастающим сыном присутствует на разного рода торжественных церемониях и богослужениях в стольных храмах и бесчисленных монастырях, при этом нередко нарушает сложившиеся веками обычаи, не по злому умыслу скорее всего, а потому, что, как чужестранка, плохо знакома с священными обычаями своей новой родины или к ним вполне равнодушна, чем вскоре возбуждает против себя угрюмую враждебность подручных князей и бояр, которые без строжайшего соблюдения великого множества обрядов и обычаев седой старины и шагу не мыслят ступить. Фактически Московским великим княжеством правит счастливый баловень судьбы Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский, храбрый воин, но недалекий, посредственный человек, умеющий принимать и ценить лишь откровенную, грубую лесть. Лести, понятное дело, достаточно. Русский человек исстари живет по пословице, что, мол, плетью обуха не перешибешь, а потому делает вид самого послушного из послушных холопов, льстит и заискивает перед тем, кто сильнее, однако жить продолжает по-своему, как Бог на душу положит, по другому русскому выражению, да ждет часа, когда с этим сильным, отчего-то как правило оголтелым буяном можно будет рассчитаться по полной программе, если не кровавой мезьей, так полным забвением. Иноземные государи тоже по необходимости



прибегают к официальной, ничего не значащей лести и своих послов направляют не к кому-нибудь, а к конюшему Ивану Федоровичу Овчине-Телепневу-Оболенскому, минуя великого князя и правительницу Елену Васильевну, что, понятное дело, страсть как льстит его бедному самолюбию.

Зачарованный своим приятнейшим положением возлюбленного молодой и прелестной правительницы, отравленный ритуальной, то есть ничего не значащей лестью подручных князей и бояр, он тем не менее на каждом шагу ощущает пренебрежение со стороны самых старинных, самых влиятельных княжеских и боярских родов, в таблицах и местнических подсчетах которых ему отводится одно из самых скромных, непривлекательных мест. Не имея с ними родственных связей, единственно значимых и полновесных на русской земле, он по необходимости приближает к себе одних отъявленных подхалимов, тоже членов незнатных или захудалых родов, и в свою очередь пренебрежительно относится к прочим князьям и боярам, именитым и знатым, ни за что на свете не способных унижить свою родовитость искренней близостью с ним. В ответ они с ещё большим нетерпением ждут того заветного часа, когда он споткнется и они рассчитаются с ним.

Наконец боярская Дума возвращает себе былую самостоятельность, «по благословению отцов и прародителей», как гласит важнейшая, всё определяющая формула исходящих от неё установлений и грамот. Она состоит из потомков бывших рязанских, тверских, ростовских, ярославских великих или на худой конец удельных князей. Все эти потомки сидят на тех же владениях, которыми когда-то самовластно владели их предки, в этих владениях они обладают неограниченной властью, которой может позавидовать любой не только европейский, но и азиатский монарх, судят и рядят и приговаривают все дела без права обжалования, не отдавая отчета московскому великому князю, нередко по тем же прецедентам и записям, которые существовали в этих владениях до того дня, когда их поглотило более мощное, более перспективное, постоянно растущее Московское княжество, и если они соглашаются служить московскому великому князю, то лишь на условии, что они сообща и все вместе правят Русской землей и что он ни шагу не смеет ступить без их согласия и приговора. Они хоть и ворчали, но всё же с должным смирением терпели тяжелую руку великого князя Василия Ивановича, ожидая, по обыкновению, своего часа, он им и в голову не приходит терпеть какого-то Ивана Федоровича и какую-то Елену Васильевну, благо ни Иван Федорович, ни Елена Васильевна не склонны и не имеют духу им возражать. Отныне они судят и рядят и приговаривают как когда-то рядили, судили и приговаривали их далекие предки счастливых для них, но разорительных для Русской земли удельных времен, а Ивану Федоровичу и Елене Васильевне остается лишь исполнять то, что они в Думе решат.

В начале октября, когда литовских хищников и след простыл, решают собрать полки и двинуть в Литву, в отместку за нападение на Смоленск, Чернигов и Стародуб. Никакого стратегического плана не разрабатывается, идут, собственно, так, на авось, до какого места дойдут, причем остается неясным, с какой именно целью идут. Единого командования не назначается, да и назначить нельзя, на такой важный пост не сочтутся до второго пришествия. И тут поступают по старине, по благословению прародителей, как ходили в удельные времена. Полки под водительством Михаила Горбатого-Суздальского и Никиты Оболенского без особенной торопливости движутся от Смоленска по направлению к Вильне, полки под водительством Бориса Горбатого От Великого Новгорода и Пскова тем же порядком выдвигаются на Витебск и Полоцк. При этом выпадает минута покуражиться над Иваном Федоровичем. В чине конюшего Овчина-Телепнев-Оболенский располагает, в отсутствие великого князя, тоже по благословению прародителей, громадной административной властью, однако в войсках Михаила Горбатого-Суздальского его ставят всего лишь на передовой полк, на большее, мол, ни родом ни рылом не вышел.

При выступлении полков из Москвы присутствуют малолетний великий князь Иоанн и правительница Елена Васильевна. Отслужив молебен, митрополит Даниил торжественно обращается к ещё бессмысленному ребенку:

– Государь, защити себя и нас! Действуй, мы будем молиться! Гибель зачинающему, а в правде помощник Бог!

Выступают бодро, громко обещают победу, однако брани затеваются какие-то странные. Судите сами, московские полки глубоко вклиниваются, нигде не встречая сопротивления, и проходят по литовским владениям, прежде бывшим русскими землями, жестоко грабят и жгут, католические храмы сметают с лица земли, хвалятся тем, что не трогают православных церквей и православных подданных литовского великого князя в плен не берут, но отчего-то обходят литовские крепости стороной, точно дворянское ополчение из победителей на Куликовом поле превратилось в трусливую шайку бродяг. Оно благополучно грабит и жжет селенья и предместья Дубровны, Орши, Друцка, Борисова, воины Бориса Горбатого опустошают всё вокруг Полоцка, Витебска и Бряславля, после чего оба воинства соединяются и движутся к Вильне. Вильна взрывается паникой. Король Сигизмунд пытается спешно стянуть на помощь войска, но польские и литовские ополченцы не успевают с должной поспешностью собраться и выступить. Вильна, в сущности, стоит беззащитна, покорна черной судьбе. Московским воеводам стоит хотя бы попытаться взять её приступом, ведь в случае победы над стольным градом Литвы может быть заключен самый выгодный, к тому же долговременный мир. Отчего-то эта естественная для воина мысль московским воеводам в голову не приходит. Вместо овладения Вильной, разрушив дома, перебив жителей, перерезав скот, уничтожив запасы хлеба и сена, сами не потеряв в этой вакханалии ни одного человека, несмотря на лютые морозы и глубокий снег, приблизившись на расстояние пятнадцати верст, московские полки без всякой причины поворачивают от Вильны назад и, отягощенные добычей и пленными, в начале марта 1535 года уходят домой через Псков.

Только тут обнаруживается, главным образом на удивленье потомкам, что ни боярская Дума, ни правительница Елена Васильевна, ни конюший Иван Федорович, ни подручные князя и бояре и думать не думают о полной победе, об окончательном разгроме зарвавшегося врага. Им бы овладеть Вильной и тем положить конец беспрестанным набегам литвы, а им мерещится неприятель в Москве. Они совместными усилиями принимают решение исполнить давний замысел великого князя Василия Ивановича: укрепить беззащитный московский посад глубоким рвом и стеной, поскольку, в случае наскока литовцев или татар, крепкие кремлевские стены не вместят ищущих спасения горожан, число которых слишком быстро и непрерывно растет.

Правда, на такое громадное, ведущееся с безрассудным размахом строительство требуются такие же громадные средства: подрядчикам надо платить, а подрядчики страсть как любят украсть. Казна московского великого князя, оставленная таким рачительным хозяином, как Василий Иванович, с полной исправности, в неё поступают дани и пошлины с вотчин и городов, принадлежащих лично великому князю, но, само собой разумеется, правительница Елена Васильевна не склонна её открывать. Конюший Иван Федорович слишком беден, даже если бы вдруг заболел желанием оказать денежную помощь строительству. Подручные князя и бояре несут одну-единственную обязанность перед русской землей: по первому зову великого князя являются конно, людно и оружно и отправляются в поход, во время которого, как выясняется, не столько истребляют противника сколько грабят и жгут беззащитных селян. Их вотчины ограждены привилегиями от каких-либо сборов и пошлин, как ограждены они и от великокняжеского суда, с этих вотчин в казну великого князя не прибавляется даже полушки.

Собственно, новые сооружения возводятся для защиты торговых и посадских людей, которых в первую очередь грабят и жгут. Что ж, московское купечество готово раскрыть сундуки, однако подрядчики отказываются брать деньги из их сундуков. Со дня смерти великого

князя Василия Ивановича проходит немногим более года, а положение на денежном рынке становится безобразным. Пока правительница Елена Васильевна и конюший Иван Федорович, с одной стороны, подручные князья и бояре, с другой стороны, возятся с удельным князем Юрием Ивановичем, с князем Михаилом Львовичем, с опекунским советом и делят власть между собой, во всех сферах жизни понемногу нарушается разумно и к общему удовольствию заведенный порядок. Великий князь Василий Иванович почти полностью вывел татьбу и разбои, теперь татьба и разбои возрастают с новой, уже вовсе безудержной силой. Великий князь Василий Иванович успешно вел непримиримую войну с фальшивомонетчиками, этим негодяям и жуликам секли кисти рук, рот заливали расплавленным оловом, и, хотя никакие самые жестокие, самые бесчеловечные меры не в состоянии справиться там, где затронута частная выгода, подделка монеты производится осторожно и медленно, теперь фальшивомонетчики распускаются окончательно, из фунта полновесного серебра уже чеканят десять рублей вместо определенных законом пяти, что, натурально, подрывает торговлю, останавливает дела, исподволь истощает казну не только великого князя, но и каждого из подручных князей и бояр.

Новым правителям приходится предпринять какие-то меры, и новые правители их принимают, однако принимают меры такие, которые обнаруживают, что новые правители тоже скорее мошенники, чем люди с широким, государственным пониманием хода вещей.

Что касается татьбы и разбоя, то вся ответственность за эти нетерпимые в любом благоустроенном обществе злодеяния просто-напросто перекладывается на плечи местных властей учреждением губных старост, которые отныне обязаны наводить строгий полицейский порядок во вверенных их попечению волостях, прием жульнический и сам по себе, однако замечательно стойкий, должно быть, бессмертный, поскольку применяется и в более поздние времена, причем губной староста получает право по первому подозрению взять под стражу и подвергнуть пытке любого жителя волости, что без неусыпного и жесткого контроля со стороны центральных властей не может не приводить к произволу.

С фальшивомонетчиками поступают более разумно и эффективно. В марте 1535 года повсеместно изымается из обращения вся испорченная обрезанием или подделкой монета. Вместо обрезанной или подделанной чеканится новая. По замыслу такого мероприятия новая монета должна быть полновесной, как прежде. Чтобы пресечь хождение старых монет, на которых выбивался всадник с мечом, на новой монете выбивается всадник с копьем, отчего новая монета тотчас получает имя копейки. Понятно, что изъятие обрезанных или поддельных монет и чеканка копеек производится казной великого князя, а казне великого князя тоже наличные деньги нужны. По этой причине выходит постановление из фунта полновесного серебра чеканить все-таки шесть монет, а не прежние пять, что позволяет казне за здорово живешь загребать солидный доход и понести и свою долю затрат на укрепление посада.

В мае 1535 года после торжественного молебна закладывается первый камень новой стены. От Неглинной к Москве-реке через Троицкую площадь и Васильевский луг прорывается ров, по внутреннему краю рва возводится каменная стена и четыре башни с воротами Сретенскими, Троицкими, Всесвятскими и Козмодемьянскими, а обнесенному новой стеной городскому пространству присваивается татарское имя Китай. Заодно в разное время обновляется несколько крепостей на западных и восточных окраинах, закладываются две-три новые крепости, но более по разумению самих воевод, которые ведают обороной укреплений, чем благоразумием московских властей.

Когда ведется громадное строительство, а никто не хочет платить, приходится бесцеремонно, с особенной жестокостью налегать на даровой труд окрестных землепашцев, звероловов и рыбаков, которым суждено извечно расплачиваться потом и кровью как за блистательные, так и за преступные деяния навязавшихся на их шею правителей. С какой-то беспримерной отвагой незаконные власти безвременья обращаются с прежде всегда неприкосновенными доходами церкви. Побыры на возведение городских укреплений в Москве взимают не только с тор-

говых и посадских людей, что, естественно, имеет под собой хотя бы видимость морального права, но также и с духовенства. По всей вероятности, уклончивый митрополит Даниил чует противника в новгородском архиепископе, а потому с его молчаливого согласия казна взимает с новгородских монастырей и церковей крупную, близкую к разорению сумму на выкуп русских пленников из татарского плена. Средств всё равно ни на что не хватает. Тогда новые власти попросту отписывают в казну все пожни новгородских монастырей и предлагают эти же пожни в аренду тем же монастырям, что является беспримерным бесчинством, давненько не виданным на Русской земле. Понятно, почему молчит митрополит Даниил, но и новгородский архиепископ, человек дальновидный, тоже молчит, тем не менее с этого поистине несчастного дня православная церковь отказывается поддерживать новую власть, отчего и без того слабая, физически и морально, новая власть становится вдвое, если не втрое слабей.

Понятно, что слабостью власти пользуются не только тати, разбойники и фальшивомонетчики, но и соседи, которые едва ли лучше тех и других. С запада, с востока и с юга нападают, то порознь, то одновременно, литовцы, казанцы и крымцы. При трех ветвях власти, которые силятся управлять каждый по-своему и потому не управляют ничем, в московских войсках по-прежнему не заводится единоначалия. Боеспособность, и без того невысокая, стремительно падает, почти до нуля. Обнаруживаются первые признаки безобразной анархии. Воеводы отказываются исполнять повеления, ещё хуже: без боя сдают города. Известия с театра военных действий поступают замечательно странные: представьте себе, литовские пушкари отчего-то палят в разные стороны и бьют по своим, тогда как московские так и лупят без промаха, однако, несмотря на их чудеса, громких побед не слышать.

Польский король Сигизмунд, напуганный недавним приближением к Вильне, усердно подбивает крымских татар в набег на Москву, чтобы, заманив московские полки на Оку, нанести внезапный удар на Смоленск. На счастье Москве, в Крыму заваривается очередная междоусобная свара. Ислам-Гирей свергает Саип-Гирея и провозглашает себя верховным правителем, но добить, то есть перерезать глотку, Саип-Гирея не успевает или не может. Польскому королю Сигизмунду приходится спешно подкупать и того и другого. Ислам-Гирей всегда готов с одинаковой прытью грабить и московские и польские и литовские земли, за большие деньги вдвойне. Польский король Сигизмунд предлагает ему, в оплату за срочный набег на Москву, десять тысяч дукатов и двести поставов сукна. Ислам-Гирей решает прежде поторговаться с Москвой, авось московские князья и бояре больше дадут, если он нагрянет на литовцев и ляхов. Правительница Елена Васильевна, конюший Иван Федорович и боярская Дума почитают за благо откупиться от этого предводителя разбойничьей шайки. Князь Александр Стригин-Оболенский получает повеление выехать в Крым с большими поминками, как татары именуют отступные дары. Стригину-Оболенскому известен татарский обычай грабить до нитки московских послов. Подвергать свою особу такой чрезвычайно неприятной напасти ему явно не улыбается. Подданный московского великого князя, крест целовавший служить ему верой и правдой, отказывается служить, причем измышляет замечательный повод отказа: он считается местами с татарами:

«Ислам отправил к тебе послом Темеша, но этого Темеша в Крыму не знают и имени ему не ведают; в том Бог волен да ты, государь: опалу на меня положить или казнить меня велишь, а мне против этого Исламова посла, Темеша, нельзя идти...»

На Стригина-Оболенского и в самом деле какую-то опалу накладывают. Послом к Ислам-Гирею отправляется князь Мезецкий. Ислам-Гирей с удовольствием вступает в переговоры. Для начала он требует пятьдесят тысяч деньгами, половину наличной казны московского великого князя, которую ему будто бы отписал в своем завещании великий князь Василий Иванович, затем предлагает заключить военный союз, с тем, чтобы против его врагов московские полки бились вместе с татарами, и в довершение своей разбойничьей наглости именует малолетнего Иоанна своим младшим братом, что на дипломатическом языке означает вассальное

подчинение Московского великого княжества Крымскому ханству. Естественно, что ему отвечают отказом.

Тем временем прибегают в Москву служилые люди Семена Бельского и доносят боярам, что литовские полки вновь направляются на Смоленск. Большой полк под началом Василия Шуйского выступает из Можайска к Смоленску, передовым полком у него опять командует Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский. На помощь им из Великого Новгорода и Пскова должны выступить полки Бориса Горбатого и Михаила Воронцова. Они выступают, однако останавливаются в Опочке и от военных действий отказываются, причины чему неизвестны. Один Иван Бутурлин, в Великом Новгороде исполняющий должность дворецкого, выдвигается верст на двести к югу от Пскова и здесь, в литовской земле, между озерами Себежским и Ороно, на месте старинного славянского городища, более ста лет назад разоренного литовским князем Витовтом, в течение месяца рубит деревянную крепость, Ивангород-на-Себеже, впоследствии Себеж.

Вдруг обнаруживается, что подлые перебежчики нагнали с три короба, должно быть, с преступным намерением. В действительности, пока Василий Шуйский медленно, но верно разоряет окрестности Кричева, Радомля, Могилева и забирает всё круче на север, а Горбатый и воронцов прохлаждаются в тепле и в покое в почке, литовские полки Юрия Радзивила, Андрея Немировича, Яна Тарновского, Ивана Острожского и Семена Бельского отклоняются к югу, на Стародуб, и в помощь им спешат татары жулика Ислам-Гирея, все-таки перекупленного польским королем Сигизмундом, жгут и полонят рязанские селенья и городки.

Дмитрию Бельскому и Федору Мстиславскому приходится сломя голову поднимать дворянское ополчение всегда настороженных южных украин. Едва заслыша о приближении конницы, татары поворачивают вспять и уходят в бескрайние степи Дикого поля на быстроногих конях, наделав бед, не понеся потерь со своей стороны. Тем не менее им удастся отвлечь на себя те полки, которым следовало стремительным маршем идти к Стародубу. Литовцы обрушиваются на московские города, защищаемые только малыми гарнизонами мирного времени. Перепуганный князь Оболенский-Щепин уводит из Гомеля свой личный полк, и брошенный на произвол судьбы Гомель сдается на милость счастливого неприятеля. Федор Сукин находит, что вверенный его чести и доблести Почеп недостаточно для него укреплен, стало быть, по его же вине, поскольку он был обязан давным-давно заняться его укреплением, советует посадскому люду зарыть свои ценности в землю и разбежаться в разные стороны, а сам поджигает крепость со всех четырех сторон и отступает поближе к родимому дому, вместо того, чтобы насмерть биться с проклятым врагом.

Один князь Федор Васильевич Овчина-Телепнев-Оболенский, воевода, конюшему дворянский брат, героически защищается в Стародубе. Его пушки со стен исправно поражают не особенно прытких литовцев, когда встречают должный отпор, его воины чуть не каждую ночь делают удачные вылазки, которые стоят неприятелю ощутимых потерь. Вопреки обыкновению, литовцы не снимают осады. На этот раз догадливый польский король Сигизмунд придает им немецких наемников, главным образом пушкарей и мастеров осадных работ. Неожиданно для защитников Стародуба наемники подводят под стены подкоп и взрывают его, чего в затяжных русско-литовских войнах ещё не бывало. Город поражает неслыханный гром. Деревянные постройки пылают. Литовцы врываются в громадный пролом. Однако князь Федор Васильевич дважды выбивает их из наполовину разрушенной крепости и пробивается до самого литовского стана. Победа колеблется и ещё может остаться за русскими, но защитники Стародуба теряют своих воевод одного за другим: погибает в битве князь Петр Ромодановский, Никита Колычев получает смертельную рану, от которой умирает два дня спустя, князь Федор Васильевич Овчина-Телепнев-Оболенский с князем Сицким оказываются в плену. Литовцы наконец врываются в Стародуб и вырезают всех его жителей, лишь очень немногим удается спастись.

Ни конюший Иван Федорович, командующий передовым полком, ни сам Василий Шуйский не приходят на помощь осажденному Стародубу. Они благополучно грабят и разоряют окрестности Княжичей, Шклова, Копоса, Орши, Дубровны и с добычей отходят к Смоленску, ни разу не встретившись с неприятелем в открытом бою.

В январе 1536 года, окрыленный прошлогодни успехом, Андрей Немирович подступает к только что заложенному Себежу, чтобы стереть с лица земли новую русскую крепость и тем ослабить западную Украину Московского великого княжества. Крепость обороняют воеводы Засекин из обедневших ярославских князей и Тушин из обедневших Морозовых. Удачно поставив пищали и пушки, они отбивают натиск литовцев, делают вылазку и оттесняют неприятеля на лед озера. Лед, ещё не окрепший в ту теплую зиму, проваливается во многих местах. Защитники Себежа истребляют почти весь литовский отряд, забирают обоз, знамена и пушки, честь и слава для них.

И вновь никому из московских воевод и в голову не приходит, пользуясь этой внезапной и довольно громкой победой, развить наступление, продвинуться как можно глубже в пределы Литвы и нанести решительное поражение неутомимым захватчикам, только и ждущим удобного случая, чтобы прорваться сквозь московские рубежи и, при удаче, покончить с Москвой. Победа под Себежем остается единичной, случайной, без продолжения, без выгоды для Русской земли. Предприимчивости подручных князей и бояр хватает только на то, чтобы пройти набегом по окрестностям Любеча и Витебска, выжечь посады, взять полон и добычу и поспешно воротиться к родным очагам.

Окончательно становится ясным, что единственная задача, доступная московским военным умам, сводится лишь к обороне, которая в сложившихся обстоятельствах, когда неприятель отовсюду рвется к Москве, этими постоянными мелкими кровопролитными стычками медленно, но верно истощает боевые силы Московского великого княжества. Для его укрепления ставится крепость Заволочье на подступах к Ржеву и крепость Велиж верстах в ста сорока от Смоленска, на мысу, на месте поседлого славянского городища, при впадении ручья Коневец в Западную Двину, возобновляются Почеп и Стародуб, оставленные литовцами, впредь до нового нападения, подкопа, приступа и поголовного истребления посадских людей.

Да и с обороной подручные князья и бояре уже не справляются. Семен Бельский, недовольный открывшейся ему слабостью литовских полков, отправляется на богомолье в Иерусалим, однако останавливается в Константинополе и вскоре перебирается в Крым. Считая себя единственным законным наследником рязанских великих князей, он возмечтал оторвать от Русской земли Рязань и Белев и основать свое собственное независимое великое княжество. С этой целью он уговаривает сначала турок, потом крымских татар подняться в завоевательный поход на Москву. Турецкому султану Сулейману Великому московский беглец представляется слишком ничтожной фигурой, чтобы тратить ради него своих янычар. В Крыму, напротив, рады любому предлогу, лишь бы пуститься в набег. Татары, как всегда неожиданно выбежав из необъятных степей, подступают к Белеву, и только мужество воеводы спасает город от разорения.

Казань, замирившаяся с Москвой, без набегов и грабежей начинает понемногу хиреть. Благодаря этому подлинному несчастью лазутчикам Саип-Гирея наконец удастся сколотить заговор во главе с ханом Булатом. Заговорщики застают Еналея врасплох. Ставленник Москвы погибает под мечами наемных убийц. В Казань возвращается Сафа-Гирей. Приверженцы сближения с Русской землей, те, кто посреди беспорядочной и беспощадной резни все-таки ухитряется остаться в живых, тайно посылают за подмогой в Москву. Боярская Дума направляет в Казань князей Гундорова и Замыцкого, в то время стоявших с полками в Кашире. Гундоров и Замыцкий идут нехотя, не спеша, близ Волги встречают первую ватагу татар, устремляющихся в набег на порубежные русские города, однако московским воеводам, вдруг очутившимся на воле, без твердой руки великого князя, до того не хочется воевать, что они хладнокровно, без

боя поворачивают назад, без зазрения совести открывая путь насилию и грабежу. Им, кажется, и этого преступления мало. Ни Гундоров, ни Замыцкий не считают нужным известить высшие власти или хотя бы ближайшие города о набеге. Татары, при великом князе Василии Ивановиче сидевшие смирно, вырабатывая свой хлеб посредничеством в торговле и коневодством, жгут и грабят окрестности Нижнего Новгорода. Воеводы этого опорного пункта на юго-восточной Украине Московского великого княжества переступают за все мыслимые и немыслимые пределы позора. Повинуясь велению долга, они все-таки выступают навстречу разбойникам. На исходе дня противники встречаются вблизи Лыскова. Оба воинства разбивают станы в ожидании утра. И до того они боятся друг друга, что ночью потихоньку снимаются с места и разбегаются в разные стороны, причем русские воеводы даже не думают преследовать трусливую шайку, чтобы дать любителям грабежа хороший и на долгую память урок.

Впрочем, один достойный воин все-таки находится и в эти смутные времена. Отважный воевода, имея под рукой крохотный гарнизон, вооружает посадских людей, чем увеличивает свой войско чуть ли не втрое, однако он совершает роковую ошибку, простительную при первой встрече с татарами и непростительную спустя триста лет после битвы на Калке: он выходит из крепости, дает сражение в чистом поле и, что нетрудно было предвидеть, терпит полное поражение. Нигде не встречая сопротивления, всё круша на своем кровавом пути, разгорячившиеся татары доходят до Кинешмы, до Костромы, куда уже многие годы не смели и носа казать, поскольку на Русской земле тогда была решительная, сильная власть. Только воевода Засекин успевает поднять окрестных служилых людей и выйти навстречу татарам. На этот раз сеча завязывается короткая, но кровопролитная. Засекин падает мертвым. Оставшиеся в живых точно получают сигнал к отступлению и оставляют поле боя татарам.

В сущности, попустительством новых властей все восточные области Русской земли попадают в руки казанским татарам, ещё вчера смиренно признававшим над собой господство Москвы. Сама Москва оказывается теперь под угрозой нашествия, ведь татарам ничего не стоит пройти две сотни верст на своих быстроногих конях. Подручные князья и бояре наконец вразумляются принять строгие меры. Опозорившие себя воеводы Гундоров и Замыцкий попадают в темницу. Полки Карпова и Сабурова одерживают небольшую победу возле Корякова. Пленных отправляют в Москву. В Москве татар объявляют мятежниками и, за нарушение клятвы верности, данной при великом князе Василии Ивановиче, всех без исключения приговаривают к смерти.

И это всё, на что у них хватает ума. Больше ничего не предпринимается для разгрома явным образом трусливого, при первой опасности трусливо отступающего врага. Верст за сто к северо-востоку от Костромы, на реке Костроме, при впадении Вексы, воеводы закладывают в ожидании будущего набегу крепость Буйгород, впоследствии Буй, и этой выгодно, тем не менее случайно поставленной крепостцой истощают свое попечение о защите украин. Больше того, правительница Елена Васильевна и конюший Иван Федорович и боярская Дума главным образом хлопчут о том, как бы решительными действиями не раздражить нацелившихся со всех сторон изнемогающих от жажды грабежа и захвата соседей, и облегченно вздыхают, когда насытившаяся добычей Казань затихает на время, а Крым и Литва предлагают вступить в переговоры о мире.

На предложение польского короля Сигизмунда конюший Иван Федорович отвечает довольно торжественно, что, мол, великий князь Иоанн Васильевич не враг тишины. Однако о дипломатических способностях новых правителей даже не хочется говорить: они много ниже их убогого полководческого искусства.

В самом деле, кажется, намерения обеих сторон обозначаются с такой недвусмысленной ясностью, что остается только сесть за стол переговоров и выработать условия мира, приемлемые как для Польши с Литвой, так и для Русской земли. Так Вт нет, поначалу, словно бы для разбега, заплетаются утомительные, по-детски наивные споры о том, в какой именно сто-

роне долгожданному столу переговоров должно воздвигнуться, поскольку прежде переговоры с ляхами и литвой велись только в Москве, а нынче польский король Сигизмунд, хорошо понимая, что имеет дело с ничтожествами. Предлагает перенести знаменательный стол на литовскую сторону, либо воздвигнуть его в каком-нибудь порубежном селении, что, естественно, повысит довольно шаткий польско-литовский престиж.

И что бы вы думали, споры о месте стола, за которым предстоит вырабатывать условия мира, плетутся в течение целого года. Все-таки соглашаются оставить, как искони повелось, стол переговоров в Москве. Польско-литовские послы прибывают. Усаживаются друг против друга и несут околесину, которая неопровержимо свидетельствует о том, что ни та, ни другая сторона не имеет сколько-нибудь проработанной, разумной, тем более реалистичной программы переговоров, зато обе имеют раздутую, болезненно возбужденную спесь. Что ж удивляться, что переговоры о мире, в котором Москва нуждается не меньше, чем Краков и Вильна, завершаются сварой, кажется, даже с применением кулаков и посягательством на неприкосновенную честь бороды, и дипломаты обеих договаривающихся держав в конце концов доходят до той последней грани остервенения, когда всем становится всё равно, какие кровавые битвы разразятся и завтра и послезавтра и во все времена, лишь бы больше никогда не видеть друг друга, так что вместо прочного мира решают поскорей подписать перемирие, от Благовещенья 1537 года до Благовещенья же 1542 года, и разойтись по домам.

Нетрудно предвидеть, что это беспомощное, недалёковидное, бесчестное, склонное к склокам правительство, состоящее из Елены Васильевны, Ивана Федоровича и боярской Думы, может принести большие бедствия для Московского великого княжества, останься оно у власти ещё несколько лет. К счастью, именно долговременным этому ничтожному правительству непредвиденные им обстоятельства не позволили долее быть.

Видимо, здоровье правительницы Елены Васильевны, женщины ещё молодой, отчего-то начинает пошаливать. При полном отсутствии медицинской науки в пределах Московского великого княжества для излечения от любых напастей остается только молитва, и Елена Васильевна, испытанным способом, проверенным рождением Иоанна, всё чаще отправляется на богомолье. Конюший Иван Федорович начинает тревожиться, следом за ним начинает тревожиться и боярская Дума. Приключись с Еленой Васильевной самое худшее, Иоанн, всё ещё малолетний, останется не только без отца, но и без матери. Попечением новых властей его дядя Юрий Иванович мертв. Попечением тех же сердобольных властей его двоюродный дедушка Михаил Львович мертв, а от совета опекунов не осталось даже воспоминания, так тихо ведут себя и братья Шуйские, и Захарьин, и Воронцов, и Тучков. Кто же на этот раз станет опекуном, то есть кому на этот раз достанется власть?

Конюший Иван Федорович надеется занять место опекуна, на том легкомысленном основании, что он состоит в должности возлюбленного Елены Васильевны. Боярской Думе столь пакостное, столь греховное основание достаточным не представляется, больше того, боярская Дума уже готовится исподволь свести счеты с ненавистным, малозначительным, неродовитым Овчиной, темными путями достигшим высокого чина конюшего, и присвоить всю полноту власти только себе.

К величайшему неудовольствию беспокойно алчущих власти думных бояр имеет ещё один претендент. Всё это неудержимо клонящееся к анархии время, когда малодушные воеводы то и дело отказываются государеву службу исправно нести и без боя пропускают в одном месте литовские полки, в другом татарские орды, удельный князь Андрей Иванович с подобающим смирением отсиживается в старице и не кажет носа в Москву, однако именно ему, по благословиению прародителей, надлежит возложить на себя честь и бремя опекунства над осиротевшим племянником. Хуже того, именно Андрей Иванович, по тому же благословиению прародителей, имеет право провозгласить себя, отодвинув племянника, великим князем московским как единственный оставшийся в живых сын законного государя Ивана Васильевича.



Понятно, стрясись такая беда, конюшего Ивана Федоровича ждет самая жалкая участь, скорее всего та же темница, в которой, не без его молитв и интриг, доведены до смерти князья Михаил Юрьевич и Юрий Иванович. Разве Андрей Иванович, приди он к власти в роли опекуна или великого князя, простит ему мучительную кончину единокровного брата? Ясно, что никогда и никому не простит. Достанется и боярской Думе, тоже виновной в насилии да ещё и в кознях против него, вынужденного укрываться в Старице точно в норе. В лучшем случае он отодвинет её на то второе, всегда незавидное место, на каком она пребывала при его старшем брате, в худшем ни Дмитрию Бельскому, ни всем остальным не сносить головы.

Опасаясь расплаты, в данном случае ими заслуженной, конюший Иван Федорович и боярская Дума на время объединяются против этого главного, особенно опасного, потому что законного претендента. У них не хватает мужества овладеть Старицей вооруженной рукой или открыто арестовать его как смутьяна как только он появится при дворе и уморить в заточении. Хотеться-то хочется, да в Старице князя Андрея Ивановича охраняет его удельный, преданный ему полк, и ещё неизвестно, при жалком состоянии войск, на чью сторону встанет удача во время осады и приступа. Чтобы эти союзнички стали действовать, им нужен мало-мальски подходящий предлог, но князь Андрей Иванович никакого предлога им не дает, сидит себе тихо в стольном граде удаленного от жаждущих его крови удела, охотится на дикого зверя и ни словом, ни звуком не срамит, не бесчестит себя.

В таком случае надлежит выдумать подходящий предлог, надлежит для начала выманить осторожного князя Андрея Ивановича из его хорошо укрепленной норы или заставить его обличить свои крамольные замыслы если не делом, то хотя бы неосторожно сказанным словом. Совместными усилиями нескольких слабых умов принимаются привычными подлостями тревожить Старицкого сидельца. Какие-то темные личности нашептывают ему, будто в Москве готовятся оковать его и держать в заточении. Другие темные личности, как водится, из близкого его окружения, тайно доносят в Москву, будто во время пьяных застолий князь Андрей позволяет себе крамольные речи, недовольный, что в обмен на его смирение и покорность ему не прирезали ни волости, ни самого завалищего городка.

Насторожившись, тоже опасаясь за свою власть, захваченную без благословения прародителей, правительница Елена Васильевна посылает в старицу князя Ивана Шуйского да дьяка Меньшого Путятина, которым повелевает опровергнуть зловредные слухи о заточении и под каким-нибудь благовидным предлогом выманить в гости к ней опасного деверя. То ли её посланцы худо стараются, то ли князь Андрей Иванович не так прост, только он требует, прежде чем седлать коня на Москву, письменных гарантий своей безопасности, точно не помнит, что уже не раз начиналось дело с самых надежных гарантий и неизменно кончалось насильственной смертью.

Гарантии, конечно, даются, и подпись на грамоте ставит многократно запятнавший себя предательством митрополит Даниил. Несмотря на этот чуть ли не символический, во всяком случае предупреждающий знак, Старицкий удельный князь бестрепетно предстает перед вдовствующей великой княгиней, смело начав с обличения: мол, верные слухи доходят, что на него в Москве готовят опалу. Правительница Елена Васильевна слегка возмущается и с женским коварством перекладывает вину на него самого:

– Также и нам доходит слух про тебя, что ты на нас сердишься, и ты бы в своей правде стоял крепко, а лихих людей не слушал, да объявил бы нам, что это за люди, чтобы вперед ничего дурного меж нас не стряслось.

Князь Андрей Иванович не называет имен, отвечает уклончиво, что, мол, так, ничего, про опалу ему показалось. Сделав вид, что удовлетворилась столь неопределенным ответом, правительница Елена Васильевна заверяет того, чьем место она занимает при Иоанне, что никакого злого умысла против него не имеет. Кажется, ей остается целовать крест на том, что князю Андрею Ивановичу никаких опал не грозит, однако напротив, именно ему она пред-

лагает подписать крестоцеловальную грамоту в том, что он против неё ничего не имеет, что никогда не выступит против племянника, о чем уже не раз объявлял, что не станет верить слухам и сам станет передавать всё, что ни услышит о великом князе и его правящей матушке.

Мало того, той же крестоцеловальной грамотой удельный Старицкий князь должен наотрез отказаться от своего старинного права, идущего от прародителей, принимать в свой удел князей, бояр, дьяков, детей боярских и никого из иных, если они отъедут от московского великого князя, что должно явиться настоящим переворотом в отношениях между великим князем и всеми, кто сидит на уделах.

Видимо, уловив, что живым ему не уйти, если он заартачится, удельный князь Андрей Иванович безропотно целует крест, ставит свою княжескую печать на грамоте, которая лишает его самых существенных прав, с повинной головой возвращается в Старицу и сиди ещё более тихо, чем прежде сидел, возможно, решив больше ни под каким предлогом не появляться в Москве.

Вполне естественно, что его приводит в ужас смерть брата Юрия в темнице от голода, совместное преступление правительницы Елены Васильевны, конюшего Ивана Федоровича и боярской Думы. Он не может не понимать, что теперь московские власти примутся и за него: ведь он виноват в том, в чем и брат Юрий, то есть в том, что он по праву рождения является претендентом на великокняжеский стол. Он должен спасти свою жизнь, жизни жены и жизнь сына Владимира, но каким образом он может эти три жизни спасти? Поднять мятеж? Но его удельный полк значительно слабее всех вооруженных сил Московского великого княжества, а ему запрещено пополнять его перебежчиками. Конечно, можно нарушить крестоцеловальную клятву, между подручными князьями и боярами любая клятва ставится ни во что, однако не успеет он принять хотя бы одного перебежчика, как на него обрушится кара, от Москвы до Старицы два, от силы три дня пути. Бежать в Литву? Единственный выход, да сперва надо знать, как его примут в Литве, не выдадут ли московским властям из каких-нибудь тайных расчетов, а если не выдадут, то какие земли дадут, Старица богатый удел, жаль бы было проদেশевить, стало быть, сперва надобно в переговоры вступить, долгая песня, тогда как доносчики где-то под боком у него, донесут, московские власти медлить не станут, видать по всему.

Вполне вероятно, что в Старице начинается паника. Удельный князь Андрей Иванович держит совет со своей, удельной, Старицкой Думой. Кто-то, само собой разумеется, и в самом деле его предает, мол, так и так, собрался бежать. В Москве делают вид, что не верят в измену, мол, крест целовал, что станет верой и правдой служить, но без промедления призывают старицкого удельного князя на военный совет по казанским делам, тогда как прежде не интересовались его мнением ни о литовских, ни о крымских набегах, а ведь Старица много ближе к Литве, чем к Казани, тогда бы и звать.

Сообразив несуразность в действиях московских властей, почуя неладное, Старицкий удельный князь отвечает, что был бы счастлив и рад да тяжкая болезнь не пускает в Москву, и, понимая необходимость заручиться твердым свидетельством, просит прислать ему хорошего лекаря.

Правительница Елена Васильевна отправляет в Старицу Феофила. Феофил, возвратясь, то ли правду говорит, то ли лжет, что болезнь его легкая, всего лишь болячка на стегне, а на постеле лежит, из чего следует, что притворяется князь. Она вновь посылает звать и разведать, что там к чему. Посланцы привозят новый отказ, а путного ничего не могут сказать, поскольку старицкие бояре держат язык за зубами. Она зовет в третий раз. Тогда удельный князь Андрей Иванович, выйдя из себя, отвечает непримиримо и зло, на имя племянника, великого князя, отвечает так, как на это имя не следует отвечать:

«Ты, государь, приказал к нам с великим запрещением, чтоб нам непременно у тебя быть, как ни есть; нам, государь, скорбь и кручина большая, что ты не веришь нашей болезни и за нами посылаешь неотложно; а прежде, государь, того не бывало, чтоб нас к вам, государям, на

носилах волочили. И я от болезни и от беды, с кручины отбыл ума и мысли. Так ты бы, государь, пожаловал, показал милость, согрел сердце и живот холопу своему своим жалованьем, чтобы холопу твоему вперед было можно и надежно твоим жалованьем быть бесскорбно и без кручины, как тебе Бог положит на сердце...»

Удельный князь Андрей Иванович явным образом хочет мира, покоя, он просит законности, то есть соблюдения стародавних обычаев, которыми определяются отношения между верховной и удельной властями, и с этой просьбой, выраженной в резких тогах, он отправляет в Москву боярина Федора Пронского. Кажется, правительница Елена Васильевна не склонна доводить возникшую перепалку до разрыва, тем более до войны, поскольку её воеводы служат ей спустя рукава. Она предпочитает связать руки, обезопасить последнего из живых претендентов на великокняжеский стол, который она обязана сохранить, нынче, естественно, для себя, а в будущем для своего малолетнего сына. Ещё не дождавшись ответа из Старицы, она отправляет крутицкого епископа Досифея, симоновского архимандрита и Спасского протопопа, целую депутацию, которой поручается сказать твердо от имени митрополита Даниила:

– Слух до нас дошел, что ты хочешь оставить благословение отца своего, гробы родительские, святое отечество, жалованье и береженье государя своего, великого князя Василия и сына его. Я благословляю тебя и молю жить вместе с государем своим и соблюдать присягу без всякой хитрости, да ехал бы ты к государю и к государыне, без всякого сомнения, и мы тебя благословляем и берем на свои руки.

Если удельный князь и на этот раз не поедет в Москву, Досифею приказано проклятие наложить на ослушника, видимо, главным образом, для того, чтобы отвратить от него его служилых людей и тем ослабить удельное войско.

В действительности депутация духовных лиц служит скорее прикрытием истинных намерений московских князей и бояр. Правительница Елена Васильевна может колебаться сколько угодно, может выжидать, улаживать миром. Они по опыту и преданиям знают, что претендентов смиряет только темница и скорая смерть. Не успевают Досифей и его спутники отправиться в путь, а они уже направляют против удельного князя Андрея Ивановича войска, причем поступают с примерным лукавством: своих полков они не дают, выступает один великокняжеский полк, большим воеводой при нем, ещё в первый раз, идет конюший Овчина-Телепнев-Оболенский, вторым воеводой при нем его близкий родственник Никита Хромой, мол, дело семейное, а иные прочие тут не при чем.

Полк делает остановку в Волоке Ламском. Конюший Иван Федорович не такой храбрец, чтобы ни с того ни с сего ринуться на родного дядю великого князя. Своим движением в сторону Старицы он вызывает, провоцирует удельного князя. Его люди перехватывают Федора Пронского, отправленного в Москву, причем Сатину, одному из служилых людей его свиты, каким-то образом удается бежать. Если его бегство случайно, то ведь ему ничего неизвестно о намерении выступивших в поход воевод, тем не менее, прискакав взмыленным в Старицу, он докладывает, что великокняжеский полк идет именно для того, чтобы схватить князя Андрея Ивановича.

Естественно, Андрей Иванович, второго мая 1537 года, поспешно выезжает из Старицы, причем выезжает неизвестно куда, ещё ничего не решив, явно начало войны со стороны московских властей его застало врасплох. Тотчас один из его ближних бояр, князь Голубой-Ростовский, тайно доносит в Волок Ламский конюшему, что удельный князь пустился в бег. Конюший Иван Федорович спешно направляет Никиту Хромого в Великий Новгород, где старицкие князья имеют большое влияние среди бояр и посадских людей, чтобы предотвратить выступление новгородских полков, а сам пытается отрезать удельному князю путь на Литву.

Удельный князь Андрей Иванович сзывает подручных служилых людей. Его гонцы развозят грамоты по окрестным поместьям и вотчинам. В грамотах, в частности, говорится:

«Князь великий молод, держат государство бояре, и вам у кого служить? Я же вас рад жаловать...»

Таким образом, удельный князь Андрей Иванович, скорее под давлением обстоятельств, чем по собственной воле, заявляет свои права на верховную власть. В течение нескольких дней к нему стекаются те, кто недоволен капризным боярским правлением. Под его знаменами собирается довольно внушительный полк. Он сворачивает на Старую Руссу, чтобы укрыться в Великом Новгороде, дружественном ему, откуда во главе новгородских полков двинуться на Москву.

Это мятеж. С этого дня у конюшего Ивана Федоровича развязаны руки. Возле Тюхולי он настигает удельного князя. Оба полка встраиваются для битвы, распускают знамена, обнажают мечи. То ли день был майский, веселый и ясный, то ли оба предводителя не годились в герои, только ни один из них не дает последний, призывный сигнал. Кто-то предлагает переговоры, московская летопись утверждает, что это слабодушный Старицкий князь, более вероятно, что эта мысль принадлежит Ивану Федоровичу, не способному на дерзость самостоятельного решения. Он клянется, что и он сам, и правительница Елена Васильевна, и боярская Дума сохранят невольному мятежнику жизнь, если он все-таки изволит явиться в Москву, как его об этом трижды просили.

Удельный князь Андрей Иванович безропотно складывает оружие и с верой в законность и справедливость действительно прибывает в Москву. В Москве два дня гадают, как с ним поступить. Лишь на третий день, нарушив данную клятву, его заточают в темницу. Впоследствии подручные князя и бояре свалят это преступление на правительницу Елену Васильевну, когда её не будет в живых. Однако вероятность её участия в злодеянии довольно мала. Она не отличается жестокостью, тем более кровожадностью. Жесткость и кровожадность, как уже разразилось над удельным князем Юрием Ивановичем и над князем Михаилом Львовичем, по части подручных князей и бояр. Им мало ухлопать одного претендента. В тот же день берут под стражу его верных бояр. Их зверски пытают, и многие из них умирают под пыткой, хотя непонятно, какие признания хотят кнутом и дыбой и каленым железом вырвать из них. Тех, кто выдержал зверские пытки, обрекают на позорную торговую казнь, то есть публично истязают кнутом. Три десятка новгородских служилых людей, приставших к Старицкому удельному князю, вешают на равном расстоянии под дороги из Москвы к Великому Новгороду. Удельный князь Андрей Иванович, родной дядя малолетнего Иоанна, умирает в темнице полгода спустя.

Кажется, незаконным правителям нечего теперь опасаться. Они могут безмятежно судить, рядить, приговаривать и самим исполнять свои приговоры, никого и ничего не страшась. И в самом деле, несколько месяцев пробегает спокойно. Вдруг правительница Елена Васильевна умирает, третьего апреля 1538 года, очень ещё молодой. По оцепеневшей Москве расползается слух, что ненавистники её отравили, что подтвердится вскрытием уже в наше время. Герберштейн в своих записках почитает эти слухи правдивыми, стало быть, имеет на то веские основания, поскольку его записки являются отчетом шпиона. На страшную мысль наводит и то, что при дворе творится что-то неладное. В кремлевских палатах в один час разрушается заведенный порядок. В доме покойник, но уже ничего не остается от элементарной благопристойности. Во вдовьих палатах внезапно появляется до той поры искусно пропадавший Тучков, один из бывших опекунов, и в безумии злобы кричит, изливая яд ехидны на имя покойницы, как впоследствии выразится с присущим ему даром слова памятливым царь и великий князь Иоанн, то есть, другими словами, ведет себя непристойно и гнусно. Да и прочие князья и бояре не выказывают подобающего уваженья покойнице. С подозрительной поспешностью организуется ей погребение: вдовствующая великая княгиня испускает дух во втором часу дня, а к вечеру её грешное тело уже хоронят в Вознесенском монастыре, и ни в одной

летописи не находится записи, чтобы митрополит Даниил сопровождал молитвой её грешную душу.

Посреди сумятицы и бесчестья один Иоанн растерян, разбит и скорбит. Ему восемь лет. Он кое-что уже понимает. Он чувствует, что теперь он совершенно один, что в этих оскверненных палатах никто не станет его защищать. Он оглядывается вокруг и видит бесчувственные или жестокие лица. Только конюший Иван Федорович истинно потрясен: с кончиной Елены Васильевны он может и должен разом всё потерять. И оставшийся круглым сиротой Иоанн с рыданиями бросается на грудь человека, который устранил одного за другим его двоюродного деда, его дядю Юрия и его дядю Андрея. Он инстинктивно прижимается к тому, кто в этой толпе предателей и врагов ещё нуждается в нем.

## Глава седьмая

### Анархия

Не один восьмилетний беспомощный отрок предчувствует, что наступают грозные времена. Москвичи обмирают на несколько дней, напуганные не столько происшедшим событием, сколько ожиданием непременно жестокого будущего, и глухо, с оглядкой, при закрытых дверях, как повелось на Русской земле, шепчутся между собой, кому нынче достанется верховная власть при всё ещё малом, стало быть, слабым, ни к какому управлению ещё не способным ребенке, а значит, кого ожидают опалы и казни, на кого посыплются благословенные милости, и все сходятся в том, что верховную власть приберет к рукам тот, кто посодействовал преждевременной кончине вдовствующей великой княгини, поскольку мало кто сомневается, что её кончина была неестественной, и во всех этих шепотах, осторожных прикидках, ещё более осторожных умолчаниях и оглядках по сторонам не слышится одного: тревоги за судьбу Московского великого княжества.

Глупее всех в эти ответственные, напряженные дни ведет себя именно тот, кому пока что принадлежит хотя бы видимость власти. Вместо того, чтобы действовать решительно, смело, не теряя минуты выследить своих возможных противников и тотчас их устранить, для чего пришлось бы подвергнуть опале десяток-другой замешанных в преступных интригах подручных князей и бояр, разослав их по глухим крепостям или отдаленным монастырским подвалам, вполне достаточная мера для их усмирения, поскольку разрозненные, оторванные от родственных связей они слишком слабы, слишком ничтожны, чтобы даже помыслить о новых интригах, Овчина-Телепнев-Оболенский, отравленный мелким тщеславием, твердо уверенный в беспрекословной поддержке своих многочисленных подхалимов, занят единственно тем, что обхаживает и ублажает восьмилетнего великого князя, только что потерявшего мать, рассчитывая снискать расположение, если не любовь несчастного отрока, рыдавшего у него на груди, и таким неутомительным способом укрепить свое несуществующее могущество, заполучить уже совсем бесконтрольную, единодержавную власть, не умея понять, что слабы отрок ничего не может дать никому, даже если бы этого захотел, другими словами, Овчина-Телепнев-Оболенский бессмысленно теряет бесценное время, что лишний раз свидетельствует о том, до какой степени он недостоин того высокого положения, которого достиг не талантами, не государственным складом ума, не по праву истинного властителя, а на фу-фу, при помощи пошлой любовной интрижки.

Зато бесценного времени не теряет один из самых опасных его недоброжелателей и завистников, опасный особенно тем, что это тайный недоброжелатель, тайный завистник, человек пусть тоже небольшого ума, тоже лишенный таланта правителя и государственного взгляда на верховную власть, однако хитрейший, коварнейший и озлобленный интриган, безжалостный и жестокий, когда-то перевешавший, на виду осаждавших литовцев, всех смоленских служилых людей, заподозренных в сношениях с врагом.

Все эти тревожные, темные годы князь Василий Васильевич Шуйский спокойно восседает на одном из первых мест в заседаниях Думы и не подает признаков жизни, точно его не сместили, не обошли, не нанесли ему тяжкого оскорбления, и тешится разве что тем, что на время походов берет к себе вознесшегося не по заслугам конюшего всего лишь воеводой передового полка, но все эти годы, изо дня в день, он помнит о том, что именно он, потомок суздальских великих князей, первый среди советников покойного великого князя Василия Ивановича, истинная душа силой разогнанного совета опекунов, имеет куда более неоспоримое право на верховную власть, чем этот малоспособный, глупо-тщеславный бабник и выскочка Овчина-Телепнев-Оболенский, ставший конюшим после ночи любви.

Все эти годы он терпеливо, затаив ненависть, ждет часа расплаты, как его ждут все подручные князья и бояре. Он мгновенно соображает, какие возможности предоставляет ему внезапная кончина правительницы Елены Васильевны. Прирожденный интриган, подобно всему роду Шуйских, человек закулисных, искусно продуманных махинаций, пролаза и клеветник, князь Василий Васильевич в эти притаенные дни неопределенности и ожиданий снует взад и вперед, нашептывает и уговаривает, склоняет на свою сторону, запугивает и обещает, пока подавляющее большинство думных бояр, которых нетрудно купить, не оказывается на его стороне.

Всего-навсего протекает шесть дней, и уже на седьмой князь Василий Васильевич внезапно выходит из той густой тени, которая целых пять лет надежно укрывала его от опалы и казни. Действуя единственно своим весомым княжеским словом, а не словом великого князя, сразу таким образом присваивая себе всю полноту государственной власти, он повелевает взять под стражу ненавистного временщика Овчину-Телепнева-Оболенского и его сестру, Аграфену, мамку восьмилетнего Иоанна. Без следствия, без суда, по злодейскому обыкновению ещё не забытых удельных времен, недавнего правителя заточают в темницу, в ту самую, в которой полтора года назад томился князь Михаил Львович, двоюродный дед Иоанна, «тяжесть на него, по сообщению летописца, – железа тут же положиша, что на нем Глинском была», там несчастный конюший вскоре погибает от голода, как перед тем его собственным злодейством погибли от голода князь Михаил Львович, князь Юрий Иванович и князь Андрей Иванович, ближайшие родственники малолетнего Иоанна. Его сестру Аграфену отправляют в Каргополь и насильственно постригают в монахини.

Всего только эти две, но долгожданные, жертвы и понадобились новому мятежу. Никто из многочисленных подхалимов свергнутого конюшего не вступается за него. Одни без промедления становятся подхалимами князя Василия Шуйского, другие трусливо молчат, как тут же продается и усердно молчит вся боярская Дума, а следом за ней молчит Москва, молчит Московское великое княжество, не без тайного ропота, но покорно принявшие новую власть одного из подручных князей.

Может быть, именно это молчание делает осторожного из осторожных, интригана из интриганов неосмотрительным и неосторожным. В боярской Думе уже много лет сидит и тоже угрюмо молчит князь Дмитрий Бельский, единственный из подручных князей и бояр, Гедиминович, который знатнее князя Василия Шуйского родом, что по обычаю местничества важнее всего, естественно, много важнее понятий чести, тем более достоинств ума. Будь князь Василий Васильевич прирожденным властителем, человеком государственного разворота и государственного ума, это пустейшее обстоятельство не смутило бы его ни на грош: сидит и молчит, так и впредь станет сидеть и молчать, а коли что, так в железы его, подземных казематов предовольно в православных монастырях, нечего им пустовать, приблизительно так подумал бы он, да и дел с концом.

Однако, себе на беду, князь Василий Васильевич принадлежит к разряду самой недалекой, самой недальновидной посредственности, способной только сидеть и молчать да интриговать и хитрить втихомолку. Он сам отравлен идеей местничества до мозга костей, этой пошлой идеей первенства рода перед умом и талантом живет с малолетства, только в этой идее видит свое собственное полновесное право на власть, он суздальский, а не какой-то московский, которому грош цена, а потому старшинство князя Дмитрия Бельского не представляется ему серьезной опасностью для его внезапно пробудившихся притязаний.

Надеясь задобрить, обезопасить, ещё лучше переманить на свою сторону знатнейшего из думных бояр, с решающим голосом в Думе, он выпускает из темницы его брата Ивана Федоровича, а вместе с ним и своего, родного, одного из многочисленных Шуйских, Андрея Михайловича, причем Иван Федорович возвращается на свое законное место в боярскую Думу, тогда как Андрея Михайловича втихомолку протаскивают в бояре, затем протаскивают в бояре и его

брата Ивана Михайловича, что, без сомнения, придает дому Шуйских устойчивость на ближайшее время.

Правда, ограниченный ум князя Василия Васильевича нисколько не проникает в последствия своей остроумной интриги, не подозревает о том, что он сам выпускает на волю и вводит в боярскую Думу своего злейшего ненавистника, которого, что ещё прибавляет роду Шуйских хлопот, тайно поддерживает лукавый, с какой-то болезненной страстью наклонный к предательству митрополит Даниил. Он уже занят другими интригами. В сущности, он чувствует себя неуверенно в роли властителя, его положение всё ещё представляется ему недостаточно прочным, поскольку он имеет право на верховную власть только в составе совета опекунов, благословленным великим князем Василием Ивановичем, а вне совета опекунов, который он и не думает восстанавливать, сам по себе он всего лишь захватчик власти, не более, то есть временщик того же калибра, как и убиенный им Овчина-Телепнев-Оболенский.

Он жаждет заложить в фундамент своего внезапного возвышения ещё один камень, краеугольный на этот раз, как мерещится в его недалеком уме, занятого единственно счетом мест со своими бесчисленными противниками. Будучи вдовцом, перешагнувши пятидесятилетний рубеж, князь Василий Васильевич берет в жены Анастасию, двоюродную сестру восьмилетнего Иоанна. Благодаря этому вовсе не странному браку он становится ближайшим родственником великого князя, стало быть, может претендовать на первенство и в споре с Бельским, Гедиминовичем, не упоминая о прочих, менее родовитых князьях и боярах из каких-нибудь ярославских, ростовских или Курбских князей. Кроме того, что ещё приятней и полезней ему, он рассчитывает этим умело обстряпанным браком снискать благоволение высокородного отрока и тем окончательно закрепить свое право на верховную власть.

Может быть, ему удалось бы завоевать расположение осиротевшего, трагически одинокого Иоанна, действуя он сдержанно, неподдельным вниманием, искренней лаской, в которых подросток нуждается прежде всего. Однако князь Василий Васильевич прямолинеен и груб, как прямолинеен и груб чуть ли не каждый из витезей удельных времен, которые только в силу необходимости признают себя подручниками московского великого князя. Он убежден, что отныне ему позволено всё, коль втеснился в столь близкое родство с Иоанном, и, долго не мешкая, он поселяется на подворье Старицких удельных князей, расположенных в стенах Кремля, близ подворья самого великого князя, что позднее Иоанн назовет самовольством.

Наконец, именно самовольством, единственно при помощи хитроумных интриг, в руках князя Василия Шуйского сосредоточивается вся возможная полнота государственной власти. Он торжествует, он получает возможность распоряжаться этой властью по своему усмотрению, заранее уверенный в том, что нигде и ни в ком не встретит сопротивления, но даже намек на самый легкий протест, а коль встретит, упаси Бог, так мигом любому и каждому шею свернет.

И тогда здесь, на самой вершине, с ним приключается то, что в подобных обстоятельствах непременно приключается с недальновидной посредственностью: князь Василий Васильевич ведать не ведает, на что именно употребить свою почти безграничную власть. Нелепость, однако этот незаконный, непризванный человек, достигший всевластия плутовством и интригой, в силу своей мелкой, паразитической, не способной к созиданию натуры оказывается абсолютно бесплодным. Проходит месяц, проползает другой, проскальзывает между пальцев полгода, а князь Василий Васильевич, единолично владеющий государственной властью, не совершает решительно ничего, им не предпринимается никаких государственных дел, точно у него под рукой не одна из наиболее благоустроенных, сильнейших европейских держав, а заглазная вотчина, в которой только и остается, что благоденствовать, жирно есть, вволю пить да сладко почивать на пуховых перинах. Что он замышляет? Какого знака небесного ждет? Ничего он не замышляет, никакого знака не ждет. Обыкновеннейший паразит, крайне опасный для тех, кто пытается хотя бы безразличнейшей мелочи, хотя бы на ломаный грош ущемить его громадную, абсолютно бесполезную власть.



Но именно бессмысленная, бесполезная власть, попадающая в руки государственных паразитов, более всего соблазняет, притягивает всякого рода честолюбцев и ненавистников на эту особенно лакомую власть посягнуть, отобрать её, присвоить себе, чтобы сибаритствовать, красть и давить всех и каждого, кто возропщет против неё. Именно такого честолюбца и ненавистника князь Василий Васильевич, перехитривший себя самого, освобождает из темницы и возвращает в боярскую Думу. Князь Иван Бельский, потомок рязанских великих князей, тоже родственник московского великого князя, озлобленный неправдой, раздраженный беззаконной опалой, готовый отомстить всем на свете, лишь бы усладить мщением, едва отдышавшись, едва попривыкнув к свободе после темницы и постоянного голода, едва оглядевшись вокруг, начинает потихоньку обзаводиться сторонниками. Кроме родни, эти само собой, на его сторону переходят митрополит Даниил, Михаил Тучков и дьяк Федор Мишурин, оба из членов разогнанного совета опекунов.

Опираясь на столь шаткую, но всё же поддержку людей влиятельных и тоже сильных родством, князь Иван Федорович пробует, пользуясь именно правом родства, приблизиться к великому князю в обход князя Шуйского. Он смиренно молит восьмилетнего отрока пожаловать чин боярина князю Юрию Михайловичу Голицыну-Патрикееву да чин окольничего Ивану Ивановичу Хабарову-Симскому, своим верным сторонникам, желая подчеркнуть этой рядовым, обыденным челобитьем, что власть-то принадлежит не князю Шуйскому, но Иоанну, что единственно словом великого князя должно решаться всё, что и есть на Русской земле.

Кажется, столь малое, сугубо келейное дело стоит всего лишь росчерка пера и большой печати московского великого князя, что оно никому не может принести никакого вреда, тем более не может представлять угрозы владычеству Шуйского, однако это не так. Владычеству князя Василия Шуйского наносится хотя и слабый, почти не приметный, тем не менее ощутимый ущерб. Чтобы власть его была полной, он обеспечивает себе одному не столько почетное, сколько прибыльное право сноситься с великим князем, так что все назначения и возвышения ведутся только через него, и эти назначения и возвышения, пожалуй, единственная забота, на которую он способен направить свою непомерную власть. Таким образом, любая попытка снести с великим князем помимо него представляется ему прямым посягательством на его власть, на его достоинство, на его честь, чуть не на самую жизнь. К тому же становится очевидным, что князь Иван Федорович не так безобиден, полгода свободы, дарованной непродуманной милостью Шуйского, он успевает использовать с толком и уже добивается какого-то соглашения с митрополитом, с дворецким Михаилом Тучковым и ещё кое с кем из влиятельных, родовитых бояр, естественно, недовольных бесчинным всевластием Шуйского, впрочем, они всегда никем и ничем не довольны, поскольку не способны ужиться ни с кем.

Зачував зреющий заговор, князь Василий Васильевич без промедления бросается в наступление, однако делает это так, как только и способна делать всякое дело посредственность, то есть учиняет публичный скандал. Он бранится и брызжет слюной, он корит Ивана Бельского неблагодарностью, обвиняет в гнусных кознях против него, своего благодетеля. Князь Иван Федорович отвечает своему благодетелю тем же, то есть тоже бранится, брызжет слюной и обвиняет Шуйского не в одном самовластии, но и в тиранстве, на которое, по правде сказать, у князя Василия Васильевича способностей нет.

Другими словами, заваривается обыкновеннейшая боярская свара, которая начинается поношением прямо в глаза, непременно в присутствии бесконечно довольных, злорадно-молчаливых бояр, а кончается чаще всего ключьями вырванной бороды. Однако на этот раз обыкновеннейшая боярская свара оканчивается ещё и тем, что князь Василий Васильевич, своим именем, не считая нужным ставить в известность великого князя, заточает князя Ивана Федоровича в ту же темницу, из которой только что по глупости выпустил, его неосторожных приверженцев рассылает по наследственным вотчинам, а дьяка Мишурина казнит смертной казнью, едва ли сам понимая за что. Только до митрополита Даниила распалившийся князь не

успевают добраться: достигнув вершины мыслимого могущества, покуражившись напоследок, наслушавшись лести, сорвав сердце в ненужной борьбе, он умирает, причем умирает, по всей вероятности, естественной смертью, может быть, именно оттого, что слишком пылко упивается копеечной мезью, вот лишь бы себя показать и на своем настоять.

Злодейства довершает князь Иван Васильевич, его младший брат, человек ещё более жестокий, бездарный и жадный. Своей волей низлагает он Даниила и объявляет публично, будто митрополит «учал ко всем людем быти немилосерд и жесток, уморял у себя в тюрьмах и окованных своих людей до смерти, да и сребролюбие было великое». Низложенного первосвященника простым иноком отправляют в Иосифов Волоколамский монастырь и там нагло вымогают собственноручное отречение. Струсил ли бывший митрополит Даниил, или в самом деле «уморял у себя в тюрьмах и окованных своих людей до смерти», только он соглашается написать, что утомился своими обязанностями и прямо-таки жаждет в тиши уединения молиться о благе великого князя и государства: «Рассмотрих разумения своя к таковому делу и мысль свою погрешительну и недостаточно себя разумех в таких святительских начинаниях, отрехоя митрополии и всего архиерейского действа отступих...»

Шесть послушных епископов заранее доставляют в Москву. Сии составляют сильно укороченный освященный собор и неделю спустя после низложения Даниила нарекают московским митрополитом Иоасафа Скрипицына, нестяжателя, человека просвещенного, прямодушного и порядочного, заботам которого умирающий великий князь Василий Иванович шесть лет назад поручил своего несмышленного сына. Иоасаф поселяется на митрополичьем подворье в Кремле и объявляет, что во всем последует и станет согласовывать свои действия с константинопольским всесвятейшим вселенским патриархом, то есть заявляет желание укрепить слабеющие связи между московским и греческим православием, однако от каких-либо действий князь Иван Шуйский его отстраняет, так что Иоасафу остаются одни заботы о подрастающем Иоанне.

Тем временем князь Иван Шуйский щедро платит своим приверженцам раздачами и пожалованиями, назначениями на важные, в особенности на доходные должности, вроде сытных кормлений, и очень скоро во всех посадах и волостях прочно сидят его усердные прихлебатели, ничтожные в делах управления, зато богатыри в делах лихоимства и воровства. Сам князь Иван Васильевич, коварный и бессовестный лицемер, всюду появляется в ветхой шубенке, выставляя на вид свое бескорыстие, а тихом раскрадывает стремительно скудеющую казну великого князя, из покраденного золота повелевает начеканить драгоценных сосудов, причем его указанием на каждом из них вырезают имена его предков, единственно ради создания видимости, будто это наследственное его достояние, а заодно пристегивает к своим вотчинам многие деревни и земли, тоже принадлежащие великому князю.

Его лизоблюды не только не отстают от своего широко зашагавшего благодетеля, но превосходят его, пользуясь на своих на своих новых местах, как удаленностью от Москвы, так и полной своей безнаказанностью. Повсюду в Московском великом княжестве становится правилом наглость, бесстыдное, откровенное утеснение посадских людей, землепашцев, звероловов и рыбаков незаконными даяниями, измышленными поборами и обложениями, вымогательство даров от богатых и безденежной работы от бедных. Повсюду поощряются доноски и доносы, в судах возобновляются давно покрытые пылью дела и злобно заводятся новые, единственно ради взимания пошлин и взяток суду. В Пскове, где усердствуют Андрей Шуйский и Василий Репнин-Оболенский, жители пригородов стараются как можно реже наведываться в посад, именуя его вертепом разбойников, а самые несмирные, бойкие сбегают с родной стороны, пользуясь близостью литовской уkraine, так что пустеют псковские торжища и даже монастыри. Повсюду расхватываются чернососные, то есть казенные земли и закрепляются в вотчинную или помещную собственность. Понемногу принимаются и за дворцовые земли, личное достояние великого князя, нанося ощутимый ущерб не одному благосостоянию, но и чести его.

Кормление своим расхищением земства умножается вдвое, а в иных посадах и втрое и вчетверо. Мздоимство растет, как грибы. За щедрое подношение выдаются тарханные грамоты, которые освобождают владельца от всех повинностей, даней и пошлин, сперва выдаются лично князем Иваном Васильевичем и его прихлебателями, а затем кем попало, в том числе казначеями и дворецкими, которые ведают посады и волости, и не в последнюю очередь, вопреки убеждениям нестяжателя Иоасафа, такие грамоты преобильно выдаются монастырям, и монастыри, быстрехонько разобравшись в разыгравшемся разграблении Русской земли, устремляются прибирать земли и рыбные ловли, принадлежащие черносошным землепашцам, звероловам и рыбакам, разрастаясь в богатейшие вотчины с такими доходами, какие получает не каждый боярин и князь.

Таким образом, разорение землепашцев, звероловов и рыбаков, которые по-прежнему в своем большинстве сохраняют свободу, как и разорение посадских людей, которые первыми попадают под тяжелую руку наместника и волостеля, достигает той предельной черты, когда им нечем становится жить. Каждому из них приходится выбирать: либо пуститься в бега, либо искать защиты у богатых и сильных, способных, коль что, задать перцу бедным и слабым. Вот почему не может быть ничего удивительного в том, что именно с этого безобразного, беззаконного времени всё чаще снимаются с насиженных мест и посадские люди, и землепашцы, и звероловы, и рыбаки и скрываются в нехоженных дебрях, благо Русская земля велика и обильна и в большей своей части ещё не принадлежит никому.

Натурально, в бега, как водится, пускаются самые энергичные, предприимчивые, подвижные, сильные, способные в любом месте одним топором свалить лес, расчистить участок в две, а то и в три десятины под пашню, поставить избу, пристроить загон для скота и зажить как ни в чем не бывало, на полной волюшке, так любой русскому человеку, не видя больше в глаза ни господина, ни сборщика, не платя ни полушки в сундук удельного и даже великого князя. Те, кто поспокойней, слабей, обременен семьей или не надеется на себя, перебираются с черных земель и поместий мелких служилых людей в богатые вотчины князей и бояр, которые волшебной силой жалованных грамот освобождены от даней и пошлин, а вооруженными слугами защищены от поборов наместников и волостелей, арендуют пашни и ловища боярина или князя за четверть, треть или половину дохода и тоже приобретают пусть поскудней, но всё же возможность прокормить себя, жену и детей. Зато пустеют пашни и ловища великого князя и служилых людей, всё меньше доходов получает казна, всё слабей становится дворянское ополчение, защита и опора Московского великого княжества, иной защиты и опоры пока что у него не предвидится.

Кажется, уже ничто не может сравниться с этими дошедшими до крайней черты обезумевшими внутренними врагами, однако по всем украинам полным полно врагов внешних, а эти только и ждут, когда откроется на их счастье благая возможность безнаказанно грабить и жечь и прибирать к рукам Оставленную без защиты Русскую землю. Крымский хан шлет московскому великому князю поносные грамоты, презрительно именует его младшим братом, требует подарков и даней, какие давались в прежние, давно прошедшие, почти забытые времена, и если не гонит своих диких орд на Москву, то лишь потому, что его хищные руки крепко связаны внутренними раздорами. Зато казанские татары наводняют волости Нижнего Новгорода, Кинешмы, Галича, Костромы, Тотьмы, Устюга, Вологды, Вятки, Перми и уже не оставляют надолго пылающей кострами Русской земли, поскольку князь Шуйский, самозванный правитель, не решается скликнуть служилых людей и бросить полки на разгулявшихся дикарей. Тут горят русские села, тут потоками льется русская кровь. Летописец свидетельствует с суровой выразительностью мудреца и печальника:

«Батый протек молнией русскую землю, казанцы же не выходили из её пределов и лили кровь христиан как воду. Беззащитные укрывались в лесах и в пещерах, места бывших селений заросли диким кустарником. Обратив монастыри в пепел, неверные жили и спали в церквах,

пили из святых сосудов, обдирали иконы для украшения жен своих усерзьями и мнистами, сыпали горящие уголья в сапоги инокам и заставляли плясать, оскверняли юных монахинь, кого не брали в полон, тому выкалывали глаза, обрезывали уши, нос, отсекали руки, ноги и – что всего ужаснее – многих приводили в веру свою, а сии несчастные сами гнали христиан как лютые враги их. Пищу не по слуху, но виденное мною и чего никогда забыть не могу...»

Неурядицы и разорения, рожденные мятежом, рожают новые мятежи. Уже тлетворный дух мятежа и смутянства проникает не только в душевные палаты подручных князей и бояр, но и в тихие прежде монастырские кельи. На этот раз зачинщиком, даже главой мятежа становится новый митрополит Иоасаф, по недомыслию или ошибке возведенный на место первоблюстителем князем Иваном Васильевичем. Честный пастырь всё ещё помнит наложенное на него священное поручение, данное великим князем Василием Ивановичем на смертном одре, к тому же долгое игуменство в Троицком Сергиевом монастыре само по себе является свидетельством и надежной гарантией порядочности служителя церкви, а нетленный дух святого Сергия, дух Нила Сорского, живущий в просветленной, едва ли не детской душе, поставляет за долг вмешаться в земные дела и положить предел бесчинствам и безобразиям, творимыми на Русской земле всеми и каждым из тех, кто не умеет жить без узды. Но как вмешаться, что именно положит предел, кто накинёт узду?

И вот преосвященный Иоасаф, едва знакомый с земной круговертью, не находит ничего лучшего, как сбросить одного мятежника, прибегнув к помощи другого мятежника. Он входит в тайный сговор кое с кем из недовольных князей и бояр, князем Иваном Васильевичем оттесненных от власти, от желанных привилегий и вдруг обращается к десятилетнему великому князю и в боярскую Думу с пастырской просьбой, напоминая о христианском великодушии, помиловать князя Бельского, гниющего в мрачной темнице. Неожиданно для князя Ивана Васильевича, абсолютно уверенного в своем неправо обретенном могуществе, тем более абсолютно уверенного в своей безопасности, думные бояре вскакивают со своих засиженных мест, одни вопят о милосердии, другие требуют справедливости, много раз попранной ими самими, и новый, малый мятеж кончается тем, что именем великого князя Иван Бельский, в какой уже раз, извлекается из темницы и тут же вводится в боярскую Думу. Князя Ивана Васильевича до того поражает внезапное развитие враждебных событий, он до того теряется и не находит, как ему поступить, что только в припадке злобы трясется, клянется именем Бога отомстить за измену и с этого дня отказывается присутствовать в Думе.

Князь Иван Федорович вновь торжествует и вновь не находит, на какие высокие или хотя просто полезные для государства деяния употребить свою власть, какие благодетельные преобразования провести, чтобы вывести Московское великое княжество из анархии и верными препонами предотвратить её в будущем, если не на все, то хотя бы на ближайшие времена. Победившее содружество Бельских меняет кое-кого из самых бесстыдных наместников, главным образом потому, что они принадлежат к враждебному роду, в их числе князей Андрея Шуйского и Василия Репнина-Оболенского отзывают из чуть не дотла разоренного Пскова, однако ни кто из них не попадает под суд, ни один злодей, ни один лихоимец не подпадает под законное наказание, а князя Ивана Шуйского, что граничит уже с преступлением, жалуют воеводой и ставят под его начало полки, которым наконец назначается двинуться из Владимира на Казань. Псковитянам возвращается право суда, независимого от власти наместника. Освобождают из заточения малолетнего князя Владимира Старицкого и его мать Ефросинью, заточенных ещё при вдовствующей великой княгине Елене Васильевне той же Думой почти в том же составе, возвращают удел вместе с правом держать двор, бояр и служилых людей. Вспоминают даже про князя Дмитрия, внука великого князя Василия Темного, сына князя Андрея Углицкого, который томится в вологодской темнице, в железах, без света и воздуха, уже лет пятьдесят, никакой не имея вины, снимают железы, в темницу несчастного узника впускают немного света и воздуха. С грехом пополам отбивают крымских татар. Более ничего ни князь

Иван Федорович, ни его многочисленная родня предпринять не умеют. К тому же он слишком скоро несет жесткое наказание за свою глупость, помноженную на великодушную слабость.

Князь Иван Федорович и митрополит Иоасаф, которые нынче ведают бесконтрольно пожалованьями и раздачами, действуют, в отличие от князя Шуйского, именем великого князя, даже находят нужным спрашивать мнение Иоанна, которому тем временем пошел двенадцатый год. Подручные князя и бояре ненавидят их именно за то, как говорит летописец, что великий князь держит их в приближении. Им очень хочется сами занять это почтенное и прибыльное местечко. Само собой разумеется, составляется заговор. Ядро заговора образуют князь Иван и Михаил Кубенские, князь Дмитрий Палецкий, казначей Иван Третьяков, все, натурально, в окружении своих служилых людей, по меньшей мере четыре полка, а также бояре Великого Новгорода, возможно, при тайном участии новгородского архиепископа и глубоко законспирированной секты жидовствующих. Заговорщикам необходимо имя и знамя. Под влиянием новгородцев, приверженных дому Шуйских, на руководящую роль избирается Иван Шуйский, отправленный во Владимир с полками. Заговорщики пересылаются с ним, просят помощи, обещают помощь со своей стороны.

На этот раз князь Иван Васильевич действует осторожно и ловко. Вместо того, чтобы направить вверенные ему полки для решительного наступления на обнаглевших казанских татар, он переманивает на свою сторону меньших воевод и многих служилых людей, кому угодно готовых продать свой меч за лишнюю деревеньку, за новую шубу, за денежную раздачу, ибо крайне беден служилый человек на Русской земле, предусмотрительно берет со всех них крестное целование, чтобы, в случае неуспеха, не отреклись от него, набирает из новгородцев, особенно чем-либо обиженных Бельским, передовой отряд и, как только из Москвы присылают сказать, что готовы, в ночь на третье января 1542 года, отправляет триста всадников во главе со своим сыном Петром и Иваном Большим Шереметевым, а к утру появляется сам, желая закрепить первый успех и принять из рук новгородцев вырванную у оплошавшего Бельского верховную власть.

На этот раз Шуйский не повторяет ошибки: Ивана Бельского схватывают на его дворе, заключают под стражу, в тот же день спешным порядком переправляют на Белое озеро, где ему будто бы назначено заточение, и там трое подручников князя Ивана Васильевича убивают его. Князя Петра Щенятева берут прямо из покоев великого князя и отправляют служить в Ярославль, а Иван Хабаров-Симский ссылается в Тверь. Во второй раз не останавливается князь Шуйский и перед неприкосновенной особой митрополита: вслед за Даниилом низлагается Иоасаф. Его берут на митрополичьем подворье и отправляют в заточение в Кириллов Белозерский монастырь.

Боярская Дума откровенно молчит, видимо, думные бояре не находят в мятеже и бесчинствах, связанных с ним, ничего предосудительного и необычного, ведь для витязей удельных времен мятеж и бесчинство скорее норма, чем исключение. Князь Дмитрий Бельский как сидел в ней на первом месте, в полном согласии со своим старшинством по росписи мест, так и сидит, точно это не его родной брат внезапно низложен и незаконно удушен в темнице, разумеется, без следствия и суда. Служители церкви не подают признаков жизни, точно не главу московского православия побивали, как татя, камнями, а затем ни с того ни с сего заточили в дальнем монастыре. Ни одного голоса протеста не раздается в верховном органе московских князей и бояр, который желает бесконтрольно править Русской землей, ни одной анафемы не раздается с амвона церкви, обязанных пасти и наставлять неразумных, бунтующих, обгадряющих руки в крови прихожан.

Спустя два месяца как ни в чем не бывало собирается новый освященный собор. Не помянув добрым словом благочестивого Иоасафа, не осудив Шуйских, Кубенских, Третьякова и Палецкого, собор избирает митрополитом Макария, архиепископа из Великого Новгорода. Этот честолюбивый, но широко мыслящий пастырь, возможно, сам тайно подготовивший свое

внезапное возвышение с мыслью о благе Московского великого княжества, признается много позднее, в каком сложном положении он вдруг очутился, и в его словах всё ещё слышится страх и растерянность:

«В лето 7050-е первопрестольник, великий господин, Иоасаф митрополит всея России остави митрополию русскую и о отойде в Кириллов монастырь в молчальное житие, и не свеем которыми судьбами Божиими избран и понужен был аз смиренный не токмо всем собором русския митрополии, но и самим благочестивым и христолюбивым царем и великим князем Иоанном Васильевичем всея России самодержцем. Мне же смиренному многазе отрицающуся, по свидетельству божественных писаний, и не возмогах преслушатись, но понужен был и поставлен на превеликий престол русския митрополии...»

Ужасны эти бесчинства, потрясающие то и дело Москву, ужасны беспрестанные севольные взаимные казни и заточения, которыми князья и бояре, претенденты на верховную власть, то и дело обмениваются друг с другом, ещё ужасней самая легкость, с какой совершаются перевороты и возвышения, ставящие на кон судьбу Московского великого княжества, но самое ужасное таится в том неизменном низменном и глубоком молчании тех, кто почитается самым достойным, самым славным, кому неизжитый обычай удельных времен, это благословение прародителей, которое кружит головы без исключения всем подручным князьям и боярам, вручил верховную власть на всё ещё неустоявшейся Русской земле. В сущности, это молчание предоставляет любому жулику и проходимцу, сильному только родством, сплоченной поддержкой родни да полком служилых людей, которые сидят у него на поместьях, захватить власть и учинить в Московском великом княжестве тот кромешный разбой, на какой у него лично достанет храбрости и нахальства.

Почему же молчат? Что лежит в основании постоянного попустительства оголтелому насилию и следующему за ним грабежу? Разумеется, в основании попустительства лежат привычки и моральные принципы удельных времен, когда насилие и грабеж были нормой жизни неукротенных, никому не подвластных князей и бояр, то и дело ходивших друг на друга войной, разорявших и грабивших тех, кто слабей, привыкших почитать вооруженную силу как единственное право на власть.

Силен Шуйский, и они покоряются Шуйскому, силен Бельский, и они покоряются Бельскому. В этой способности без тени угрызания совести покоряться оголтелой, нерассуждающей силе столько же прирожденная, сколько благоприобретенная слабость и трусость, общая несостоятельность подручных князей и бояр, в руках которых на четырнадцать лет оказалась судьба Московского великого княжества. Именно эти годы сплошных мятежей и бесчинств лучше всего свидетельствуют о том, что высшее сословие Русской земли составляют люди посредственные, люди бездарные, лишённые не только государственного ума, но лишённые чести и совести, не только не способные, но и не видящие необходимости противостоять беззаконию и насилию со стороны больше решительных, более хватких претендентов на верховную власть, потому что именно беззаконие и насилие этого рода есть для них единственный и высший закон.

Без сомнения, не одна мораль насилия и беззакония, не одна трусость, не одна посредственность и бездарность сковывают волю и запечатывают уста подручных князей и бояр. Рука об руку с этой ущербной моралью и трусостью идет хищная жадность, безмерная жажда стяжания, самая оголтелая животная страсть потуже набить свой горячо любимый окованный железом сундук, а там хоть трава не расти, хоть Русская земля провалилась в тартарары. Оттого и молчат, что только и ждут новых раздач и пожалований, дающих бесконтрольную, безбрежную возможность грабить до нитки беззащитные посады и волости, грабить так, как не всегда грабят татары, грабить до оскудения торжищ, до обезлюдения земли. Молчат также и оттого, что терпеливо, злокозненно ждут, когда соберутся, в свою очередь, с силами, стакнутся, сплотят под своими знаменами бесчисленную родню, поднимут мятеж, сбросят нынешнюю беззакон-

ную власть, установят свою, такую же незаконную власть и примутся за новые пожалования и раздачи, дающие ту же возможность грабить и разорять.

И на этот раз всё происходит так, как всегда, как стало привычно, как ещё с воровского Рюрика повелось. Иерархи церкви, за время смуты тоже значительно прирастившие монастырские земли, послушно избирают митрополитом Макария, не потому, что хотят принять поучение и закон от достойного и мудрейшего, а потому, что на него указывает властным перстом с Великим Новгородом тесно связанный Шуйский, недаром именно новгородцы становятся застрельщиками нового мятежа. Наместников, назначенных Бельским, сменяют наместники, нынче на города и веси определенные Шуйским, и мирные города и веси отдаются его припешникам точно так же на поток и разграбление, как военная добыча отдается наемнику, который тащит всё, что находит в городе, взятом на штурм.

Правда, сам Иван Шуйский, видимо, утомлен, может быть, тяжело болен. Прогредев очередными бесчинствами, словно бы для того, чтобы потешить себя напоследок, он отправляется на покой, передав высшую власть своим близким родственникам, и тихо угасает в полной неизвестности, года через два или три, никто не может точно сказать, не интересный, не нужный более никому, как и всякий бандит, отметивший свое пребывание на грешной земле всего лишь насилием и воровством.

Вместо него Московским великим княжеством правят Андрей Михайлович Шуйский, Иван Михайлович Шуйский и Федор Иванович Шуйский-Скопин. Эти уже абсолютно безлики и абсолютно бесстыдны. Занятые откровенным грабительством, они пекутся только о том, чтобы к подрастающему великому князю не приближался никто, кроме них, и когда неизвестно откуда и каким образом к нему все-таки приближается Федор Семенович Воронцов, эта непотребная троица не стесняется учинить неугодному любимцу великого князя громкий скандал прямо в Думе, избивает его у всех на глазах и отправляет в заточение в Кострому.

Этим грубым и грязным бесчинством окончательно развязываются руки незваных правителей. Уже не только всюду множатся бесчинства и грабежи их потерявших вожжи подручников, но учиняются убийства невинных людей, уже скорее ради наслаждения властью, чем из необходимости её укрепить и продлить.

Из всей троицы бессовестней, непристойней других бесчинствует князь Андрей Михайлович Шуйский. Он не только обирает посадских людей, землепашцев, звероловов и рыбаков, но уже принимается, под видом купли, чаще принуждением и насилием, отнимать земли служилых людей, таким образом подрывая военную мощь Московского великого княжества, поскольку служилый человек может служить и служит только с земли, дающей средства на коня, на оружие и хотя бы на мешок сухарей, с которым он уходит в поход.

Именно в этот критический миг, когда бесчинства, насилия и грабежи, которые продолжают без остановки четырнадцать лет, со дня внезапной кончины великого князя Василия Ивановича, казалось, достигают предела возможного, когда Московскому великому княжеству угрожает полное оскудение и полный развал, великий князь Иоанн, ещё в первый раз, решает сказать свое твердое, бесповоротное слово, делает первый шаг, чтобы предотвратить катастрофу, восстановить должный порядок, учредить законность в своей многострадальной наследственной отчине, и этот первый шаг и первое слово определяют его дальнейшую жизнь, все его заслуги и злодеяния.

## Глава восьмая

### Испытания

Уже целое десятилетие, фактически всю свою пока что очень короткую жизнь, поскольку ему идет тринадцатый год, Иоанн впечатлительными глазами неопытного, беззащитного отрока, только ещё начинающего знакомиться с тем, что есть мир и что есть человек, наблюдает эти бесчинства, к счастью, не все, а лишь те, которые касаются лично его или творятся при нем, но и этих гнусных побоищ и свар более чем достаточно для того, чтобы отнестись критически к московскому высшему обществу и вспылать сердечным презрением к человеку, столь порочно способному грабить и убивать.

Уже самое первое впечатление, пробудившее его от младенческой спячки, оказывается чересчур необыкновенным, мрачным и сильным. Вы только представьте себе: маленький мальчик, трех лет, такой же нежный, такой же чувствительный сердцем, с таким же пылким воображением, как и отец, мирно играет в своей детской комнатке, естественно, нисколько не подозревая о том, что происходит в отцовских палатах, тем более не подозревая о том, что происходит в опочивальне отца.

Вдруг к нему вихрем врывается дядя Иван, матушкин брат, хватая отрока на руки, бросая на ходу какие-то непонятные ребенку слова или даже не говоря ничего, и тащит куда-то чуть не бегом темными тесными переходами, чего никогда прежде не делали с ним. Нетрудно предположить, что маленький мальчик крайне испуган, и такого испуганного, дрожащего всем беззащитным крохотным тельцем его внезапно вносят туда, где страждет в предсмертном полубреду почти неузнаваемый человек. Смердный воздух, идущий от гноящейся раны ударяет в затрепетавшие ноздри, в глаза бросается тусклый свет горящих точно в густом тумане толстых свечей и странные вытянутые зеленоватые лица бородатых князей и бояр, которые плотной стеной окружают того, кто страдает и стонет и говорит на измятой постели, и сам любимый отец, исхудавший в несколько дней, с почерневшим лицом, с ввалившимися глазами, тоже, как все, обросший непривычной для него бородой, неподвижный, с безжизненными руками, с громадным золотым крестом на груди, отец, которого всегда видел нежным, ласковым, жизнерадостным, подвижным, живым, которого любил детской, то есть самой чистой и крепкой на свете любовью. И этот странный, чужой, непонятный отец с величайшим трудом приподнимает золотой маслянисто мерцающий крест и чужим, изменившимся, сдавленным голосом говорит неизвестно о чем:

– Буди на тебе милость Божия и на детях твоих! Как сам святой Петр благословил этим крестом прародителя нашего, великого князя Иоанна Даниловича, так им благословляю тебя, моего сына.

Знаком поручает несмышленного отрока Троицкому игумену Иоасафу да боярыне Аграфене, мамке его, и просит ещё не вошедшего в разум питомца неусыпно, неустанно беречь.

Не успевает трехлетний отрок сообразить, что за событие совершается в мрачной опочивальне, как вводят под руки его мать, которая громко, надрывно рыдает и сама не в силах идти, Опять-таки не своим, каким-то визгливым голосом молит она, непривычно обращаясь к отцу:

Государь великий князь! На кого меня оставляешь и кому приказываешь детей?

И этот незнакомый отец не своим голосом говорит, что благословляет сына своего государством и великим княжением, а ей отписывает в духовном своем завещании, как отписывали великим княгиням и прежде, то есть единственно вдовий удел, отчего матушка начинает ещё громче рыдать.

Такие сильные, такие неподъемные для детского ума впечатления никогда не проходят бесследно. Одного такого впечатления более чем достаточно для того, чтобы нанести неизлечимую рану ещё хрупкой, легко уязвимой детской душе и навести внезапно, болезненно, резко



пробудившийся ум на тревожные, мрачные, бессильные размышления. Но ещё более непонятные, более сильные впечатления начинают на него валиться обвалом, что ни день, что ни час, и всё его прежде такое уютное, такое счастливое детство вдруг превращается в непереносимый, истинно изуверский кошмар.

Мало того, что куда-то в незримую неизвестность ни с того ни с сего пропадает любимый отец. Проходит всего несколько дней после устрашающей сцены в опочивальне, как его облачают в какие-то тяжелые блистающие одежды, каких он прежде никогда не носил, с какой-то особенной важной повадкой ведут в успенский собор, полный празднично разодетого духовенства, князей, бояр и посадских людей, служат торжественную обедню под медный перезвон великого множества ближних и дальних колоколов, по её окончании к нему медлительно приближается митрополит Даниил в расшитом золотом облачении, дает целовать золотой крест и благословляет его держать в своей державной руке Московское великое княжество, а ответ за него давать единственно Богу, затем первейшие из князей и бояр подносят ему диковинные подарки, каких он тоже прежде никогда не видал, и если он, кроме глубокого изумления, ещё что-то выносит из этой величественной церемонии венчания нового московского великого князя, то лишь неизгладимое ощущение своей чрезвычайной, чрезмерной значительности, крайне вредное для его незначительных лет, способное исказить любую натуру своей преждевременностью, поскольку такое ощущение приходит без малейших усилий с его стороны, без каких-либо личных заслуг, просто так, по одному случайному праву рождения.

После столь пышно и громогласно совершенного торжества трехлетнего отрока возвращают будто и не было ничего в его прежнее состояние, в его детскую комнатку, к его нехитрым игрушкам, к его мамкам и нянькам, и оставляют его одного, не имея нужды интересоваться его пока что никому не нужным существованием, что не может ещё более не сбить с толку слабый детский умишко, не может не сделать это преждевременное ощущение своей чрезвычайной, чрезмерной значительности болезненным, опять-таки непосильным для неокрепшей, неопытной, не поддержанной знанием нравственного закона детской души.

Первое время с ним часто бывает его горячо любимая матушка, молодая, красивая, самое имя которой всегда окружено для него каким-то особенным ореолом, затем в покоях всё чаще появляется какой-то незнакомый мужчина, затем бесследно исчезают два дяди, несколько ближних князей и бояр, затем и матушка беспричинно покидает его, то есть в течение нескольких лет она продолжает жить где-то рядом, в княжеском тереме, однако не с ним, без него, ушедшая с головой в иные дела, более интересные более важные для неё, чем её маленький сын, а единственным участником его детских игр становится его младший брат, несчастный страдалец, глухонемой от рождения, который всё молчит да молчит, не слышит и не понимает его.

Если бы его так и оставили на несколько лет одного, если бы никогда не извлекали из небытия, он, по всей вероятности, очень быстро забыл бы о своей чрезвычайной, чрезмерной значительности и не стал бы ломать себе головы безответным запросом, отчего же он в таком случае абсолютно неинтересен, безразличен для всех. Однако время от времени, всегда внезапно, всегда впопыхах и небрежно, ничего хоть бы одним словом не объяснив, к нему прибегают, вокруг него суетятся, его облачают в те же тяжелые блистающие одежды, с непонятной важностью вводят в боярскую Думу, сажают на узорчатое высокое отдельно стоящее кресло выше и впереди всех, представляют ему каких-то вычурно, не по-русски, несуразно одетых людей, то в чулках, в башмаках, в коротких штанах до колен, с пучками перьев на шляпах, с бритыми лицами, как у отца, то в пестрых халатах, с коротко стриженными черными бородами, с головами, обвитыми какими-то белыми тряпками, что-то необычное, странное говорят за него, дают подписать какие-то грамоты, принуждают во время обеда этим чужим людям с косыми глазами подносить чаши с медом собственными руками, и он по презритель-

ным ухмылкам этих людей не может не ощутить, как глубоко, как отвратительно он унижен и оскорблен, а потом вновь надолго, на целые месяцы забывают о нем.

Совершенно естественно, что одинокий отрок, дитя, пяти, шести, семи лет, сданный на попечение мамок и нянек, которые стерегут каждое его побуждение, пресекают малейшую шалость и строго наставляют его, но не дают ему ласки, тепла, в его возрасте так же необходимых, как воздух и свет, всё больше привязывается к изредка появлявшейся матушке, ждет не дождется мимолетного видения её неизъяснимой прелести, её для него абсолютно сказочной красоты, жадно ловит каждый взгляд и каждое слово, млеет от каждого поцелуя, от каждого прикосновения её теплой женской руки и в конце концов обожжет, чуть не обожествляет её.

Однако злой рок преследует его с самого раннего детства. Ему не исполняется восьми лет, он не успевает ещё толком привыкнуть к потере отца, как внезапно, беспричинно для многих, беспричинно тем более для него, умирает и молодая, красивая мать. Он в отчаянии, заливаясь слезами бросается на грудь её друга, до того велико его горе и до того он страшится остаться уже окончательно и бесповоротно один в этом непонятном, неприятном, сурово испытующем мире, а мамки и няньки громко шепчутся между собой, что великую-то княгиню свет Елену Васильевну отравили.

В течение нескольких дней, радостных для него, чуть не счастливых, его мамка боярыня Аграфена Челяднина и её брат князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский не отходят от него ни на шаг, прислуживают ему, ласкают его, не знают, чем угодить, чем умягчить его безутешное горе, но и это горькое счастье человеческого тепла и внимания длится именно несколько дней. Уже неделю спустя вооруженная стража, гремя бердышами и стальными подковами высоких изогнутых каблуков, громко крича, непристойно бранясь, врываются в покои великого князя и, не обращая внимания на слезы и вопли перепуганного насмерть ребенка, грубо хватают и куда-то уводят и боярыню Аграфену и князя Ивана, с тем, чтобы уже никогда он их не увидел, и едва ли от него долго скрывается тайна их злодейской гибели. За что? Почему? Кто повелел?

Отныне в его детской жизни с поразительной внезапностью и быстротой сменяют друг друга не только сладкое ощущение своей чрезвычайной, чрезмерной значительности и горькое ощущение полнейшей, такой же чрезвычайной, чрезмерной заброшенности, ненужности никому, но и ужас насилия, который ему приходится пережить не раз и не два, а множество раз. То его тащат в тяжелых блестящих одеждах в боярскую Думу, отвешивают ему поясные поклоны и громко величают его, почти так, как в Успенском соборе величает Бога красноречивый митрополит Даниил, то надолго забывают о нем, принуждая проводить недели и месяцы наедине со своими мрачными размышлениями, то вламываются к нему с бранью и криками и кого-нибудь уводят от него навсегда, то являются ненавистные Шуйские, усаживаются на лавку, вопреки тому, это он уже уяснил, что в его присутствии никто не должен, не имеет права, к тому же так непристойно и вольно, сидеть, облакачиваются на постель, которая когда-то принадлежала отцу и потому почитается им как святыня, кладут обутые ноги на кресла, на которых когда-то сживали мать и отец, что он уже воспринимает как не смываемое ничем оскорбление, даже кощунство, то проникают, с опаской и тайно, в одиночку и вкупе, в его тщательно охраняемые покои первейшие из князей и бояр, кладут поясные поклоны, становятся на колени, наговаривают невероятные ужасы о своих недругах, раскрывают козни и заговоры, молят о милостях, о назначениях, о спасении близкой и дальней родни, без его воли и ведома попавшей в темницы Белоозера, Ярославля, Твери, Костромы, так что к нему возвращается сладкое ощущение своей чрезвычайной, чрезмерной значительности да разрастается уверенность в том, что его окружают враги.

Внезапно исчезает бесследно митрополит Даниил, который так часто благословлял его в Успенском соборе, имевший редкое право входить к нему в любое время и в любое время с ним говорить, о божественном, о нуждах церкви чаще всего, и протекает немало тревожного

времени, пока до него добирается темная весть о плачевной участи первоблюстителя. Место заточенного Даниила занимает новый митрополит, игумен Троицкого Сергиева монастыря, когда-то, как он уже знает, крестивший его в православную веру, и этот новый митрополит неожиданно раскрывает ему злодеяния ненавистных издавна Шуйских и просит за Бельского, достойного человека и доблестного воина, верного воеводу. Ему внушают, что в Московском великом княжестве его слово закон, его одного: сотворится именно так, как он повелит. Он повелевает, в первый раз в своей жизни, и Шуйские смещены, а Иван Бельский возвращается в боярскую Думу и становится первым лицом в государстве, но первым только после великого князя, везде и во всем отдавая должное десятилетнему отроку, отчего возвращается к Иоанну приятное ощущение своей чрезвычайной, чрезмерной значительности.

Вдруг приходит глумливая грамота от крымского хана:

«Государского обычая не держал твой отец, ни один государь того не делывал, что он: наших людей у себя побил. После, два года тому назад, посылал я в Казань своих людей; твои люди на дороге их перехватили да к себе привели, и твоя мать велела их побить. У меня больше ста тысяч рати: если возьму в твоей земле по одной голове, то сколько твоей земле убытка будет и сколько моей казне прибытка? Вот и жду, ты будь готов; я украдкой найду. Твою землю возьму, а ты захочешь мне зло сделать – в моей земле не будешь...»

В таком наглом тоне татары давно не ссылались в Москву. Между тем доносят лазутчики, что Крым и Казань и впрямь готовят совместный набег. Иван Бельский отправляет полки во главе с Шуйским во Владимир для прикрытия Москвы от Казани, другие полки уходят в Коломну, чтобы остановить нашествие крымских татар. До Москвы добираются двое пленников, бежавших из Крыма, и приносят ужасную весть: Саип-Гирей поднимает орду, оставляя в становищах лишь женщин, стариков и детей, а с ним идут турки с пушками и пищальями, астраханцы, ногаи, азовцы, генуэзцы из Кафы, точно новый Мамай угрожает Москве.

Из Путивля высылают в дикое поле сторожи. Станичники находят в голой степи следы многих тысяч коней, говорят, тысяч сто. Другая сторожа на этой стороне Дона из укрытия видит, как идут татары орда за ордой, с утра идут до позднего вечера, а конца не видать.

Тогда в Коломну приводит большой полк князь Дмитрий Бельский. Всюду поднимается дворянское ополчение. Конные отряды со всех сторон подходят к Серпухову, к Туле, к Калуге, к Рязани. Во Владимир на помощь Ивану Шуйскому подходит Шиг-Алей с касимовскими татарами и конные рати из семнадцати городов.

Стремясь предотвратить панику среди посадских людей. Иван Бельский и митрополит Иоасаф используют авторитет и личность великого князя. Вновь его облачают в торжественные одежды и вместе с больным братом Юрием спешно приводят в успенский собор, где великий князь, в обычную пору скрывааемый от простых прихожан стеной из пурпуровых тканей, должен публично молиться для ободрения растерянных подданных, и он, поставленный пред иконой владимирской Богоматери и мощами митрополита Петра, перепуганный, растерянный сам, но с ощущением своей чрезвычайной, чрезмерной значительности, громко плачет у всех на виду и обращается к Богу с молитвой:

– Боже! Ты защитил моего прадеда в нашествии лютого Тамерлана, защити и нас, юных, сирых! Не имеем ни отца, ни матери, ни силы в разуме, ни крепости в деснице, а держава требует спасенья от нас!

После долгих молений о милости Божией Московскому великому княжеству митрополит Иоасаф вводит его в боярскую Думу, и он, отрок десяти лет, уже начинающий осознавать, каких громадных сил разума, какой крепости в державной руке, каких жертв держава требует и ещё потребует от него, решительно обращается к тем, кто и без его обращения обязан его защищать:

– Враг идет: решите, здесь ли мне быть, а если быть мне не здесь, то куда удалиться?

В его присутствии, ещё в первый раз, первейшие из князей и бояр высоко толкуют о том, что в прежние грозные времена перед лицом неприятельского нашествия великие князья никогда не затворялись в Москве и что когда подступал Едигей, великий князь Василий Дмитриевич оставил властвовать на Москве князя Владимира Серпуховского и своих братьев, а сам ушел в Кострому собирать полки на подмогу, да Едигей погоню послал и едва-едва Бог помиловал великого князя, что к татарам в полон не попал, про нынешние времена нечего и толковать, ныне великий князь ещё отрок, никакой истомы не может поднять, не имеет сил и способности с места на место скакать для составления полков.

Видя нерешительность и смущенье первейших князей и бояр, митрополит Иоасаф, не доверяющий им, отвечает тем, кто ищет опоры в примерах прежних времен, что нынче не отыщется безопасного места ни в Пскове, ни в Великом Новгороде, ни в Ярославле, ни в Галиче, ни в Костроме, вопрошает нестойких и слабодушных, уже не раз оставлявших без надлежащей защиты легко уязвимые уклады Московского великого княжества, на кого великий князь покинет Москву, где покоятся святые угодники, и заключает твердо, как истинный муж:

– Имеем силу, имеем Бога и наших святых, коим отец Иоанна поручил возлюбленного сын, унынию не предавайтесь.

Тогда единодушнее осеняет вечно слабодушных, вечно ненадежных подручных князей и бояр:

– Государь, останься в Москве!

И отрок, ещё только засевавший за учебные книги, делающий всего лишь первые шаги в размышлении о смысле его назначения, однако, уже сознавая величайшую важность минуты, испытывая страшное волнение от сознания опасности и своей ответственности за безопасность Русской земли, отдает повеление готовить город к осаде, и те же подручные князья и бояре, которые ещё вчера по своей прихоти бесцеремонно и неурочно врываются в его неприкосновенные великокняжеские покои, чуть не до смерти пугая его, громко клянутся умереть за своего государя, за святые церкви, за дома свои.

Тут же призываются в Кремль городовые приказчики, им передается повеление великого князя. Обрадованные, что юный князь уже входит в возраст, гордые его повелением, они отправляются по вверенным их попечению слободам и концам, созывают посадских людей, велют готовить запасы, разбивают их на десятки и сотни, расписывают по вратным башням, по стенам и стрельницам, расставляют по местам пищали и пушки, и посадские люди, воодушевленные одним словом великого князя, клянутся на кресте за него и за дома свои крепко стоять и головы свои положить.

Уже татары приступают к Зарайску, что на Осётре, правом притоке Оки. Воевода Назар Глебов бесстрашно стоит в каменной крепости, бьет по татарам из пищалей и пушек, в ночной вылазке наносит им ощутимый урон, а пленных отправляет в Москву. Саип-Гирей принужден обойти неподатливый город. Орда во множестве высыпает на правый берег Оки, выставляет турецкие пушки и под их прикрытием готовится к переправе.

Но никакая опасность не способна охладить мятежный дух подручных князей и бояр. Не слыша над своей головой крепкой, державной руки, какая была у великого князя Василия Ивановича, они, ввиду неприятеля, затевают ссору о старшинстве, не хотят вести вверенные им полки, а жаждут перейти на другие полки, в соответствии с тем, на каких полках ходили их деды и прадеды. Того гляди, татары переправятся, не встретив сопротивления, и в самом деле дойдут до Москвы.

Иоанн, юный отрок, безусловно верит крестным целованиям, данным в Кремле, поскольку ещё не имеет сурового, горького опыта действительной жизни, но проходит всего несколько дней и становится очевидным, что решительно никто из этих взрослых, именитых людей не торопится умереть ни за него, ни за дома свои, ни тем более за чуждое им Московское великое княжество, что воеводы, приведшие полки на Оку, никак не могут решить, кому

быть первым, кому вторым или третьим, и тогда десятилетнему отроку составляют и дают на подпись послание, в котором он убеждает этих взрослых, позабывших о крестном целованье людей, чтобы они оставили личности, духом и сердцем соединились на отечество, за государя и веру, за Русскую землю, и заканчивает словами, которые не могут не возвысить его в собственном мнении:

«Обещаю любовь и милость не только вам, но и детям вашим. Кто падет в битве, того велю вписать в книги животные, того жена и дети будут моими ближними...»

Выслушав сердечное послание великого князя, вероятно, составленное красноречивым Иоасафом, бородатые воеводы обнимаются и чуть не плачут от умиления. В сущности, по-русски впечатлительные, добрые, поневоле запутанные в неповиновение и зло этим пресловутым благословением прародителей, они шумно толкуют между собой:

– Укрепимся, братья, любовью, помянем жалование великого князя Василия.

– Государю нашему великому князь Иоанну Васильевичу ещё не пришло время самому вооружаться, ещё мал. Послужим государю малому и от большого честь примем, а после нас и дети наши.

– Постраждем за государя и веру христианскую.

– Если Бог желание наше исполнит, то мы не только здесь, но и в дальних странах славу получим.

– Смертные мы люди: кому случится за веру и государя до смерти пострадать, то у Бога незабвенно будет, а детям нашим воздаяние будет от государя.

Только что готовые выдрать друг другу бороды до самого корня, просветлевшие воеводы просят друг и друга прощения, расходятся по полкам и пересказывают служилым людям послание великого князя, В ответ раздаются умиленные клики:

– Рады государю служить!

– Головы за христианство положим!

– Хотим пить с татарами смертную чашу!

Расстроенные было полки воодушевляются, приходят в должный порядок и с такой решимостью выступают вперед, на левый берег Оки, что в татарском стане поднимается паника, до того опустошившая и без того слабые души налетчиков, что татары ночью уходят, страшась сразиться с Москвой. Москва ликует. Москва торжественно празднует полную, бескровную и потому блистательную победу, тем более славную, что о московских победах давно не слышать. Гудят, заливаются на сотнях колоколен колокола. Десятилетнего отрока вновь приводят в Успенский собор. В присутствии своих приближенных он возносит Всевышнему благодарственные молитвы за счастливое избавление отечества от иноверных, иноплеменных, затем именем того же отечества изъявляет свою державную признательность воеводам, и возвышенные внезапно налетевшей благодарностью чистосердечному отроку за светлое слово сами просветленные воеводы со слезами отвечают ему:

– Государь, мы победили твоими ангельскими молитвами и счастьем твоим!

Кто тверже прежнего не уверует после этих славных, неожиданных происшествий в Бога и в спасительную силу коленопреклоненных молитв? Кто не уверует в собственное могущество, в свою единственную ответственность перед Богом, перед отечеством и людьми? Кто не осознает высоты своего свыше определенного назначения? Кто не возвысится духом после таких восхвалений? То не ощутит в душе своей необыкновенную, всепобедную мощь? Кто не возрадуется совершённом подвигу? Кто не вознесется самыми радужными надеждами, не осветится самыми радужными мечтами о будущем?

Но не успевает он упиться громом победы, не менее значительной, не менее славной, чем победа на речке Угре, не успевает насладиться жарким сознанием только что совершенного подвига на благо Русской земли, возрадоваться, возвыситься духом, как его впечатлительная душа вновь грубо раздавлена и бесцеремонно, безжалостно втоптана в грязь. В неуроч-

ное время, в три часа до свету митрополит Иоасаф в лихорадке и суматохе поднимает его, полуодетого, полусонного ставит во главе кое-как собранного немногочисленного крестного хода, которым смело идет на вооруженных, пришедших в слепую ярость мятежников, возбуждает петь вместе с нестройным, потерявшимся хором, надеясь воодушевить своих немногих сторонников присутствием великого князя, но уже с шумом и гамом врываются те же, так недавно им восторгавшиеся князья и бояре и до зубов вооруженные новгородские конники, хватают митрополита, чтобы без права, единственно силой лишить его сана первоблюстителя, который дает и который может отобрать только освященный собор, не теряющий присутствия духа Иоасаф, выказав неожиданно прыть, скрывается от мятежников на укрепленном митрополичьем подворье, разъяренные новгородцы швыряют в узорчатые окна камни, сопровождая свои богохульские действия непристойными изречениями языческих предков, точно ещё вчера не восхищались ангельскими молитвами, находчивый Иоасаф и тут ускользает от взбесившихся прихожан на подворье Троицкого Сергиева монастыря, и лишь в этом святом месте вооруженные бунтовщики хватают этого святого для каждого православного старца и заточают в келье Кириллова белозерского монастыря.

Нетрудно понять, что вновь перепуганные до смерти отрок, уже сознающий, что он великий князь, государь, верховный правитель всей Русской земли, ответственный за судьбу своих подданных, способный возглавить осаду Москвы, воодушевлять и двигать полки, одерживать блистательные победы над вековечным врагом, оказавшись, посреди ночи, невольным свидетелем непотребных, диких, непристойных бесчинств, испытывает и ужас, и бесчестье, и злобу, и жажду мести, и полнейшее бессилие перед теми, кто не устрашается посягнуть на неприкосновенную особу митрополита, невозможность вмешаться, без промедления прекратить безобразие, как от него требует долг и обязанность великого князя, наказать непокорных, восстановить поруганную у него на глазах справедливость, водворить порядок, покой, на страже которого он поставлен не только отцом, но и Богом, в чем его успевает наставить благочестивый Иоасаф и что успевают подтвердить сами подручные князья и бояре.

Немудрено, что после таких беспорядочных, слишком сильных, слишком болезненных ощущений Иоанн с особенной остротой сознает свое одиночество. Ему хочется где-то укрыться, куда-то уйти от помрачающих душу и ум беспутств и бесчинств, а так как этого сделать нельзя, он жаждет на худой конец отыскать в этой озлобленной стае жестоких и буйных искателей власти, раздач и жалованных грамот хотя бы одного сердечного друга, советчика, на которого бы он мог опереться, которому бы мог доверять, рядом с которым чувствовал бы себя человеком, властителем, а не жалким, бессильным щенком.

Не тут-то было. Когда в поисках надежного, сердечного друга огорошенный отрок с пристальным вниманием оглядывается вокруг, он обнаруживает, что беспрестанно бунтующие князья и бояре, от одной семьи, то другой, не подпускают к нему тех для них посторонних, подозрительных лиц, кто мог бы, сблизившись с ним, хоть на малую толику ущемить их свободную, их бесконтрольную власть над Московским великим княжеством, ему не удастся отвязаться от мысли, что, в сущности, они заточили его в царских палатах и что без их ведома и согласия он не в состоянии шагу ступить, это он-то, великий князь, наследственный государь, получивший власть по благословию прародителей, правитель, дающий ответ только Богу.

Само собой разумеется, он с удвоенной, с утроенной силой жаждет вырваться на свободу, занять то положение, которое принадлежит ему по праву рождения, но слишком скоро ему приходится убедиться, что вырваться на свободу нельзя, так настойчиво, неотступно его стерегут, а это для его детского ума означает только одно: его высокое положение утрачено им навсегда.

Естественное, неизбежное следствие: с малых лет, когда ребенок так чист, так правдив, он учится лукавить, изворачиваться, таиться, за спиной ретивых своих надзирателей приближает Федора Воронцова, довольно заурядную личность, едва ли достойную откровенности и

приязни великого князя, приближает скорее всего потому, что не обнаруживает возле себя никого, кто более пригоден для простой неторопливой беседы о чем ни попало или совета, но и тут его подстерегает не просто ещё одна неудача, не просто позор и умаление его государственной власти и чести, а грязный, непотребный скандал прямо у него на глазах, затем избивание избранного им человека только за то, что он, московский великий князь, государь всея Руси, почтил его своей доверительной дружбой.

В ужасе, чуть не в истерике, обливаясь слезами, он тут же, в присутствии равнодушных к его слезам подручных князей и бояр, не сделавших ни тени попытки взять под защиту своего же собрата, умоляет нового митрополита, Макария, остановить гнусное нападение многих на одного, заклинает главу московского православия спасти ни в чем не повинного христианина, его прихожанина, которого митрополит, не будь он в согласии с Шуйскими, обязан был защищать и без просьбы с его стороны.

Только после этой слезной мольбы митрополит и бояре Морозовы обращаются к зарвавшимся похитителям государственной власти именем великого князя и просят Воронцова не убивать. Шуйские обещают сохранить жизнь нежеланному любимчику Иоанна, оборванного, в кровоподтеках и синяках выводят из дворцовых сеней и отдают под стражу своих служилых людей. Иоанн умоляет сослать Воронцова и его сына в Коломну, если уж Шуйские не желают их видеть в Кремле. Вновь Шуйских уговаривает митрополит и Морозовы, и Шуйские соглашаются, как подачку, как милость, выслать их в Кострому, причем не останавливаются и перед тем, чтобы оскорбить митрополита, по их мнению, предавшего их. Летописец с сокрушением говорит:

«И когда митрополит ходил от государя к Шуйским, Фома Головин у него на мантию наступал и разодрал её...»

Зерно за зерном эти бесконечные безобразия со всеми отвратительными подробностями западают в уже недетскую память подрастающего великого князя, и даже спустя двадцать лет, когда он диктует первое послание предателю Курбскому, каждая сцена как живая встает перед его мысленным взором:

«Когда же суждено было по Божьему предначертанию родительнице нашей, благочестивой царице Елене, переселиться из земного царства в небесное, остались мы с почившим в Бозе братом Георгием круглыми сиротами – никто на не помогал; оставалась нам надежда только на Бога, и на Пречистую Богородицу, и на всех святых молитвы, и на благословение родителей наших. Было мне в это время восемь лет; и так подданные наши достигли осуществления своих желаний – получили царство без правителя, об нас же, государях своих, никакой заботы сердечной не проявили, сами же ринулись к богатству и славе, и перессорились при этом друг с другом. И чего только они не натворили! Сколько бояр наших, и доброжелателей нашего отца, и воевод перебили! Дворы и села и имущества наших дядей взяли себе и водворились в них. И сокровища матери перенесли в Большую казну, при этом неистово пиная ногами и тыча в них палками, а остальное разделили. А ведь делал это дед твой, Михайло Тучков. Тем временем князя Василий и Иван Шуйские самовольно навязались мне в опекуны и таким образом воцарились; тех же, кто более всех изменял отцу нашему и матери нашей, выпустили из заточения и приблизили к себе. А князь Василий Шуйский поселился на дворе нашего дяди, князя Андрея, и на том дворе его люди, собравшись, подобно иудейскому сонмищу, схватили Федора Мишурина, ближнего дядя при отце нашем и при нас, и, опозорив его убили; и князя Ивана Федоровича Бельского и многих других заточили в разные места; и на церковь руку подняли: свергнув с престола митрополита Даниила, послали его в заточение; и так осуществили все свои замыслы и сами стали царствовать. Нас же с единокровным братом моим, в Бозе почившим Георгием, начали воспитывать как чужеземцев или последних бедняков. Тогда натерпелись мы лишений и в одежде и в пище. Ни в чем нам воли не было, но всё делали не по своей воле, и не так, как обычно поступают дети. Припомню одно: бывало, мы играем в детские игры, а князь

Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, опершись локтем о постель нашего отца и положив ногу на стул, а на нас и не взглянет – ни как родитель, ни как опекун и уж совсем не как раб на господ. Кто же может перенести такую гордыню? Кто перечислит подобные бессчетные страдания, перенесенные мною в юности? Сколько раз мне и поесть не давали вовремя. Что же сказать о доставшейся мне родительской казне? Всё расхитили коварным образом: говорили, будто детям боярским на жалованье, а взяли себе, а их жаловали не за дело, назначали не по достоинству; а бесчисленную казну деда нашего и отца нашего забрали себе и на деньги те наковали себе золотые и серебряные сосуды и начертали на них имена своих родителей, будто это их наследственное достояние. А известно всем людям, что при матери нашей у князя Ивана Шуйского шуба была мухояровая зеленая на куницах, да к тому же из потертых; так если это и было их наследство, то чем сосуды ковать, лучше бы шубу переменить, а сосуды ковать, когда есть лишние деньги. А о казне наших дядей что и говорить? Всю себе захватили. Потом напали на города и села, мучили различными жестокими способами жителей, без милости грабили их имущество. А как перечесть обиды, которые они причинили своим соседям? Всех подданных считали своими рабами, своих же рабов сделали вельможами, делали вид, что правят и распоряжаются, а сами нарушали законы и чинили беспорядки, от всех брали безмерную мзду и в зависимости от неё и говорили так или иначе, и делали. Так они жили много лет, но когда я стал подрастать, то не захотел быть под властью своих рабов; и поэтому князя Ивана Васильевича Шуйского от себя отослал, и при себе велел быть боярину своему князю Ивану Федоровичу Бельскому. Но князь Иван Шуйский, собрав множество людей и приведя их к присяге, пришел с войсками к Москве, и его сторонники, Кубенские и другие, ещё до его прихода захватили боярина нашего, князя Ивана Федоровича Бельского, и иных бояр и дворян и, сослав на Белоозеро, убили, а митрополита Иоасафа с великим бесчестием прогнали с митрополии. Потом князь Андрей Шуйский и его единомышленники явились к нам в столовую палату, неистовствуя, захватили на наших глазах нашего боярина Федора Семеновича Воронцова, обесчестили его, оборвали на нем одежду, вытащили из нашей столовой палаты и хотели его убить. Тогда мы послали к ним митрополита Макария и своих бояр Ивана и Василия Григорьевичей Морозовых передать им, чтобы они его не убивали, и они с неохотой послушались наших слов и сослали его в Кострому: а митрополита толкали и разорвали на нем мантию с украшениями, а бояр толкали в спину...» И уже в те беспомощные детские годы в его неокрепшем сознании безответно, бесплодно бьются вопросы, на которые у него не найдется удовлетворительного ответа до конца его дней:

«Это они-то – доброжелатели, что вопреки нашему повелению хватали угодных нам бояр и избивали их, мучили и ссылали? Так ли они готовы душу за нас, государей своих, положить, если приходят на нас войной, а на глазах у нас сонмищем иудейским захватывают бояр, а государю приходится сносить с холопами и государю упрашивать холопов? Хороша ли такая верная воинская служба? Вся вселенная будет смеяться над такой верностью! Что и говорить о притеснениях, бывших в то время? Со дня кончины нашей матери и до того времени шесть с половиной лет не переставали они творить зло!...»

В сущности, хоть и подручные, но по-прежнему, как в удельные времена, своевольные князья и бояре вяжут его по рукам и ногам незримыми нитями власти, держат как пленника, не позволяют самостоятельно шагу ступить никогда и ни в чем не считаются с его государственной волей, прикрывая своё безначалие его малолетством даже тогда, когда начинает он подрастать, лишают его воли даже в таких пустяках, как выбор ближайших прислужников, так что дворецким ему служит князь Иван Кубенской, один из убийц князя Бельского, плененного и заточенного Шуйским, которого он ненавидит за это гнусное преступление и которого не в силах сместить, несмотря на развязность и неприличное поведение приставленного к нему палача.

Нечему удивляться, что после множества всех этих непростительных уродств и бесчинств, творящихся на подворье митрополита и самого великого князя, во время заседания



Думы или прямо в его опочивальне и столовой палате, оскорбленный, униженный, пылающий бессильной ненавистью высокопоставленный отрок готов броситься на шею любому из мало-мальски приличных людей, кто согласится оказать ему хотя бы самую малую помощь, тем более если возьмется наказать бесстыдных, потерявших даже обыкновенную осторожность бунтовщиков, точно таких, каких осуждение и беспощадную казнь он повсюду встречает в Священном Писании, в своей главнейшей и долгое время единственным учебном пособии, встречает, как ему представляется, чуть не на каждом шагу.

Придворная жизнь не имеет недостатка в интригах. Интриганы то и дело находятся и проникают к нему сквозь любые препоны. На этот раз, несмотря на бдительное противодействие Шуйских, к нему приближаются Глинские, два его дяди, Михаил и Юрий Васильевичи, один в чине конюшего, другой имеет право присутствовать на заседаниях Думы, братья матушки Елены Васильевны, по этой причине особенно близкие, особенно дорогие ему.

Довольно проворные, ловкие, братья Глинские начинают относиться к нему как к своему законному государю, хотя, что умеет он оценить, по возрасту и родству имеют над ним неоспоримое старшинство. Михаил и Юрий Васильевичи внушают ему, что он вправе и должен повелевать, вселяют мужество в сознающего свое бессилие отрока, помогают хотя бы отчасти поверить в себя. Видимо, к этой паре новых советчиков в конце концов примыкает Макарий, вскоре после грязной расправы с Федором Воронцовым и своей оттопанной мантии оставивший чересчур разгулявшихся Шуйских. Уже не одним его именем, а с его непосредственной помощью эти трое готовят новый переворот, готовят так осторожно и тщательно, что на подготовку уходит вся осень и первые недели зимы. Подросток, усердно, но втихомолку наставляемый ими, как полагается по давнему обычаю московских великих князей, творит молитвы в Троицком Сергиевом монастыре, охотится в Волоке Ламском, празднует Рождество.

По всей вероятности, именно эти более опытные, более искушенные в придворных интригах наставники указывают ему подходящий момент. Внезапно, так что никто не успевает заподозрить неладное, Иоанн самолично и неурочно созывает подручных князей и бояр, своей волей, незванный, негаданный, является перед ними в блестящем великокняжеском облачении и впервые по собственному почину говорит перед ними, и говорит повелительным тоном, что особенно поражает вконец изумленных, отчасти перепуганных подданных.

Он говорит им то, что они отлично ведают сами: они употребляют во зло его невинную младость, бесчинствуют, грабят незащищенную Русскую землю, убивают невинных людей. Он говорит, что перед ним, своим государем, они все виноваты, все до единого, тем не менее он повелевает казнить одного князя Шуйского, Андрея Михайловича, самого явного и самого большого злодея, виновнейшего всех остальных.

В тот же миг в палату является вооруженная стража, она, видимо, заранее приготовлена, за дверями стоит и только ждет знака истинного своего государя. Князя Андрея Михайловича Шуйского тут же швыряют на растерзанье подручным псарям. Псари, волоча князя в узилище, публично мучают, а затем убивают многократного бунтовщика. И больше ни одной казни, ни явной, ни тайной, не в пример распоясавшимся бунтовщикам. Лишь рассылают по дальним городкам на украины порубежную службу служить князя Федора Шуйского, князя Юрия Темкина, ещё несколько самых яростных сподвижников бунтовщика и, конечно, Фому Головина, который мерзостно и богохульственно топтал мантию митрополита Макария.

Потрясенные князья и бояре безмолвствуют. Торговые и посадские люди Москвы, натерпевшиеся от незаконных поборов и грабежей, встречают с одобрением и опалы и лютую казнь. Все ощущают, что новое правление наконец началось, и, затаивши дыхание, ожидают, что оно им принесет.

## Глава девятая

### Воспитание Великого князя

Итак, одинокий, множество раз униженный и оскорбленный подросток тринадцати лет не только сознает, что он великий князь, государь всея Руси, победитель татар, как его то и дело величают на всякого рода торжественных церемониях в боярской Думе и в Успенском соборе, но ещё в первый раз на деле испытывает беспредельное могущество вверенной ему от рождения, порученной Богом, то есть абсолютно неоспоримой, ничем и никем не ограниченной власти, и власть эта действительно оказывается чрезвычайной, безмерной, поскольку никто, ни один человек среди его больших и малых вельмож ни положением, ни правом рождения не смеет прекословить ему, а прежде молчавший посад встречает его монаршую волю, пролившую кровь, с полнейшим и несомненным удовлетворением и одобрением и с явным удовольствием взирает на лютую казнь, постигшую наконец одного из самых лютых его притеснителей.

Его уже давно пробудившийся уму не может не представиться законный вопрос: если он государь, Если подручные князья и бояре, от большого до малого, все до единого, обязаны повиноваться и действительно повинуются его повелениям, стоит ему лишь отчетливо, определенно свое повеленье изречь, то в таком случае что же и по кому праву над ними творили они, в одиночку или сбившейся в разбойничью шайку родней, во время всех этих темных, тревожных, безрадостных лет?

На этот законный вопрос может следовать один-единственный, очевидный ответ: всё, что в одиночку или сбившейся в разбойничью шайку родней они творили над ним, было незаконно, бесчестно, даже преступно, то есть, другими словами, возмущенье и бунт, поскольку в этом мире лишь одна его воля имеет силу закона, а все попытки, все и самые малые поползновения подавить его волю ил, то ли нагло, то ли лукаво, с ней не считаться, какие бы цели не преследовались непокорными подданными, является злейшим нарушением не нами и от века установленного порядка вещей. Из чего следует, что все эти безрадостные, тревожные, темные годы он безвинно страдал, он был жертвой бесстыдного мятежа, он был слабой игрушкой в руках взбунтовавшихся подданных, которые уже за одно это подлежат суровому и, главное, несомненно справедливому наказанию.

И он припоминает ещё и ещё раз, как глумились над ним его подданные, обязанные крестным целованием повиноваться ему, как врывались к нему по ночам разбушевавшейся дикой ватагой, как не позволяли свободно шагу ступить, как держали его взаперти, как незаконно умертвляли всех тех, кто был предан ему и кого он любил, как рассиживали в его присутствии развальясь, как одевали кое-как в будние дни как забывали его накормить. Он помнит каждую мелочь, он помнит решительно всё, он будет помнить целую жизнь и никогда не простит, не потому, что он мелкий, озлобленный, мстительный человек, но именно потому, что в его лице оскорбляли, унижали и притесняли не только лично его, обыкновенного смертного Иоанна Васильевича, но оскорбляли, унижали и притесняли его наследственный сан, оскорбляли, унижали и притесняли московского великого князя, государя всея Руси, оскорбляли, унижали и притесняли единственно ради того, чтобы безнаказанно грабить и убивать его подданных, которых он, именно по велению этого сана, более того, указанием Бога, обязан защищать и спасать от злодеев, кем бы и где бы ни обнаружился этот злодей.

С самого начала, с самого первого дня, когда он самолично прикасается к наследственной власти, когда всё его прежде скованное, бессильное, точно погруженное в страшный сон существо пробуждается к действию, в его сознании возникает высокое, даже возвышенное представление о государственной власти, врученной ему, как он смутно помнит и как много раз пересказывал взятый в свидетели Иоасаф, в предсмертные минуты отцом, освященной митро-

политом, тогда Даниилом, единственным и высшим главой православия на Русской земле. Как эту передачу, это благословение следует ему понимать? Понимать ему следует просто: чин и титул и власть московского великого князя принадлежит ему благословением прародителей, скреплена вековой традицией и дана, как он чувствует, свыше.

Не на своеволие предназначаются и чин и титул и власть, не на глумливое беззаконие, не на бесстыдное разорение и хищный грабеж. Своеволие, беззаконие, разорение и грабеж – прегрешение его бунтующих подданных, погрязших в пороках, позабывших о клятвах, данных сначала отцу, а потом и ему самом на кресте, стало быть, преступивших священное для каждого верующего крестное целование, самый тяжкий грех для человека истинной веры, в которой с первых дней все близкие, от нянек и мамок до первосвященника, неустанно воспитывают его. Власть государя предназначается на восстановление прародительского порядка и божественной справедливости, на установление незыблемого закона, на поддержание мира и тишины, и, в полном соответствии с таким не совсем обычным в Московском великом княжестве представлением о государственной власти, Иоанн, сын московского великого князя Василия Ивановича, внук московского великого князя Ивана Васильевича, потомок почти легендарного Владимира Мономаха, предназначен только на благородные, только на благие свершения.

Во всей личной жизни, всей государственной деятельности Иоанна непредубежденному наблюдателю невозможно обнаружить ничего более важного, более существенного и определенного, чем это возвышенное представление о государственной власти, доставшейся ему, как он не устает повторять себе и другим, по праву наследования, а не силой оружия, как сплошь и рядом прежде свершалось на залитой кровью русской земле, но ещё более важно отметить, что на этот раз высшая верховная власть попадает в руки, достойные такой власти, действительно приготовленные, способные к ней.

Поразительно, с какой решимостью, с какой твердостью, с каким присутствием духа тринадцатилетний подросток ещё в первый раз самостоятельно, по своему внутреннему решению говорит с подручными боярами и князьями, людьми взрослыми, опытными если не в делах управления, то хотя бы в изготовлении закулисных интриг, частью уже убежденными почтенными седидами, которые ещё вчера обращались с ним как с несмышленным, не стоящим внимания и уважения отроком, третировали его и ни в одном стоворе, ни в одном возмущении не принимали в расчет.

Как бы ни наставляли его перед этим решающим выходом Макарий и Глинские, как бы ни ощущал он у себя за спиной поддержку церковных властей и родни, всё же он ведет себя в этот миг как прирожденный властитель, предназначенный, призванный повелевать. Такого рода качества личности не приобретаются наставлениями, тем более закулисной поддержкой. Такого рода качества личности составляют характер, они неотъемлемы от него. Это врожденный инстинкт верно подсказывает ему, что в делах власти не может быть половинчатости, не может быть полумер, и он требует для князя Шуйского, совершившего, как всем известно доподлинно, множество преступлений, незамедлительной смерти, требует таким властным, таким решительным тоном, что никто из подручных князей и бояр, ещё менее из сообщников, из прямых пособников разгулявшегося на всей своей воле князя Андрея Михайловича, не осмеливается перечить ему.

Больше того, в этом решительном требовании слышится не порочная жестокость извращенной натуры, не слепое желание мести, накопленное за долгие годы небрежения и кровных обид, а сознание необходимости суровой кары преступнику, в противном случае, если бы им руководили жестокость и месть, ему ничто не мешало выдать псарям и всех прочих Шуйских, не менее князя Андрея Михайловича замаранных кровью, и его действительно жестоких подручников, да и кое-кого из подручных князей и бояр, достаточно нашкодивших в эти смутные лета и достаточно насаливавших ему, хотя бы тех, кто не так уж давно у него на глазах, в его сто-

ловой палате избивал и хулил его любимца Федора Воронцова. Но нет, он проявляет похвальное милосердие, щадя многих, виновных почти так же, как виновен князь Андрей Михайлович Шуйский, он поступает политически мудро, предавая казни лишь верховода, развязавшего, выпустившего на волю порочную склонность к неповиновению и мятежу, присущую тоскующим по своей полной воле рыцарям удельных времен.

Может казаться, что уже в этой казни выступает на свет божий его своеволие и самовластье, поскольку он действует, не проводя следствия, не предав виновного в руки суда, но это вовсе не так. Преступления князя Андрея Михайловича слишком у всех на виду, его преступления нет надобности расследовать и доказывать, все знают имена убиенных, сосланных и тайно удушенных им. Что же касается до суда, то суд состоялся, поскольку воля великого князя, открыто высказанная в собрании думных бояр и не встретившая с их стороны возражений, и есть, по тогдашним установлениям, суд, иного суда для князя Шуйского, всего лишь холопа на службе московского великого князя, не существует, как не существует иного суда и для всех остальных.

Самая жестокость казни не может никого удивить: такая жестокость вполне в духе времени, она несколько не превышает меры жестокости, законодательно принятой во всей будто бы просвещенной Европе, достаточно припомнить жуткие по своей изощренности приговоры судов в тогдашней Германии, Франции, Англии или пытки и костры инквизиции. Целые десять лет Иоанн наблюдает безудержную жестокость своеволия, изуверство бесчинств мятежных князей и бояр, так что жестокость во имя справедливости и порядка не может не представляться ему столько же естественной, сколько необходимой. Если это вина, что бесспорно с нравственной точки зрения современного человека, то это вина не личности, но вина её жестокого, антигуманного времени.

Этот первый самостоятельный шаг свидетельствует, кроме того, как рано развился этот подросток, как быстро он повзрослел. Иначе и быть не могло. Слишком много потрясений в течение десяти лет ему приходится пережить, слишком много бесчинств наблюдать, слишком много оскорблений и унижений снести. Такие испытания рано пробуждают детский, в счастливых обстоятельствах долго дремлющий ум, и этот рано пробудившийся ум не может не пытаться найти разумные объяснения всем тем ужасам, которые потрясают и глубоко переворачивают детскую душу, найти им причины, как-то истолковать, в надежде отыскать желанный путь к избавлению.

Нетрудно заметить, что его сильный, самостоятельный ум, собственным незримым путем дошедший до таких представлений, какими не обладали ни его крутой на руку дед, ни его более мягкий отец, видевшие в своей власти всего лишь неотъемлемое, принадлежащее отчине право, занятые своей отчиной, своей властью, своими частными делами значительно больше, чем благоустройством всей Русской земли. У Иоанна не было советников и наставников, которые помогли бы ему выработать новые представления, потому что до таких представлений ещё не возвысился никто из его приближенных, даже благоразумный, широко мыслящий митрополит Иоасаф, а если доверенные лица и появляются возле него, то появляются на самое короткое время, к тому же эти доверенные лица решительно ничем не выделяются из серой массы витязей удельных времен, не блещут способностями, не выказывают не только государственного, но и никакого иного, обыкновенного, будничного ума. Сами же витязи удельных времен, которые самовольно берутся его опекать, не только не оказывают на него сколько-нибудь положительного влияния, но усердно потакают его слабостям и по возможности развращают его. Когда под тлетворным воздействием беспрестанных насилий, посреди которых исподволь, неприметно формируется личность будущего царя и великого князя, в его уме зарождаются трудные, порой неподъемный запросы о жизни, о власти, о государстве, рядом с ним не находится ни одного человека, который на эти запросы пробудившегося ума дал бы вразумитель-

ные ответы или послужил бы для него образцом поведения, ведь у витязей удельных времен все ответы даются мечом.

Между тем, в этом хаосе злодейств и бесчинств он получает самое обыкновенное для своего времени, самое мирное, в высшей степени православное воспитание, в полном соответствии с правилами тогдашнего обихода. Его день неизменно начинается в домовой великокняжеской церкви, в окружении тех самых подручных князей и бояр, которые только вчера оскорбляли или злодейски пугали его и которые завтра, пользуясь полной своей безнаказанностью, вновь оскорбят и злодейски напугают его. Его духовник в дорогом облачении служит утрению, читает часы. Иоанн и его окружение внятным шепотом повторяют за ним молитву Господню, Символ Веры и Богородицу. Окончив богослужение, духовник кропит святой водой своих прихожан, и прихожане, очищенные на нынешний день горячей молитвой, усмиренные сердцем, отправляются по своим вседневным делам, которые состоят большей частью из бесчинств, беззаконий и грабежей.

В его кремлевских покоях красный угол уставлен бесценными образами искуснейшего письма, украшенными дорогими окладами, в золоте, в серебре, в жемчугах и в алмазах. В течение дня он несколько раз повторяет те же молитвы, слышанные то в домовой церкви, то в Успенском соборе, кладет земные поклоны, несколько сот, нередко до тысячи в день, как подобает истинно православному русскому человеку, тем более что Сильвестр, протопоп, его духовник, старательно убеждает его, что через три года в его душу вселится святая троица, если он каждый день станет повторять молитвы шестьсот раз, не больше, но и не меньше. В течение недели в первые годы выслушивается, позднее вычитывается Псалтирь. При каждом дурном помысле, при малейшем поползновении к дурному поступку он обращается к образам, осеняет крестным знаменем грудь, вновь и вновь произносит молитвы.

С малых лет его приобщают к посту. По понедельникам, средам и пятницам к его столу не подается ни мыса, ни рыбы, в Великом посту по целым неделям его пища ограничивается хлебом, капустой, редькой и хреном, вареное подается только в субботние и в воскресные дни, о мясе, о рыбе запрещается даже видеть во сне. На его глазах благочестивейшие из подручных князей и бояр, в наказание самих себя за грехи. В полдень позволяют себе вкусить ломоть хлеба, вместо соли обмакнуть его в пепел, в церкви и дома приносят Богу громкие покаяния, молятся усердно и долго, с земными поклонами, нередко в слезах, подчас становятся на молитву и ночью, сокрушаясь, скорбя, испрашивая прощения своих окаянных грехов, так он с младенческих лет не может не проникнуться исключительной верой во всемогущество и всеблагодать Спасителя, не может не возлюбить и не утрашиться Его. Мир, тишину обретает он за домашней молитвой и в храме, тот мир, ту тишину, каких тщетно жаждет и не находит посреди грозной смуты точно вдруг воротившихся удельных времен, которые так необходимы одинокому, оскорбленному и запуганному детскому сердцу. В домашней молитве и в храме находит он благодатное убежище от с трудом, с крайним напряжением переносимых несчастий беззащитного детства, утешение скорбей, обид. Больше того, в домашней молитве и в храме он обретает спасенье, поскольку озлобленная душа умягчается и злоба хотя бы на время оставляет её.

Может быть, больше всех остальных для укрепления и углубления его благочестия делает скоро прошедший митрополит Иоасаф, бывший игумен Троицкого Сергиева монастыря, на попечение которого он поступает на девятом году своей жизни, когда его душе уже нанесены глубокие раны и грубыми ударами разбуженный ум впервые обнаруживает повсюду неразрешимые тайны и обмирает, ещё не в силах самостоятельно их разрешить.

Вернейший приверженец спасительных идей нестяжания, искреннейший последователь Нила Сорского и в заволжских дебрях укрывшихся старцев, уже и тогда легендарных, митрополит Иоасаф ненавязчиво, бережно берет несчастного отрока за руку и выводит его на очистительную дорогу строгого аскетизма, духовного подвига и беспрестанного совершенства.

ния души, отринувшей от себя погубительные земные соблазны. Из уст первосвятителя Иоанн узнает историю жизни величайших русских святых, тогда известную большей частью лишь в устных преданиях, поскольку это направление русского благочестия нередко оспаривается, ставится под сомнение в официальных церковных кругах, и ещё недавно митрополит Даниил сторонников этого направления успешно отправлял под замок.

Монотонными зимними вечерами или в долгих поездках на богомолье он слушает задушевные повествования о том, как бедные, безвестные иноки, убегая греха, в первую очередь греха стяжания, суемудрия и послабления уставов в монастырях осифлянских, звериными тропами пробираются в непроходимые дебри сначала замосковских, позднее глухих заволжских лесов, своими руками валят вековые деревья, рубят тесные кельи, ставят часовни и, не смущаемые земными соблазнами, живут в истинной чистоте, беспрепятственно предаваясь только посту и молитве, не владея ничем, кроме чашки, ложки и рабочего топора. Самые стойкие, самые возвышенные, самые непреклонные на всю жизнь остаются для Иоанна неотразимым примером праведной жизни, вызывая душевную потребность им подражать, и несколько десятилетий спустя именно эти священные для него имена укоризненно напомним он разбаловавшимся белозерским монахам:

«Великие светильники православия Сергей, Кирилл, Варлаам, Дмитрий и Пафнутий и многие преподобные русской земли...»

В скромной, непритязательной, нестяжательной жизни благочестивого инока неожиданно для себя молодой Иоанн обнаруживает те прелести бытия, по которым так тяжело тоскует его одинокое детское сердце, оскорбленное и униженное бесчестное множество раз. Его пленяет полнейшее забвение всех житейских раздоров и свар, которое ниспосылается счастливым душам всех тех, кто принимает строгий обет и вступает в спасительные стены обители, живущей не по новым, развращающим, осифлянским, но старинным уставам. Его восхищает добровольное примирение высшего с низшим в истинно братской любви, которая, благодаря нестяжанию, благодаря постам и молитвам, нисходит на них, в полном соответствии с глаголом апостола: «Нет ни эллина, ни скифа, ни раба, ни свободного, все едины во Христе». Он задерживает внимание на каждом случае такого завидного равенства во Христе, осуществленного в жизни, будь то в настоящем или в прошедшем, и спустя много лет указывает на них:

«А в здешних монастырях до последнего времени держалось равенство между холопами, боярами и торговыми мужиками. В Троице при нашем отце викарием был Нифонт, холоп Рязановского, а с Бельским с одного блюда ел. На правом клиросе стояли Лопотало и Варлаам, неизвестно какого происхождения, а на левом – Варлаам, сын Александра Васильевича Оболенского. Видите, когда был настоящий путь спасения, холоп был равен Бельскому, и сын знатного князя делал одно дело с мужиками. Да и при нас на правом клиросе был Игнатий Курачев, белозерец, а на левом – Феодорит Ступишин, и он ничем не отличался от других клирошан, да и многих других таких случаев было до сих пор...»

И он прибавлял поучительно, с искренней верой:

«Ведь когда люди равны, тут и братство, а коли не равны, какому тут быть братству?...»

Иоанну поперек горла стоят все эти хамски-бесстыдные свары между людьми, которые подошли слишком близко к нему, чтобы и его не вовлечь в свои свары, и он с таким жаром жаждет сродниться душой хотя бы с кем-нибудь во Христе, с такой очевидностью понимает всю невозможность хотя бы слабой тени истинной, то есть исключительно братской любви в это, как он выразится позднее, «многомятежное и жестокое время», что начинает с особенным интересом приглядываться к житиям тех русских, греческих, даже эфиопских святых, которые совей доброй волей сложили с себя сан царя и свое высокое, почтенное положение среди жадных, озлобленных, враждебных один другому людей сменили на благодатное звание безвестного инока. Ни одного из них ему не забыть до старости лет, и он грозно гремит в красноречивом послании к загулявшим белозерским монахам:

«Господа мои, отцы преподобные! Вспомните вельможу, описанного в «Лествице», – Исидора, прозванного Железным, который был князем Александрийским, а какого смирения достиг? Вспомните также и вельможу царя индийского Авенира: в какой одежде он явился на испытание – ни в куньей, ни в собольей. А Иоасаф, сын этого царя: как он, оставив царство, пешком пошел в Синаридскую пустынь, сменил царские одежды на власяницу и претерпел много бедствий, о которых раньше и не знал, как он достиг божественного Варлаама и какой жизнью стал жить вместе с ним – царской или постнической? Кто же был более велик – царский сын или неведомый пустынный? Принес ли царский сын с собой свои обычаи, или стал жить по обычаям пустытника, даже и после его смерти? Вы сами знаете это гораздо лучше нас. А ведь у него много было своих Шереметевых. А Елизвой, царь эфиопский, какой суровой жизнью жил? А как Савва сербский отца, мать, братьев, родных и друзей вместе со всем царством и вельможами оставил и принял крест Христов, и какие монашеские подвиги совершил? А как отец его Неманя, он же Симеон, с матерью его Марией, ради его поучения оставили царство и сменили багряные одежды на монашеские и какие при этом они обрели утешение и небесную радость? А как великий князь Святоша, владевший великим княжеством киевским, постригся в Печерском монастыре и пятнадцать лет был там привратником и работал на всех, кто знал его и над кем он прежде сам властвовал? И не устыдился ради Христа такого унижения, что даже его братья вознегодовали на него. Они видели в этом унижение для своей державы, но ни сами, ни через других людей не могли отвлечь его от этого замысла до дня его кончины, и даже после его кончины от его деревянного стула, на котором он сидел у ворот, бесы бывали отгоняемы. Вот какие подвиги совершали эти святые во имя Христа, а ведь у всех у них были свои Шереметевы и Хабаровы. А как похоронен праведный цареградский патриарх, блаженный Игнатий, который был сыном царя и был, подобно Иоанну Крестителю, замучен кесарем Вардой за обличение его преступлений, ибо Варда жил с женой своего сына?...»

Нынче невозможно хотя бы с приблизительной точностью установить, когда именно в первый раз посещает его благая мысль сложить с себя царское звание и, приняв обет, навсегда затвориться в спасительные монастырские стены. Может быть, ещё в те малоизвестные, темные годы тяжкого детства и отрочества, когда добросовестный митрополит Иоасаф впервые выставлял перед ним со всей притягательной силой соблазна возрождающую прелесть православного иночества и жития во Христе. Во всяком случае едва ли можно оспорить, что в его растревоженную, болезненно уязвимую душу очень рано и глубоко западает это искусительное желание, и он начинает примериваться к монастырским порядкам, каким-то образом чуть ли не готовить себя к исполнению строжайше составленных старинных уставов, хотя бы необязательным для него детальным знакомством с правилами монашеской жизни, определенными святым Василием Великим, и так притягательно для него полнейшее отречение от земных бесчинств и злодейств, что каждый пункт этих правил остается в его памяти навсегда. Недаром путеводной нитью для его духовного мира становятся знаменитые слова апостола Павла:

«Ты уверен, что ты путеводитель слепым, свет для находящихся во тьме, наставник невеждам, учитель младенцам, имеющий в законе образец знания и истины; как же, уча другого, не учишь себя самого? проповедуя не красть, крадешь? говоря «не прелюбодействуй», прелюбодействуешь? гнушаясь идолов, святотатствуешь? хвалишься законом, а нарушением его досаждаешь Богу?...»

Сам он учиться готов и учится с жадностью, без принуждений, без понуканий со стороны, без вечных в таких случаях подзатыльников и стояний на коленях в углу, когда на горохе, когда на соли. Беда только в том, что если не имеется недостатка в примерах нравственной жизни, какими служат ему благочестивее иноки, то возможности вполне развить свой жаждущий ум, приобрести разнообразные сведения, чему-нибудь научиться в прямом смысле этого слова не существует совсем. Науки в любом её виде, в любой разновидности, науки хотя бы в самом зачаточном состоянии вовсе не существует на Русской земле, так что всякий жаждущий ум

обречен либо бесплодно вращаться в безвоздушном пространстве неведения, либо развиваться самобытно, диким способом, из себя самого, как сплошь да рядом и происходит со всяким одаренным русским умом.

В самом деле, читать Иоанна учат, как в те времена учат без исключения всех: он затверживает наизусть Часослов и Псалтирь. Его редкая память прочно удерживает не только пренебрежение и обиды безотрадного детства, но и всякого рода сентенции, в том числе на всю жизнь закрепляет и те, которые он впервые почерпнул именно из этих двух основополагающих книг. Однако что же такое сентенция? Сентенция – это бесспорная аксиома, это неопровержимая догма, которая призвана убеждать сама по себе, без доказательств и толкований, своим прямым, непосредственным содержанием, не допуская сомнений, а потому и не приводя к размышлению. «Несть власти, аще не от Бога», какие тут могут возникнуть сомнения у верующего, притом у великого князя? О чем после такого указания размышлять? В сознании такого рода сентенции входят, как гвозди, они укореняются, их невозможно вырвать даже клещами, но они никак не задевают, никак не затрагивают самую способность мыслить, рассуждать, сопоставлять одну мысль с другой. Нравственные сентенции, как партийные лозунги, делают принявший их ум неповоротливым и тугим, устраняя самую возможность самостоятельного решения. Ум, напичканный сентенциями и лозунгами, не стремится исследовать, познавать тайную, внутреннюю природу вещей, он в лучшем случае механически приобщается к природе вещей, создает их бесцветный или красочный образ, как это свойственно впечатлительному мечтателю или поэту, и чем импульсивней, чем нетерпеливей натура, тем более необоснованным, беспорядочным грозит сделаться действие, основанное на впечатлении, а не на последовательном и кропотливом постижении истины.

Да и откуда свалится стремление исследовать и познавать, когда самый принцип исследования находится под строжайшим запретом наглухо отгородившейся от всего мира, наглухо замуровавшей в своем православии русской церкви, когда, с той поры, как пришедшее на Русь христианство в борьбе с язычеством огнем и мечом истребило и выжгло малейшие зачатки астрономии, математики, естествознания, медицины, не допускается любая книга на любом языке, ели в ней содержатся сведения из арифметики, астрономии или физики, а предсказание солнечных или лунных затмений, лечение травами расценивается как чародейство, как несомненное колдовство? Из какой субстанции сплетется сомнение, когда в московском обществе распространяются только книги религиозного содержания, когда из четырех сотен книг библиотеки Троицкого Сергиева монастыря более сотни экземпляров Евангелия, а среди прочих сборников, содержащих распорядок богослужения и поучения отцов церкви, каким-то чудом обнаруживается один-единственный философский трактат?

Чтобы процесс мышления получил возможность начаться и двигаться далее по нормальному руслу, самому сильному, самому начитанному уму необходим диалог, а какой диалог может возникнуть в уме тринадцатилетнего отрока, если у него под рукой всего лишь Часослов и Псалтирь, которые он уже лет семь или восемь как затвердил наизусть? В то время, когда в Европе в самом разгаре жаркая полемика между последователями Аристотеля и последователями Платона, когда английский король Генрих, которого нередко припоминают рядом с именем Иоанна, имеет возможность беседовать с Эразмом из Роттердама или Томасом Мором, самыми образованными, самыми думающими, самыми творческими умами первой половины столетия, московскому великому князю не с кем, в прямом смысле этого слова, поделиться своими раздумьями, поскольку рядом с ним не то что творческого, даже сколько-нибудь образованного, думающего ума, обыкновенного книжника, под именем которого до сих пор на Русской земле, где большая часть попов и монахов не умеет ни читать ни писать, разумеют ученого человека. Ему не с кем и не над чем упражнять свой тоскующий ум, поскольку большая часть споров между духовными лицами, а следом за ними также и среди наиболее любознательных прихожан вертится вокруг таких логическим путем абсолютно не разрешимых вопросов, как



вопрос о том, может ли поп, не спавший всю ночь после ужина, утром совершить литургию, в какую сторону следует ходить во время богослужения и сколько перстов правой руки необходимо употребить, чтобы осенить грудь свою крестным знаменiem, тем более не имеется ни малейшей возможности серьезно приготовить себя к государственной деятельности, поскольку общественные вопросы не обсуждаются вовсе.

Лишь один человек дает в этом возрасте здоровую пищу для его размышлений. Митрополит Иоасаф, который по поручению великого князя Василия Ивановича печется о нем, прежде всего хлопочет заинтересовать юного великого князя горькой судьбой неправо осужденного Максима Грека, своего единомышленника, упрямого, убежденного проповедника нестяжания. Он толкует с ним об истинной и неистинной вере, о языческом увлечении русского православного человека исключительно внешней стороной благочестия, не дающей однако спасения. Он читает с ним богословские памфлеты несчастного узника, в особенности обращая внимание на те места, которые близки оскорбленным чувствам всё ещё отстраненного от власти великого князя:

«О тварь Божия, премудрая! – возопяет Максим Грек от имени Пресвятой Богородицы. – Лишь тогда будет мне приятно часто воспеваемое тобою «радуйся», когда увижу, что ты на деле исполняешь заповеди Родившегося от меня и отступаешь всякия злобы, блуда и лжи, гордости и лести и несправедного хищения чужих имений. А пока всего этого держишься и с услаждением сердца пребываешь в этом, веселясь кровью бедствующих, убогих и несыто высасывая из них мозг двойными процентами и страшным обременением в работах, то для Меня ничем ты не отличаешься от иноплеменника – скифа и христоубийственных людей, хотя и хвалишься крещением. Совсем не слушаю тебя, хотя ты и поешь Мне красногласно и бесчисленные каноны, и стихиры. Слушай ты, что господь хочет милости, а не жертвы, разума Божия, а не всесожжений...»

Иоасаф как истинный нестяжатель рассуждает о зле владения селами, которое развращает монахов, отвращая их от праведной жизни, о тяготах землепашцев, звероловов и рыба-рей, принадлежащих монастырям, о необходимости духовной власти ведать духовным, а государственной власти ведать земным, не мешаясь в слишком различную сферу ведения друг друга, по известному изречению «Богу Богово, а кесарю кесарево», о восстановлении связи между московской митрополией и константинопольским патриаршеством, знакомит с первыми началами греческой грамоты, передает события византийской истории, которыми обыкновенно подтверждает верность своих рассуждений, ставит ему в пример деяния великих римских императоров Августа, Константина и Феодосия, возможно, его именем добивается освобождения Максима Грека из мерзостного узилища в монастырской тюрьме и самого благого для человека мыслящего – разрешения читать и писать, правда, при обязательном условии, что тот не покинет тверского Отрочь монастыря.

Однако митрополит Иоасаф является исключением. В общей массе в такого рода своеобразных условиях полного подавления интеллекта в семьях доморощенных дураков свободно и без особых хлопот вырабатываются новые дураки, примернейшие начетники, склонные ко всякого рода софистическим умствованиям и лукавым извращениям истины, даже тогда, когда она очевидна. Лишь самобытный ум в любой, самой враждебной, самой неблагоприятной, даже прямо убийственной обстановке продолжает мыслить самостоятельно, самобытно и глубоко, выходя далеко за твердо очерченные пределы дозволенного, обгоняя свое всегда закованное в традиции, всегда неповоротливое, всегда относительно застойное время, порой заглядывая на поколение или на несколько поколений вперед. Ум преобразователей, ум реформаторов и еретиков, в сущности, не определяется духовной атмосферой эпохи, вернее, имеет с духовной атмосферой эпохи обратную связь, отталкивается, отрицает её, прорываясь к новому видению мира.

Таким сильным, самобытным умом наделен Иоанн. К тому же суровые обстоятельства, лишь немногим смертным выпадающие на долю, побуждают его мыслить напряженно, самостоятельно, независимо и о сущности власти, и о сущности мира, и о любостязании и нестяжании, и о Максиме Греке, и о справедливости, и о собственном положении великого князя, лишённого власти. Он, под руководством митрополита Иоасафа погруженный в труды основателей и подвижников христианства, крепко-накрепко запоминает изречение апостола Павла: «Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба; он подчинен управителям и наставникам до срока, назначенного отцом». Эта древнейшая мудрость помогает хотя бы отчасти усмирить его непокорный, неподатливый на малейшее принуждение нрав, помогает учиться терпеть, со всех сторон обдумывать и таить свои душевные замыслы, а тем временем сносить кое-как постоянные оскорбления и унижения со стороны тех, кто, как он уже твердо знает, всего лишь рабы и холопы его, но эта же древнейшая мудрость напоминает ему о его назначении, прямо противоположном тому, что он пока, в силу возраста, есть.

Эта древнейшая мудрость принуждает думать о том, что срок его власти, назначенный отцом в уже наполненной тлением смерти опочивальне, должен когда-нибудь наступить, а первая самостоятельная или наполовину самостоятельная попытка применить власть законного государя к своим разбаловавшимся рабам и холопам не оставляет сомнений, что срок уже близок, что назначенный отцом предел должен вот-вот наступить, чего Иоанн не может с самым повышенным нетерпением не ждать.

По своему первому, такому удачному опыту властвовать над своими разбаловавшимися холопами и рабами он не может не ощутить, что в его жизни готовится громадная перемена, что ему предстоит какая-то новая жизнь, смысл и значение которой от него скрыты, по вине беспечных наставников, полным неведением. Что ожидает его впереди? Какие деяния ему предстоит совершить?

Никто не может да из своих корыстных расчетов и не желает ответить ему на эти запросы, от того или иного разрешения которых зависит и вся его личная жизнь, и вся жизнь Московского великого княжества, и вся жизнь его подданных, и хотя бы отчасти жизнь его ближайших соседей, все в чем жизнь всей Европы и всего сопредельного мира. Он же, поневоле сосредоточенный, замкнутый, скрытный, и не обращается ни к одному человеку с такого рода запросами и по внешности остается всё тем же молчаливым, несколько загадочным отроком, каким уже много лет известен недальновидным, крайне своекорыстным князьям и боярам, так нерасчетливо пренебрегающим его будущим, которое ведь когда-нибудь неминуемо станет их собственной грозной судьбой, а для многих из них неотвратимым злосчастьем и топором палача. Он размышляет, поневоле замкнутый в свое одиночество. Он ищет ответов независимо и втайне от них.

## Глава десятая

### Наставник

Внезапно, когда Иоанну исполняется четырнадцать лет и первые смутные представления о высшем предназначении государственной власти уже бродят в его вопрошающей голове, нарождаясь стихийно, исподволь, сами собой, а его ум уже привыкает к такому радостному, но и печальному труду размышления, понемногу сживается с непреложностью всякого рода сентенций и православного символа веры, злой волей всё тех же мятежных князей и бояр, его разбаловавшихся на безвластие рабов и холопов, точно безжалостный рок и в самом деле незримо готовит им неминуемую гибель, в его окружении появляется настоящий, истинный книжник, без которого его взыскующий, жадно ищущий ум был бы обречен ещё долгие годы бродить ощупью в темноте, пока на помощь ему не придет его собственный жизненный опыт, порой обдирающий душу до крови. Правда, сам этот истинный книжник несколько не выходит из тесных пределов тех же моральных сентенций и тех же незыблемых аксиом, которые уже накрепко втеснены одинокому отроку, но это в самом деле замечательный книжник, из ряда вон выходящий, не имеющий равных себе на Русской земле во всем XVI веке.

Макарий Леонтьев начинает свой жизненный путь как безвестный чернец Пафнутьева Боровского монастыря, где он постригается, видимо, вскоре после внезапной кончины жены, оставив дочь на попечение родителей. Там в течение пятнадцати, может быть, двадцати лет «искусил жестокое житие», как сам он выразится спустя много лет, другими словами, испытает на себе все степени подлинного затворничества и аскетизма. Его подвиги во имя спасения понемногу становятся известны в округе. Его переводят архимандритом в Лужецкий монастырь, расположенный в версте от Можайска, отчины московского великого князя. Посещая Можайск, великий князь Василий Иванович посещает и монастырь. Архимандрит располагает к себе великого князя своей истовой верой, мягкостью сердца и добротой, с течением времени сам проникается к государю сочувствием и состраданием, благословляет его второй брак, тогда как многие служители церкви в своей чрезвычайной строгости и нетерпимости торопятся объявить этот брак блудодеянием, то есть тяжким грехом. Что ж удивляться, что вскоре после венчания великого князя Василия Ивановича и Елены Васильевны Глинской лужецкий архимандрит награждается высоким саном архиепископа и назначается на кафедру Великого Новгорода, которая, кстати сказать, пустует в течение семнадцати лет, в наказание гражданам когда-то вольного города, не желающим покориться Москве.

Макарий, став архиепископом, попадает в сложное, незавидное положение. Он должен служить и по убеждению служит Москве, однако всякая служба Москве в Великом Новгороде грозит возмущением. Тем не менее из этого положения, казалось, безвыходного, он выбирается с честью. Каким образом? Очень простым: он умеет ладить со всеми, он прирожденный, изворотливый дипломат, а на первых порах его выручает не только неподдельное благочестие, но и своевременное сближение с Шуйскими, которые пользуются в Великом Новгороде непрерываемым авторитетом. Ещё больше его положение укрепляется пастырской ревностью, соблюдением церковных порядков, которые колеблют еретики, так что в конце концов Макарий обвораживает большую часть новгородцев, и новгородский летописец берет на себя смелость утверждать, что с пребыванием Макария на кафедре архиепископа «посла Бог милость Свою на люди своя молитвами его во времена тиха и прохладна...»

Правда, смысл тайных сношений Макария с Шуйскими остается загадочным и до нашего времени, и все-таки едва ли случайно именно новгородская конная рать принимала такое деятельное участие в мятеже, в свержении Бельского и особенно в низложении безвинного Иоасафа. Вероятно, в обмен на поддержку Макарий и получает от Шуйских место первосвященника, однако ему хватает ума с первых же дней своего возвышения отойти в сторону от мятеж-

ников, уклониться от какого-либо вмешательства в их мышинные склоки и дразги и заняться исключительно делами духовными. С другой стороны, он до поры до времени не сближается и с Иоанном, ограничившись тем, что печалуется перед ним за обиженных и гонимых, то есть по долгу пастыря просит о милости.

Князь Андрей Михайлович Шуйский сам принуждает Макария сделать выбор между разрушительным своеволием подручных князей и бояр и поддержкой подрастающего великого князя. До сей поры, исполняя в Великом Новгороде обязанности архиепископа, вдали от непристойных и бурных московских событий, он только слышал о мятежах и бесчинствах, но лишен был возможности видеть мятежи и бесчинства собственными глазами. Ныне он видит, как прямо в столовой палате великого князя избивают Федора Воронцова, с намерением забить его на смерть, обезумевши от жажды крови князя и бояре толкают его самого, сапогами обрывают низ его мантии, не слушают и не хотят слышать его увещаний. Ему становится ясно, какие страшные бедствия ожидают Московское великое княжество, а с ним и русскую православную церковь, если как можно скорей не обуздать этих зарвавшихся самозванных, своевольных правителей. Вскоре после жестокой расправы с Федором Воронцовым он аккуратно, осторожно отходит от Шуйских и также аккуратно, осторожно входит в окружение Иоанна, что характеризует Макария как умелого, расчетливого политика и человека земных, не укрощенных страстей.

Но именно потому, что Макарий не чужд земных интересов, он, архипастырь, первосвященник, строгий страж православия, стремится обратить свое высокое положение в первую очередь на укрепление и возвышение Московского великого княжества, на благие земные дела. После многолетнего испытания себя затворничеством и аскетизмом он не затворничество, не пустынножительство, не глухой ко всему аскетизм ставит себе в образец. Первейшую обязанность истинно верующего он видит в том, чтобы служить ближним, протягивать руку помощи всем, кто нуждается в его сильной руке, не дожидаясь, пока к ней обратятся за помощью.

Ещё лет шестнадцать, семнадцать назад, став новгородским владыкой, обосновавшись на поседеле от времени Софийском подворье, он становится кормильцем сиротам и нищим, заступником обиженных и гонимых, хлопочет, бывая в Москве, и вех, кого может, разрешает от уз и темниц, так что в Великом Новгороде его именуют «тихим дателем, его же любит Бог», хотя его кормления и заступничества касаются скорее лично его, являются подвигом собственной совести, делом спасения его собственной тревожной души, о чем истинно верующий печется всю свою жизнь.

Однако Макарий понимает христианскую веру значительно возвышенной, глубже, многосторонней этих всечасных забот о спасении своей неизменно греховной души. Он мечтает об упрочении, о духовном возрождении всего православия, о возрождении Русской земли, которая, согласно нарождающемуся учению, представляет собой третий Рим, то есть центр и главу христианства. Вся его деятельность на посту сначала архиепископа в Великом Новгороде, затем митрополита в стольной Москве служит исполнению именно этой возвышенной, благородной, а в его понимании, вселенской задачи.

В Великом Новгороде он упраздняет келейное особножительство иноков и вводит общинножительство во многих новгородских монастырях. В сущности, преобразование является своеобразным ответом умного осифлянина на главный упрек наивного нестяжателя. Иноки не должны иметь доходов от торговли и сел, говорит нестяжатель, погруженный в заботы жизни духовной. Хорошо, отвечает ему осифлянин, озабоченный сохранением весьма и весьма сытных доходов от торговли и сел, с этого дня ни один инок ничем не владеет, а все доходы принадлежат всей обители, в которой имеет жительство инок, что можно считать возвращением, хотя бы отчасти, к примерному коммунизму раннего христианства. Вместе с тем упраздняется и затворничество, в некотором смысле высокомерное удаление от всех земных соблаз-

нов и дел, взоры иноков обращаются на служение ближним, уже не одними молитвами, но и делами, дарами земли.

Макарий покусается искоренить одно из самых больших безобразий, позорящих монастырскую жизнь: он запрещает совместное проживание иноков и инокинь, учреждает особые женские монастыри, ставит над ними игумений, а не игуменов и для богослужений определяет им белое духовенство, состоящее в браке, а не иноков, поневоле, окиснув от воздержания, склонных к беспутству.

Его заботами приводится в порядок и украшается вновь первозданный Софийский собор, священный не только для новгородцев, но и для каждого русского. Он не жалеет трудов на искоренение язычества в Водской пятине, самом северном владении великого Новгорода, населенной главным образом финнами. С этой целью он обращается с посланием к тамошним прихожанам и духовенству, в котором убеждает отречься от идолопоклонства и своими руками порушить своих прародительских идолов. Вместе с посланием он отправляет в Водскую пятину иеромонаха Илию с вооруженным отрядом из своего архиепископского полка, и ретивый иеромонах, не особенно налегая на проповедь словом, как творилось и в первые века православия на Русской земле, более налегает на меч и огонь, сжигает священные рощи, преследует и истребляет волхвов, которых православная церковь нарекает чародеями и колдунами, и силой принуждает обратиться будто бы несмышленных язычников к обрядам истинной веры.

Поход против язычников свидетельствует о том, что в делах веры Макарий не останавливается перед насилием, и все-таки его главнейшая забота не о насилии и принуждении, но о просвещении, об укреплении веры с помощью более прочного книжного знания. Он значительно умаляет поборы с белого и черного духовенства в пользу архиепископа, в тайной надежде, что полученные таким образом средства направляются попами и иноками на образование на возрождение книжности, когда-то процветавшей в русских православных монастырях, а ныне почти там позабытой.

Его собственное подворье, сначала в Великом Новгороде, затем и в Москве, становится главным, если не единственным центром возобновления и распространения книжности на Русской земле, как оно повелось с далеких времен Ярослава. В течение двенадцати лет Макарий собирает забытые и полузабытые рукописи, жертвуя на то многим имением, не щадя, как он сам говорит, серебра, то есть частью приобретает манускрипты за деньги, часть оплачивает кропотливый и почтенный труд переписчиков.

Этот архиепископ, затем архипастырь ставит перед собой грандиозную цель, какой ещё не ставил никто: собрать воедино, перевести и справить, переработать и заново сочинить десятки и сотни богослужебных и богословских книг, поучений, житий, церковных актов и церковных посланий. Для осуществления этой замечательной цели он собирает около себя немногих оставшихся после длительного безвременья книжников и писцов и уже в великом Новгороде составляет первый свод, предназначенный для Софийского дома.

Его труды приобретают небывалый размах, как только он становится московским митрополитом. После избиения и удаления Федора Воронцова придя к убеждению, что только единовластие в состоянии спасти впадающее в анархию Московское великое княжество, он поближе присматривается к юному великому князю, к немалому своему изумлению обнаруживает там, где не ожидал, возвышенные стремления, отчасти зародившиеся под влиянием благочестивого нестяжателя Иоасафа, умело и ненавязчиво сближается с ним, преодолев его стойкое недоверие к мятежному Великому Новгороду, допускает его к своим манускриптам, в том числе к самым редким, кроме него самого почти никому не доступным, тем более мало кому известным среди большей части малограмотных или вовсе неграмотных подручных князей и бояр, делится с ним своими необыкновенными замыслами, увлекает грандиозностью возвышенного и возвышающего деяния, привлекает его, уже влюбленного в книгу, на вою сторону, добива-

ется его одобрения и постепенно распространяет свои труды на книжные мастерские многих городов и обитателей Московского великого княжества.

И сам вдохновленный размахом книжных трудов, Макарий наконец посягает на создание Великих Четых Миней в двенадцати громадных томах, куда включает Священное Писание с богословскими толкованиями, впрочем, с довольно обширными выпусками, по недостатку переводчиков с греческого, отчасти из ложного целомудрия, Евангелие, патерики, книги Иоанна Златоуста, Василия Великого, Иосифа Волоцкого, Кормчую книгу, церковные акты. «Иудейскую войну» Иосифа Флавия, «Космографию» Козьмы Индикоплова, апокрифы и, разумеется, жития древних и новых святых, всего более тринадцати тысяч рукописных листов большого формата. К грандиозным многолетним трудам привлекается почти весь наличный умственный капитал Московского великого княжества: Ермолай-Еразм, Василий Тучков, Дмитрий Герасимов, Илья Пресвитер и Лев Филолог, сербский писатель-монах.

Нечего прибавлять, что первый экземпляр этого единственного в своем роде труда предназначается для уже выказавшего свою любознательность Иоанна, и есть все основания полагать, что именно Великие Четьи Минеи, составленные попечением митрополита Макария, становятся для него настольной, чуть ли не обязательной, обожаемой книгой, которую он постоянно читает, перечитывает и часто цитирует, так что впоследствии его укорищенные, самого ядовитого свойства послания запестрят выписками из Священного Писания и отцов церкви, из ветхозаветных пророков Моисея, Давида, Исайи, из Василия Великого, Григория Назианзина, Иоанна Златоуста, указаниями на эпизоды из римской, иудейской и византийской истории, именами Зевса, Аполлона, Энея, Наивна, Гедеона и Иевфея.

Спустя сорок лет беглый князь Андрей Михайлович Курбский доведет до сведения доверчивого потомства, будто в те юные годы Иоанн с высоких теремов швыряет вниз домашних животных и получает великое удовольствие от того, что собаки и кошки разбиваются на смерть, собирает вокруг себя толпу высокородных болванов, сломя голову скачет с ними по узким улочкам стольного града, давит, даже грабит женщин и старцев, веселится криками страха и боли тех, кого давит конем. Беглому князю, предавшему отечество за мешок золотых нерусских монет, а не из страха опалы и казни, как он попытается уверить своих современников, должно быть, и себя самого, очень хочется видеть Иоанна живодером чуть не в пеленках.

Напротив, ни в те, ни в более поздние годы Иоанн не обнаруживает подлой склонности к живодерству, к насилию, к убийству животных, к пыткам людей, которой, кстати сказать, отличался сам беглый князь. Годы юности, когда устанавливается характер, когда молодым человеком избирается жизненный путь, он проводит в уединенных и мирных беседах с митрополитом Макарием и просиживает над рукописными фолиантами, стремясь определить свое назначение, отдаваясь жажде познания прежде всего.

Именно постоянное чтение многократно расширяет его кругозор, так что вскоре он становится одним из самых замечательных книжников во всем государстве. Конечно, нельзя не признать, что это сравнение не многого стоит, поскольку во всем его государстве книжников почти и нет никаких, не более двух-трех десятков, вместе с группой переводчиков и писцов, с борю да с сосенки собранных митрополитом Макарием. Его основательная начитанность имеет иные, совершенно неожиданные последствия, едва ли предвиденные даже умнейшим Макарием, недаром поспешившим изготовить для его личного пользования особый список своего замечательного труда.

Чем усердней Иоанн изучает этот по-своему энциклопедический сборник, вобравший в себя отчасти любопытные, отчасти поучительные сведения о разных народах и разных эпохах, тем чаще он обнаруживает поразительное сходство своего многмятежного жестокого времени с такими же многмятежными и жестокими временами, не раз пережитыми другими народами. Повсюду он наблюдает, к своему изумлению, одну и ту же картину: то тут, то там потрясаются государства от нашествий и войн, то тут, то там великие государства предаются на верную

гибель черным предательством отчего-то всегда своекорыстных вельмож, то тут, то там ближайшие советники, знатнейшие из знатных и даже высоко стоящие духовные лица возмущаются против своих законных правителей и на место благодетельного порядка приводят хаос, грабежи разбой.

Мало того, что он самостоятельно делает это поразительное открытие, без малейшей подсказки со стороны. В его сознании происходит многозначительный, знаменательный поворот, навсегда определивший его жизненный путь. Если все прежние годы он равнодушно, почти механически перечитывал затверженные тексты Псалтири и Часослова, не отвечающие на запросы его пробудившегося ума, то с этого времени он вонзается в книги живыми глазами, сопоставляет, анализирует, обобщает, вырабатывает свой собственный взгляд на историю, чего ещё не приключалось ни с одним из московских великих князей. Его пробудившийся ум наконец находит здоровую, полноценную пищу. Он размышляет над богатейшим опытом разных народов. Его любознательность становится ненасытной. Следом за поучительным Печерским патериком он обращается к летописи, чередой год за годом передающей события русской истории, такой богатой нашествиями, кознями, предательствами и мятежами. После Хронографа он берется за Еллинский летописец, едва ли не единственный список которого бережно сохраняется в богатейшей библиотеке митрополита Макария.

Везде и всюду, чуть не на каждой странице библейской, римской, иудейской, византийской, русской истории пылливый молодой человек находит бесспорные подтверждения своих стихийно зародившихся представлений о государственной власти, которая должна быть направлена на благоденствие подданных, о божественном происхождении государственной власти, о необходимости строжайшего государственного порядка, о беспрекословном повиновении подданных воле своего государя, о погубительности безначалий и смут, то есть находит бесспорные подтверждения тех не определившихся мыслей, которые, с трудом и на ощупь, понемногу выкристаллизовываются из тяжкого опыта десятилетних боярских бесчинств.

Иоанн вдохновляется этими книгами. Он восхищается величественными образами ветхозаветных правителей, их патриархальной суровостью, их пастырской мудростью и в пример себе берет не кого-нибудь из своих смертных предшественников, а прежде всего Моисея, Саула, Давида и Соломона, этим колоссам государственной мудрости силится подражать, их поучительный опыт использовать в своей государственной деятельности, которая ему предстоит.

Его образованность с течением времени становится уникальной, но его жадность к новым познаниям, прежде всего в исключительно любимой истории, с годами не только не угасает, а разгорается жарче и жарче, пока не становится ненасытной. Он пользуется любым случаем, чтобы раздобыть новые книги и запастись из них новыми сведениями, прежде по каким-то причинам не доступными для него. Он заказывает перевод Тита Ливия, биографическую книгу Светония, кодекс Юстиниана, вполне вероятно, что и сам немного читает по-гречески. Он добывает «Хронику» Мартина Бельского, «Повесть о разрушении Иерусалима» Иосифа Флавия, философский трактат «Диоптру». Ему доставляют книги из Лондона, Варшавы, Константинополя, Рима. В конце концов он становится не только замечательным книжником, но и незаурядным, своеобразным писателем и страстным политическим публицистом, ядовито осмеивающим, легко посрамляющим своих менее начитанных, менее даровитых противников.

Главнейшее же: у него вырабатывает глубоко, исторически мыслящий ум, бесценная способность анализировать любое событие современности с помощью исторических аналогий. Пожалуй, с него начинается крутой, в высшей степени благодетельный поворот в русском национальном сознании: в своей деятельности он опирается не только на неоспоримые каноны традиционного православия и заветы отцов – за доказательствами он обращается к разуму. Он выясняет в своих рассуждениях, что противно, а что соответствует разуму. Он учиться сообразоваться с временем, с обстоятельствами, с быстротекущими извивами и переменами своей

действительно многомятежной и жестокой эпохи. Постепенно из него вырабатывается мыслитель и государственный муж.

И этот самобытно, самостоятельно мыслящий человек не может не обнаружить глубочайшего противоречия, заложенного в христианство историей: на кого бы из великих правителей ни обращал он свое особо пристальное внимание, все они, даже те, кто признан святыми, стоят по колено, по пояс, по горло в крови, которую они, во имя величия своего правления и своего государства, проливают как воду. Впоследствии он вопрошает беглого князя, беззастенчиво клеветавшего на него, как прежде много раз запрашивал и себя:

«Вспомни величайшего из царей, Константина: как он, ради царства, убил собственного сына! А князь Федор Ростиславич, ваш предок, сколько крови пролил в Смоленске во время Пасхи! А ведь они причислены к святым. И как же Давид, избранный Богом, когда его не приняли в Иерусалиме, приказал убивать иевусеев – хромых и слепых, ненавидящих душу Давидову? Как же ты не задумался над тем, что такой благочестивый царь обрушил свой могучий гнев на немощных рабов?..»

Он не может не задуматься над такими слишком знаменательными явлениями, не может не задать себе по-своему страшный вопрос: как же учение Христа с его милосердием, как же Евангелие с его настойчивой проповедью братской любви, как же заповедь «не убий» и человечнейшая из человечнейших мысль о прощении? Как же благословение святым Сергием Радонежским поднятого на пролитие крови Дмитриева меча?

Можно себе представить, в какой ужас приходит склонная к созерцанию, к неторопливой, скрытой от посторонних глаз жизни духа, уже соблазненная благочестивым подвигом иночества молодая душа и в каком тупике оказывается этот искренний, глубоко верующий христианин. В сущности, перед ним встает во весь рост всемирный вопрос, смущавший умы ещё первых апостолов, пытавшихся отделить Кесарево от Божьего. Нужен действительно дерзкий и гибкий, творчески мыслящий, самобытный и неуклончивый ум, чтобы дать определенный, более или менее ясный ответ на этот сложный вопрос, и пытливый ум Иоанна, отталкиваясь от мысли апостола, в конце концов удовлетворительно разрешает его:

«Одно дело – спасти свою душу, а другое дело – заботиться о телах и душах других людей; одно дело – отшельничество, одно дело – монашество, одно дело – священническая власть, а другое дело – царское правление. Отшельническая жизнь – жить подобно агнцу, который ничему не противится, или птице, которая не сеет, не жнет и не собирает в житницы; монахи же, хотя и отреклись от мира, но имеют уже заботы, правила и даже заповеди, – если они не будут всего этого соблюдать, то совместная жизнь расстроится; священническая власть требует многих запретов, наказаний за вину; у священников существуют высшие и низшие должности, им разрешаются украшения, слава и почести, а инокам это не подобает; царской же власти позволено действовать страхом и запрещением и обузданием, а против злейших и лукавых преступников – последним наказанием. Пойми же разницу между отшельничеством, монашеством, священничеством и царской властью. Прилично ли царю, например, если его бьют по щеке, подставлять другую? Это ли совершеннейшая заповедь; как же царь сможет управлять царством, если допустит над собой бесчестие? А священнику подобает так делать, – пойми же поэтому разницу между царской и священнической властью! Даже у отрекшихся от мира существуют многие тяжелые наказания, хоть и не смертная казнь. Насколько же суровее должна наказывать злодеев царская власть!..»

Противоречие разрешено, извечный мотив «каждому – своё» торжествует. Однако какая мрачная перспектива открывается перед ним! Открытыми глазами, ясным умом видит он, что ему, как и многим стяжавшим бессмертную славу правителям, досталось жестокое, многомятежное время, что ему предстоит вступить в непримиримую, не знающую пощады борьбу с анархией и мятежом, что его государевы руки неминуемо должны обогреться кровью злодеев, кровью мятежных холопов, что он на своем высоком, для многих, слишком многих завидном



посту будет обязан казнить, убивать, что ему будет запрещено помышлять о прощении, что его верными спутниками не могут не стать плаха, палач и топор.

Таков его долг. Свой долг он сознает, сперва неопределенно, неясно, точно сквозь сетку дождя, с годами всё ясней и ясней.

А его глубоко верующая душа молит тишины, покоя, поста и молитвы. Ему часто снится чернецкий клобук. Не раз и не два он порывается постричься в монахи, уйти в монастырь, отречься, отступить от своего непременного кровавого долга, и всякий раз во имя этого кровавого долга ему приходится отступать, вновь и вновь швыряя мятежные головы уличенных злодеев на плаху. Под неумолимый топор палача.

Он ещё только отрок, растёт, становится юношей, ему четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый год, но его духовная драма уже обозначилась, уже началась, может быть, ещё во всей-то своей глубине скрытая от него самого.

## Глава десятая

### Венчание на царство

Его переломные годы, от тринадцати до шестнадцати лет, проходят внешне малоприметно, внутренне довольно спокойно, в постах и молитвах, в обдуманном чтении полюбившихся книг, в тихих многозначительных беседах с митрополитом Макарием, в одиноких, нередко трагических размышлениях. И книги, и беседы с митрополитом Макарием, который всё тверже, всё обдуманней поддерживает его, особенно одинокие размышления убеждают юного великого князя, что он никому не подвластен, в своих поступках и действиях он обязан отчетом единственно Богу, самому праведному и самому грозному судие. При этом, благодаря рассудительным разъяснениям митрополита, он уже знает, что дать отчет этому праведному, но грозному судие придется за каждый сой шаг.

С тем большим усердием, с трепетной жадой очистить душу от невольных, в особенности от вольных грехов спешит он на богомолье во святые обители, с тем большим наслаждением испытывает на себе суровую строгость древних монастырских уставов, с тем большей придирчивостью следит за неукоснительным исполнением этих уставов со стороны своих приближенных, и горе тому из развинченных, непокорных, циничных его царедворцев, кто хоть в какой-нибудь малости решится в его присутствии нарушить уставной порядок обители. Он вспоминает многие годы спустя, как пятнадцатилетним юнцом посещает Троицкий Сергиев монастырь, с какой неуклонностью следовали тогда троицкие монахи установлениям великих святителей и как гнусно вел себя в тихой обители беспутный князь Иван Кубенской:

«А до этого времени, – сообщает он в укор белозерским монахам, – в Троице были крепкие порядки; мы сами это видели; когда мы приезжали к ним, они потчевали множество людей, а сами блюли благочестие. Однажды мы в этом убедились собственными глазами во время нашего приезда. Дворецким тогда у нас был князь Иван Кубенской. Когда мы приехали, благовестили ко всенощной; у нас же кончилась еда, взятая в дорогу. Он и захотел поесть и попить – из жажды, а не для удовольствия. А старец Симон Шубин и другие, которые были с ним, не из самых главных (главные давно разошлись по кельям), сказали ему как бы шутя: «Поздно, князь Иван, уже благовестят». Сел он за еду, – с одного конца ест, а они с другого конца отсылают. Захотел он попить, хватился хлебнуть, а там уже ни капельки не осталось: всё отнесено в погреб. Такие были крепкие порядки в Троице, – прибавляет он одобрительно, – и ведь для мирянина, не только для чернецов!...»

Ему давно мерзит этот князь Кубенской, убийца, один из главнейших соратников и подручников мятежного князя Андрея Михайловича, предводитель мятежников, посягнувших на митрополита Иоасафа, тем более ему мерзит кошунственное непотребство столь нечистоплотного человека в Троицкой трапезной, и он, воротясь с богомолья в Москву, тотчас накладывает на беспутного князя опалу и для прояснения рассудка отправляет под стражу в один из переславских монастырей.

На этот раз он без сторонних указаний и навязчивых просьб проявляет свою государеву волю, наказывает ослушника и преступника, обнаглевшего единственно оттого, что ослабела над им государева, высшая власть. Кажется, в этом деле он может быть чист перед Богом, но даже и в этом случае бесспорной вины и оправданной казни опалой проявляется одна поразительная закономерность: как бы ни был виновен тот, кто подвергся опале и казни, великий князь Иоанн всегда помнит о христианском прощении, о своей обязанности не только казнить, но и миловать. Не проходит и пяти месяцев, а князь Иван Кубенской возвращен и по-прежнему как ни в чем не бывало исправляет должность дворецкого, несмотря на то, что Иоанну противно даже видеть его.

Подручные князья и бояре вскоре улавливают, как взрослеет, меняется великий князь Иоанн, как тяжелее и тверже становится рука государя и утихают, раболепно склоняются перед ним, всем своим видом показывая покорность, отдавая должную честь. Один Афанасий Бутурлин забывается, позволяет себе поносные слова в присутствии Иоанна, и ему, по не вполне проверенным данным, отрезают язык. После такого жестокого, однако вполне своевременного примера подручные князья и бояре и вовсе смолкают, тем не менее после десяти лет такого милого, такого сладкого, такого безбрежного своеволия имя трудно принять его власть, какой бы она ни была, жестокой или гуманной, ведь рыцарям удельных времен никакая власть не нужна. Очень скоро между ними сплетается заговор, причем во главе заговора неожиданно становится когда-то ими избитый, чуть не убитый Федор Воронцов, бывший любимец великого князя, вызволенный из Костромы тотчас после казни князя Андрея Михайловича. Летопись объясняет, что именно толкает Федора Воронцова на участие в заговоре. Воротившись из заточения, пользуясь близостью к великому князю, он сам пытается занять первое место, освобожденное чересчур занесшимся Шуйским. Цель у него, естественно, низменная, как и у Шуйских, как и у Бельских, поскольку все они слишком мелкие, малодостойные люди: он стремится распределять все пожалования по своему усмотрению, не доложив, не спросясь, однако ж именем Иоанна. Ему невдомек, что Иоанн успел измениться и что на ту же роль претендуют его дядья Глинские, главные участники в свержении князя Андрея Михайловича, его супротивника. Встретив противодействие с их стороны, Федор Воронцов не находит ничего лучшего, как сговориться со своими врагами, отпетыми мятежниками, запятнанными пролитой кровью, повинными в грабежах и насилиях. Неизвестно, начинают ли заговорщики действовать, раскрывают ли заговор Глинские, стоящие на страже своих собственных, тоже далеко не возвышенных интересов, поступает ли на заговорщиков тайный донос, только князя Ивана Кубенского, князя Петра Шуйского, князя Александра Горбатого, князя Дмитрия Палецкого и с ними Федора Воронцова постигает опала. И вновь та же закономерность, идущая от доброго сердца великого князя: всего два месяца спустя Иоанн, для отца своего митрополита Макария, как он выражается, столько же искренне, сколько подчиняясь обычаю, снимает опалу, и бывшие заговорщики возвращаются к своим прежним обязанностям и прежним умыслам против великого князя.

Понятно, что Иоанн наблюдает за подручными князьями и боярами всё с большим и давно обостренным вниманием. Безрадостны его наблюдения. На подручных князей и бояр ни в чем нельзя положиться, и самое унижительное, самое вредное, самое непоправимое заключается в том, что на них нельзя положиться даже в войне. По зимнему времени татары Имин-Гирея, сына крымского хана, проходят по окрестностям Одоева и Белева. Дело как будто привычное, чуть не каждый год ходят, если не летней порой, так с первым зимним морозом. На южных окраинах по этой причине всегда должны быть наготове полки. Полки стоят и на этот раз, только с места не двигаются, позволяют татарам беспрепятственно грабить и убивать. Видите ли, князья Щенятев, Шкурлятев и Воротынский рассорились из-за мест и не пошли против татар. Татары погуляли в свою полную волю и увели громадный полон, вскоре проданный ими на восточные рынки. Почти та же история приключается под Казанью. На этот раз по весне, как только вскрываются реки, три отряда отправляются стоять против казанских татар: князь Семен Пунков с князьями Иваном Шереметевым и Давыдом Палецким спускаются по Волге в ладьях, князь Василий Серебряный-Оболенский движется от Вятки, воевода Львов держит путь от Перми. Серебряный-Оболенский с Пунковым сходятся под Казанью в один день и час, товарища, как было назначено, ждать не возжелали, своими полками нападают на казанские пригороды, побивают кое-сколько не успевших скрыться татар, пораженных страхом внезапности, отчего-то с остервенением жгут местные кабаки, затем пожигают и побивают всех, кого встретили на Свияге, беззаботно поворачивают восвояси домой и свои незначительные, в основном грабительские успехи расписывают такими сильными красками,

что получают от юного великого князя, не равнодушного, как оказалось к воинским доблестям, пришедшего в неподдельный, прямо-таки детский восторг, всё, о чем ни били челом, а тем временем от Перми подходят воины Львова, не встречают московских полков, которые были обязаны их дожидаться, и вместо дружеских объятий натываются на разъяренных татар. Стоит ли сомневаться, каков итог безалаберности и своеволия. Это плачевный итог: растерянные воины Львова окружены и наголову разбиты, и сам воевода сражен в этой короткой, но яростной сече.

Иоанн хорошо и прочно запоминает эту историю, однако никого не наказывает, хотя следовало бы наказать тех, кто подвел целый полк под мечи, под смерть и позор, не наказывает из свойственного ему милосердия и, может быть, ещё потому, что устроенный в казанских пригородах переполох неожиданно идет на пользу Москве. Сафа-Гирей обвиняет в измене своих подручных ханов и мурз и принимается их истреблять, нисколько не думая о справедливости и гуманизме. Те, кому удастся спастись от резни, присылают в Москву, просят двинуть полки и посадить им царем Шиг-Алея, в обмен на это благодеяние московского великого князя они обещают выдать ему Сафу-Гирея, хоть на бессрочное заточение, хоть на лютую казнь. Иоанн отвечает благоразумно: заговорщикам следует взять Сафу-Гирея под стражу и ждать московских полков, сам же без промедления отправляется во Владимир, возможно с намерением самому возглавить поход. Во Владимире ему доставляют известие, что Сафа-гирей из Казани сбежал, что казанские татары перебили верных беглому хану крымских татар и с нетерпением ждут Шиг-Алея. Посему поход на Казань приходится отложить. Тем временем подлая склока Щенятева, Шкурлятева и Воротынского приводит к вполне предсказуемым следствиям. Увидев перед своими шатрами полон, взятый своевольным сыном под Одоевым и Белевым, Саип-Гирей явным образом восчувствовал собственную персону великим правителем и направил в Москву поносную грамоту, в какой уже раз нанося тяжкое оскорбление московскому великому князю, всё ещё полагая, что имеет дело с отроком и его бунтующими князьями:

«Король дает мне по 15 000 золотых ежегодно, а ты даешь меньше того; если по нашей мысли дашь, то мы помиримся, а не захочешь дать, захочешь заратиться – и то в твоих руках; до сих пор был ты молод, а теперь уже в разум вошел, можешь рассудить, что тебе прибыльнее и что убыточнее?..»

Саип-Гирей говорит нечаянно правду: Иоанн «в разум вошел». Пошло то позорное время, когда трусливые князья и бояре принуждали его подавать крымским послам чаши с медом из собственных рук. Он отправляет князя Дмитрия Бельского сажать Шиг-Алея на казанский престол, спешно скликает ратных людей, получив известие. Что Саип-Гирей готовит к южным украинам новый набег, сбивает полки и походным порядком направляет к Оке, чтобы упредить супостата и заблаговременно занять рубежи, преградив прямой путь на Москву, сам же, однажды ощутив себя государем и предводителем московского войска, идет на богомолье в Угрешский монастырь, отмолясь Богу, прибывает к полкам, с намерением предотвратить новую ссору воевод за места, и воздвигает свою ставку в Коломне, при слиянии Коломенки и Оки.

Ждать набегу приходится долго, месяца три. Молодой человек, внезапно оторванный от своих привычных, возлюбленных книг, лишенный спокойствия жизни духовной, томится в полном бездействии. Его молодая энергия, бьющая через край, просит, естественно, выхода, хоть какого-нибудь, лишь бы не сидеть сложа руки, лишь бы занять хоть чем-нибудь скучающий ум. Так объясняют его неожиданные поступки подручные князья и бояре, их мнение заносит в летопись трудолюбивый монах. Иоанн то пашет и сеет гречиху, то ради шутки наряжается в саван, пугая степенных думных бояр, то как простой деревенский мальчишка учится ходить на ходулях.

Нельзя не почувствовать в этих метаниях, как он весь напряжен. Тут ещё в первый раз обнаруживается непреложный закон его внутренней жизни: всякий раз он едет себя неочи-

данно, странно, когда обдумывает такое серьезное, такое важное и неожиданное решение, которое способно ошеломить подручных князей и бояр и вызвать их на открытое противодействие. Он им точно отводит глаза своими шутками да ходулями. Он так беспокоен, так стремится отвлечь и запутать других, что, с малолетства презирая звериные ловли, с началом сезона, в сопровождении небольшой свиты, начинает выезжать на охоту.

Как нередко случается, обстоятельства точно нарочно наводят его на то решение, которого ищет, однако страшится принять его взыскующий ум. Однажды, посреди поля, его останавливает полусотня вооруженных новгородских пищальников, и предводитель их довольно бесцеремонно, поскольку никто по-настоящему не уважает его, просит выслушать жалобу страждущих смердов и посадских людей на злодеяния московских наместников, которые всюду хуже волков для стада овец.

Возникает законный вопрос: что это за необыкновенная, неотложная жалоба, которую, непременно в открытом поле, далеко от московских полков, необходимо предъявить великому князю полусотней хорошо вооруженных людей? Невольно возникает подозрение в том, что тут дело нечисто, что здесь что-то не так, тем более, что в этом странном, подозрительном деле замешаны новгородцы, именно та ударная сила, которая привела к власти князя Андрея Михайловича и так издевательски глумилась над митрополитом Иоасафом.

И без того при малейшем подозрении в душе Иоанна пробуждается страх, посеянный боярскими мятежами, а тут ещё какие-то бесцеремонные подданные появляются неожиданно и абсолютно некстати. Тем не менее Иоанн держит себя в руках, не выказывает ни страха, ни раздражения. Он отказывается выслушать челобитье посреди поля, только-то и всего, таким образом нисколько не выступая из пределов установленного прядка: всему, так сказать, свое место и время, челобитья он принимает в положенном месте, в положенный час.

Слово московского великого князя, хотя бы и молодого, только входящего в возраст, должно быть неоспоримым законом для ратных людей, тем более во время похода, когда с часу на час может налететь татарва. Однако подступившие к нему с оружием новгородские служилые люди отчего-то отказываются подчиниться повелению своего государя, и не только не удаляются, но преграждают ему путь к московскому лагерю. Тогда Иоанн, как и следует, подает знак конвою отогнать забывших свое место упрямцев и очистить дорогу. В ответ на это абсолютно законное требование новгородцы обнажают мечи. Ни с того ни с сего в чистом поле заваривается настоящая сеча, даже с пищальной пальбой, и, что особенно любопытно, не простая сеча, а яростная, так что с обеих сторон на месте остается до десяти мертвых тел. Хорошенькие просители, по правде сказать.

Совершенно естественно, что после схватки, оконченной с такими потерями, Иоанн предполагает неладное и начинает дознание. Однако и в этом деле объявляется странность: он поручает расследование не Глинским, не кому-нибудь из первых князей и бояр, а Василию Захарову, неприметному дьяку. Василий Захаров должен узнать, кто именно подучил новгородских пищальников поднять против государя мятеж, причем мысль о мятеже после десяти убиенных вполне правомерна, тем более что новгородцы испокон веку связаны с Шуйскими, а Шуйские, как ему довелось испытать на себе, горазды на мятежи.

Теперь уже невозможно с полной уверенностью сказать, докапывается ли Василий Захаров до истины, успев тайным повелением Иоанна завести соглядатаев среди подручных князей и бояр, братья ли Глинские пользуются подвалившей на их счастье оказией подвести своих недругов под топор палача, только Василий Захаров вскоре доносит, что негласными вдохновителями сего мятежа являются князь Иван Кубенской, известный убийца, не так давно попавший в опалу за непотребное поведение в Троицком Сергиевом монастыре, а также Василий Воронцов и с ним Воронцов Федор, бывший любимец великого князя, только что его милостью освобожденный от уз.

Едва ли после розыска и доклада дьяка Захарова в душе Иоанна заводятся хотя бы тень колебания. Да и какие могут быть тут колебания, о чем сожалеть, над чем размышлять? Виновны или не виновны представленные на его суд персонажи в подстрекательстве к мятежу, уже не имеет большого значения, поскольку все эти лица, в особенности князь Иван Кубенской, и прежде бывали замешаны в беззакониях и бесчинствах при Шуйских, да и в самое последнее время не находят нужным смириться перед вдруг окрепшей волей великого князя, который в возраст вошел, даже Саип-Гирею из-за Перекопи видать.

Выслушав дьяка Захарова, Иоанн выносит беспощадный и окончательный приговор. Интересно отметить, что назад тому всего несколько месяцев наложенная на Кубенского опала не имела для жизни князя Ивана ни малейших последствий, его помиловали и прежней должности не лишили, а тут никто не вступает за него, митрополит Макарий не приходит с печалованием, и обвиненным в покушении на жизнь государя палач сносит головы с плеч.

Трудно определить, что больше руководит Иоанном в этом неожиданном и таком загадочном происшествии: страх смерти от руки заговорщиков, который он наверняка испытал в открытом поле при виде обнаженных мечей и звуках пальбы, опасная подозрительность, развившаяся в годы несуразных боярских бесчинств, или какой-то тайный, ещё не оформленный в сознании замысел? Может быть, всего понемногу. Но если отбросить все предрассудки, все предубеждения против царя и великого князя, недаром вошедшего в историю под впечатляющим именем Грозного, то стоит спросить: кто же не испугается полусотни вооруженных людей, с ножом к горлу подступающих в чистом поле? кто не заподозрит мятеж, когда эти до зубов вооруженные люди в ответ на повеление своего государя ступать себе с миром палят из пищалей и обнажают мечи? у кого не возникнет предположения, что не своей волей действуют эти простые Пищальники, пусть и принадлежащие к вечно беспокойному новгородскому воинству? кто усомнится, что в дело замешан известный убийца и мятежник князь Иван Кубенской? какой правитель не предаст зачинщиков мятежа?

Правда, перепугаться можно только в самый момент непредвиденной сечи, а внезапные подозрения необходимо дважды, трижды проверить, как необходимо дважды, трижды проверить результаты расследования. Проверил ли Иоанн? Поверил ли дьяку Захарову на слово? Или сведения, представленные дьяком Захаровым, оказываются неопровержимыми? Или Иоанн просто-напросто действует по примеру императора Константина, князя Федора Ростиславовича и ветхозаветного царя иудеев Давида, о которых так много и с таким вниманием читал? Или он предупреждает, испытывает слишком распустившихся князей и бояр перед тем, как своим новым решением встать неизмеримо выше над ними, чем кто-либо из московских великих князей?

Во всяком случае, неизвестно, насколько добросовестно вел дьяк Василий Захаров предписанный розыск и в какой мере Иоанн в своем приговоре опирался на достоверные факты, но едва ли убедительны и свидетельства летописцев, которые говорят, что казни преданы абсолютно ни в чем не повинные люди, скорее наоборот, именно эти свидетельства летописцев, возникшие в более позднее время, наводят на подозрение, не свидетельствуют ли они уже задним числом, как это сплошь и рядом приключается с далеко не беспристрастными героями летописания.

И всё же в благочестивой душе Иоанна не может не пробудиться горькое чувство вины. Прав или впал в заблуждение? Для благочестивого человека прямой ответ на этот не только важный, но и страшный запрос имеет особенный смысл, ведь это вопрос о спасении. В представлении истинно благочестивого человека души казненных, точно так, как любая отлетевшая от тела душа, неминуемо предстает перед Всевышним. Всевышнему, а вовсе не смертным ничтожествам, пусть эти ничтожества именуются даже царями, императорами, князьями, душа дает последний, самый бестрепетный и самый правдивый ответ, и если она безвинно предана казни, ей предназначается вечное блаженство в раю, как своего рода награда за напрасно пере-

несенные земные страдания. В сущности, безвинно убиенный ещё должен благодарить своего опрометчивого палача за такого рода подарок судьбы.

Иное дело тот, кто, призванный Богом казнить или миловать, посылает на смерть невинных людей, Его бессмертная душа тоже неминуемо предстанет перед Всевышним и тоже отдаст последний, самый правдивый ответ, причем кому много дано, с того много и спросится. Что заслужит она, если по её, вольной или невольной, вине свершилась роковая ошибка, если в самом деле безвинная голова пала под топором палача: вечное блаженство или вечная мука? Такой обнаженный ответ и сам по себе страшная мука, от такого запроса душе никуда не уйти, от такого запроса спасения нет. Гонимая ужасом перед тем, последним ответом, благочестивая душа обращается к Богу, кается, страдает и молит, обливаясь слезами, прощения.

Видимо, что-то подобное происходит и в растревоженной душе Иоанна. Едва успевает просохнуть кровь убиенных его повелением, как он, забрав брата Юрия и другого брата, Владимира старицкого, в сопровождении многих князей и бояр, отправляется в самое длительное из своих богомолий, какие до сей поры совершал.

Однако слышится в этом внезапном отъезде и другая причина. Всякий раз, когда он готовится объявить подручным князьям и боярам нечто необычайное, способное укоротить их неисправимую страсть к своеволию и мятежу, он покидает Москву. Вполне вероятно, что в нем созрела и готовится высказаться единственная, всепоглощающая мысль всей его жизни:

«Управление многих, даже если они сильны, храбры и разумны, но не имеют единой власти, будет подобно женскому безумию. Ибо так же, как женщина не способна остановиться на едином решении – то решит одно, то другое, так и многие правители царства – один захочет одного, другой другого. Вот почему желания и замыслы многих людей подобны женскому безумию...»

Только единая, сильная власть спасительна для государства, и он обязан стать единовластным правителем, не для себя ничтожного смертного ради, но ради Московского великого княжества, он обязан пресечь управление многих, когда один хочет одного, другой хочет другого, а в конце концов все жаждут самовластно править в посадах и волостях, мздоимствовать и вымогать, грабить открыто, презрев Бога, без зазрения совести пренебрегая законом и справедливостью. Но что единая, сильная власть будет означать для него? Насилие, кровь и ответ перед Богом!

Не один он видит необходимость для обуздания своевольных князей и бояр посягнуть на единую, сильную власть. Всё чаще и чаще, сперва исподволь, полунамеками, потом всё прямой, говорит о необходимости единой, сильной власти московского великого князя митрополит, тоже вдоволь наглядевшийся на боярскую смуту, сначала из Великого Новгорода, после воочию здесь, на Москве. Макарий разъясняет ему, что русская православная церковь уже унаследовала силу, славу и честь византийской, что центр православия уже переместился в Москву, что бы ни думал на этот счет плененный басурманами константинопольский патриарх, из чего следует, что здание необходимо достроить, что московскому великому князю самое время сравняться по положению с императорами Восточной Римской империи, а Московскому великому княжеству возвыситься до её высокого и прежде во всем мире славного положения.

Стало быть, поддержка митрополита Макария ему обеспечена, ему остается провозгласить себя императором или царем, выбор между этими титулами большого значения ни для него, ни для Макария не имеет. Кажется, больше не о чем размышлять, однако Иоанн размышляет уже много дней и ночей. Тревожное одинокое детство приучило его мыслить самостоятельно, и он понемногу начинает угадывать, что единой, сильной власти Макарий ищет не для него одного, даже не для умиротворения Московского великого княжества, а для церкви, для митрополита, в конечном счете для собственного своего возвышения прежде всего.

Макарий помышляет учредить Святорусское царство, которое должно существовать только для церкви, как её утверждение и ограда, его главнейшей, едва ли не единственной

обязанностью станет удовлетворение насущных нужд русской церкви, очистить её от многих пороков, которые Макарий уже начал понемногу искоренять в новгородской епархии, и в конце концов её к тому привести, чтобы она стала единственной чистой хранительницей и выразительницей истины христианства, а будет достигнута эта поистине всемирная цель, истинным правителем святорусского царства станет её глава, митрополит, то есть Макарий, всё живое подчинится ему, должен будет подчиниться и тот, кто получит звучный, но в таком случае пустой титул императора или царя.

Иоанн тоже видит пороки, разъедающие монастыри, он тоже за очищение и возвышение русского православия, которому он предан всем своим существом, однако по его убеждению верховная власть в московском великом княжестве должна принадлежать великому князю. Видимо, уже в это время он начинает догадываться, что попы не должны вмешиваться в управление государством, как позднее он станет доказывать в первом послании беглому князю. Тогда как же ему поступить? Ему предстоит сделать выбор: либо он, либо митрополит. Если он делает выбор в свою пользу, Макарий покинет его, а без Макария не может быть ни единой, ни тем более сильной власти на Русской земле, подручные князья и бояре не нынче, так завтра его сковырнут.

Есть над чем ломать голову, и он отправляется на богомолье, в расчете, что Бог вразумит и простит. Громадный обоз великого князя движется из Москвы на Владимир, от Владимира поворачивает на Можайск, Волок Ламский, Ржев, Тверь, Великий Новгород, Псков. Повсюду на этом пути Иоанн посещает монастыри, выстаивает в каждом встреченном храме молебны, и так продолжительно его необычное богомолье, что невольно подтверждается предположение: сомнение истинно верующего в своей правоте подвигает его свершить этот путь, покаяние истомленной души, жаждущей вовсе не чьей-нибудь крови, но единственно братской, истинно христианской любви, а в то же время и подготовка к новой ответственности, может быть, к новой крови, как ни странно, во имя всё той же братской, истинно христианской любви.

Однако и на этом пути очищения и подготовки к новому бытию, точно Бог и в самом деле вразумляет его, подручные князья и бояре вовсе не с ним, не с его высокими, благочестивыми помыслами, не с раскаянием, не со смирением в душе. Всюду на этом долгом пути они устраивают пышные охоты и ловли, разорительные постои и шумные пиршества, обременяя черный народ извозом, поборами, а то и прямым грабежом, оставляя после себя разорение, озлобленные проклятия, безответные жалобы, бессильные слезы, ропот и глубокие семена народного мятежа, куда более кровавого, страшного, чем боярский, все-таки ограниченный, придворный мятеж.

И этот много размышляющий юноша, так часто встречавший в летописных сводах и хрониках то скупые, то пространные, всегда гневные описания сходных бесчинств, не может не видеть, не может не понимать, что никто из его приближенных ни по зову совести, ни по наставлениям митрополита Макария даже не думает оставлять своих укоренившихся зловредных привычек, что никто из них не сдается помыслом о неминуемом разорении и оскудении Московского великого княжества, точно все они чужестранцы в завоеванной ими стране.

Плохо то, что он всё ещё очень молод. Характер его только ещё устанавливается, но не установился вполне, не затвердел. Его энергия так и клокочет, просит выхода, он же не представляет, куда направить её, куда её деть. И он сам, после утрени или ранней обедни, скачет вместе с ними верхом, принимает участие в охотах и ловлях, которые именно своим зверством, своей кровью отвращают его, разделяет игрища и забавы, однако не по желанию, не по велению сердца, не по распутству пустой, беззаботной души, а как разум велит, применяясь к обстоятельствам неопределившегося его положения.

Это противовольное отступление от благочестивого покаяния, которое он наложил на себя, тоже падает камнем на чуткое сердце. Иоанн никогда не забудет, никогда не простит бесовских игрищ, бесовских забав, которым так привержены подручные князья и бояре. Он



горько попрекнет ими беглого князя, когда тот укажет ему на такого рода забавы и дерзнет обличить в неблагочестии царя и великого князя, то есть обвинить в самом тяжком грехе:

«Если же ты вспоминаешь о том, что мы не твердо соблюдали обряды и устраивали игры, то ведь это тоже было из-за вашего коварно поведения, ибо вы исторгли меня из спокойной духовной жизни и по-фарисейски взвалили на меня тяжелое бремя, а сами ни одним пальцем не помогали его нести, поэтому я и не соблюдал церковных обрядов из-за забот царского правления, вами подорванного, частью – чтобы избежать ваших коварных замыслов. Устраивал же я игры, снисходя к человеческим слабостям, ибо вы много народа увлекли вслед коварным замыслам, устраивал для того, чтобы они нас, своих государей, признали, а не вас, изменников, подобно тому, как мать разрешает детям всяческие забавы, пока в младенческом возрасте, ибо когда они вырастут и превзойдут родителей умом, то откажутся от этих забав сами, или подобно тому как Бог разрешил евреям приносить жертвы – лишь бы Богу приносили, а не бесам. А чем они у вас привыкли забавляться?..»

Неудивительно, что весь этот длинный медлительный путь от Москвы до Пскова и от Пскова обратно в Москву он всё продолжает предаваться размышлениям, важнейшим и тяжким, от которых зависит и будущее его бессмертной души, и личная судьба, и судьба Московского великого княжества, таким размышлениям, которые в любом возрасте непосильны, нередко оканчиваются роковыми ошибками, способными определить ход истории, вдвойне непосильны для шестнадцатилетнего юноши, только ещё начинающего самостоятельно мыслить и самостоятельно жить.

В каком направлении, какими путями пробирается его пытливая, рано созревшая мысль? Трудно, в сущности, невозможно четко, с полной уверенностью ответить на этот важный вопрос, поскольку все источники упорно молчат. Можно только догадываться о конкретном содержании его размышлений, опираясь единственно на конечный их результат, исходя из решения, которое он внезапно для всех принимает зимой, в первые дни холодного, снежного января.

Вопреки распространенному предубеждению, которое рисует его законченным эгоистом, Иоанн вовсе не занят исключительно собственной безопасностью и личным благоустройством, за его чуть не детской беспечностью в играх и шалостях юности таится остро наблюдательный, глубоко мыслящий, государственный ум. Позднее он напишет беглому князю, вспоминая их молодость, проведенную вместе:

«Ты сам своими бесчестными очами видел, какое разорение было на Руси, когда в каждом городе были свои начальники и правители, и потому можешь понять, что это такое...»

Где ни появляется он во время этого длительного многодневного, многонедельного странствия по Русской земле, всюду он наталкивается на постыдные следствия боярских бесчинств. Наместники и волостели, из рук Шуйского или Бельского получающие, по родству, по участию в преступлениях или за мзду, кормления в посадах и волостях, не отличившись ни доблестью, ни усердием в службе, кормятся за счет населения во всю ширь, во всю сласть, позабывши не только совести, которая, как известно, гибка и покладиста и умеет растягиваться до едва уловимых пределов, позабывши и об утвержденных великими князьями пределов кормлений, и без того не только достаточных, но и обильных, достаточных до того, чтобы через годик-другой воротиться человеком более чем обеспеченным, даже богатым. Точно хищные звери бросаются подручные князья и бояре на подвластное население, вымогая где страхом, где грубой силой, забирая бессчетно сено и хлеб, живность и птицу, мед и воск, деньги и полотно, норовят ничего не оставить владельцу, препоручив разыскивать воров и разбойников своим тиунам, а тиуны, в свою очередь, с воров и разбойников, предоставляя им безнаказанность и безопасность, взимают за беззаконие мзду, то есть становятся соучастниками их преступлений. От воров и разбойников, от наместников и волостелей стоном стонет земля. Чем далее от надзора Москвы, тем более пустеют посады, а в Пскове и в окрестных селениях почти

уже и нет никого, лежат в запустенье поля. Часто, слишком часто приходится Иоанну, проезжая разоренными деревнями, обнаруживать тут и там заросшие кустарниками и сорняками поля, вспоминать, укрываясь от веселящихся напропалую подручных князей и бояр, горчайшее наставление пророка, камнем давящее сердце: «Горе дому, которым управляет женщина, горе городу, которым управляют многие...»

Наконец тринадцатого декабря 1546 года, когда ему ещё не исполнилось семнадцати лет, он призывает к себе в палату митрополита Макария и долго беседует с архипастырем наедине. О чем они говорят? Известно, что Иоанн объявляет митрополиту решение: он хочет и должен жениться. Решение важное, но не из тех, чтобы долго о нем толковать, тем более что по тогдашним понятиям порог совершеннолетия им уже пройден и в желании связать себя узами законного брака не может быть ничего чрезвычайного. Между тем летопись извещает, что митрополит, умудренный годами. Лет приблизительно шестидесяти пяти, выходит от великого князя с просветленным лицом. Таким образом, можно предположить, что не женитьба явилась главным предметом этой уединенной беседы, а дела государственные, самый принцип правления, который в эти недели и месяцы окончательно вызревает в его голове. Конечно, он повествует о разорении Московского великого княжества, следствие бесконтрольного, бесшабашного управления мятежных князей и бояр, то и дело сменявших друг друга. Конечно, он говорит о власти единой и сильной, которая необходима для укрепления и процветания русской земли, не надо забывать, со всех сторон окруженной хищным, хоть и понемногу слабеющим, но всё ещё очень опасным врагом. Однако какой должна быть эта единая, сильная власть? Видимо, он возражает митрополиту Макарию: замышленное им Святорусское государство станет церковью, церковь вберет в себя всё, всё поглотит, все стороны жизни. Собственно он, человек благочестивый, не может против этого возражать. Слабость этой идеи он видит в том, что церковь может действовать только проповедью, только словом о благочестии и братской любви. В этом её сила, да в этом и слабость её. Кто станет проповедовать православные истины? Попы и монахи большей частью неграмотны. Кто станет слушать проповеди о заповедях Христа, когда и кровавые казни не всегда останавливают подручных князей и бояр, крест целовавших на верность но сплошь и рядом нарушающих крестное целование?

Макарий, именно умудренный годами, не может с его доводами не согласиться, Шестнадцать лет он проводил преобразования в новгородских монастырях и сражался то с язычниками, то с сектой жидовствующих, а и там до победы ещё далеко. Он готов приступить к преобразованиям во всех московских монастырях, но и тут он всё ещё только в начале пути. Ему приходится, как ни горько, признать: церковь ещё не готова властвовать одной силой слова, утихомиривать и смирять, тем более не готова отражать отовсюду наседающих внешних врагов, иноверцев и супостатов. Так как же им быть?

Мы не знаем, какой ответ дает Иоанн. Его ответ можно вывести из последующих событий, главным образом из отношений, которые складываются между ним и митрополитом Макарием. Видимо, он напоминает своему отцу и молеыщнику, как он его величает, мудрость апостола, любимую им: Богу – Богово, а Кесарю – Кесарево. Он – государь, он станет миловать и казнить, собирать полки и бить внешних врагов. Митрополит обновит и укрепит православную церковь, так, как достойно её великому назначению, и возьмет на себя духовное воспитание русского племени, чтобы со временем каждый русский, от князя, боярина и служилого человека до землепашца, зверолова и рыбака, стал жить исключительно по благотворным и праведным заповедям Христа. Действуя каждый на своей ниве, неустанно помогая друг другу, они воздвигнут новое, действительно святорусское царство. А пока? А пока каждый из них станет нести свой крест.

Митрополит поражен. Даже ему, человеку широко начитанному, самостоятельно мыслящему, рассуждения просветленного юноши представляются замечательными, выходящими из ряду вон. Впечатление Макария так глубоко и значительно, что он служит молебен в Успен-

ском соборе, точно совершается нечто необычайное, а после молебна рассылает приглашение всем князьям и боярам, даже опальным, что и само по себе явление чрезвычайно, собраться в Кремле.

Спустя три дня собирается двор. Знатнейшие из сановников, князья и бояре, митрополит, игумены и архимандриты ожидают в волнении, тишком переговариваясь между собой. Наиболее любопытные и смысленные угадывают, что дело идет о государственной тайне, и ждут с нетерпением ждут в общем-то заурядного происшествия в жизни великого князя – известия о вступлении в брак. Если что и занимает растревоженные умы, так это выбор невесты, поскольку для каждого важно, будет ли это одна из иноземных принцесс, или ею окажется дочь кого-то из них, счастливица, прямого правителя при юном, таком невысказавшемся, невыразительном государе, так что судьба многих решительно переменится, кого-то поджидает прямо за кремлевским порогом неминуемая опала, может быть, топор палача, кого-то возвышение и успех, так не ими заведено, этот порядок не им и менять.

Появляется Иоанн, серьезный и бледный. Тотчас видать: наступает его решительный миг. Всё, что было, приходит к концу, начинается новая, ещё не бывалая жизнь. Вероятно, он страшно волнуется и по этой причине долго молчит. Затем обращается к митрополиту Макарию с приготовленной, хорошо обдуманной речью:

– Милостию Божию, милостию Пречистой Его Матери, молитвами и милостью великих чудотворцев Петра, Алексея, Ионы, Сергия и всех русских чудотворцев положил я на них упование, а у тебя, отца моего, благословясь, помыслил жениться.

В напряженной тишине Иоанн излагает причины, которые побуждают его, великого князя московского, отказаться искать невесту за пределами Русской земли:

– Сперва думал я жениться в иностранных государствах у какого-нибудь короля или царя, но потом я эту мысль отложил, не хочу жениться на чужих государствах, потому что после отца своего и матери остался мал. Если приведу себе жену из чужой земли и в нравах мы не сойдемся, то между нами дурное житие будет, не будет тогда нам супружество счастьем.

И заключает торжественно, громко, чтобы слышали все:

– Хочу жениться в своем государстве, у кого Бог благословит, по твоему благословению.

Князья и бояре диву даются, будто бы даже плачут от радости, как летописец позднее сочтет возможным довести до сведения потомства, качают головами и переговариваются между собой та громко, чтобы слышал наше солнышко, молодой государь: всем им привалило великое счастье, что государь, вишь, так молод, а ни с кем не советуется в таком большом деле, как выбор жены. Князья и бояре, естественно, лицемерят, потому что именно независимого, самостоятельного великого князя страшатся пуще татар, литовцев и ляхов и очень скоро выкажут свое нежелание принять его единую, действительно сильную власть. Митрополит же Макарий с искренним умилением отвечает, уже приготовленный к новшествам тайной беседой:

– Сам Бог внушил тебе намерение столь вожеленное для твоих подданных! Благословляю тебя именем Отца небесного!

Смиренно склонив главу перед ним, Иоанн принимает благословение, а затем говорит, не то чтобы удивив, а вернее сказать, огорошив подручных князей и бояр:

– По твоему, отца моего митрополита, благословению и с вашего боярского совета хочу прежде женитьбы моей поискать прародительских чинов, как наши прародители, цари и великие князья, и сродник наш великий князь Владимир Всеволодович Мономах на царство, на великое княжение садились, и я также этот чин хочу исполнить и на царство, на великое княжение сесть.

Так кратко и сухо выражает эту выдающуюся мысль равнодушно взирающий летописец, однако сам Иоанн всегда на подобные темы рассуждает приподнято, не жалея ни красочных слов, ни подробностей о своих прародительских, кровных, именно не заёмных правах на царский престол, приблизительно так:

– Бог наш Троица, всегда бывший и ныне сущий, Отец и Сын и Святой Дух, не имеющий ни начала, ни конца, которым мы живем и движемся, которым цари царствуют и правители пишут правду. Богом нашим Иисусом Христом дана была едиnorodного слова Божия победоносная непобедимая хоругвь – крест честной первому во благочестии царю Константину и всем православным царям и оберегателям православных. И после того как исполнилась воля Провидения и божественные слуги Божьего слова, как орлы, облетели всю вселенную, искра благочестия дошла и до Российского царства. По божьему изволению начало самодержавия истинно православного Российского царства – от великого царя Владимира, просветившего всю Русскую землю святым крещением, и от великого царя Владимира Мономаха, который получил от греков достойнейшую честь, и от храброго великого государя Александра Невского, одержавшего победу над безбожными немцами, и от достойного хвалы великого государя Димитрия, одержавшего за Доном великую победу над безбожными агарянами, вплоть до мстителя за несправедливости, деда нашего, великого князя Ивана, и до приобретателя исконных прародительских земель, блаженной памяти отца нашего великого государя Василия, и до нас, смиренных, скипетродержателей Российского царства. Мы же хвалим Бога за премногую милость к нам, что не допустил он деснице нашей обогреться единоплеменной кровью, ибо мы не отняли ни у кого царства, но по Божьему изволению и по благословению своих прародителей и родителей как родились на царстве, так и были воспитаны и выросли, и Божьим повелением воцарились, и взяли всё родительским благословением, а не похитили чужое...

Один митрополит Макарий выслушивает по тем временам необычные, даже несколько странные речи о правопреемстве московских великих князей бестрепетно и с полным сознанием всего значения и величия той звездной минуты в истории не только северо-восточной Руси, но и всего православного мира. После падения Константинополя, преданного европейским католическим миром на поток и разграбление басурман Оттоманской империи, центр православного христианства действительно перемещается в пределы Московского великого княжества, и Макарий готов сделать всё, что в его силах и власти, и даже более, чем в его силах и власти, чтобы Москва не только в согласии с недавно возникшим учением, но и на деле, по своему могуществу и значению в мировой, прежде всего в европейской политике заняла положение третьего Рима, отныне единственного, последнего, другому же не бывать.

Митрополит Макарий сам лично давно исподволь подготавливает это событие мирового значения, он не только с величайшим усердием приохочивает Иоанна к внимательному чтению житий и хронографов и летописаний разного рода. Он собирает и переиначивает, приносившая к духовным нуждам Русской земли, как он их понимает, бесчисленные пророчества византийских и болгарских святых, относившиеся к византийским императорам и болгарским царям, и переносит эти пророчества на русских великих князей. Он использует бродившую по непокорным русским пространствам, злодейски захваченным скороспелой, прежде нигде не бывалой Литвой, доходившую до скова и Великого Новгорода легенду о том, что брат императора Августа переселился на берега Балтийского моря и что именно от этого августейшего брата пошли основатели Русского государства приснопамятные Рюрик, Синеус и Трувор, придает ей литературную форму и вписывает в житие святой Ольги, княжившей в Киеве после Олега и Игоря. Он же окончательно закрепляет возвышенную легенду о том, будто император Восточной Римской империи Константин Мономах, в действительности покойный на тот день и час, присылает своему внуку Владимиру Всеволодовичу, тоже по этой причине ставшему Мономахом, царский венец и будто этот царский венец, бармы и цепь возлагает на великого князя Владимира Всеволодовича эфесский митрополит. Он же утверждает в житийной литературе легенду о том, будто Владимир Мономах, умирая. Передает эти символы царской власти не кому иному, как Юрию Долгорукому, шестому сыну, первоначальному златоглавой Москвы, передает именно с тем дальновидным прицелом, что эти знаки станут именно в Москве как зеницу ока хранить и передавать их от поколения к поколению, пока не воздвигнется истин-

ный самодержец в Русской земле, достойный воспринять на себя эти вечные символы земного могущества.

Митрополит Макарий может гордиться: его старания по улучшению и возвышению русской истории даром не пропадают, его усердие увенчивается полным успехом, Москва провозглашается царством, а заодно с этим многозначительным, без преувеличения эпохальным событием возвышается русская православная церковь, и Макарий законно рассчитывает на то, что московский митрополит займет первое место при московском царе, подобно тому, как при императорах Восточной Римской империи первое место занимали византийские патриархи. Макарий, можно сказать, переживает сладчайшую минуту своего наивысшего торжества. Как тут не возрадоваться. Как слез умиления не пролить, когда архипастырю Русской земли греются столь заманчивые, столь светлые, истинно вековые перспективы!

В самом деле, митрополит Макарий и все церковные иерархи, подручные князья и бояре присутствуют при величайшем событии, равного которому в русской истории ещё не бывало. В истрадавшейся от раздоров и смут, всё ещё раздробленной, разорванной иноплеменными на куски, всё ещё большей частью томящейся под вражеским, иноверным владычеством Русской земле окончательно утверждается, закрепляется и внешним образом оформляется идея единой державы, самим Богом указанная Русской земле, и эта идея окажется настолько плодотворной, настолько могущественной, что на протяжении четырехсот лет будет наполнять собой все умы, определять всё гражданское и государственное устройство и побуждать русских людей к великим деяниям, пока не приведет Русскую землю к величию, которого её уже никто, никакой внешний или внутренний супостат, не сможет лишить.

Все-таки кажется, что даже умный, начитанный митрополит не осознает всей меры величия, всей меры значения этой обновляющей, поражающей воображение, закладывающей основы идеи, обнаруживая в ней всего лишь одни выгоды для укрепления, возвышения и процветания церкви. Подручные князья и бояре, в сущности, не прозревают, не осознают ничего. Из поколения в поколение растущие без иного воспитания, кроме поста и молитвы, в развале предательства, жестокости, козней, казней, распрь и опал, привыкшие к внешнему раболепию, к интригам и тайным умыслам против всех и каждого из своих повелителей, постоянные, убежденные клятвопреступники, они и тут публично выражают полное согласие и полный восторг, однако радуются они только тому, чем беспрестанно заняты сами, то есть тому, что, вишь, государь ещё в таком младенчестве пребывает, а уже прародительских чинов поискал, поскольку московский князь и московский боярин одним только прародительским чином и силен, и приметен, и знатен, и пристроен на кормление в мирное время, а в военное время на полк. Далее своих чинов прародительских скудная мысль московского князя или боярина не идет, не может, не способна идти, у московского князя или боярина это весь умственный капитал, весь кругозор.

Что касается самого царского титула, то одни удивились, другие встречают новый титул с сомнением и недоверием. Они помнят о том, что ещё дедушка новоявленного царя нередко для своего удовольствия употреблял этот незаконный, незаслуженный титул, именовался царем в тесном домашнем кругу и даже в сношениях с оскудевшими, обессиленными ливонскими рыцарями обозначался царем да кое с которыми из мелких германских правителей, однако далее этих предварительных проб не пошел, опасаясь резонно, что официально, в грамотах и приговорах, этого высочайшего титула за ним не признает ни один из больших государей кичливой, щепетильной, ко всему русскому враждебной Европы. Помнят они и о том, что дедушка Иоанна на царство-то венчал внука Димитрия, да вскоре же подверг его зверской опале, тем самым уничтожив самый смысл царского титула для внука и сына и потомков его, с ним непосредственно связанную идею полнейшей, безоговорочной неприкосновенности, всемогущества и Божественной милости.

Подручные князья, подручные бояре, из тех, которые посмышленнее, поумней, поневоле задаются вопросами: из какой такой надобности едва достигнувший совершенных лет государь вздумал разыграть эту комедию, поскольку всё едино первейшие европейские короли царского титула за ним не признают ни за какие коврижки, а без признания первейших королей московские князья и бояре никакого титула не представляют себе. Эти поневоле страшатся: не вызовет ли детское представление осложнений с сопредельными государствами, и без всякого рода легкомысленных вызовов со всех сторон угрожающими малосильной Москве.

В целом же боярство и знать видят в странной идее венчаться на царство скорее молодое чудачество, неумную, скоропреходящую прихоть мальчишки, которая, не имея признания чужеземных монархов, очень скоро, через несколько месяцев, испарится, исчезнет сама собой, а не исчезнет, не испарится, так они сами эту дурь с него пособуют. Во всяком случае, в документах эпохи не слышится даже слабейшего намека на то, что в неожиданном венчании Иоанна на царство подручные князья и бояре почуяли какую-нибудь угрозу для исконных своих привилегий и прав, записанных кровью в удельные времена. Нисколько. Прославив юного государя, так неожиданно и так странно входящего в возраст, они преспокойно расходятся по своим теремам, разъезжаются по ближним и дальним вотчинам, кормлениям и уделам и, повинаясь изреченному повелению, с легким сердцем принимаются готовиться к торжествам возведения Иоанна на отеческий стол.

Подручных князей и бояр не настораживает и то, с какой стремительной быстротой действует многие годы молчавший, внезапно заговоривший, заявивший о себе Иоанн. Не успевает он объявить, что намерен жениться, как тут же по посадам и волостям рассылаются грамоты, начертанные сурово и твердо, явным образом под диктовку самого великого князя:

«Когда к вам эта наша грамота придет, и у которых будут из вас дочери девки, то вы бы с ними сейчас же ехали в город к нашим наместникам на смотр, а дочерей девок у себя ни под каким видом не таили б. Кто же из вас дочь девку утаит и к наместникам нашим не повезет, тому от меня быть в великой опале и казни. Грамоту пересылайте между собою сами, не задерживая ни часу...»

И в то время, когда, глубоко засунув за пазуху государеву грамоту, во все концы Московского, пока что не царства, а по-старинному великого княжества скачут лихие, под страхом смерти преданные гонцы на лучших быстрых взмыленных лошадях, за час промедления предчувствуя за спиной своей опалу и казни, как на Русской земле зовется всякое наказание, вовсе не обязательно смерть, в то время, когда наследственные князья да думные бояре да дети боярские, расселенные по уделам и волостям, кто с надеждой, кто кряхтя и вздыхая, но равно все повинаясь равно спеша, как бы не опоздать, не накликасть на свою безвинную голову опалу и казнь, какую надумает государь, поскольку столетиями Русская земля не знает иных наказаний за любую провинность, как беспокойная служба по дальним украинам, насильственное монашество, темница или топор палача, снаряжают краснощеких, мощногрудых, толстозадых девок-невест, в первопрестольной Москве, тоже волнуясь, тоже спеша, припоминают пятидесятилетней давности обряд венчания на царство невинно сгинувшего Димитрия, Иоанну сводного брата, церемонию восшествия на отеческий стол, забываясь только о том, чтобы церемония была как можно значительней, торжественней и пышней, и всем придворным чинам и прибывающим из посадов, волостей и уделов князьям и боярам из государевой кладовой выдают под честное слово возратить в целости и сохранности тяжелые, шитые золотом, обложенные жемчугом, отороченные бесценными мехами белок, соболей и куниц парчовые ферязи и сафьянные красные сапоги с татарскими скошенными вперед каблуками и заостренными, кверху задранными носами. Накануне все до единого парятся в бане, и наступает торжественный, знаменательный день.

Понутру, шестнадцатого января 1547 года, Иоанн, с непокрытой, смиренно опущенной головой, в тяжелой долгополой одежде, всплошь покрытой вшитыми в ткань небольшими про-

долговатыми бляшками, кованными из чистого золота, из своих интимных покоев выходит в столовую палату, где в полном молчании его ожидают в заемных ферязях и высоченных шапках думные бояре. Благовещенский протопоп из его уже царственных рук принимает венец, бармы и крест и на блюде из чистого золота, в сопровождении князя Михайлы Глинского, казначеев и дьяков, переносит знаки величества в успенский собор. Вскоре сам Иоанн проходит за ним. Следом медленно и торжественно движутся с деревянными лицами его брат Юрий Васильевич, князья, бояре и двор.

Вступив в полном молчании в храм, Иоанн благоговейно прикладывается к животворящим иконам, С хоров высоко и благостно несется многая лета. Митрополит благословляет его. Служат молебен. После молебна расступаются ближние люди и отодвигаются к расписанным библейскими сюжетами стенам. Посреди храма на возвышении стоят два вызолоченные сверху донизу кресла, покрытые золототкаными наволоками, в ногах расстелены камки и бархаты.

Иоанн медленно, точно придерживая каждый шаг ногу, поднимается по двенадцати ведущим кверху ступеням и с замкнутым, застывшим от напряжения лицом опускается в кресло. Рядом, именно так, в такое же кресло, садится митрополит, как будто не один государь, а вместе с ним и церковный владыка венчается на новое царство. Перед возвышением находится богато изукрашенный налож с царскими знаками. Архимандриты подают знаки Макарию. Макарий поднимается и принимает царские знаки из рук священнослужителей. Навстречу ему поднимается Иоанн. Не по чьему-нибудь изволению, не от земных многогрешных непостоянных коварных людей, от полномочного главы всего православия, а через него из рук самого Господа нашего Иисуса Христа принимает он бесценный царский венец, бармы и крест, а с ними принимает высшую ответственность перед Всевышним и высшую, безраздельную власть над людьми.

Отныне и навсегда единственно его царской волей будут вершиться дела в Государстве Российском, всё добро и всё зло, и всё добро и всё зло, совершенное им по умыслу, по ошибке или случайно, зачтутся ему на Страшном суде. Невероятной тяжести крест своей волей взваливает он на свои необношенные, неокрепшие, почти ещё детские плечи, и, вполне сознавая величину этой тяжести, митрополит в присутствии всех подручных князей и бояр, всех знатнейших людей Московского царства громко молит Всевышнего, чтобы оградил сего христианского Давида непобедимой силой Святого Духа, посадил на престол добродетели, милостивое око даровал для послушных, а для строптивых вселил в него ужас, тем самым благословляя первого из венчаных русских царей на добро и на зло, если свершенное им зло будет направлено на благо Московского царства. С хоров вновь несется многая лета. Духовенство, князья и бояре, приближенные дьяки сдержанно, с сознанием многозначительности акта венчания поздравляют его, после чего первый из русских царей стоит литургию.

Уже венчанным, полновластным монархом возвращается Иоанн в свой кремлевский дворец, твердо ступая по камкам и бархатам. В церковных дверях и на лестнице глухонемой младший брат Юрий, широко улыбаясь, осыпает его золотыми монетами, черпая горсть за горстью из златокованой мисы, которую князь Михаил Глинский услужливо подставляет ему. В ту минуту, когда юный царь, только что от самого Бога принявший царский венец, покидает Успенский собор, народ, прежде неприметный, неподвижный, безмолвный, с шумом и криком бросается обдирать царское место, чтобы унести на память о величайшем дне для Русской земли хотя бы малый лоскут. Вскоре старательные московские книжники объявят посадскому люду, что обрядом венчания исполнилось пророчество Апокалипсиса о царстве шестом, которое отныне есть Русь. Ещё позднее летописец занесет в свой аккуратно подправленный, подчищенный манускрипт:

«Смирились враги наши, цари неверные и короли нечестивые: Иоанн стал на первой ступени державства меж ими!..»

Вскоре за этим величайшим событием в истории Русской земли, определившим форму правления без малого на четыре столетия, следует и второе, не менее пышное, однако меньшее по значению, сугубо личное дело молодого царя и великого князя. Повинуясь указу, разосланному с гонцами, наместники и волостели, согласно с обычаем, занесенному на Русскую землю из чопорной Восточной Римской империи, проводят первоначальный смотр девок-невест, безжалостно выбраковывая тех, кто не подходит под известную мерку дородности, возраста, роста и красоты, заодно также тех, чьи отцы оказались не щедры на даяние. Все же прочие, отобранные по этой мерке или по силе даяния девки-невесты по гладким зимним путям со стремительной скоростью легких саней, несомых чуть не по воздуху тройками сытых бойких коней, закутанные в дорогие меха к концу января доставляются в кремлевский дворец, числом всего-навсего в несколько сот. Для размещения этого полчища претенденток на руку и сердце царя и великого князя отводят громадные палаты с множеством комнат. В каждой комнат сооружают двенадцать кроватей и поселяют двенадцать девок-невест. В сопровождении старейших думных бояр молодой царь и великий князь, соблюдая строгий порядок, обходит жилища краснеющих и бледнеющих дев, придирчиво оглядывая с головы до ног и каждой набрасывает на плечи парчовый платок, шитый золотом, тканый дорогими камнями, после чего всё это полчище, одарив равноценно подарками, отпускают с Богом домой, к иным женихам.

Из этого полчища Иоанн избирает только одну, по всей вероятности, избирает заранее, а смотр проводит в угоду обычаю, как старинный обряд. Невестой царя и великого князя нарекается Анастасия Романовна, дочь покойного окольничего Романа Юрьевича Захарьина-Кошкина, который совместно с Шереметевыми, Колычевыми и Кобылиными ведет род от московского боярина Кобылы, вышедшего когда-то, как уверяют, из Великого Новгорода, хотя потомки его станут утверждать для пущего весу, что их не прославленный ничем иным предок вышел из Пруссии.

Современники дружно приписывают Анастасии Романовне все возможные женские добродетели: целомудрие, смирение, чувствительность, набожность, благость и основательный ум. Однако выбор Иоанна определяют не одни женские добродетели ещё ничем особенным не проявившей себя дочери одного из ближних людей, к тому же тщательно скрываемой от постороннего глаза в душевных недрах боярского терема. С младенческих лет окруженный коварным, бессовестным, двуличным боярством, он настойчиво подыскивает в помощники, тем более в прямое родство людей открытых, надежных и честных. Захарьины же каким-то чудом сумели ничем не запятнать свое скромное имя во все бесславные годы оголтелых боярских бесчинств. К тому же на богобоязненного, благочестивого Иоанна не может не оказать очень сильного, если не решающего воздействия умело из-под руки распространяемая легенда о том, будто святой Геннадий, однажды из Костромы явившись в Москве, остановясь в богатом доме странноприимной Юлиании Федоровны, вдовы окольничего Романа Захарьина-Кошкина, в благодарность за чистосердечную щедрость пророчествовал Анастасии Романовне царственное супружество.

Венчание происходит третьего февраля, спустя две с половиной недели после торжественного благословенья на царство. Благословив царя и царицу, митрополит произносит краткое поучение:

– Днесь таинством церкви соединены вы навеки, да вместе поклоняетесь Всевышнему и живете в добродетели, а добродетель ваша есть милость и правда. Государь! Люби и чти супругу, а ты, христоролюбивая царица, повинуйся ему. Как святой крест есть глава Церкви, так муж есть глава жены. Исполняя усердно все заповеди Божественные, узрите благая Иерусалима и мир во Израиле.

Такое событие, не в пример венчанью на царство, царский двор и посадские люди в полном самозабвении праздную не сколько дней и ночей. Молодой царь и супруг осыпает милостями своих приближенных. Молодая супруга питает убогих и нищих.



Наконец, окончив пиры, Иоанн и Анастасия отправляются по заснеженной зимней дороге, несмотря на мороз и свирепые февральские вьюги, как бедные странники из простого народа, пешком, с сумой на плечах, на богомолье в Троицкий Сергиев монастырь, где проводят первую неделю поста, усердно молясь над мощами святителя Сергия.

С богомолья Иоанн возвращается умиротворенный, очищенный духом и свои медовые месяцы проводит в сельце Островке, где поставлена летняя резиденция царя и великого князя, в удалении от мирских дел, в полнейшем душевном покое, жадно вкушая внезапное счастье супружества, точно с неба упавшего на него, сироту, выросшего без вниманья и ласки, без истинной женской любви, проводит эти месяцы точно в затворе, как будто позабыв о священных обязанностях государя, царя, великого князя, точно и не свершилось никакого венчанья, никакого благословенья на царство.

Между тем, истинно говорят, что счастье к беде.

## Глава двенадцатая

### Начало царствования

Впоследствии Иоанн с присущей ему наступательной гордостью заявит мятежным князьям и боярам:

– Когда же мы достигли пятнадцати лет, то взялись сами управлять своим царством, и, слава Богу, управление наше началось благополучно.

Однако, вопреки горделивым его уверениям, от венчания на царство до действительного управления царством проходит несколько месяцев. И дело тут вовсе не в том, как дружно пытаются уверить легкомысленные историки, либералы и балалаечники всех сортов и оттенков, всегда и по каждому поводу яростно бьющиеся за правду-матку между собой, на этот раз похвально единомышленные, будто дела управления, как и прежде, переданы ближним боярам, в данном случае Глинским. Тут дело в другом.

До середины того многомятежного века ни один русский князь не управляет своим унаследованным, купленным или захваченным княжеством. Прародительские привычки и национальный обычай в течение всех прошедших столетий сводит труд рядового или великого князя к обороне доставшегося ему под руку населения от внешних врагов и к кормлению от этого населения в оплату за щит, в сущности, независимо оттого, насколько успешно торговля и землепашество обороняются ими от немцев, поляков, литовцев и в особенности от хищных татар. Кормится сам князь, удельный или великий, кормятся назначаемые его благорасположением наместники и волостели, причем кормятся большей частью в размерах, установленных всё теми же прародительскими привычками и национальным обычаем, лишь в смутные времена далеко преступая допустимые нормы и тогда доводя посады и волости до разорения, впрочем, такого же кратковременного, как кратковременны смутные времена. Даже судебная власть, которая понемногу отнимается у посадов и волостей, до крайности ограничена и касается главным образом убийств и татьбы, да и судебная власть распространяется только на свободных посадских людей и свободных же землепашцев, звероловов и рыбаей. Большая часть судебных дел, а с ними сбор пошлин и разного рода поборов передается жалованными грамотами местным землевладельцам, духовным и светским, так что в действительности каждой отдельной частью удельного или великого княжества управляют по отдельности князья, бояре, монастыри, а сам удельный или великий князь при этом только присутствует, не располагая реальной, действительной властью над всеми посадами и волостями удельного или великого княжества, имея бесконтрольное право лишь на опалы и казни подручных князей и бояр, которое и великие и удельные князья на протяжении веков используют с увлечением и широко, поскольку только это бесконтрольное право на опалу и казнь позволяет им чувствовать власть и оставаться у власти.

Таким образом, если необходимо обладать необыкновенной решимостью, чтобы, ломая прародительские привычки и национальный обычай, осениться Мономаховой шапкой и наименоваться царем, то необходимо обладать ещё большей решимостью, стальной волей и незаурядным умом, чтобы действительно принять на себя управление царством. Больше того, если в самый корень глядеть, и решимость и воля и незаурядный государственный ум в таком грандиозном деле – сущий пустяк. Чтобы действительно управлять своим царством, необходимо отобрать все рычаги управления у князей, бояр и монастырей, а для этого, в свою очередь, необходимо, чтобы князья, бояре, монастыри эти важнейшие, первостатейные рычаги позволили у себя отобрать. Каждый из них крепко-накрепко держится за свою ничем не ограниченную, никому неподконтрольную власть в своем уделе, в своей вотчине или монастыре, охраняемую удельным, вотчинным или монастырским полком, и не собирается эту сладкую и чрезвычайно сытную власть выпускать из своих приросших к ней рук. Каждый из них цар-

ствуется в своем уделе, вотчине, монастыре, каждый в своем уделе, вотчине, монастыре куда более царь, хотя и не венчанный, чем только что венчанный Иоанн, с той существенной разницей, что сам царь и великий князь не располагает над ними никакой действительной властью, кроме опалы и казни и права призвать на войну, они же в своем уделе, вотчине, монастыре делают всё, что захотят. В уделе, вотчине, монастыре вся их жизнь, в уделе, вотчине, монастыре все их заботы и интересы, до всего прочего им дела нет, за межей их удела, вотчины, за оградой монастыря хоть трава не расти. Вот почему ни один из удельных князей, бояр, игуменов и архимандритов не придает особенного значения поистине эпохальному факту венчания Иоанна на Московское царство: венчался, и Бог с ним, это нас не касается, нам всё равно, наши привилегии и права останутся, как они повелись от дедов и прадедов. Кстати, именно по этой причине среди удельных князей, бояр, игуменов и архимандритов не встречаются люди действительно широкого, многостороннего, государственного ума: их интересы и вождения ограничены тесными пределами собственного удела, собственной вотчины, ещё тесными пределами монастыря, вне этих тесных пределов их ничто не волнует, вне этих точно заговоренных пределов им не над чем размышлять. Оттого и повинуются они без охоты, спустя рукава, ведь царь-то он царь, а удела и вотчины, тем более монастыря не отберет, руки короткие, шалишь, брат, шалишь, ибо полк у меня под рукой и у тебя против меня всего только полк.

Иоанн же венчается ан царство вовсе не по лукавой подсказке умного митрополита Макария, тем более не по корыстной подсказке малоприметных, вполне посредственных Глинских, не из мальчишеского желания покрасоваться в будто бы принадлежавшем далекому предку уборе, обложенном продолговатыми бляшками чистого золота, которые так весело переливаются и сверкают при его малейшем движении в неровном свете факелов стражи и церковных свечей.

Уже много лет озлобляемый и до конца своих дней озлобленный бесстыдным бесчинством подручных князей и бояр, Иоанн венчается на царство именно для того, чтобы навсегда положить предел их бесстыдным бесчинствам и утвердить над ними и над всей Русской землей единую, единоличную, справедливую и праведную царскую власть. В сущности, актом венчания он посягает на беспрецедентное, в русской истории ещё не бывалое возвышение власти: он намеревается действительно управлять. На этом ещё только открываемом поприще он не имеет сколько-нибудь крупных и успешных предшественников. Его дед, его отец делали довольно робкие и беспорядочные попытки добиться единодержавия, однако добиться единодержавия не удалось ни смелому, жестокому деду, ни более мягкому, более осмотрительному и покладистому отцу. Желательно осознать, что перед Иоанном открывается не проторенная, никем не протоптанная дорога. Ему протаптывать, ему проторять.

Но каким должен быть первый шаг после венчания, с чего он должен начать, больше того, на что именно должна быть направлена его единоличная власть, кроме, разумеется, хотя бы внешнего усмирения разнуздавшихся князей и бояр? Такой вопрос не может не встать перед ним, не может не беспокоить его. За него ответить на этот вопрос не хочет да и не может никто, потому что никому такой вопрос не приходит на ум. Митрополита Макария заботит очищение и возвышение православия, укрепление митрополии, более прочное и незыблемое объединение всех русских церквей, в том числе тех, которые отторжены от единого лона Ливонским орденом, Польшей, литвой. Тотчас после венчания Иоанна на царство Макарий с головой уходит в подготовку собора и не вмешивается ни в какие государственные дела, как они, видимо, условились перед венчанием. Князья Глинские слишком ничтожны и жадны, князей Глинских занимает единственная забота, как бы побольше схватить, пока Иоанн наслаждается супружеством в Островке, с какой стати им думать про государственные дела. Анна Глинская, бабка только что венчанного царя, по случаю коронации получает в дар обширные вотчины на правах удельного княжества и поспешно отправляется в свой удел действительно царствовать там, действительно управлять. Михаил Глинский, тоже по случаю коронации, жалуется не только

заманчивым, но и прибыльным чином конюшего, кроме того, на кормление ему определяется Ржев, и дядя царя и великого князя с не меньшей прытью отправляется к месту кормления, чтобы накормиться, насытиться всласть. Юрий Глинский достигает боярства. Один этот дядя, младший из Глинских, остается на полном безделье в Москве, в его ничтожной, пустой голове не прокрадывается и тени предположения, что его юный племянник может в эти медовые месяцы над чем-то задуматься: молоденец ещё, к тому же хорошенькая молодая жена, о чем тут ещё размышлять.

Таким образом, сообразительные историки, либералы и балалаечники глубоко заблуждаются. В течение нескольких месяцев ни сам Иоанн, ни его дядя Глинские, внезапно возвысившиеся до высших чинов и раздач, ни кто-либо иной из подручных князей и бояр не управляет делами Московского царства и великого княжества. Те крохи государственных дел, которые оставлены царю и великому князю прародительскими привычками и национальным обычаем. Просто-напросто тянутся сами собой, заведенным порядком, при помощи дьяков и тиунов, на эти-то крохи довольно и их. Поразительно то, что именно о государственных делах ни у кого голова не болит. Тем более никто, кроме самого Иоанна, и не помышляет о каком-нибудь новом порядке государственных дел.

Даже Иван Пересветов, выбежавший лет семь или восемь назад из Литвы, может быть, самый умный, самый просвещенный из русских людей того малопросвещенного времени, автор нескольких челобитий, переданных в руки царя и великого князя, мало чем может помочь молодому монарху в разрешении труднейшей задачи, с чего начинать и как именно единодержавно править Русской землей? Собственно, этот талантливый публицист тоже размышляет, по собственному почину, о делах управления, приватным образом, если так можно сказать, однако размышляет исключительно отвлеченно, туманно и, на всякий случай, безопасности ради, укрывшись под личиной волоского воеводы, мало что определенного, вразумительного может сказать. Сами судите:

«Говорит волоский воевода с великими слезами про ту веру христианскую русского царства и просит у Бога всегда умножения веры христианской от восточного царства, от русского царя благоверного великого князя Иоанна Васильевича всея Руси Тем же царством русским и ныне хвалит вся греческая вера и надеются на Бога великого милосердия и помощи Божия свободитися русским царем от насильства турецкого царя иноплеменика. И говорит волоский воевода: Такое царство великое, сильное и славное и всем богатое, царство московское, есть ли в этом царстве правда? Ино у него служил Москвитин Васька Мерцалов, и он того вопрошивал: Ты гораздо знаешь про то царство московское, скажи мне подлинно. И он стал сказывать Петру, волоскому воеводе: Вера, государь, христианская добра, всем сполна, и красота церковная велика, а правды нет. И к тому Петр-воевода заплакал и рек так: Коли правды нет, то всего нет... И в котором царстве правда, в том Бог пребывает и помощь Свою святую великую делает, и гнев Божий не воздвигнется на то царство. Правды сияние в Божественном Писании несть. Правда Богу сердечная радость, а царю великая мудрость и сила. Помилуй, Господи, вера христианская от неправды их... Ино иные пишут мудрые философы и доктора о благоверном царе великом князи Иоанне Васильевиче всея Руси, что он будет мудр и введет правду в свое царство. И так говорит волоский воевода и просит у Бога милости, моляся: Боже! Дай милосердие свое великое, чтобы та его мудрость не оминула великого царя благоверного...»

Во всей своей красе в этой либеральной болтовне предстают печальные плоды словоблудия. Здравая мысль едва проступает, но не в состоянии обогатиться реальным содержанием и сдвинуться с места, приблизиться хоть к какому-нибудь определенному результату, хоть какой-нибудь своей стороной приложимому к практике. Сколько ни бейся, невозможно установить, о какой именно правде в этой благонамеренной проповеди заводится речь, где правду взять, с какого конца к ней подступиться? Сколько ни ломай головы, все-таки ничего не возьмешь себе в поучение, кроме плоской, в течение многих веков натверженной истины, что всякому цар-

ству, в том числе русскому, правда нужна. Сколько ни напрягайся, из этой благонамеренной проповеди всё равно не постигнешь, какие способы посреди прародительскими привычками и национальным обычаем вкорененного многоначалия, которое то и дело оборачивается военным поражением, бесчинством, смутой, кровью и грабежом, водворить и упрочить единодержавную власть, способную дать Русской земле победы над супостатами всех мастей и оттенков, законный порядок и мир.

В этой либеральной болтовне одно только и есть: мрачное прозрение будущего. С этого первого пробуждения неказенной, самостоятельной мысли на Русской земле из века в век, из поколения в поколение русский хороший образованный человек, едва пробудившись от сна, едва оглядевшись вокруг, непременно придя в ужас от всякого рода неправд, непотребств и бесчинств, не совместимым ни с православием, ни с просвещением, ни с здравым смыслом, чуть не с пеной у рта обрушивается на неправду, бесчинства и непотребства и с той же пеной у рта бросается очертя голову проповедовать самую чистую, самую несомненную правду, с каким-то поразительным постоянством не успев уяснить, в чем эта правда, не указывая ни себе, ни другим к этой правде сколько-нибудь реальных тропин и дорог. У хорошего образованного русского человека так всё и остается, как у первого нашего просветителя: было бы хорошо, кабы все были добрыми, честными, бескорыстными, было бы хорошо, кабы всюду одна чистая, несомненная правда была. Естественно: хорошо! Только правды всё нет.

По счастью, пока что и сам Иоанн не имеет ни малейшего представления, с чего начинать, к чему приступить, какие установления нового государственного порядка воплотить в жизнь для того, чтобы вожденная правда наконец воссияла на без правды исстрадавшейся Русской землей, оттого, скорее всего, он так долго сидит в Островке, по своему обыкновению, когда подступает необходимость что-то решить.

Он поневоле вынужден некоторое время плыть по течению, в ожидании благоприятного случая, который силой сложившихся обстоятельств принудит решать, совершать ответные действия и направлять обстоятельства на пользу себе. В сущности, бездействие, промедление – это лучшее из всего, что он в эти туманные месяцы может придумать, поскольку в политике, в делах государства едва ли найдется что-нибудь ущербней и вредоносней, чем загодя составленный, заблаговременно в тиши кабинета продуманный план, поскольку реальное движение жизни ни просчитать, ни предвидеть нельзя. Вот почему в политике всегда побеждает лишь тот, кто умеет легко и свободно приноровиться к внезапно заварившимся обстоятельствам и в нужный момент принять хотя бы приблизительно верное, но непременно самостоятельное решение.

В самой этой ничем и никем ненарушимой пассивности, в которой Иоанн проводит первые месяцы своего официального воцарения, оказывается свой положительный результат. Вероятно, ему довольно точно известно по рассказам и летописям, прочитанным с таким пристальным, предубежденным вниманием, как стыдливо и в самом тесном кругу именуется себя царем его дед, как его отец решается подписывать этим титулом свои дипломатические послания иноземным монархам и как иноземные монархи категорически, самым непримиримым и решительным образом отказываются этот важный титул признать за каким-то безвестным московским князьком, которого они большей частью представляют себе неотесанным, диким вождем таких же неотесанных, диких племен, а литовские великие князья и польские короли, поработившие весь западный край русской земли, тем более не желают признавать стремительно набирающего силу противника равным себе.

К тому же Иоанн слишком горд, а если кому бы то ни было взойдет на ум унижить его, то и кичлив. Приняв власть от Бога, он не желает склоняться и кланяться ни перед кем, тем более не испытывает потребности мелких душ испрашивать у кого бы то ни было признания и одобрения. Едва тяжелая шапка Мономаха касается его головы, он без всяких сторонних признаний и одобрений ощущает себя полновластным царем, ничего иного ему отныне не тре-

буется для утверждения власти. По этой причине, а не из подлой трусости, как приспичило утверждать его непримиримым хулителям, о своем венчании на царство он не докладывает никому из иноземных монархов и тем избегает оскорбительных лично для него и для Московского царства и великого княжества отказов признания с их стороны. Он царь и великий князь в своей отчине, да и дело с концом, а что думают по этому поводу в Польше или Литве, тем более при католическом папском дворе, его не колышет. Уже по одной этой горделивой замашке нельзя не понять, что на царство венчан самостоятельный, достойный правитель.

Между тем над его головой внезапно собираются чернейшие тучи, как будто нарочно, чтобы его испытать. Уже двенадцатого апреля в Москве вспыхивает сильный пожар. Не успевают истлеть последние головешки, не успевают обезумевшие горожане прийти в себя от ниспосланного свыше несчастья, как двадцатого апреля вспыхивает и с новой силой бушует второй. В течение месяца несчастные погорельцы вывозят сосновые бревна из окрестных непроходимых лесов, обтесывают, пазят и с неистребимой русской сноровкой складывают новые срубы, точно так же, как прежние, легко доступные для огня.

Третьего июня к летней резиденции царя и великого князя, расположенной всё ещё в Островке, приближаются челобитчики, отправленные к нему из города Пскова, по официальной, никем не оспоренной версии с жалобой на бесчинства князя Турунта-Пронского, наместника, поставленного из своей корысти кем-то из Глинских. Челобитье ли показалось ему слишком необоснованным, число ли челобитчиков, семьдесят человек, по свидетельству летописи, представляется ему подозрительным, вспоминает ли он новгородских пищальников, действуют ли возбуждающе какие-то иные, таинственные причины, современники ли лгут на него, только Иоанн поступает с псковитянами что-то слишком уж круто, с какой-то изощренной жестокостью, вернее прямо по-зверски. Он кипит праведным гневом, топает ногами, кричит, хотя ему в первый раз представляется благая возможность на деле выказать свою царскую власть, навести должный порядок, укротить жадность и бесчинства боярина, виновность которого даже не надо доказывать, так много сам Иоанн нагляделся на жадность и бесчинства подручных князей и бояр. Он же поступает не только противоположно здравому смыслу, но и несообразно ни с чем. По его повелению, несчастным просителям жгут будто бы волосы и бороды пламенем зажженных свечей, затем приказывают раздеться и лечь, обливают спиртом, намереваясь сжечь их живьем.

Не действительная картина, а всего лишь скучное, холодное изложение того, что происходит над живыми людьми, приводит в ужас стороннего наблюдателя, к тому же отдаленного от происшедших событий бездной времени в четыреста лет. Недаром глубокомысленные историки и хорошо образованные русские люди истолковывают это ужасное злодеяние, и многие другие, подобные им, как естественный всплеск будто бы его прирожденной жестокости, а иные даже как вспышку безумия, непременно присущего всякому деспоту.

Однако если бы ужасные злодеяния в самом деле являлись следствием прирожденной жестокости или безумия, о злодеянии и ужаснее неправомерно было бы говорить. В таком случае перед судом истории стоял бы просто-напросто глубоко несчастный, больной человек, которого надлежит пожалеть и простить, ибо не ведал того, что творил.

На самом деле подлинный ужас содеянного заключается именно в том, что, не будучи от природы жестоким, от природы и по обстоятельствам своего книжного воспитания будучи человеком мягким, да крайности впечатлительным, Иоанн в данном случае, как и во всех остальных, действует совершенно сознательно, неукоснительно следуя указаниям апостола о Кесаревом и Божьем, действует как подлинный библейский правитель, сеющий среди подданных либо милосердие и добро, либо ужас и смерть. Никогда он не откажется от своего хорошо продуманного, глубоко вкорененного, сотнями и тысячами летописных и библейских примеров подтвержденного убеждения, что именно таким образом должен, прямо-таки обязан действовать законный властитель, не захвативший своей власти войной и насилием, но получив-

ший её по наследству и по милости Божьей. Пройдут годы, десятилетия, и он четко и ясно, с неопровержимой, безукоризненной логикой выскажет свое убеждение в первом послании Курбскому:

«Зачем ты презрел апостола Павла, говорящего: «Всякая душа да повинуется властям, нет власти не от Бога; а тот, кто противится власти, – противится Божьему повелению?» Смотри и разумей: кто противится – противится Богу, а кто противится Богу, тот называется отступником, а это – наихудший грех. А ведь это сказано о всякой власти, даже о власти, приобретенной кровью и войной. Вспомни же сказанное выше, что мы ни у кого не похитили престола, – кто противится такой власти, тем более противится Богу! Тот же апостол Павел, слова которого ты презрел, говорит в другом месте: «Рабы! Слушайте своих господ, работая на них не только на глазах, как человекоугодники, но, как слуги Бога, повинуйтесь не только добрым, но и злым, не только за страх, он и за совесть». Вот воля Господня – пострадать, делая добро...»

И это убеждение так глубоко проникло в сознание Иоанна, так безраздельно владеет его помыслами и ощущениями, что он приводит всё новые и новые доводы, которые для него несомненны, но которых его беглый подручник не желает уразуметь:

«Немало и иных было царей, которые спасли свои царства от беспорядка и отражали злодейские замыслы и преступления подданных. И всегда царям следует быть осмотрительными: иногда кроткими, иногда жестокими, добрым являть милосердие и кротость, злым – жестокость и расправы. Если же этого нет, то он – не царь, ибо царь заставляет трепетать не добро творящих, но зло. Хочешь не бояться власти? Делай добро, а если делаешь зло – бойся, ибо царь не напрасно меч носит – для устрашения злодеев и ободрения добродетельных...»

Поистине: взялся за гуж, не говори, что не дюж. Он царь, он носит меч не напрасно, свой меч он обязан обнажать на злодеев, а большего злодейства не названо в Священном Писании, чем неповиновение своему господину, пусть господин зол и несправедливы, пусть он жулик и обдирало первостатейный, как псковский наместник Турунтай-Пронской, никто из рабов ему не судья, а потому не может найтись преступника большего, чем раб, который противится своему господину, потому что противиться господину – значит противиться Богу, который именно этого господина дал тебе за грехи. Волей или неволей, хочет он этого или не хочет, Иоанн вооружается неопровержимым учение апостола Павла, опоясывается мечом и обрушивает жестокость, расправы и казнь на головы тех, кто осмеливается поднять голос против своего господина, в противном случае он сам превратится в отступника, презревшего волю Бога, чьей волей, чьей милостью ему дана эта непомерно-тяжелая власть над людьми.

Таким образом, жестоко расправляясь с псковскими челобитчиками, Иоанн всего лишь исполняет свой долг, не больше того, долг мало приятный ему, как мы это скоро увидим, но он все-таки исполняет его, потому что это долг перед Богом. В этой расправе с псковскими челобитчиками есть лишь одно малопонятное, трудно разъяснимое обстоятельство: отчего набравшихся смелости поднять голос обличения на своего незваного господина не дерут публично кнутом, как то и дело дерут по обычаю того богобоязненного, своеобразного времени, а палят бороды и намереваются сжечь живьем, к тому же не одного, не двух, объявленных главарями, зачинщиками, как поступают с бунтовщиками во все времена, а всех разом, семьдесят живых факелов, семьдесят пылающих, вопящих от жуткой боли костров!

Невольно возникает по сей день не разрешенный, ни одним глубокомысленным историком, тем более либералом и балалаечником не рассматриваемый вопрос, на какие именно беззакония и бесчинства князя Ивана Турунтай-Пронского приносят псковитяне свое челобитье молодому царю, к тому же собравшись столь внушительной и едва ли смиренной толпой? Ведь именно новгородские и псковские земли уже около ста лет почитаются на Русской земле главным источником и оплотом еретического учения стригольников, а затем другого, родственного еретического учения, тогда же наименованного ересью жидовствующих. Уже не одно десятилетие любостяжатели, ретивые последователи Иосифа Волоцкого, преследуют ере-

тиков, требуя жечь и вешать ненавистных вероотступников, не только подрывающих православие изнутри, но и прямо нацеленных на раздробление, стало быть, на уничтожение Русской земли. Немногим более пятидесяти лет назад, повелением архиепископа Геннадия, после надругательств и пыток, в Великом Новгороде, на Духовском поле, предварительно заточив в железную клетку, сжигают наиболее ярых сторонников этой антицерковной и антигосударственной секты. Всего лет сорок назад в том же Великом Новгороде, после иступленных обличений Иосифа Волоцкого, предают очистительному огню Митю Коноплева да Ваню Максимова, предварительно заточив в деревянный сруб. Спустя год там же подвергают сожжению Некраса Рукавова, которому перед тем урезают преступный язык, Гридю Квашню да Митю Пустоселова, прочие уличенные в ереси рассылаются по монастырям и темницам. Не продолжает ли князь Турунтай-Пронской гонений на еретиков секты жидовствующих в отданных ему на кормление псковских пригородах и волостях? Не пресекает ли он их стремления отделить Великий Новгород и Псков от Русской земли и предаться Литве? Не обнаруживает ли сам Иоанн явных признаков ереси в обличениях челобитчиков, которые направлены в данном случае против оправданных действий наместника? Не отсюда ли это вполне законная изуверская мысль – сжечь нечестивцев, облив предварительно спиртом, и тем самым сделать, понятно само собой, свершить суд, который не может не благословить сам Господь? Может ли найтись иное толкование тому, что московский царь и великий князь, признанный страж православия, обрушивается на рабов, не послушных своему господину, не меч, но огонь?

К счастью для Иоанна и псковитян, в тот самый момент, когда подручники уже готовы исполнить жуткую казнь, из Москвы, загоня коня прибывает взмокший, перепуганный вестник с потрясающей вестью: в Кремле, едва начали благовестить к вечерне, сорвался и пал вниз большой колокол-благовестник, вернейшее предзнаменование того, что страшные, неисчислимые бедствия черной тучей идут на Москву.

Иоанн потрясен. Верующий искренне, глубоко, он не может не понимать, что внезапное падение колокола-благовестника посылается как очевидное знамение свыше, посылается не кому-нибудь, а ему, царю и великому князю, принявшему на себя столь жестокий и варварский суд над вероотступниками. Конечно, будь он от природы жесток, безумен и склонен к насилию, он должен бы был принять это знамение как прямое доказательство несомненной вины бунтующих псковитян. Его же одолевают сомнения: да отступники ли они? да праведен ли, угоден ли Богу его искупительный суд? Ошеломленный, испуганный, ожидающий мщения свыше, оставив челобитчикам жизнь, он вспрыгивает в седло и сломя голову скачет в Москву.

Неизвестно, какие меры предосторожности принимает потрясенный царь и великий князь по случаю пророческого падения главного колокола, но он не возвращается в Островок, а поступок челобитчиков остается без всяких последствий, точно Божий промысел, обрушивший колокол, останавливает его.



## Глава тринадцатая

### Заговор

Однако ужасные бедствия только ещё предстоят. Тридцатого июня всё того же 1547 года благочестивые москвичи перед храмом Воздвиженья на Арбате обнаруживают известного юродивого Василия, впоследствии прогремевшего по всему Московскому царству и ставшего известным как Василий блаженный, человек и собор. Всегда абсолютно нагой, святой человек источает горячие слезы, глядя на храм, и благочестивые истолкователи всех и всяких пророчеств не сомневаются в том, что слезы блаженного Васи предрекают новые беды Москве.

В самом деле, ровно сутки спустя храм Воздвиженья вспыхивает костром. В тот же миг, с первыми языками прожорливого огня, поднимается страшная буря, и полотнища многозубого пламени с бешеной скоростью, точно в половодье река, растекаются по деревянным переулкам Арбата, пожирая на своем жарком пути не только жилые дома, но и храмы, дерево исчезает у всех на глазах в мгновение ока, кирпич и камень распадаются на куски, расплавленная медь больших и малых колоколов стекает ручьями. Железо кровель раскаляется и рдеет, как под молотом кузнеца.

Ещё никто ничего не успевает сообразить, как разъяренный огонь набрасывается на Кремль, врывается внутрь церкви Благовещенья и уничтожает бесценный иконостас работы Андрея Рублева, падает на деревянные кровли кремлевских палат и уничтожает палату оружейную, палату постельную, домашнюю казну царя и великого князя, конюшни и разрядные избы, в которых превращаются в дым и пепел писцовые книги, всюду гибнут сокровища, древние росписи, старинные иконы, бесценные рукописи, мощи святых.

Митрополит Макарий затворяется в Успенском соборе, который огонь отчего-то обошел стороной, и служит молебен, испрашивая милости несчастному городу, хранилищу православия, третьему Риму. А четвертому не бывать. От нестерпимого жара на старом митрополите дымится одежда, глаза слезятся от чада, митрополит задыхается. Его уговаривают уйти. Макарий отказывается. Наконец прислужники уводят архипастыря силой, впереди несут образ Богоматери, писанный митрополитом Петром, и Правила церковные, доставленные из Константинополя Киприаном. Одна икона владимирской Богоматери остается на прежнем месте, и безумный огонь, разрушив кровли и паперти, не проникает во внутренность храма.

Однако сплошным пламенем отрезаны все выходы из Кремля. Маленькая кучка людей, облаченных в черные, поистине траурные одежды, предводительствуемая чудотворной иконой, мечется в тучах едкого дыма, в море огня в поисках выхода, пользуясь и самым малым пространством, ещё не захваченным свирепым пожаром. Им удастся пробиться к стене, обороняющей нападение осаждающих от реки. Макария наспех обвязывают откуда-то взявшимися веревками и бросаются спускать тайным лазом наружу. То ли по русскому обычаю изгнив в небрежении, то ли истлев от раскаленного жара, веревки в последний момент обрываются. Макарий срывается, падет, больно ударяясь о землю. Едва живого, получившего серьезные ушибы во многих местах, его спешно и в самый последний момент отвозят в укрытие Новоспасского монастыря.

Почти следом за ним свирепый огонь проникает в тайные арсеналы Кремля. Порох, приготовленный на случай долгой осады, взрывается. Страшный гром оглушает близлежащие улицы и переулки. Целые тучи огня взвиваются и обрушиваются окрест. Китай-город обращается в пепел и прах, полного истребления чудом избегают два храма и десяток счастливых купеческих лавок. Мало что остается от Большого посада. Огонь течет и течет, оставляя горящие угли и тлен, от Неглинной до Яузы, пожирая Варварку, Покровскую улицу, Мясницкую, Дмитровку и Тверскую, захватывает огороды, сады, обращая в уголь деревья, превращая в золу траву и плоды.

Буря пожара утихает лишь к ночи, изгнавши большую часть посадских людей, побросавших нажитое добро, разбежавшихся и попрятавшихся к окрестным лесам. Пожар прекращается на рассвете, унеся жизни около тысячи семисот человек, детей же, сгоревших в огне, никто не считал. Ещё трое суток зловеще курятся развалины, не позволяя обездоленным жителям воротиться к родным пепелищам и приняться, как это приключалось на Русской земле и сотни, и тысячи, и бесчисленное количество раз, за возведение новых жилищ, благо прямо за околицей любой деревеньки, любого посада невозмутимо шумит бескрайнее море ещё не истребленных бесчувственной корыстью лесов, а топор у русского человека всегда под рукой.

Только убедившись, что страшному бедствию приходит конец, понемногу, сперва единицами, мелкими группами, затем десятками, сотнями погорельцы осторожно, ещё не избывши смятения из души, возвращаются к жалким останкам домов и дворов, с опаленными волосами, с почернелыми от копоти лицами, стенамя, крича, призывая утраченную родню, кто мать и отца, кто сестру или брата, кто жену и детей, но в ответ не раздаётся ни стоны, ни отклика, и многие воют, по словам летописца, как дикие звери, как выли и ещё станут выть сотни и тысячи и бесконечное количество раз беспечные русские люди в возведенных из дерева посадах и деревнях.

Едва ли можно при самом мерзком желании обнаружить что-нибудь подозрительное, тем более преступное в том, что царь и великий князь, как и уstraшенная толпа его подданных, бежит из горящей Москвы и укрывается от огня в селе Воробьеве, поскольку он не пожарник, а царь и великий князь, тем более что уже на другой день после пожара Иоанн в сопровождении ближних людей въезжает в Москву, осматривает последствия ниспавшего бедствия и отдает повеление не медля ни дня восстанавливать храмы и Кремль, которые русскому человеку служат духовной опорой и прочной защитой от лиха войны, затем, ступая по ещё не остывшим углям, сквозь чад и вонь ещё теплых развалин, пробирается в монастырь, до которого не достигает огонь, и там навещает больного митрополита Макария.

Именно здесь, за монастырскими стенами, в месте святом, где православные приближаются к Богу и оставляют вседневные помыслы о грешном земном, против него затевается первое черное дело. Посадские люди ещё растеряны, смятенны, посадские люди ещё ни о чем не успевают подумать, ещё скитаются по окрестным лесам и не решаются воротиться в Москву, а подручные князья и бояре уже плетут новый заговор.

Прежние любимцы, бесстыдно используя страшное бедствие, ополчаются на новых любимцев царя и великого князя, чтобы если не погубить тех, кто препятствует им вдоволь насыщаться народным добром, то хотя бы задвинуть в тень и свалить, хотя бы на время, лучше бы навсегда. Не стесняя себя местом и временем, они вступают в покои царя и великого князя, и кто среди них? Протоиерей Федор, его духовник, Григорий Захарьин, дядя царицы, стало быть, и дядя царя, князь Скопин-Шуйский, князь Юрий Темкин, боярин Федоров, боярин Челяднин, боярин Нагой. Заговорщики стоят, разумеется, чинно, крестятся истово, объявляют царю и великому князю явную дичь: Москва, говорят, сгорела не сама по себе, от палящего июньского зноя, как горела сотни, тысячи, несчетное количество раз, а следствием злодеяния, состоящего в том, что некие тайные злоумышленники вынимали сердца человеческие, вымачивали в воде и той чародейской водой, проезжая по московским улицам ночью, кропили дома, напуская огонь.

Мысль замечательная и сама по себе, замечательная прежде всего потому, что все они искренне почитают себя православными христианами, творят преусердно молитвы, неукоснительно выстаивают все церковные службы, они не должны бы подобно язычникам верить в такого рода злодейства, поскольку такого рода явления не совместимы с учением и верой Христа. Но в том-то и дело, что молитвы и службы составляют только внешнюю оболочку внутренней жизни всякого русского человека. В глубине души и простые землепашцы, звероловы и рыбаки, и эти закоренелые витязи удельных времен по-прежнему остаются язычниками, почитающими леших и домовых, нетопырей и кикимор, меньших братьев когда-то насильственно

свергнутых Перуна и Велеса, Рода и Рожаниц, пять столетий назад проклятых и сожженных бесстрашным Владимиром Красное Солнышко.

Эти витязи удельных времен остаются язычниками вовсе не потому, что тайно сопротивляются православному христианству, как финские племена, вразумленные ретивым посланцем Макария из Великого Новгорода, и упрямо держатся за поруганную, дорогую им веру языческих предков. Вовсе нет. Язычество гнездится в каждом извиве их малоподвижного, неразвитого сознания в силу непроницаемого невежества. Православная церковь, изгнав из обихода науки, истребив волхвов, знавших астрономию, математику и лечение целебными травами, заодно изгоняет из повседневного обихода самую мысль. Витязи удельных времен верят во Христа неосмысленно, не размышляя над существом христианства, над основами учения и веры Христа. Без напряженной и постоянной работы ищущей мысли никакая вера не способна перерасти в убеждение, а без прочного убеждения душа не способна очиститься от стихийного язычества древности. По этой причине поведение, характер и направленность действий витязей удельных времен определяется куда чаще привычным и понятным языческим мифом, чем сущностью и нормами христианства.

Несмотря на свою глубокую христианскую образованность, Иоанн в глубине души тоже язычник, тоже верит во всякую чертовщину, в чародейство и в колдовство, верит не намного меньше своего невежественного, темного окружения. Если он решительно возвышается над своим окружением, то возвышается природным умом, усиленным непрерывным чтением и размышлением над тем, что прочитал. Здравый смысл редко покидает его, а потому он высказывает недоумение, каким это способом можно было окропить подлым зельем такую махицу, как колокольня Ивана Великого.

Остается неизвестным, какую очередную нелепицу плетут в ответ на этот неопровержимый запрос не способные к философскому размышлению витязи удельных времен. В сущности, они едва ли и понимают, причем тут колокольня Ивана Великого. Цель их доноса о произведенном злом чародействе проста и понятна: Они жаждут свалить своих конкурентов и самим, хоть царь и великий князь и без того осыпает их милостями, прибрать к рукам все будущие милости, раздачи, земли и льготные грамоты. Пока что осторожные заговорщики не называют имен чародеев и колдунов, однако продолжают дружно настаивать, обойдя стороной непосильную им колокольню Ивана Великого, что дело нечисто, а раз дело нечисто, надлежит виновных в чародействе и колдовстве изобличить и казнить.

Любопытно, что и сам Иоанн на этот раз не прислушивается к трезвому голосу спасительного сомнения. Человек он открытый, прямой и, как почти всегда в таких случаях, чрезмерно доверчивый. Когда он оказывается перед лицом очевидной опасности для себя лично или для всего Московского царства, подобной встрече с вооруженным отрядом новгородских пищальников, Он действует решительно, смело и беспощадно, не зная колебаний в защите, без промедления переходя в нападение, так что трудно, почти невозможно сокрушить его в открытом, честном бою: на каждый удар он отвечает десятикратной силы ударом, используя всю свою мощь наследственного, законного властелина.

Зато он почти в той же мере беспомощен перед хитроумной интригой. Он слишком доверчив, чтобы тут же обнаружить подвох. На тайные козни он попадает с той же изумительной легкостью, с какой на удочку рыбака попадает несмышленный пескарь. Он так настрадался от одиночества, с такой страстью жаждет сочувствия, сострадания, понимания, дружбы, что безоговорочно верит каждому, кого принимает за друга, и не умеет или, может быть, запрещает себе заподозрить в избранном друге коварного, затаившегося врага, бесстыдного интригана. Каждый из такого рода друзей может без труда обвести его вокруг пальца и получить от него решительно всё, чего пожелает. Лишь когда он внезапно прозреет и с глаз спадет пелена, лишь когда ощутит невыносимую боль от раскрывшегося обмана, горе тому, кто так неосторожно, так беззащитно его обманул.

И на этот раз он вполне доверяет своим ближним людям, уже составившим заговор, хотя понимает всю нелепость их подозрений. К тому же он всё ещё молод, он не успевает набить политического и житейского опыта и трудного, загадочного умения править людьми и страной. Немудрено, что он совершает опаснейшую ошибку и вследствие этой ошибки сам становится причиной и одним из виновников новой беды. Вместо того, чтобы рассмеяться в ответ на нелепые домыслы, будто кто бы то ни было кропил приворотным зельем колокольню Ивана Великого, и отправить крамольников восвояси, попариться в бане да встать на молитву для остужения чересчур воспалившейся головы, он опрометчиво поддается их подлому наущению и отдает приказ о расследовании.

Не успевают московские погорельцы прийти в чувство после пережитых ужасов стихийного бедствия, не успевают хоть сколько-нибудь взяться за ум и, обожженные, измученные, в равной одежде, ещё только сторожко, с опаской и понемногу возвратиться на свои пепелища, а между ними уже шныряют зоркие соглядатаи, выспрашивают о том, не приходилось ли видеть чего-нибудь непристойного накануне пожара, не случилось ли чего необычного, неподобающего, не приходилось ли видеть по ночам злоумышленников, хотя, согласно закону, город по ночам вымирает, а все заставы заперты наглухо и охраняются недремлющей стражей.

Естественно, настойчивые расспросы полунамеками и будто бы невзначай, которые ведутся представителями порядка, сбивают окончательно с толку и без того сбитых с толку, перепуганных насмерть посадских людей. Но и это бы ещё ничего. Вероятно, вся история с доносом на чародейство и колдовство так и окончилась бы через день или два одними расспросами, поскольку ни один из погорельцев ничего толкового не имеет донести предержащим властям. Причина такого неведения очень проста: посадские люди исправно спят по ночам, а злоумышленников не было и быть не могло, ведь и в самом деле никаким зельем не окропишь колокольню Ивана Великого.

Однако следом за представителями порядка крадутся представители мятежа. Люди Скопина-Шуйского, Темкина, Федорова, Челяднина и Нагого сеют свои плевелы уже в готовую почву, нашептывают то тут, то там, что недаром, православные, ох, недаром сторела Москва, что были, были злодеи, вынимали, мочили сердца и кропили чародейской водой православные храмы, палаты любимых народом князей и бояр, богатые лавки торговых людей и дома простых горожан, осторожно, украдкой роняют и ненавистные всем имена: Анна Глинская, Михайла Глинский, Юрий Глинский – вот злодеи, вот корень всех ваших бед.

Народ доверчив, как большое дитя. Русский народ доверчив так, что порой в его святую наивность поверить нельзя, так и думаешь, что и на него напущены чародейство да колдовство. К тому же язычество в душе русского человека много сильнее занесенного из далеких и далеко не дружеских краев христианства, навязанного посадским людям, землепашцам, звероловам и рыбакам железной волей высших властей, нередко силой оружия и огня втесняемого в крепко дремлющие умы и мечтательные души невинных поклонников леса, реки, солнца, цветов, лугов и вечно родящей, производительной силы природы, в образе Рода и Рожаниц. Русский народ как ни в чем не бывало продолжает жить среди своих добрых леших и домовых, водяных и кикимор, золотых рыбок и коньков-горбунков, точно со своими домашними, близкими сердцу, понятными простому уму, а церковные службы посещает лишь по воскресным да праздничным дням, ставит свечку, лоб осеняет крестом и был таков, словно и не был, а потому ещё охотней подручных князей и бояр способен поверить в возможность порчи, сглаза, волхования и колдовства.

Стало быть, нечего удивляться, что в одночасье всё потерявшие, доверчивые, добрые, наивные и несчастные москвичи с необыкновенной легкостью верят подлым наущникам, а когда им подсовывают на праведный суд ненавистных Глинских, пришельцев, успевших насолить им поборами, вымогательствами, притеснениями, подчас прямым грабежом, не хуже сгинувших Шуйских и Бельских, хуже того, назвавших и пристроивших по многим хлебным

местам кучу новых пришельцев из южнорусских земель, которые, в свою очередь, не стесняются в поборах, вымогательствах, притеснениях и прямых грабежах, посадские люди в одно мгновение возгораются жестокой жадой возмездия и, не успевают и сами искусители оглянуться, в один день готовы к разрушению и мятежу.

Дальнейшее проще пареной репы. Всего пять дней спустя после опустошительного пожара, когда только самые отчаянные, самые озлобленные из москвичей, ещё не отыскивающие под развалинами того, что осталось от ближних, унесенных огнем, заговорщики являются в Кремль, скликают народ и вопрошают с видом праведных судей, кто зажигал Москву, утверждая запросом, что Москва была сожжена, а вовсе не загорелась сама по себе от летнего жара, как загоралась бесчисленное множество раз. В ответ из толпы раздаются возбужденные крики:

– Княгиня Анна Глинская! Она со своими детьми волхвовала, вынимала сердца человеческие, да клала в воду, да тою водою, по Москве ездя, кропила! Оттого и выгорела Москва!

Сам ли народ, зло настроенный наущением и бедой, выкрикивает эти нелепости, холопы ли велемем подручных князей и бояр подбрасывают сухого хворосту в новый костер, этого нам уже никогда не узнать. Толпа, которой громко называли имя врага, приходит в неистовство, однако не имеет понятия, как действовать, что предпринять, ограничиваясь искренним возмущением, угрозами и беспорядочными, обычными в таких случаях криками. Подручные князья и бояре тоже не осмеливаются открыто призвать к мятежу, возможно, из трусости, может быть, потому, что знают уже, насколько неотвратимо-жестока тут же судящая и тут же карающая десница молодого царя и великого князя. В сущности, они немногого и хотят. Они жаждут сместить Глинских, угнездиться на занимаемых ими местах и бесчинствовать, как они, на счет того же посадского люда, который так искусно сумели подтолкнуть к мятежу. Они стремятся, по всей вероятности, лишь указать на измышленное ими преступление Глинских, рассчитывая на то, что молодой царь и великий князь, обманутый ими, сам по своему усмотрению расправится с теми, на кого указали они. Нельзя исключить, что представление в Кремле так и окончилось бы ничем: толпа покричала бы, а затем разошлась бы, как кричала и расходилась множество раз. Но, как нередко бывает, глупейший случай придает происшествию неожиданный поворот.

Толпа всегда ужасна необузданностью своего возбуждения, и благо тому, кто не спасовал, не испугался её. Толпа признает только силу, малейшее проявление слабости развязывает её животный инстинкт, ей самой прежде неведомую жадую ломать, крушить и убивать. Куда разумней орать на толпу, угрожать ей, произносить вдохновенные речи, не затрудняя себя предметом и смыслом внезапно пролившегося ораторского искусства, поскольку тупая толпа всё равно ничего не поймет и воспримет лишь победные интонации голоса, угрозы и крик, оттого любая вдохновенная речь способна любую толпу усмирить и отправить домой. Однако струсить перед толпой – значить обречь себя на гибель.

Анна и Михаил Глинские по счастливой случайности таятся далеко от Москвы, один Юрий Глинский болтается здесь без всякого дела и оказывается в кругу подручных князей и бояр. Похоже, ему первый раз доводится слышать нелепые обвинения Глинских в поджоге Москвы. Но он не решается тут же, публично, не сходя с места в пламенной речи разоблачить нелепость облыжного обвинения, защитить честь семьи, а вместе с тем и себя самого и тем спастись от возможной расправы. Человек недалекий и мелкий, всем своим крохотным существом он улавливает только одно: ему грозит избиение, увечье, может быть, смерть. Гонимый страхом, он потихоньку выступает из тесного круга подручных князей и бояр, где был в безопасности, и прокрадывается в Успенский собор, твердо зная, что обычай охраняет любого, даже преступника, вступившего в храм.

Своей трусостью он подает знак его недругам, у которых едва ли был какой-нибудь план, поскольку кто-кто, а они-то не могут не знать, что Анны и Михаила Глинских не было в городе и быть не могло, путь не близкий от Ржева в Москву. Злорадно, внезапно найдя

выход из тупика, кто-то из подручных князей и бояр указывает толпе на трусливо сбежавшего Юрия Глинского. Толпа разъяряется. Сворачивается преступление, прежде не бывалое на Русской земле: придя, как и следует, в ослепление, толпа врывается в храм и в святом месте, попирая обычай и веру в Христа, забивает Юрия Глинского чем ни попало. Затем окровавленное, изодранное, измятое тело выволакивают на площадь и швыряют на лобное место, в знак того, что над Юрием Глинским совершена справедливая, законная казнь.

Неизвестно, происходит ли это кощунственное убийство на глазах Иоанна, или стражи порядка доносят ему во всех подробностях о преступлении, явным образом недостойном, грязном и незаконном. Известно одно: эти возмутительные подробности навсегда врезаются в его цепкую память, и спустя много лет он описывает возмущение обманутой, тайно возбужденной толпы именно так, как оно было:

«И по наущению наших изменников народ, собравшись сонмищем иудейским, с криками захватил в церкви Дмитрия Солунского нашего боярина, князя Юрия Васильевича Глинского; оттуда его выволокли и бесчеловечно убили в Успенском соборе напротив митрополичьего места, залив церковный помост кровью, и, вытащив его тело через церковные двери, положили его на торжище, как осужденного преступника...»

Как бы там ни было, Иоанн затворяется в селе Воробьево. Обычным местом летнего отдыха московских великих князей. Царица Анастасия творит слезную молитву в часовне, моля Господа уберечь семью и престол от нашествия нечестивых. Царь и великий князь, не теряющий головы, готовит верных людей к обороне усадьбы, всего лишь обнесенной тыном и рвом.

Тем временем толпа посадских людей, окончательно потеряв разумение от вида пролитой крови, продолжает бесчинства в Москве, и никто из подручных князей и бояр не делает ни тени попытки, даже не помышляет эти бесчинства остановить, хотя у каждого из них под рукой отряд служилых людей, которых они по призыву царя и великого князя обязаны вести на войну. Разъяренные посадские люди бросаются к двору и терему Глинских, которые, на беду, каким-то чудом не тронул кругом полыхавший огонь. Имущество, как водится, грабят, убивают решительно всех, кто находится в услужении Глинским, затем мечутся по сожженной Москве и предают смерти всех, кто говорит на южнорусском наречии, принимая каждого малоросса за прислужника Глинских, так что в страшных мучениях погибает множество абсолютно невинных людей, а сколько именно, никто не считал.

Распаленные новой пролитой кровью, заговорщики тоже входят во вкус насилия и разрушения и решаются на действия чрезвычайные. Толпу науськивают валом валить в Воробьево. Происходит ещё одно безобразие, доньше не бывалое на Москве. Посадские люди, готовые к грабежу и убийству, вломившись на двор, требуют от самого государя выдать им на позорную, мерзкую казнь, на растерзание, вернее сказать, бабку и дядю царя и великого князя, то есть откровенно и нагло не только посягают на членов царской семьи, но и присваивают себе право суда.

Нападение всегда поднимает духовные силы царя и великого князя на многократный отпор. Его отношение к мятежу определено и ясно. Неотступно стучат в его сердце евангельские слова:

«Горе миру от соблазнов, ибо не надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит, лучше бы было ему, если бы привесили ему мельничный жернов на шею и потопили в глубине морской...»

Глубины морской поблизости не имеется, зато имеется вооруженная стража его царского, великокняжеского полка. Не ведая колебаний, отдает он ясный, определенный приказ. Пищальники дают залп по толпе. В одно мгновение отрезвев, толпа рассыпается и разбегается кто куда. Несколько человек, попавшихся под руку, удается схватить и связать. Под видом зачинщиков, нечестивцев убивают на месте.

Благодаря решимости Иоанна, мятеж подавляется в самом начале, не дав разбушеваться другому огню, огню животных страстей и бесконечных убийств. Проливается кровь нескольких бунтовщиков, но тем самым ограждается жизнь сотен. Может быть, тысяч ни в чем не повинных людей, которые неминуемо должны были пасть безвинными жертвами мятежа, не положи царь и великий князь предел бесчинству взбаламученной, потерявшей разум толпы.

Точно осознав наконец собственную вину, затихает Москва, ожидая бесчисленных казней, опал и темниц в наказание за учиненный разбой.

Жутко, должно быть, в эти длинные летние дни на душе москвичей.

И в самом деле, убежденный враг малейшего неповиновения государственной власти, идущей, как он твердо знает, от Бога, Иоанн готов обрушить темницы, опалы и казни на головы бунтовщиков, нисколько не сомневаясь ни в своей обязанности, ни в своей правоте. Он тем не менее медлит. Донесла ли ему служба порядка, чутье ли подсказало ему, но он убежден, что посадский люд не сам собой учинил беспорядки и явился к нему с невероятными, невозможными требованиями, что посадский люд подбивали и подбили против него, что подручные князья и бояре, потерпев неудачу в придворных интригах, подняли, распалили и подвигли толпу. Ему приходит на мысль, что заговор был направлен также против него самого и что это его, царя и великого князя, должен был разорвать на клочки, во всяком случае мог разорвать, мятежный народ. Он и позднее станет настаивать:

«Мы жили тогда в своем селе Воробьево, и те же изменники убедили народ убить нас за то, что мы будто бы прятали у себя мать князя Юрия Глинского, княгиню Анну, и его брата, князя Михаила. Такие изменники, право, достойны смеха! Чего ради нам в своем царстве быть поджигателем? Из родительского имущества у нас сгорели такие вещи, каких во всей вселенной не найдешь. Кто же может быть так безумен и злобен, чтобы, гневаясь на своих рабов, спалить свое собственное имущество? Он бы тогда поджег их дома, а себя бы поберег! Во всем видна ваша собачья измена...»

Трудно сказать, простирались ли замыслы заговорщиков так далеко, однако они трусят ужасно, теряются и не знают, что делать, как поступить, чтобы свои шкуры от опалы и казни спасти: замечать ли следы подстрекательств, или продолжить мятеж до конца, то есть до убийства царя и великого князя. Опасаясь за свою жизнь, если мятеж разгорится во всю неудержимую народную ширь, князь Михаил Глинский, а заодно с ним и псковский наместник князь Иван Турунтай-Пронской, озлобивший псковитян, пытаются скрыть в Литве. Люди князя Петра Шуйского перехватывают беглецов на пути и заключают под стражу, но уже не решаются предать смерти без ведома царя и великого князя ни того ни другого. Страшится ли они продолжить мятеж? Надеются ли своей снисходительностью умиловить царя и великого князя и тем отвести от себя его неминуемый гнев? Это остается загадкой. Можно только сказать: заговорщики готовы ухватиться за любую соломинку, лишь бы свои бесчестные горячо любимые головы удержать на плечах, ведь топор палача над ними уже занесен.

## Глава четырнадцатая

### Покаяние

Видимо, неслучайно именно в этот напряженный момент, когда Иоанн принимает решение, перед грозным ликом царя и великого князя является протопоп Благовещенского собора Сильвестр. Некоторое время он правит службу в Великом Новгороде и оттуда вместе с Макарием переходит в Москву, возможно, несколько раньше, это неясно. Тому несколько лет он просил за орального Бельского, и возвращение Бельского летопись приписывает чуть не всецело ему, выставляя его ходатаем за опальных, возможно, задним числом, когда править летопись поручается Алексею Адашеву, поскольку известно, что за Бельского на самом деле просил митрополит Иоасаф. В таком случае возникает резонный вопрос, отчего благовещенский протопоп не явился с обличением Иоанна перед казнью Кубенского и двоих Воронцовых? Разве что-нибудь мешало ему воздеть руки и возопить? Разве вина Кубенского и Воронцовых могла менее подвергаться сомнению, чем вина нынешних заговорщиков, подбивших посадский люд на беспощадный, кровавый мятеж? И вполне может быть, что единственная причина, подвигшая Сильвестра воздевать руки и возопять, заключается в том, что среди заговорщиков обнаруживается Федор Бармин, тоже благовещенский протопоп? Может быть, именно заговорщики через перепуганного Федора Бармина подвигают его? Не под их ли воздействием в прежде малоприметном попе вдруг пробуждается пламенный дар проповедника?

Собственно, единственное свидетельство о внезапном вмешательстве благовещенского протопопа исходит от Курбского, который в своих писаниях стремится вовсе не к истине, а лишь к одному: представить Иоанна, не оценившего по достоинству его так нигде и никем не открытых талантов, полнейшим ничтожеством, любыми способами унижить его, вплоть до очевидно беспочвенного обвинения в трусости. Беглый князь изображает нежданно-негаданное явление протопопа в тех же возвышенных выражениях, тем же торжественным слогом, каким обыкновенно изображается явление народу Христа, и очень похоже на явление Нафана к библейскому герою Давиду. Легкомысленные историки, либералы и балалаечники обыкновенно исходят в своих клеветах из заведомо лживых писаний беглого князя, может быть, выразительней своих позднейших последователей повествует всегда взволнованный Карамзин, наострив патетически-сентиментально перо:

«В ещё ужасное время, когда юный царь трепетал в воробьевском дворе своем, а добродетельная Анастасия молилась, явился там какой-то удивительный муж, именем Сильвестр, саном иерей, родом из Новагорода; приблизился к Иоанну с поднятым, угрожающим перстом, с видом пророка и гласом убедительным возвестил ему, что суд Божий гремит над главою царя легкомысленного и злострастного, что огонь небесный испепелил Москву, что сила вышняя волнует народ и лиет фиал гнева в сердца людей. Раскрыв Святое Писание, сей муж указал Иоанну правила, данные Вседержителем сонму царей земных; заклинал его быть ревностным исполнителем сих уставов; представил ему даже какие-то страшные видения, потряс душу и сердце, овладел воображением, умом юноши и произвел чудо: Иоанн сделался новым человеком; обливаясь слезами раскаяния, простер десницу к наставнику вдохновенному; требовал от него силы быть добродетельным – и принял оню...»

Это внезапное перерождение Иоанна, прежде не замеченного ни в каких ужасных пороках, настолько нелепо, эта проповедь, начиная с угрожающего перста и вида пророка, кончая видениями и чудесами, исторгаемыми простым протопопом, а не святым, до того невозможна, что и сам беглый князь, бестрепетный сочинитель этой небывалой истории, лишь вдохновенно пересказанной доверчивым Карамзиным, по поводу чудес вынужден присовокупить:



«Может быть, Сильвестр выдумал это, чтобы ужаснуть глупость и ребяческий нрав царя. Ведь и отцы наши иногда пугают детей мечтательными страхами, чтобы удержать их от вредных игр с дурными товарищами...»

Таким образом, семнадцатилетний Иоанн, своим разумом изумивший митрополита Макария, человека проницательного и образованного, представляется его злейшим врагам несмышленным, порочным дитятей, ещё не знакомым с Писанием, в котором содержатся правила его достойного, в будущем, поведения, а протопоп выглядит доблестным мужем, правда, способным приврать, несмотря на свой чин, сосудом всех мыслимых и немыслимых добродетелей, точно Иоанн в законной защите царского села от погрома выказал себя кровожадным разбойником, тогда как в действительности всего лишь спасал жизнь своих близких от бесчинств разъяренной толпы и вместе с ними, возможно, жизнь свою и царицы, точно он не восстанавливал в терпящем бедствие Московском царстве законный порядок, точно именно Священное Писание не предписывает владыкам земным беспощадность к врагам законных властей и к смутьянам, точно во время венчания бармами, венцом и крестом сам митрополит не благословил его внушать ужас строптивым.

В реальной жизни ничего подобного быть не могло. Темницы, опалы и казни грозят не каким-нибудь невинным младенцам или попавшим под злую, горячую руку вернейшим слугам царя и великого князя. Темницы, опалы и казни предстоят темным личностям, заговорщикам, «собачьим изменникам», возмутившим толпу и направившим её в кровавый поход на царское село Воробьево, стало быть, в кровавый поход против главы государства, против царя. И если Сильвестр вдохновляется, то вдохновляется он мольбами и увещаниями заговорщиков, которые не могут не понимать, что в эти минуты за их подлые головы нельзя дать и медной полушки, и если они в этот критический миг решаются направить протопопа к царю и великому князю, то лишь потому, что митрополит, единственный духовный наставник молодого царя и великого князя, лежит без движения в келье монастыря, и если протопоп взывает к милосердию и всепрощению, то с фальшивым, неискренним красноречием просит за явно, безусловно виновных в тяжком грехе мятежа, и если протопоп обращается к Иоанну со словами увещания и вразумления, то это слова не о суде Божиим над будто бы легкомысленным, будто бы злострасным царем и великим князем, а лишь о христианском милосердии к падшим, заблудшим, готовым к раскаянию грешникам, и если Иоанн поддается на его увещания и вразумления, то уж никак не по глупости, не по ребяческой простоте.

В сущности, Иоанну не в чем раскаиваться. По его повелению пальбой из пищалей рассеивают озлобленную, науськанную на него затаившимися врагами толпу, в течение двух или трех дней совершившую сотни жесточайших убийств, по его повелению на месте казнит десяток злодеев, обагривших руки в крови. Он готовится обрушить темницы, опалы и казни на головы заговорщиков, подстрекнувших толпу к преступлениям, истинных зачинщиков кровавых бесчинств. Он действует решительно, круто по зрелому убеждению, он прямо-таки обязан поступить таким именно образом, иначе никакого порядка в державе его не бывать, иначе державе его грозит бесконечная смута, подобная той, какая на Русской земле ещё впереди.

Всё, что бесспорно принадлежит руке Иоанна, все его послания подручным князьям и боярам, монастырям и иноземным дворам неопровержимо свидетельствует о том, что он вовсе не принадлежит к разряду несчастных заводных механизмов на троне, которые заводятся и направляются чьей-либо посторонней рукой. Это характер прежде всего самостоятельный, независимый, не терпящий никакого вмешательства в дела управления, тем более в дело суда, в дело наказания и поощрения своих приближенных и подданных. Это характер страстный, увлекающийся собственными идеями, однако назвать его ребяческим может только заведомый клеветник или уж слишком доверчивый историк и либерал. Везде и всегда Иоанн последовательно и обстоятельно следует собственным убеждениям, выработанным в серьезной и глубоко нравственной школе митрополита Макария, никогда и нигде он не отступает от раз приня-

тых, трезво обдуманных, одобренных митрополитом Макарием принципов, его невозможно уличить в противоречии себе самому: то, что он называет добром, он во всех случаях частной жизни или внутренней и внешней политики называет добром, а то, что ему представляется злом, для него остается во всех случаях злом.

Не чужая, посторонняя, но собственная воля руководит Иоанном в делах управления, и в высшей степени необдуманно, несправедливо поступают те историки, либералы и балалаечники, которые склоняются всё без исключения зло его трудного, действительно трагического царствования относить исключительно на счет его каприза и своеволия, тогда как все добрые начинания приписывать его будто бы добродетельным, более разумным советникам, а на поверку личностям довольно ничтожным, посредственным, не способным самостоятельно выполнить и самого простого, самого обыкновенного дела, какое бы ни было поручено им.

Нет, этому самовластному человеку никакие советники не нужны. Иоанн всегда действует так, как велят православная вера, совесть и ум, воспитанный мудростью библейских сказаний, евангельских наставлений, поучений апостолов и благословений собственной церкви, освятившей его царский венец. Как всякий человек, которым безраздельно владеет идея, он непреклонен, он уверен в себе, и если сказано о злоумышленнике, что было бы лучше самому злоумышленнику, чтобы ему на шею привесили мельничный жернов и утопили в пучине морской, то и голос ему не изменит, не дрогнет рука навязать злоумышленнику на шею подходящий случаю мельничный жернов и столкнуть подлеца в пучину морскую, поскольку этим поступком он не только восстанавливает установленный Богом порядок, но ещё, что следует помнить современным историкам, либералам и балалаечникам, заблудшую душу самого злоумышленника спасает от новых грехов и тем спасает от новой кары Господней, кара-то злоумышленника ждет и на небесах.

Однако несчастная душа Иоанна чересчур впечатлительна, слишком чувствительна, слишком мягка, как и подобает быть душе выдающегося писателя, каким ему суждено было стать. Его несчастная душа не переносит пролитой крови. Она содрогается от содеянного насилия. Все эти кровавые жертвы его выработанных на Священном Писании убеждений заставляют его несчастную душу жестоко и непрестанно страдать. К тому же он человек хоть и односторонней, но широкой и основательной образованности, благодаря которой он обладает правильно организованной культурой мышления. Он размышляет, он размышляет постоянно, упорно, он размышляет по малейшему, как серьезному, так и пустяшному поводу. Его вдумчивому анализу подвергается каждый совершенный поступок, каждая пришедшая в голову мысль. Тем более анализируются темницы, опалы и казни, на которые он не скупится, потому что его окружают недоброжелатели, заговорщики, подчас отравители и прямые враги. Он подвергает темницам, опалам и казням, правда, не всех, но довольно многих разоблаченных заговорщиков и врагов, но поступает так по твердому, неразрушимому убеждению, и действует жестоко только тогда, когда виновность заговорщиков и врагов становится очевидной не только ему самому, а также суду думных бояр и высшего духовенства. А несчастная душа стонет и стонет: не ошибся ли он? Мысль ощупывает, мысль проверяет все обстоятельства до последней улики: справедливо ли он поступил, не придется ли держать неподкупный ответ перед господом, если им допущена, вольно или невольно, ошибка, если то, что ему представляется справедливым, в действительности явится несправедливостью на Страшном суде.

У него вечно совесть болит. Он вечно испытывает страх перед этим вот Страшным судом. Именно из страха перед этим вот Страшным судом Иоанн так склонен к дискуссиям, к диспутам и беседам разного рода. Именно из страха перед этим вот Страшным судом он всегда готов так многословно, так страстно оправдываться перед каждым, кто его обвинит. Ни один из русских великих князей и царей так много не говорил, так много не написал в свое оправдание, как царь и великий князь Иоанн. Его красноречие, рожденное тревогами чуткой. Постоянно

встревоженной совести, до того поразительно, что современники по заслугам нарекают его «в словесной премудрости ритором».

Именно тревоги незасыпающей совести, впечатлительность и мягкость души делают его легко уязвимым, нередко беспомощным там, где истина не доказана, скрыта в тумане запутанных обстоятельств. От прямых, открытых, разоблаченных врагов он защищен, как броней, непоколебимой ясностью своих убеждений, однако любому доброжелателю, тем более служителю церкви нетрудно его пристыдить, нетрудно вызвать искреннее раскаяние, подвигнуть переложить гнев на милость даже тогда, когда над преступником занесен топор палача. Стоит Иоанну встать перед Господом, как он становится смиренным и робким, сознающим свои грехи грешником. Не успевает пролиться кровь его жертвы, приговоренной не только им, но и боярским судом, как он готов каяться и пойти напопыханный. Встав перед Господом, он прощает и милует, подчас во вред Московскому царству и себе самому. Вовремя остановленный митрополитом, умеющим воздействовать на его тревожную совесть, он не раз и не два прекращает опалу, выпускает из темницы своих заклятых, вовсе не раскаявшихся врагов, которые, не успев вдохнуть целительный воздух свободы, вновь пускаются в козни и заговоры против него, подготавливая отрешение от власти или отраву. Милосердие вовсе не чуждо ему. Жестокость по убеждению и милосердие по доброте, по мягкости сердца, по велению совести, вечно помнящей о Христе, идут рука об руку всю его жизнь и становятся неистощимым источником его непреходящих нравственных мук. Поверьте, неправедные судьи его: истинные палачи не раскаиваются и никого не щадят, как не раскаиваются и никого не щадят истинные предатели, оголтелые либералы и балалаечники, и нравственным мукам не доступны их пустые сердца.

Таким образом, протопопу Сильвестру нетрудно исторгнуть милосердие из души Иоанна и без воздетого с угрозой перста, без неподобающей ему личины пророка, тем более без лживых чудес и видений: милосердие в душе Иоанна и без того всегда рядом лежит с темницей, опалой и казнью. После столь необычной, неожиданной встречи с благовещенским протопопом у него стоят слезы в глазах, затем он заточает себя на несколько дней в уединенную келью, проводит эти несколько дней в строгом посте и постоянной молитве, затем призывает весь освященный собор, умиленно кается перед ним и в знак своего полного очищения от гнева, от соблазна жестокости и жажды суда причащается святых тайн.

Когда же после столь чистосердечного и глубокого покаяния Иоанн вновь появляется перед проводившими те же дни в страхе и трепете заговорщиками, всем бросается в глаза его обновление. От него ждут заслуженных кар – он милосерден и тих. Что его повелением Михаил Глинский и Турунтай-Пронской освобождаются из узилища, это ещё не может никого удивить, все-таки грех побега, который в те времена приравнивается к измене, прощается дяде, однако Петр Шуйский, заточивший его ближних людей, сын его злейшего врага князя Ивана, предводителя смут, сам довольно известный смутьян, сохраняет не только жизнь, но свободу и милость царя и великого князя, что поражает подручных князей и бояр приблизительно так же, как гром среди ясного неба. От наказания освобождаются все заговорщики, и такие закоренелые интриганы, как Скопин-Шуйский и Темкин, и такие только что испеченные, как Захарьин, и тем более Федор Бармин, его духовник. Всё забыто, всё прощено, к радости тех, кто посягал на жизнь царя и великого князя, подстрекая толпу громить Воробьево, к радости самого Иоанна. Пусть отныне в Русской земле царит мир, а не меч.

Однако было бы наивнейшим заблуждением предполагать, что Иоанн, вновь переживший угрозу жизни и трону, намеревается всё оставить по-прежнему, чтобы рискнуть ещё раз попасть в далеко не милосердные сети боярского заговора. Сколько бы он ни стоял перед Господом, сколько бы ни постился, сколько бы покаяний ни приносил, он не верит и никогда не поверит в смирение витязей удельных времен, которые не в состоянии позабыть о прошедшей, но незабвенной волюшке-воле, когда правил меч, а о мире никто из них и не думал. Ведь не только при нем, но и при отце и при дедах и прадедах витязи удельных времен всегда посягают

на законную власть, данную не силой и куплей, но Богом, то есть, по его убеждению, витязи удельных времен всегда и в мыслях и в действиях грешат против Бога, впадают в один из самых тяжких грехов, которому прощения не может быть ни здесь, на земле, ни тем более на небесах.

Склонный к анализу, он не может не задуматься над пронесшимися по Москве безобразиями, не может не извлечь урока на будущее из только что отгремевшего мятежа, который стоил жизни не менее, если не более сотни невинных людей. Если впервые его государственный ум заявляет себя в тот момент, когда он принимает решение венчаться на царство и править самодержавно, подобно императорам Восточной и ещё прежней Римской империи, ещё больше: править в Московском царстве именем Бога, то в размышлениях о заговоре и мятеже его государственный ум пробуждается окончательно и отныне определяет всего предприятия, все повороты правления, в сущности, всю его жизнь. Анализ из ряда вон выходящих событий превращает Иоанна в политика, который в своих решениях исходит не из разного рода приятных фантазий залетевших на вершины власти Маниловых, а из реального соотношения общественных и политических сил.

Хорошо зная историю по доступным источникам, изучив русские летописи и хронографы Восточной римской империи, обладая приметливым, цепким умом, он не может не отметить новое, никогда не бывалое явление русской государственной жизни: до середины XVI столетия землепашцы, звероловы и рыбаки, затерянные в дремучих лесах и болотах, крайне пассивны, даже более развитые, более активные посадские люди никогда не выдвигаются на первое место, никогда не участвуют в политических играх подручных князей и бояр, народ точно отсутствует, а если, впрочем, в немногих, прямо-таки считанных случаях, внезапно вступает в события, то неизменно действует самостоятельно, помимо других политических сил, неорганизованно, бессознательно и стихийно, и лишь во время последних московских волнений ещё в первый раз подручные князья и бояре, преследуя исключительно свои личные, грубо корыстные цели, подбивают посадских людей, поджигают едва тлеющие угли их недовольства и натравливают на тех, кого жаждут свалить, оттеснить, отшвырнуть от казенной кормушки.

Иоанну открывается истина: народ может служить удобным материалом в противоборстве различных политических сил, как узко корыстных, так и государственных интересов, народ можно сделать мощным орудием, направленным против злодеев, против всех тех, кто по тайному сговору намеревается вновь отстранить его от управления царством, отныне пришедшего в возраст царя и великого князя, вдвойне опасного для своеволия витязей удельных времен, кто посягает на жизнь его близких, возможно, и на жизнь его самого.

Он мыслит стремительно и так же стремительно действует. Ещё никто из подручных князей и бояр не успевает одуматься после внезапного и слезного покаяния перед освященным собором и ещё более внезапного прощения тем, кто злоумышлял против него, а уже распоряжения отданы, написаны грамоты, навешены восковые печати, и сотни быстроконных гонцов скачут во все углы Московского царства, храня как зеницу ока за пазухой повеление государя: без промедления изо всех городов снарядить и отправить в Москву выборных лиц всякого чина и состояния, то есть всех тех представителей местных властей, которые испокон веку не назначаются в города самим государем, но избираются посадскими людьми для управления свои особенными делами, не имеющими касательства до общих, собственно государевых дел.

Такого рода повеления исполняются так же стремительно, как их государь отдает. Представители городов один за другим прибывают в Москву. На воскресенье Иоанн назначает общий сбор на площади перед Кремлем, где назад тому месяц-другой бесновалась бессмысленная толпа, калеча, забивая, затаптывая каждого, на кого волей беспощадного случая падало подозрение в сочувствии Глинским.

В том же Успенском соборе, в котором святотатственно и злодейски растерзали князя Юрия Глинского, царь и великий князь стоит обедню и в своих величественных золоченых одеждах, в сопровождении черного и белого духовенства, несущего кресты и хоругви, думных

бояр и дружины, выступает на лобное место, где ещё так недавно истекали кровью истерзанные трупы безвинных страдальцев, убиенных разгоряченной толпой.

Странное, неповторимое зрелище открывается перед ним. Всё пусто и мрачно вокруг, только чернеют сиротливые пепелища, и гнусным смрадом пожарища всё ещё веет от них, а на площади теснится празднично разодетый народ, покорный и смиренный, крестится, кланяется в пояс, держа шапки в руках. Служат молебен, и вся площадь благоговейно опускается на колени. После молебна Иоанн оглядывает с возвышения простоволосые головы, бородатые лица, полные трепетного вниманья глаза и, обращаясь к митрополиту Макарию, произносит отчетливо, громко:

– Владыко святой! Знаю твою любовь к отечеству, твое усердие ко благу его. Будь же в благих намерениях моих поборником мне. Рано Бог лишил меня отца и матери, а вельможи не радели о мне, хотели быть самовластными, моим именем похитили саны и чести, богатели неправдою, теснили народ, и никто не противодействовал им. В жалком детстве моем я казался немым и глухим: не внимал стенанию бедных, и не было обличения в устах моих! Вы, вы делали, что хотели, злые крамольники, судии несправедливые! Какой ответ дадите нам ныне? Сколько слез, сколько крови от вас пролилося? Я чист от сея крови! А вы ждите суда Небесного!

Прощенье прощеньем, однако он и не помышляет предать забвению те бесчисленные бесчинства, которымиотягощена покладистая совесть нераскаявшихся подручных князей и бояр. Он продолжает их обвинять, не храня отныне сумрачного молчания в своих всеми покинутых, тоскливо одиноких покоех, но публично, во всеуслышание, перед общим собранием избранных представителей посадов и волостей. Он истово кланяется этим обобраным, утешенным людям Русской земли на все стороны и с болью, с истинной страстью, как он умеет один, обращается к ним:

– Люди Божии, нам Богом дарованные! Молю вашу веру к Нему и вашу любовь ко мне: будьте великодушны! Нельзя исправить минувшего зла. Могу только впредь спасать вас от пагубных грабительств и преступлений. Забудьте, чего уже нет и не будет! Оставьте ненависть и вражду. Соединимся все любовью христианской. Отныне я вам защитник и судия!

Человек впечатлительный, страстный, Иоанн плачет искренними слезами, поскольку всегда готов умилиться доброму делу, в особенности тогда, когда откровенно, всей душой говорит перед Богом. Представители посадов и волостей, отродясь не слыхавшие ничего похожего на подобные речи, умиляются и рыдают вместе с Богом им данным царем и великим князем, ещё в первый раз во дни мира, а не войны обратившимся непосредственно к ним. Всем им представляется в этот момент, что все прощены, что одним этим словом царя и великого князя прекращаются все вражды и раздоры, что отныне и навсегда учреждается мир на многострадальной, истерзанной враждой и раздорами, обильно политой собственной кровью Русской земле. Перекрестившись, вспыхнув сердечной любовью к молодому царю и великому князю, разъезжаются представители посадов и волостей по домам и разносят благую весть по селениям: дождались, мол, явился чудный защитник, праведный судия на родимой земле. Можно не сомневаться, сам Иоанн тоже искренне верит, что с этого часа во вверенном ему самим Богом царстве воцарятся правда и мир, прервутся злокозненные интриги, пресекутся подлые заговоры, русский князь и боярин перестанут беспричинно проливать родную, русскую кровь, тем более перестанут злодейски грабить родного, русского человека на ниве его, на реке и в лесу. В сущности, он так ещё доверчив, наивен и прост, что ждать от него можно всего, в особенности жаркой, успокоительной веры в добро.

Однако полагается он вовсе не на смирение, не на раскаяние подручных князей и бояр, которых за годы своего жалкого детства успел изучить хорошо, ведь тогда, распоясавшись, они перед ними ничего не таили, опрометчиво не рассчитав, что он растет и когда-нибудь вырастет не кем-нибудь, а законным повелителем их. Единственно на Бога полагается он, затем

на себя и на то, что его поддержит митрополит и, возможно. Этот исстрадавшийся, жаждущий правосудия и мира народ.

Он замышляет глубочайший переворот во всех отношениях власти, и едва ли этого не расслышали ни подручные князья и бояре, не представители посадов и волостей. До этого дня, как всем кажется, светлого, праздничного, ещё не бывалого, суд по селеньям и весям Русской земли правят наместники, волостели, игумены, которых ставят на властное место великий князь и митрополит, но которые, в сущности, остаются бесконтрольными, не подотчетными никому и не столько творят правый суд, сколько бесчинствуют и за вольную или невольную мзду продают правосудие, не стесняясь ни земными законами, ни заповедями Христа. Отныне Иоанн себя самого поставляет защитником и судьей и обещает спасти русскую землю от грабительств и притеснений, и все понимают, от чьих грабительств, от чьих притеснений берется царь и великий князь её защитить.

Разумеется, растрезвонить на всю Русскую землю об этом благостном перевороте в отношениях между властью и подданными чрезвычайно легко, очистился постом и молитвой, вдохновение нашло, выхватил горящее слово прямо из сердца, жаждущего добра, и бросил, как искру в народ, ожидая огня благодарности и всепримирения, однако слово ещё не реальная жизнь, грандиозный замысел учредить справедливость и мир ещё предстоит воплотить в неподатливую на наше слово действительность, и нельзя не увидеть, что и сам он пока что не имеет ни малейшего, сколько-нибудь обдуманного плана на то, каким образом воплотить эту добродетельную, гуманную, но все-таки отвлеченную, в тиши отгороженной от мира палаты рожденную мысль.

Он начинает не с какого-то заранее подготовленного, обдуманного проекта, а с того, что напрашивается само собой, и поневоле начинает вовсе не миром, а открытым, угрожающим вызовом, недвусмысленно давая понять, кого и за что он предполагает судить. Он призывает самого неприметного, самого ничтожного из своих ближних людей, простого постельничего, Алексея Адашева, о котором, сколько не ищи, неизвестно, какого он роду-племени, давая своим предпочтением ясно понять, что отныне никакого дела не желает иметь с родовитыми князьями и думными боярами, и в присутствии этих родовитых князей и думных бояр торжественно говорит, поручая принимать челобитья от всех обиженных, бедных и сирых, разоренных и неправосудимых:

– Алексей! Ты не знатен и не богат, но добродетелен. Ставлю тебя на место высокое не по твоему желанию, но в помощь душе моей, которая стремится к таким людям, да утолите её скорбь о несчастных, коих судьба мне вверена Богом! Не бойся ни сильных, ни славных, когда они, похитив честь, беззаконствуют. Да не обманут тебя и ложные слезы бедного, когда он в зависти клеветает на богатого. Всё рачительно испытывай и доноси мне истину, страшась единственно суда Божия.

Сомнений не остается, против кого направляется эта новая, счастливо провозглашенная мера: против сильных и славных, утративших честь, поправших обычай, поправших закон, позабывших о неминуемом Божьем суде. Велик ли окажется приток челобитий? Кто станет рассматривать поступившие жалобы в последней инстанции? Кто и по каким законам станет судить уличенных в беззаконии, в превышении власти, в выжимании мзды? На все эти вопросы можно твердо ответить, на основании речи, сказанной с лобного места, что последней инстанцией предполагается царь и великий князь и что уличенных в тех или иных должностных преступлениях именно он станет судить как верховный судья, а законом он избирает в первую голову совесть, свою ответственность перед Богом, и самое поручение принимать челобитья, данное безвестному человеку, означает только одно: объявлена внутренняя война, война против бесчинств и грабительств, которые творятся оставленными без присмотра князьями и боярами вот уже четырнадцать лет, со дня кончины великого князя Василия Ивановича, отца Иоанна, следовательно, война объявляется всем подручным князьям и боярам, среди которых

едва ли обнаружится более десяти человек, не запятнавших себя в то смутное время боярских временщиков и дворцовых интриг, причем война объявляется хоть и не совсем открыто и прямо, но вполне однозначно, не понять смысла происходящего может разве что круглый дурак.

На какие силы рассчитывает он опереться в этой явно медлительной, затяжной, суровой, смертельно опасной войне? Единственно на себя самого, Он полагается на одно свое новое царское имя, которое представляется ему чуть не магическим, способным творить чудеса, поскольку, с одной стороны, оно получено им от Бога, а с другой стороны, достается от самого Мономаха и римского кесаря. Должно быть, и его самого охватывает таинственный трепет при мысли о непобедимом могуществе царского имени, так как же перед таким блистательным именем кому-нибудь устоять?

Вполне естественно, что этому чудному имени необходимо придать особенный блеск, и он тут же затевает достойное этому звонкому имени предприятие, способное изумить не столько своей неожиданностью, сколько своим непривычным, прямо восточным размахом. Кремлевские палаты и терема, отчасти поврежденные, отчасти напрочь уничтоженные огнем, он намеревается возродить в новом, ещё не виданном блеске. Несмотря на то, что его казна, вернее, то, что осталось от неё после боярского разграбления, погибла во время пожара, он уже видит богатые строения, богатые росписи на стенах приемных палат, общих трапезных и своих собственных интимных покоев. Он царь и великий князь и жить станет как царь и великий князь, иначе нельзя.

В знак особой признательности за моральную проповедь подготовка стен и разработка сюжетов для будущего великолепия, а также надзор за художественных дел мастерами поручается не кому-нибудь, а протопопу Сильвестру.

## Глава пятнадцатая

### Поход

Протопоп, разумеется, тотчас берется за дело, и тут каким-то загадочным образом обнаруживается одно на первый взгляд малоприметное обстоятельство. То ли протопоп, много лет прослуживший сначала в Великом Новгороде, а потом и в Москве и по этой причине хорошо знакомый с русским иконописным искусством, поскольку настенная живопись на Русской земле существует только в церквях, вдруг доносит царю и великому князю, что в наличии слишком мало искусников, достойных данного поручения, настоящих умельцев, чтобы в скором времени с подобающим тщанием выполнить повеление царя и великого князя, то ли случайно так сходятся неведомые дороги и тропы, только на глаза Иоанна попадаетея Шлитт, выходец из Саксонии, уже некоторое время с неопределенными целями кочующий по Русской земле, даже успевший довольно сносно осилить неподатливый для немца русский язык.

Иоанн, любознательный, всегда охочий до знаний, с большим вниманием выслушивает пышные, хвастливые рассказы проходимца о чудесах и славных деяниях саксонской земли, с любопытством выспрашивает его о подробностях устройства и быта и вдруг предлагает воротиться в родные места посланником от московского царя и великого князя к германскому императору Карлу, с согласия императора набрать в немецкой земле и вывести на Москву ремесленников, художников, типографщиков, аптекарей и докторов, числом не менее ста, из чего следует, с какой исключительной пышностью он намеревается отделать новый кремлевский дворец и с каким размахом намеревается приняться за просвещение Русской земли.

Шлитт отвешивает европейский церемонный поклон, соглашается. Тут же составляется послание императору Карлу и вручается новоявленному посланнику. Шлитт без промедления пробирается в Аугсбург, где под председательством императора Карла проходит съезд германских князей, однако его визит к императору Карлу получает неожиданный, в высшей степени нежелательный поворот, не оставшийся без серьезных последствий на отношение Иоанна к высокомерной, неисправимо враждебной Европе.

А пока услужливый Шлитт обивает пороги императора, германских князей и церковных владык, Иоанн затевает ещё одно, вновь поворотное, на этот раз поистине гениальное дело. И вновь неожиданно, как истребительный огонь и кровавые злодеяния возбужденной толпы приводят его к публичному покаянию и к началу планомерного наступления на сеющих смуту подручных князей и бояр, так и теперь внезапное стечение обстоятельств напоминает ему о застарелой ране Русской земли.

Уже много лет то слабо тлеет, то жарко вспыхивает междоусобная распря между татарами, из тех позорных удельных времен, каким на Русской земле то кропотливыми, то славными деяниями московских великих князей на Русской земле уже положен конец. В Казани попеременно воцаряется то ставленник Москвы, то ставленник крымского хана, который, в свою очередь, состоит в вассальной зависимости от турецких султанов и в союзе, хоть и непрочном, с польским королем и великим князем Литвы. Всего года назад князь Дмитрий Бельский возвел на казанский престол татарина Шиг-Алея, держащего руку Москвы. Однако едва рать московского воеводы скрылась за поворотом реки, казанцы изменяют принятому ими московскому ставленнику. К Казани подступает Сафа-Гирей, крымский хан, Шиг-Алей, трусоватый и слабодушный, без боя бросает дарованную ему московским воеводой Казань, берет угоном первых попавшихся чужих лошадей и едва успевает доскакать невредимым до первых русских дозоров. Сафа-Гирей, как водится, учиняет в Казани резню, в которой погибают все приверженцы Шиг-Алея, спастись умудряются, истинно чудом, всего человек семьдесят убежденных сторонников прочного союза слабеющей Казани с сильной Москвой.



Совершив столь малопочтенные подвиги истребления, Сафа-Гирей, так широко разворачивается в своих добытых налетом владениях, что против него поднимаются горные черемисы, племя воинственное, впрочем, в одиночку повстанцы сладить с Сафа-Гиреем не могут и бьют челом на Москве, то есть умоляют московского царя и великого князя отрядить рать на Казань, вместе с челобитьем приносят добровольную клятву, что готовы идти на Казань совместно с московскими воеводами, а в доказательство серьезности своих обещаний приводят в Москву до сотни черемисских стрелков.

В сущности, в трехсотлетней борьбе непокорной Руси против ненавистных татар это едва приметный, не заслуживающий серьезного внимания эпизод, да и численность вспомогательного отряда, при всем благородстве и решимости воинов, едва ли не смехотворна. И всё-таки кровоточащая рана так наболела, что её растравляет вновь и вновь любая песчинка, самый малоприметный пустяк. Кровь и слезы русских людей бросаются в голову. На Москве громко перечисляют бесчисленные бесчинства, варварские зверства диких татар, неутомимых грабителей, живущих единственно грабежом и войной да молоком и мясом степных кобылиц. В очередной раз в бессильном гневе стискиваются кулаки, правда, не столько подручных князей и бояр, сколько торговых и посадских людей. В очередной раз припоминаются великие, однако чуть не ветхозаветные, чуть не бесплодные по нынешним временам незабываемые победы великого князя Дмитрия, а следом за ними историческое стояние на Угре.

Слыша возбужденные, куда как красноречивые толки, сам, должно быть, участвуя в них, Иоанн не может лишней раз не припомнить глумливую, утробно-корыстную смуту собственных подручных князей и бояр, тоже грабителей, иной раз, как значится в летописях, почище татар: это они растеряли бесценные плоды великих побед, это их бессовестным попустительством вновь окрепли, подняли головы, обнаглели татары, вновь повадившиеся лить кровь на ослабевшей без крепкой власти Русской земле.

Гордость славными предками, начиная с Владимира Мономаха, в душе Иоанна болезненно, сверхмерно сильна. По малейшему поводу, при самой плевой okazji он гневно бросает в лицо своим подкольным хулителям и открытым врагам, что он владыка наследственный, коренной, от киевского Владимира Мономаха, через киевского Владимира Мономаха от императора Восточной Римской империи и кесарей первого Рима, что он наследник великих, победоносных отцов, что их наследие ему досталось по праву, оттого, впрочем, и гневается, что имеются довольно веские основания для сомнений в этих правах.

Человек умнейший, начитанный, характер самовластный, честолюбивый, он не может не понимать, тем более при некоторой сомнительности наследственных прав, что великие подвиги да славные дела управления не только с гордостью и благодарно наследуют, но и в меру сил продолжают и множат, чтобы, в свою очередь, достойное наследие оставить потомкам и заслужить почетную память в веках. На нем, на царе, на государе великом, на единственном ныне правопреемнике Рима, как первого, так и второго, лежит громадная ответственность перед предками, перед потомками, а пуще всего перед Богом, от которого благоговейно и трепетно принял он власть во время венчания. Оттого он в душе своей ощущает исполинские силы, чтобы достойно и честно исполнить свой долг. К тому же он должен показать въяве подручным князьям и боярам, заговорщикам и смутьянам, кто с этих пор истинный государь на Русской земле.

Ни сто, ни тысяча воинов-черемис Русской земле не подмога, тут надобны тысячи воинов, однако уже и то хорошо, что в этом году горные черемисы не нанесут удар в спину, как приключалось с ними не раз, союзники, какие ни есть, а всегда хороши. К тому же Иоанн предпринимает внезапный, зимний поход, когда татарские кони тощат без корма, когда самонадеянные татары русских не ждут, и если застать из врасплох, если ударить в одном месте всей русской силой, татарам не устоять, Татры в панике побегут, как побежали татары Мамаю, или

молча без сечи уйдут, почуя неодолимую русскую силу, как ушли татары хана Ахмата, или сдадутся на милость нового победителя, чего никогда прежде не приключалось на Русской земле.

Именно не оборонительное частное военное предприятие, каких были сотни и тысячи, с тех горьких времен, когда Русская земля вошла в соприкосновение с воинственной степью, не наступательный набег ради устрашения, удали и грабежа, каких тоже были сотни и тысячи со дня славного разгрома бежавшего с поля боя Мамай, готовится им. Иоанн готовит большой, серьезный поход, решающее нашествие, вроде Батыева, военное предприятие на уничтожение, последнюю, завершающую схватку с татарами. Он намеревается взять Казань приступом или после долгой осады, но именно взять, взять непременно, разорить это подлое гнездо степных разбойников навсегда, чтобы с этой стороны навсегда утвердить безопасность и мир, а вместе с ними свободную, прибыльную торговлю московских городов с рабами, персами, с Китаем и Индией через земли иных, пока ещё ему не известных племен. Именно с этой поистине исторической целью иноземными мастерами поправляются, приводятся в порядок старые и отливаются новые пушки, которые обыкновенно не берутся в короткий набег, где полагаются единственно на стремительность бега сытых коней, верность меча и меткость стрелы, а ещё больше на стремительность отступления. Сотни царских гонцов скачут по уже размокающим осенним дорогам в разные стороны царской волей, по царскому слову поднимать всю Московскую Русь на татар.

В городах и селениях, где под монотонным осенним дождем охрипшими голосами громко читают царские грамоты, происходит смятение, поскольку вещи творятся и в самом деле неслыханные. В те времена во всем мире в зимнюю пору серьезно никто ни с кем не воюет, по всем европейским войскам так и вовсе объявляют гласное или негласное перемирие, офицеры пируют и веселятся с красотками, всегда охочими до офицеров, солдаты сидят по домам, пьют водку и насыщаются жаркими ласками истосковавшихся баб, тем более в Русской земле служилые люди сидят по своим до треска волос натопленным избам, с громадными печками, с улежистыми лежанками, нежатся, млеют в сладостной дреме, поскольку чтят обычаи дедов и прадедов пуще всех царских грамот и даже грома небесного, который, по правде сказать, никогда не гремит в трескучий мороз. Обыкновенно русская конница выступает поздней весной, когда подсыхают дороги, а то прихватывает и раннее лето, обильное свежей травой, поближе к тем срокам, когда можно ждать набега татар, откормивших коней, да и то выступают не десятками тысяч, а прежде служилые люди настезь открытых восточных и южных украин, стоят по засекам, по рубленным городкам, далеко в дикое поле высылают дозоры, сторожи, разведки, ждут-пождут, когда из становищ выступит изголодавшийся за зиму супостат, мозгуют, при первой же вести, доставленной эстафетой, какой силы должны быть поставлен заслон, и вызывают подмогу из глубинных поместий только тогда, когда татары поднимают, по расплывчатым догадкам далеко в степь не уходившей разведки, много становищ и столкновение грозит быть серьезным, кровопролитным. Однако большей частью обходятся без подмоги, поскольку татары по истечении трехсот лет стали не те и насакивают то там, то тут разрозненными малоконными шайками, а чтобы на татар поднималась вся Русь, такого несчастья не припомнит никто. Да ещё зимней порой! Знать последние времена!

Измученные, недовольные, без особенной прыти выбирают служилые люди из теплых дворов, в валяных сапогах, в полушубках овчинных, взбираются на тоже погруженных в зимнюю спячку коней, на заводную крестьянскую лошадь навьючивают свое скудное пропитание виде ветчины или сала, пшена, сухарей или муки из грубо молотой ржи, чеснока или лука, кличут одного, двух или трех прикормленных воинов, как московскими писцами записано в книгах при обмере и обсчете поместья, и где шажком, где трусцой отправляются в путь, по колено, а то и по брюхо в снегу, в некогда стольный Владимир, в посадах и пригородах которого назначен царской грамотой сбор. В ближнем городе, нынешнем или бывшем уделе, сбиваются в полк нынешнего или бывшего удельного князя, своего командира, во Владимире сплыва-

ются в назначенные полки. Воеводы, сидя в избе у окна, устраивают смотры полкам. Во время смотра царский писец выкликает имена и прозвища по громадному списку, чтобы впоследствии царь и великий князь судил ускользнувших от похода служилых людей, после чего каждый воин опускает в общий мешок медную монетку, деньги, численность полка воевода узнает по количеству денег в мешке. Долго съезжаются, долго считаются, рать изготовляется только к концу декабря.

Иоанн давно уж собрался и ждет в нетерпении, поскольку ждать да терпеть никогда не умел, если что-нибудь начал, так должен действовать, а не ждать. По всей видимости, он учитывает постыдный итог предыдущего столкновения с татарами под Казанью, начатой небольшой, но удивительно легкой, очень приятной победой Семена Пункова, Ивана Шереметева, Давыда Палецкого и Василия Серебряного-Оболенского, а оконченного, по их вине, унижительным и полным разгромом полка Львова, пермского воеводы, беспечно оставленного ими на произвол судьбы. Без сомнения, он опасается, что и на этот раз нешуточное, грандиозное дело погубят остервенелые свары подручных князей и бояр, и решает лично возглавить полки, чтобы собственной волей царя и великого князя смирить и утихомирить любителей склок, враждующих не столько с татарами, сколько между собой из-за мест.

Перед тем как надолго оставить Москву ему приходится разрешить мучительный, чрезвычайно важный вопрос: в чьи руки дать стольный град, пока он будет в отлучке, несколько месяцев, может быть, полгода и больше, ровно столько, сколько продлится осада Казани.

В самом деле, на кого он может полностью положиться, не страшась почти неизбежной измены, не опасаясь нового заговора, нового подстрекательства к бунту и новой смуты подручных князей и бояр, по каким-то причинам не ушедших в поход? В сущности, ни на кого, даже из самых ближайших, по родству и свойству, поскольку Михаил Глинский запятнал себя бегством к ненавистным литовским пределам, а Григорий Захарьин оказался в числе заговорщиков, возмущивших после пожара народ.

Думается, он проводит немало бессонных ночей, немало служит молебнов в Благовещенском и Успенском соборах, умоляя прозорливого Бога его вразумить, прежде чем решается на время похода передать верховную власть на Москве двоюродному брату Владимиру Старицкому, придав ему четырех думных бояр, наказав строго-настрого во всем, что ни придется решать без него, держать совет с митрополитом Макарием.

Свалив с себя эту ношу, всё равно беспокойный, с оглядкой назад, одиннадцатого декабря 1547 года Иоанн покидает Москву во главе собственного полка, следом движутся тяжелые осадные пушки, порученные боярину Шеину и его помощнику Салтыкову. В прежде стольном, ныне захиревшем Владимире застанет он, как водится, жаркую свару не в меру спесивых, несговорчивых воевод. Прибывшие воины уже слиты в полки по обыкновенному, обычаем закрепленному распорядку, верный признак окостенения полководческой мысли: большой полк, который почитается наиважнейшим и воевода которого почитается главным командующим всего московского войска, после него полки правой и левой руки, которым отводится хоть и второе, пониже, но тоже почетное положение, немногим уступающее положению воеводы большого полка, наконец полки передовой и сторожевой, которые отдаются лишь тем, кто не вышел родом и племенем. Остается расписать воевод по полкам, а это необходимое действие никогда не обходится без отвратительной брани и драк, причем особенной приятностью среди подручных князей и бояр почитается выдрать у противника изрядный клоч борода, хранительницы всех добродетелей, чести мужа и воина прежде всего.

Каждый из подручных князей и бояр решительно посягает на первое место воеводы большого полка, на худой конец полка правой или левой руки, намного слабей, но все-таки кое-что обещающие полки передовой и сторожевой, поскольку по полку честь, а по чести и полк, по полку и прибыток, когда настанет сладостный час управляться с добычей, ибо без добычи что за война. О воинских заслугах никто не спрашивается, да сколько-нибудь примечательных

заслуг пока что никто из подручных князей и бояр не имеет. Права на полки заявляются по старшинству, по старинности рода, по сидению в Думе, по близости к особе царя и великого князя. Родство приходится считать в восьмом, в девятом, в десятом колене. Путаница возникает неимоверная. Редко удастся распутать запутанные ветви без дранья бороды. По этой причине расписание воевод по полкам порой занимает не день, не два, а неделю, хорошо, ежели лютый враг далеко. И то ещё ничего. В бою не раз, так через раз повторяется позорно-памятный разгром потрепанными татарскими отрядами свежих русских полков на берегу так и не отысканной степной речки Калки, воевода известного княжеского или боярского рода не всегда снисходит до унижения подать помощь воеводе другого полка, в лучшем случае воеводу захудалого рода не без злорадства подставляют под разгром и позор, как два года назад подставили заштатного воеводу из далекой Перми.

Может быть, только вступив во Владимир, только впервые попав на столь шумный, неблагоприятный и бесплодный военный совет, Иоанн прозревает, хотя бы отчасти, какой тяжкий крест он на свои юные плечи взвалил, решившись венчаться величественным но и ответственным царским венцом. По праву царя и великого князя, если мерить приятными мерками Восточной Римской империи да первого Рима, а он иных мерок не признает. Отныне в его руках сосредоточивается вся полнота государственной власти то есть он в одном лице является и верховным законодателем, и верховным судьей, и верховным военачальником, и верховным руководителем внешней политики. Стало быть, как верховный военачальник он имеет полное право и даже обязан самолично, своей собственным волей и собственным разумением избрать и расставить воевод по полкам, по возможности из людей, пригодных к исполнению той грандиозной задачи, которая нынче перед русским войском стоит: уничтожить Казанское ханство и тем на все времена прекратить разбой кочевых, вечно голодных татар.

Не тут-то было. Даже если бы ему позволили выбирать способных и дельных, отличившихся в боях воевод, ему не из кого было бы выбирать. Во время смуты занятые разграблением казенных земель, доходов и привилегий подручные князья и бояре чередом не воюют уже лет пятнадцать, если не двадцать. Чему ж удивляться, что в их среде не обнаруживается ни одного сколько-нибудь способного полководца, ни одного воеводы, свое имя прославившего в славных походах, в крупных сражениях, значительных своими победами. Какие походы, какие сражения. Какие победы, когда татары грабят и жгут в двухстах верстах от Москвы, а литовский рубеж под самым Смоленском!

В сущности, Иоанн сам себя загоняет в положение немыслимое, катастрофическое: Он предпринимает грандиозный поход, он тащит за собой тяжеленные осадные пушки, а возглавить этот грандиозный поход не способен ни один из сонма подручных князей и бояр, на его глазах ярящихся в битве за самый почетный, самый прибыльный пост.

К тому же подручные князья и бояре то и дело тяжко оскорбляют его царское самолюбие. Ему верховному военачальнику, царю и великому князю, и слова сказать не дают, не его волей, а единственно приговором думных бояр воеводой большого полка определяется князь Дмитрий Бельский, не оттого, что самый победоносный, а оттого, что старейший, первым в Думе сидит. Соответственно полки правой и левой руки общий голос отдает Горбатову да Серебряному, который только что тем отличился, что своим задиристым легкомыслием подставил пермского воеводу под татарский погром, после чего ни один здравомыслящий человек не может доверить ему второго по значению и силе полка, разве что позволит покомандовать полусотней или обозом.

Затем, порешив по своему усмотрению одно из важнейших, если не самое важное из государственных дел, подручные князья и бояре, как водится, с лицемерным смирением припадают к царским стопам и умоляют сказать свое последнее, свое государево слово, и он, выходясь над ним на чем-то в роде походного трона, естественно, говорит, однако не свое, а

противное ему, тоже поневоле лицемерное слово согласие с бездарным, ошибочным приговором думных бояр.

Собственно, всего год спустя после принятия на себя царского имени, всего полгода спустя после подавления зловещего мятежа, который спровоцировали те же подручные князья и бояре, он встречает решительное сопротивление, какое, надо сказать, у русского человека в крови, то есть сопротивление прикровенное, вязкое, сопротивление томительное, сопротивление необоримое, сопротивление тем более неуловимое, что это сопротивление под лицемерной личиной полнейшей покорности и смирения, то есть вот ты мой царь и великий князь, а я твой раб и вот тебе моя голова, а я творю, что хочу, что положит мне на душу Бог, а казнить, так казни, во всем твоя полная воля. Сопротивление этого рода он не в состоянии одолеть, даже силой сломить, даже если бы у него сила была, и он явственно, до боли, до несмываемой горькой обиды чувствует, что бессилен и слаб, тогда как они сильны и всемогущи.

Однако Иоанн представляется себе самому не только царем и великим князем в духе прежних великих князей и верховных военачальников. Он в то же время искренний, глубоко верующий православный христианин. Разрушение всегда наглой, давно осточертевшей Казани воспринимается им как своего рода крестовый поход, благочестивая миссия очищения лика земли от неверных агарян-мусульман. В благочестивость этой возвышенной миссии он верит безоговорочно и свято и свою необоримую веру спешит передать своим подданным, чересчур откровенно, открыто пекущимся о земном, тогда как, по его кровному убеждению, печься надлежит прежде всего о небесном. Он осеняет поход христианской идеей, он в окружении больших воевод служит торжественные молебны во всех храмах Владимира, моля Господа нашего Иисуса Христа даровать полную и необременительную победу православному воинству, да и в своей ставке перед походным киотом, составленном из наиболее почитаемых чудотворных икон, подолгу с колен не встает, каясь в грехах, вымаливая прощение ему и победу.

Странное дело, сопротивление подстерегает и в самом богоугодном его начинании. Подручные князья и бояре тоже ведь православные люди, однако они так же лицемерно покорны велениям Господа нашего Иисуса Христа, как лицемерно покорны земному царю, национальный характер, независимый, непокорный, заявляет о себе одинаково везде и во всем. Они исправно выслушивают молитвы утром и вечером, в воскресные дни благочестиво выстаивают утрени и обедни, постятся благоговейно, даже ожесточенно порой, в постные дни вкушают единожды в сутки лишь капусту да репу да мед, наконец щедро жертвуют на монастыри, на строительство храмов, чтобы черное и белое духовенство ретиво молилось за спасение их грешных душ, а в прочем живут как живется, при случае во время набегов грабят те же храмы, те же монастыри, за милую душу преступают священное крестное целование и даже в монашестве, если пристанет охота или царь и великий князь своей волей в монастырь пострижет, не почитают необходимым перечить своим греховным барским привычкам, так что иные монастырские кельи мало чем уступают в роскоши смиренно оставленным барским хоромам, а прислужников иноки из подручных князей и бояр держат при себе десятком, бывает и два. Этим ли странным христианам понять, с какого тут боку свет христианской идеи, служение Богу, крестовый поход? Они и не понимают. Юный царь, подолгу не встающий с онемевших колен, переходящий из собора в собор, как требует от него не привычный обряд, но жаждущая обрести Бога душа, представляется им чем-то вроде юродивого. Они чуть не открыто смеются над ним.

Замечательно, что все эти трения, несогласия, обманутые надежды, обиды остаются скрыты от невнимательных глаз. Подручные князья и бояре как ни в чем не бывало, и он как ни в чем не бывало. Известное дело, все они одинаково русские люди, одна кровь, одного поля ягоды, как аукнется, так и откликнется, по этому удобному правилу все и живут. На виду простых воинов и владимирских посадских людей согласие, единодушие, покорность, благочестие, почитание, за Бога, за царя и великого князя хоть сей момент на плаху тли в огонь. На виду

простых воинов и владимирских посадских людей громко чествуют будто бы царским словом избранных воевод, во всех церквях служат напутственные молебны и в первых числах января 1548 года наконец поднимаются в путь.

Чем дальше идут, тем безжизненней и голее земля – язвы и струпья немилосердных татарских бесчинств. Чем дальше идут, тем невообразимей картина передвижения московского воинства, точно всё это снится в горячечном сне. Полки, большие и малые, составляется дворянская конница. Средством передвижения служат большей частью низкорослые мерины, сильные, быстрые и у подручных князей и бояр, послабей, посмирней у рядовых служилых людей, однако не кованные у тех и других, что неважно и в летнем и никуда не годится в зимнем походе. Всадники восседают в седле по-турецки и время от времени выпадают из седел, если мерину приключается оскользнуться, тем более валятся на землю от столкновений в бою. Вооружены и одеты кто как горазд, сколько позволяют достатки. Кони воевод, кони богатейших князей и бояр покрыты шкурами местных рысей и привозных леопардов, седла парчовые, уздечки крыты золотом, украшены шелковой бахромой, отягощены дорогими камнями. Богатые и знатные и в походе носят шелковые одежды, подбитые шерстью, которая смягчает удар, отороченные горностаевым мехом, голову защищают стальным шлемом старинного русского образца, поверх одежд надевают кольчуги, латы или нагрудники, вооружены луком и стрелами, непременно владеют мечом. Прочее воинство, без недостатков, живущее хлебом, салом и водкой, не имеет ни шлема, ни кольчуги, ни лат, ни нагрудников, ни мечей, носит обыкновенную епанчу, кроме лука и стрел, вооружено кистенем или топором, а то и просто длинным ножом, оттого прочее воинство, защищенное только удачей, в бою ненадежно, бросается яростно на врага и бежит без оглядки, если враг выдерживает этот первый отчаянный натиск бешеной скачки, воплей и зверских лиц.

Ни воеводы, ни прочее воинство не имеют ни малейшего понятия о воинском строе, идут как попало, кто в лес, кто по дрова, воеводы хлопчут только о том, чтобы из простых воинов ни один не смел его обогнать, поскольку такого рода злокозненные проступки непереносимы для чести, не одного воеводы, но целого рода, и стоит всаднику по беспечности выдвинуться вперед, воевода бьет в барабан, притороченный у седла, и зазевавшийся всадник без промедления осаживает назад. Пищальники конные, Пищальники пешие тут и там, назади в лаптях мужики, собранные для подсобных работ, не пригодные к бою, и громадный обоз, замедляющий движение и без того неторопливого войска.

Лагерь не укрепляется ни частоколом и рвом по римскому образцу, ни сплошной цепью обозных телег по обычаю степняков, а разбивается где-нибудь на авось, на опушке леска, который и служит привычной и при многих okazиях надежной защитой, был бы лесок, в лесок всегда можно сбежать, в леске днем с огнем никакой супостат не найдет. Только воеводы и лучшие люди разбивают на ночь шатры, только воеводам и лучшим людям подается настоящий обед. Прочие воины, тем более сермяги и лапотники сооружают, каждый сам для себя, из прутьев шалашик, сверху прикрытый войлоком, или без канители пригибают кусты и накидывают сверху на них епанчу или мужицкий армяк, затем разводят костер, кипятят воду в котле, который всюду таскают с собой, бросают пшено, заправляют салом, редко куском ветчины, сдабривают луком и чесноком, в дождь и в метель, когда не разложишь костра, разбалтывают немного муки в холодной воде и употребляют тесто сырым, мужики питаются одним толокном, по обыкновению русского человека не подозревая о том, что терпят лишения, поражая без исключения всех иноземцев в течение двух столетий, наблюдавших тогдашний русский поход, своей неприхотливостью, железной выносливостью и нечеловеческой силой, способной медведя свалить одними руками, для удобства проделки ухватив косолапого за уши. К тому же это смиренные, мирные люди, придумавшие лежанки, источающие лень и тепло, они воевать не хотят и при каждом удобном случае норовят воротиться домой, так что воеводы обнаруживают, раз в неделю учиняя проверку, немалую убыль в личном составе полка, несмотря

на свирепый закон, согласно с которым виновный в неявке или побеге лишается имущества и поместья, однако не являются и бегут и поместья с барахлишком при них.

Этот первобытный хаос в полках умножается и доводится до предела внезапно и не по времени года обвалившейся непогодой. Ещё в декабре та зима встала крепко, как и положено русской зиме, с большими снегами, с прочными людьми на реках, обещая легкое движение обоза и пушек благодатным санным путем. А тут вдруг с начала похода заладили оттепели, то валит мокрый снег, залепляя глаза, расквашивая дорогу, верней, исконное бездорожье, так что после передних полков не пройти, то льют проливные дожди, невозможные для этого времени года, снега оседают, пушки и пешие ратные люди тонут в грязи.

По обычаю дедов и прадедов воеводы к исходу каждого дня собираются на военный совет, чтобы дать отчет о состоянии войска и получить указания на завтрашний день. Понятно, что состояние войска плачевное, сверху льет, снизу мокро, огня не разжечь, измокшие люди лишены возможности обсушиться, не могут согреться, необученные, не знающие настоящей солдатской муштры ополченцы, и без того не ретивые к ратным трудам, падают духом, с каждым шагом вперед всё больше утрачивают воинский пыл. Немудрено, что воеводы каждый вечер в один голос твердят: надобно, мол, воротиться, батюшка-царь, поход, воля Божья, отложить на подале, стало быть, до лучших времен.

Для одного Иоанна не может быть дороги назад. Отныне он царь и великий князь. Это его первый поход. Его одушевляет грандиозная цель, которую он сам поставил себе, ещё в первый раз приняв самостоятельное решение исторической важности. Уже по этому одному для него немислимо отступить. К тому же он убежден, что всё в руках Бога, а Бог не может не подать помощи православному воинству в священном предприятии против неверных. Он повелевает продвигаться вперед несмотря ни на что, напоминая подручным князьям и боярам о бедах татарских, от которых стоном стонет земля, о Боге, на волю которого должно им положиться.

Сердце и ум подручных князей и бояр мало трогаются для Иоанна столь несомненными доводами. Нехотя, без задора, без понимания своей исторической миссии они подчиняются его повелениям, полагая в душе, что всё это сущая блажь молодого царя и великого князя, младенца почти рядом с ними, да и какой он, помилуйте, царь. Настроение воевод незримым образом передается полкам. Движения замедляется до черепашьяго шага, а чем медленнее идут кони и люди, тем становится труднее идти.

Всё же кое-как добираются до Нижнего Новгорода, отдыхают несколько дней и пускаются дальше руслом реки, самой торной для русского человека дорогой. Тут непогода с новой яростью обрушивается на войско непокорного его предводителя. Не по времени теплые ливни льют потоками что ни день, снег пропитывается водой, местами вода течет, струится, бежит поверх льда, ледяная корка подтаивает, возникают продушины, коварно прикрытые талым снегом или стоячей водой, в продушины падают пушки, тонут вместе с упряжками и людьми. С величайшим трудом за несколько дней одолевают пятнадцать верст от Нижнего Новгорода и делают новый привал на острове Роботке.

То, что вполне по силам регулярным полком, закаленным в каждодневных трудах, способных, коль такая беда, одолеть и Чертов мост, и непроходимые перевалы швейцарских Альп, ополчение представляется абсолютно неодолимым. Воеводы настаивают: пора, батюшка-царь, ворочаться назад. Иоанн стоит на острове несколько дней, ожидая милости от природы, умоляя о помощи всемогущего Бога. Всемогущий Бог на этот раз помощи ему не дает, погода беснуется, выделявая несусветные выкрутасы. Наконец он сдается, верно, почуя, что ныне Бог добра не дает, повелевает князю Дмитрию Бельскому двигаться дальше, взяв с собой только легкие пушки, бывшие под началом князя Очина-Плещеева и дьяка Выродкова, не доходя татарской столицы соединиться с дружественными татарами Шиг-Алея, идущими от Мещеры к устью Цивили, и потревожить, сколько возможно, Казань, а сам с большими полками, поте-

ряв в разыгравшихся водах почти всю тяжелую артиллерию, тем же умопомрачительным бездорожьем отправляется восвояси в Москву.

Уже на пути нагоняет его счастливая, доводящая до отчаянья весть. Тем же бездорожьем, под теми же богопротивными ливнями князь Дмитрий Бельский, соединяясь таки с Шиг-Алеем, достигает пригородов Казани, один-единственный передовой полк князя Мигулинского сильным натиском сминает татар Сафы-Гирея и, по тогдашнему выражению, втаптывает бегущих татар в городские ворота, потеряв из знатных людей одного Григория Шереметева, затем, как полагает обычай, посадки опустошают и жгут и с честью пускаются вдогонку бесславному царскому воинству.

Сущности, для Иоанна это непереносимый удар. Удача князя Дмитрия Бельского подтверждает ему, что, вопреки противной погоде, была возможна большая победа, которую он так позорно, так оскорбительно упустил, поддавшись панике своих воевод. Он не может не видеть ни безобразного состояния старорусского войска, ни ещё более безобразного отношения к своим обязанностям подручных князей и бояр, возглавлявших полки, что в ярость приводит его, не способного терпеть противодействия с их стороны. Ещё горше сознавать ему собственное ничтожество, свою неспособность стать в самом деле верховным военачальником и царем, которого, как в душе его твердо сидит, ничто не может остановить.

Но горше горшего видеть ему в этой унижительной неудаче знаменье свыше. Для истинно верующего причина самых разнообразных невзгод ощутимо проста: все и всяческие невзгоды насылаются на нас за грехи. Подхваченный силой веры на крылья воображения, Иоанн не только склонен к беспредельному покаянию. Он в самом деле, редчайшее свойство, способен видеть свои собственные, как реальные, так и воображаемые грехи и от всей души сокрушаться своим несовершенством и своим непотребством.

Не он ли, вылавливая зачинщиков мятежа, постригал в монахи, отправлял в ссылку, казнил, что, разумеется, вменено Богом в непременную обязанность государя, да непозволительно христианину, призванному Богом не судить, не казнить, но возлюбить ближнего своего как самого себя? За грехи посланы ему и воеводы, и непогоды, и ливни, и продухи, и большие без боя потери в людях и в пушках, как есть – за грехи!

Этим так глупо, так нелепо завершенным походом он оскорблен как царь и великий князь, унижен как военачальник, уничтожен как верующий христианин, не удостоенный милости Божией за грехи, причем не в каком-нибудь незначщем деле житейском, а в деле святом, в походе на агарян-мусульман. Его чувствительность поражена до болезни, до предела натянуты нервы. В Москву он вступает в больших слезах, как выражается любящая высокопарные преувеличения летопись, во всяком случае, видят все, подручные князья и бояре, торговые и посадские люди, как омрачен и расстроен великий князь, сам себя отчего-то нарекший царем.



## Глава шестнадцатая

### Адашев

Впрочем, никто не видит его больших слез в истинном свете, верно, оттого и вворачиваются они под велеречивое перо летописца. Давным-давно не улаживаясь громом великих побед, Москва не улавливает смысла в его чрезмерных печалях. Она привыкла и опустошение и испепеление незащищенных посадов, то есть двух-трех десятков простонародных домишек, почитать за большие победы. Конечно, если царь и великий князь весь в слезах, так никакого ликования при возвращении князя Дмитрия Бельского со товарищи нет, да нет и расстроенных чувств, как нет настоявшейся жажды в пух и прах истребить векового врага. Побили татар, привели сотню пленных, притащили награбленный скarb – славное дело, иных и на памяти стариков не видала Москва. А стояние на Угре? Боже мой, когда это было!

От поражения действительного, поражения несомненного, похоже, страдает один Иоанн. Стало быть, он один силится осмыслить причины ошеломляющего провала его грандиозного замысла: ведь всё Казанское ханство замахнулся под корень срубить, а кончилось тем, что беспомощные, за городской стеной брошенные посады пожгли. Ну, грешен он, послано ему за грехи, тут надобно всedневно свою слабую душу блюсти, тут неусыпными трудами христианина, то есть постом и молитвой, надобно снискать снисхождение Бога, и он истово кается и часто служит молебны по московским соборам и подгородным монастырям. Однако в чем же просчет государя?

Кажется, в первый момент разгоряченный, едва ли не ослепленный жгущей огнем стыда неудачей им так вдохновенно задуманного похода, он не успевает ни разглядеть, ни распознать, ни даже сколько-нибудь сосредоточиться именно на причинах, на просчетах своих и просчетах своих воевод. Скорее всего на первых порах им обнаруживается лишь то, что лежит на поверхности происходящего: недостаточное вооружение, дурные лошади многих служилых людей, которые обязаны являться на службу конно, людно и оружно, как обозначено в писцовых книгах дотошными дьяками, крест на то целовали, а вот подишь ты, являются черт знает в чем и на чем.

Он импульсивен, горяч, не терпит ни в чем поражений, на каком бы поприще они ни настигли его, он жаждет победы несмотря ни на что, а для победы необходимо без промедления готовить новый, на этот раз всенепременно успешный поход. К тому же татары его подгоняют. Не успевает золотая осень разубрать, разукрасить Русскую землю, как татары Арака-богатыря стремительным наскоком на откормленных степными травами быстроногих конях разоряют Галич и волость, набрав добычи и пленных, ещё хорошо, что Яковлев, костромской воевода, успевает перенять убийц и грабителей и уничтожить большую часть степняков в короткой, но безжалостной сече, в которой падает с разгулявшихся плеч и забубенная головушка самого Арака-богатыря, тем лишний раз подтверждая царю и великому князю, что татарам не выдержать русский удар, надо только этот удар нанести.

Однако он видит, что не так просто собраться в новый поход. Воевать не воевали, а потери немалые. Довольно медных денег осталось в мешке, горькая память о потонувших, пропавших без вести или разбежавшихся воинах, на волжском дне почти вся осадная артиллерия. Необходимо вернуть, восстановить, пополнить полки. С чего начинать?

В течение всей своей тысячелетней истории человечество придумало всего три формы правления: единовластие, олигархию и демократию. У каждой формы правления есть свои достоинства, свои недостатки, оттого они довольно часто сменяют друг друга, на место одних достоинств и недостатков встают иные достоинства и недостатки, а воз и ныне там. Однако у всех трех форм правления одно основание: вооруженная сила. Без вооруженной силы ни единодержавие, ни олигархия, ни демократия не смогут продержаться и часа, как ни верти, а

всё диктатура, диктатура, мой друг. Чтобы иметь вооруженные силы, все три формы правления с одинаковой рьяностью собирают налоги. Чтобы собирать налоги достаточные, каждая из форм правления обязана содержать в исправности постоянные источники обложения и не покладать рук на то, чтобы эти источники становились обильнее день ото дня. Если не содержатся в исправности постоянные источники обложения, если они не становятся обильнее день ото дня, тогда не собираются в должной мере налоги, без налогов не заводится вооруженных сил, боеспособных и преданных хоть царям, хоть олигархам, хоть демократам, вооруженной силе едино, лишь бы платили. Стало быть, без источников обложения, без налогов, без вооруженных сил любая власть обречена на истребление или мирный, тихий, бесславный провал.

На этот раз Иоанн не поднимается до высот философии. Язычника Платона, судя по всему, он не читал, как и никто не читал под бдительным и ревнивым оком православного духовенства, которому любой язычник поперек горла стоит. Он действует стихийно, но верно, благодаря старинной русской смышлености и остроте своего начитанного ума. Он начинает с того, что отправляет Алексея Адашева в Разрядный приказ проверить по книгам наличное воинство, которое в ближайшие месяцы можно будет посадить на коня. Из Разрядного же приказа вызывается дьяк Иван Выродков, ведающий орудийным нарядом, как именуется на Москве артиллерия. Дьяк почтительно докладывает царю и великому князю, сколько пушек потеряно во время похода, сколько необходимо вновь отлить на Пушкарском дворе, чтобы осада Казани имела полный успех, сколько и откуда завезти меди и чугуна, сколько заготовить селитры для изготовления пороха, наконец, что, разумеется, важнее всего, во сколько обойдется царской казне столь радикальные меры. А пока что не набравший силу, а потому исправный Адашев доносит, что без особого напряжения до ста тысяч служилых людей может быть посажено на коня, из этих ста тысяч не менее двадцати должно выдвинуть к южной украине на случай злодейского набега крымских татар, не менее десяти тысяч оставить на литовской украине, где пока на сей час не воюют, а беспокойно всегда, однако в действительности годными к службе, именно конно, людно и оружно, едва ли наберется и половина, тысяч пятнадцать и то хорошо.

Иоанн, естественно, в бешенстве, это обычное его состояние при малейшем противоречии его сердечным намерениям, неважно, выказывает он свое бешенство или усилием воли сдерживает себя. В самом деле, войско у него как будто бы есть, а как будто войска и нет! Отчего?

Адашев, испытываемый им в первый раз, оказывается человеком расторопным, дотошным и потому готовым к ответу. Ответ сногшибательный: по закону земельный оклад вооруженного конного воина должен составлять сто пятьдесят десятин пашни в трех полях, а в действительности отводится Разрядным приказом по сто двадцать и по шестьдесят десятин, так что таким укорочено обеспеченным воинам ни с достойным конем, ни с достойным оружием на сбор никак не прийти, что Иоанн и сам на походе видел прекрасно, когда большинство всадников оказалось без шлемов, без панцирей и без мечей.

И это ещё ничего, продолжает подобострастно Адашев, немалому числу служилых людей отпускается по тридцати, по двадцати и по десяти десятин, причем сами служилые люди заниматься хозяйством не могут, то есть не пахут земли, а землепашцы на поместные земли за оскудением владельцев идти не хотят, вольный народ, ищет, где лучше, по этой причине служилые люди являются на службу даже пешими и с одним топором, другие вовсе не способны в службе служить, иной, чтобы только кормиться, волочится между дворами, иной стоит на клиросе дьячком, так что без денежного оклада, да ещё тотчас после большого похода, многих служилых людей не собрать. Если денежный оклад, как определяет закон, положить в один рубль, общая сумма денежных выдач может простираться до ста тысяч рублей. Однако малопоместным беднягам следует возвысить денежный оклад до двух и до трех рублей, а беспоместным и до пяти, чтобы имели возможность явиться хотя бы конно и с мешком сухарей,

то есть новый казанский поход обойдется приблизительно в двести тысяч рублей из царской казны, а с новыми пушками сумма может возвыситься и до трехсот.

Понятно, что эти триста тысяч рублей следует взять из царской казны, другой казны не имеется. Однако казна царя и великого князя, то, что осталось после разорения в смутное время, превратилась в дым во время пожара. Зная об этом, Иоанн перед прошедшим походом объявил чрезвычайную дань. Адашеву дается повеление выяснить, сколькими данями обогатилась казна. Адашев с поразительной быстротой выясняет, что казна обогатилась ничтожно, сравнительно с теми расходами, которые казне предстоят, поскольку, кроме войны, грядут громадные траты, в том числе на содержание двора и на содержание царя и великого князя, то есть на содержание от двух до трех тысяч подручных князей и бояр, постоянно живущих в Москве и поступающих на хлеба царя и великого князя.

Таким образом, молодой государь, восемнадцати лет, обладатель обширного, далеко не бедного государства, оказывается чуть не банкротом, которому впору не то что новый дорого стоящий поход затевать, а с рукой между дворами идти.

Исполнительность, расторопность Алексея Адашева приходится Иоанну по вкусу, люди этого сорта всегда находка для любого правителя, пока в разгулявшихся умах этих исполнительных, расторопных людей не заведется паскудная мысль прибрать к рукам своего господина и командовать им. Без долгих оказий из Челобитного приказа Алексей Адашев перемещается в Казенный приказ, получает новые повеления, а с ними и новые полномочия, чтобы разумно и кратко очертить молодому властителю все источники и все действительные поступления природы и денег в казну, и принимается старательно, кропотливо изучать писцовые книги.

По книгам он устанавливает, что источники разнообразны. Самый прочный, самый надежный и регулярный доход, хотя и не самый большой по объему, дает собственный царский удел. По завещанию отца Иоанну принадлежит тридцать шесть городов, а также села с тянущими к ним деревнями, на каждую деревню не более трех, скорее двух взрослых мужчин, каждая в три, два, сплошь и рядом всего в один двор. Деревни, села и города чинят строения, ставят новые хоромы царю и великому князю, доставляют дрова и лучину, ставят подводы под царский обоз, свозят в царские закрома и амбары хлеб, скот, сено, рыбу, мед, а также выплачивают дань в привычных размерах за аренду царской земли. Приестъ всё это обилие ни царю и великому князю, ни его прожорливому двору не под силу. Управители и волостели по заведенному от века порядку продают всё, что остается от потребления, и ежегодно выручают до шестидесяти тысяч рублей, единственный довольно щедрый доход, на который можно рассчитывать твердо. Что касается даней и пошлин, то определить хотя бы приблизительно общую сумму никакой возможности Алексеем Адашевым не находится, когда как, а бывает, что и вовсе никак.

Иоанн негодует: что за дичь?! Алексей Адашев уверенно изъясняет с выписками в руках, что от Ивана Калиты до самого недавнего времени писцы не отслеживали право владения, земель не меряют, не проводят межей, а лишь составляют списки селений и проживающих там тяглецов, отправляясь единственно от слов волостелей, то есть приблизительно и на глаз, на этом основании, весь шатком, как видишь, батюшка-царь, записывают оклад тягла, отмечают, опять-таки со слов волостелей, вновь поселившихся тяглецов, вычеркивают отошедших от нас в лучший мир, на другие земли или сгинувших безвестно куда, которых именно в последнее время становится всё больше и больше, так что много-много отбывших неизвестно куда числится по посадкам и волостям, затем раз в год собирают дани и пошлины, от семидесяти пяти копеек до одного рубля с тяглеца, в обыкновенные времена имеющего доход около трех рублей в год, из чего следует, что точную сумму этих даней и пошлин предугадать никому не дано.

Иоанн только бессильно разводит руками. Адашев же прибавляет, что с конца правления прозорливого деда Ивана Васильевича писцы понемногу занимаются межеванием, однако обмеривают и размежевывают владения с подозрительной неторопливостью, если прямо не

спустя рукава, оттого, вероятней всего, что владельцы и тяглецы, склонные с злокозненной изворотливостью уклоняться от внесения даней и пошлин, межевщикам в лапу дают, да и самих межевщиков повсюду не достает.

С тем же постоянством, с той же надежностью, хотя с серьезными колебаниями, казна пополняет данями и пошлинами торговых людей, как внешними, так и внутренними, которые взимаются с них чуть не на каждом шагу, на дорожных заставах, на речных переправах, за въезд и выезд из двора для гостей, за погрузку и выгрузку, за хранение товаров на складах, при продаже лошади за тавро, при продаже соли за вес.

Первым товаром у германских, французских, Голландских, английских гостей ходит рухлядь, то есть меха, без малого на пятьсот тысяч рублей в год со всего Московского царства, первенствуют, само собой, соболя, менее спрос на белых медведей с Печоры, на бобра с Кольского полуострова, на чернобурок и горностаев. Воск берется по всему Московскому царству, до пятидесяти тысяч пудов. Сало идет из Смоленска, Ярославля, Углича, Нижнего Новгорода и Твери, от тридцати до сорока тысяч пудов. Далее следуют лосиные кожи из Вычегды, Перми, Муром, Ростова Великого и Великого Новгорода, икра и белорыбица из Ярославля, Белозера и Нижнего Новгорода, лен из Пскова, конопля из Смоленска, Вязьмы, Дорогобужа, соль из Старой Руссы, деготь из Смоленска и Двинска, селитра из Устюга Великого, Ярославля и Углича, железо из Каргополя и Устюжны, татары берут седла, уздечки, одежду, сукно.

Это наши товары на запад и на восток. А что к нам? Много и к нам. С запада везут серебро в слитках, золото для шитья, сукно, медь, кружева, зеркала, иглы, ножи, кошельки, финна и фрукты. Арабы и персы потчуют шелком, парчой, коврами, жемчугом, камнями редкими в ожерельях, серьгах и кольцах. Сколько всего? Исправный учет не ведется.

Заморские гости собираются в месте удобном, где в Волгу впадает речка Молога, место называют Холопьем городком, ярмарка растягивается месяца на четыре, ладьи и струги набиваются так плотно в лиман, что по ним с одного берега можно перейти на другой. Товары красуются повсюду на просторном лугу, обставленном гостинными дворами, а при гостинных дворах абаки, общим числом до семидесяти. В одном этом месте, в Холопьем городке, в хорошие годы даней и пошлин снимается до ста восьмидесяти пудов серебра, в худшие значительно меньше, а нынче год от году скудней и скудней, татары не дают проходу гостям, разбойники грабят по Волге иной раз пуще татар, Литва и Ливония замыкают пути, от утеснений в торговле с той стороны Псков и Великий Новгород начинают хиреть, да и Шуйские в Пскове в твои малолетние года, батюшка-царь, много старались, торг стало не с кем вести, оттого и гости перевелись.

Наконец дани и пошлины с черных земель, которые числятся за государем и тоже питают казну, источник малонадежный и смутный, в твоё малолетство обмелевший чуть не до дна. Черные земли умяляются, исчезают, отчасти бесследно, писцовые книги на сей счет крепко молчат, с некоторой достоверностью только и можно сказать, что по книгам числится одна пятая часть, сравнительно с тем, что досталось в наследство. Впрочем, кое-что Адашеву удалось разыскать. Так, наместники получают в кормление черные земли, норма известная, однако же многие, пользуясь безурядицей, происшедшей в твоё малолетство, подверстывали к своей норме окрестные села и деревеньки, тянущие к ним, отчего большие убытки казне. Наместникам же не довольно и этого грабежа, самого по себе вовсе не малого. Превышая все нормы кормления, наместники и волостели бессовестно грабят землепашцев, звероловов и рыбаков, выдирая в свою пользу многие дани и пошлины, каких выдирать им никто не велел, на свои обозы кладут чрезмерную гужевую повинность, по иным делам вдвое и втрое дерут, иные дела не разбирают совсем, вызывая в народе не столько ропот, сколько тоску, от которой народ в немалом числе покидает черные земли, уходит от тягла в казну, и многие черные земли пустеют, села и деревеньки стоят без людей.

Скверно, да ещё и это не всё. Черные земли, грабежом наместников и волостелей обращенные в пустоши, потихонечку-полегонечку вплетаются в вотчины, а больше всего явным

чудом переходят в монастыри, в твое малолетство значительны владения свои округлившие, так что нынче одним только монастырям принадлежит около третьей части всей московской Русской земли, немудрено, что поместный оклад, идущий из черных земель, обедняется до двадцати, до десяти и до трех десятин и многим из служилых людей немощно сесть на коня.

Да и это ещё полбеда. Горшая беда в том, что тарханские грамоты, которыми владельцам жалуются дани и пошлыны, и посошная служба, и деньги ямские, и тамга, и за свершение правосудия, даже полонянные деньги, идущие на выкуп русских пленных рабов, томящихся в зловонных клетях и ямах казанских и крымских татар, расплодились в твое малолетство как никогда. Нечего удивляться, что от грабежа наместников и волостелей посошные люди с черных земель перебегают под благую сень вотчинных и монастырских тарханов, поскольку ни князь, ни боярин, ни игумен и архимандрит не станут грабить своих тяглецов донага, а ещё на обзаведение щедрые ссуды дают, в расчете поудержать землепашцев, звероловов и рыбаков долгой кабалой, отчего крупнятся деревеньки и села, в первую очередь монастырские, уже многие считают и по десять и по двенадцать дворов, а села митрополита и в шестнадцать и в восемнадцать дворов, а село Бисерово Коломенского уезда до пятидесяти трех дворов разметнулось. Митрополичий двор и его примером обитатели уже прямо посягнули на воровство, в иных местах отнимают пашни и звериные да рыбные ловли у черных крестьян, крестьяне тягнутся с честными иноками в суде, да правда в суде наместника и волостеля за тем, кто щедрее даянье дает, где землепашцу, зверолову и рыбаку тягаться с монастырской казной. В книги же честные иноки сказывают писать одни пустоши, новые земли, а о прежних владениях сведенья погружают в непроницаемый мрак неизвестности, тем самовольно освобождают себя от даней и пошлын в пользу казны.

Что же грамоты? У Алексея Адашева и на этот запрос приготовлен ответ. Жалованные грамоты испокон веку выдаются владельческими князьями своим лучшим служилым людям, верным соратникам, удачливым воеводам за преданность, за усердие службы. Когда же московские великие князья приняли под свою высокую руку уделы, грамоты жалуются и тем, кто всего лишь переходит на службу Москве, тогда как удельные князья принимаются раздавать жалованные грамоты направо и налево, тем вербуя сторонников, готовых поддержать их явное, а чаще тайное противодействие московскому великому князю, силой или покупкой приневолившего крест целовать.

Тягость последствий щедрой раздачи жалованных грамот для казны и благополучия великого князя ощутилась давно, Иван-то Васильевич, дедушка, сперва резко сокращает пожалованья, в конце же правления вовсе перестает жаловать подручных князей и бояр теми грамотами, которые освобождают от даней и пошлын, не исключая монастыри, понуждая владельцев, архиереев, игуменов и архимандритов служить великому князю доходами, а вместе этой нерадостной мерой указывая на их подручное, подчиненное положение на Москве. Великий князь Василий Иванович, батюшка твой, царь-государь, долгое время следует мудрому завету отца и жалованных грамот не выдает, затем нужда, несговорчивый наш господин, принуждает пожалования возобновить, однако в ограниченных довольно размерах, а три года спустя вновь воздерживается ублажать льготой и привилегией самолюбьице и аппетит подручных князей и бояр. Зато в смутное время боярских самовольных правителей жалованные грамоты выдаются бессчетно, большей частью полные льготы и привилегии получают монастыри, причем грамоты жалуются кем ни попало и всякому, кто желал и не смущался на мзду, отчего безданными и беспошлинными становятся чуть ли не все, разве что окромя ленивых и праздных, а в казну не с кого и не с чего взять.

Алексей Адашев не голословен, читает грамоты, указывает на выписки, сделанные по его указанию писцами в Казенном приказе из книг, выкладывает ровные столбики писарской вязи, в которых бесстрастно подсчитано число десятин дворцовых, черных, вотчинных, поместных, митрополичьих и монастырских, суммы даней и пошлын, тамги, денег ямских, полонянных,

пудов меда и воска, железа, сала, льна, конопли, которые показывают попутно, сами собой, что писцы царя и великого князя даром его хлеб не едят.

Иоанн слушает, смотрит и видит: пользуясь безгласным его малолетством, его обобрали кругом. Бывало он сокрушался, что Шуйские в бесчинствах своих дошли до того, что стащили золотые блюда, так те покражи были сущие вздоры, мелкое воровство, а в этих записках, исчислениях, суммах уже не мелкое воровство из государева сундука, оставленного без присмотра несмышлением отрока, а прямая татьба, открытый разбой среди белого дня, грабеж похуже татарского. От татар отобьемся, Бог даст, это он решил твердо-натвердо, как отбиться от князя, от боярина, от игумена и архимандрита, от наместника и волостеля, которые все у него под рукой, а управы на них не находится? Что же, на всех подручников тоже войной?

Награбленное необходимо вернуть, конечно, из справедливости, а также из горькой нужды, ему позарез надобно вырвать из жадных рук подручных князей, бояр и монахов свои земли, свои дани и пошлыны, без которых не нынче, так завтра у него не останется войска, вернуть деньги ямские, без которых не наладишь почты, не отправишь гонца, не поправишь дорог, вернуть полонянные деньги, без которых не выкупишь пленных, разве он нехристь какой позволять измываться над православными иноверцам. Надо, надо вернуть, а миром не отдадут, все как один поднимутся против него.

Собственные права Иоанн всегда защищает без колебаний, не оглядываясь, не высчитывая последствий, не обращая внимания на опасности, которые ему, без сомнения, угрожают и спереди и со спины. В нем оскорблен великий государь, помазанный Богом, в нем унижен человек с непримиримым и властным характером, в его болезненно-подвижной, податливой памяти вновь бродят зловещие тени недавних ещё надругательств, в его душе вдруг принимаются жесточайше звучать голоса его хозяйственных, оборотистых, прижимистых предков, возвысивших не чем иным, как жилистым скопидомством Москву, ни под каким видом не упустивших своих прибытков и выгод, так что его дедушка отправлял иноземным послам на жаркое баранов из собственных закутов, а шкуры требовал возратить на хозяйские нужды. Ни один из внуков и правнуков Калиты не позволил бы никому из подручных князей и бояр отторгнуть и пяди черных земель, и полушки вперед исчисленных поступлений с доходных статей, да и кто бы решился их обобрать так непомерно и подло, как обобрали его? Не сносил бы тот разбойник и тать головы. Ничего удивительного, что Иоанн тут же принимает крутое решение, от которого не могут не содрогнуться подручные князья и бояре, игумены и архимандриты, даже митрополит, тоже не постеснявшийся стащить кое-что и прирезать к двору своему. Алексей Адашев получает приказ: отпуск кормлений наместникам и волостелям высчитать до алтына, до медной деньги и впредь строжайше карать за превышение хотя бы охапкой старой соломы или четвертью ржи, затем, что для подручных сквернее всего, учинить пристрастную, придирчивую проверку всех жалованных грамот и не подтверждать тех, которые выданы в последнее время, начиная со смерти отца, впредь новых жалованных грамот не выдавать. К этим распоряжениям Иоанн прибавляет поручение важное, свидетельство его честных намерений и верности данному слову: подготовить новый Судебник, свод законов, по которым он станет судить всех охотников до чужого добра.

Бесстрашный он все-таки человек, сеет ветер, красной тряпкой дразнит не одного, а целое стадо разъяренных быков.

## Глава семнадцатая

### Сильвестр

Камень брошен и покатился с горы, уже ничего нельзя изменить. Начиная с этого важного дня, когда отдан приказ о тарханах, придется двигаться всё вперед и вперед, если он не захочет быть погребенным под вызванной им же самим, всесокрушающе летящей лавиной жадности, недовольства, проклятий, за пазухой запасенных камней, в любую минуту готовых обрушиться на него, ненависти, вражды, вплоть до жажды его погубить.

Преобразования замышляются и проводятся в жизнь не добродетельными человеколюбивыми деятелями, которые жаждут отвлеченного, большей частью несбыточного добра, тем более не мечтателями, благородными, наивными и смешными, не либералами и балалаечниками, которые голыми руками любую беду разведут. К преобразованиям принуждаются те, кто имеет власть и тесним обстоятельствами, кто при этом умен, решителен и непреклонен в борьбе, всегда очень просто, без декламаций, без предварительных планов, чаще всего неосознанно, без предвиденья, без дотошного просчета возможных последствий, которые, как равнодушно свидетельствует история, никому не дано просчитать. Преобразования коренные, с вековыми последствиями начинаются с удовлетворения будничных, неотложных потребностей государства, которые, в сущности, у всех на виду, да никому на ум не приходит взяться за них.

У Иоанна таких будничных, неотложных потребностей больше, чем надо. Татар необходимо уговорить навсегда. Это понятно даже младенцу, до того эти хищные варвары остерчели всем и каждому на Русской земле. Чтобы уговорить татар, необходимо подготовить хорошо вооруженное, главное – боеспособное войско, эта необходимость тоже понятна даже младенцу, ещё не успевшему познакомиться с тем, сто такое война. На вооружение, на подъем боеспособного войска необходимы громадные деньги, не менее чем две трети доходов казны, причем её доходов в лучшие годы, а по нынешним временам едва ли достанет всех доходов казны, казна же пуста. Стало быть, необходимо наполнить казну, однако источники обложения значительно и бессовестно урезаны разрезвившимися на поле подручными государя, пока государь был слабосилен и несмышлен. Как же в таких обстоятельствах должен поступить государь, даже если он залетел на царский стол дурак дураком?

Вопрос риторический. В таких обстоятельствах государь свои доходы, законные, закрепленные за ним стародавним обычаем, утвержденные волей отцов, незаконно раскраденные подручниками, прямо-таки обязан вернуть. Иоанн и возвращает свои украденные доходы пересмотром жалованных грамот, выданных произвольно, по самовластью подручных князей и бояр своей родне и приспешникам или за мзду.

Однако подручные князья и бояре, их приспешники и родня давно позабыли, из каких кладовых поступили в их сундуки эти славные прибыточные грамоты на льготы и привилегии и каким способом в их далеко не скудных владениях так обширно прирастались пашни, звериные и рыбные ловли, пастбища и луга. Украденное уже превратилось в свое, собственное, чуть не потом и кровью добытое добро. Такое украденное, приросшее с мясом, ещё трудней воротить, чем долги, а и долги отдавать нелегко. К тому же подручные князья и бояре всё украденное и не считают украденным, русскому человеку это неприятное чувство неведомо, а так, берем, что плохо лежит. Стало быть, своего добра они даром не отдадут. Они что-нибудь непременно придумают. Иоанну тоже что-нибудь придется придумывать. Так из роя сиюминутных решений, ответных решений и новых сиюминутных решений и сложится большая часть истории царствования, причем слишком многое в его малозначительных буднях, в его вседневной мелкой борьбе никогда не попадет ни в какие писцовые книги, ни в летописи и по этой причине никогда не добредет сквозь века до потомков, соблазняя их на догадки, гипотезы, в особенности на всякого рода зловещие либо умилительные легенды. Нигде, ни в одной строке

летописей не запечатлелся понятный и неизбежный ропот подручных князей и бояр, игуменов и архимандритов, в один день лишившихся прежних привилегий и льгот, отныне обязанных урезывать от своих щедрот и дани и пошрины и деньги ямские и полонянные, перечислять эти немалые суммы царской казне, убытки громадные, убытки невосполнимые. Однако вновь, как после пожара, когда нужда припекла спасти виновные головы мятежных князей и бояр, подбивших перепуганный погорелый народ на злодеяния убийств, разорений и грабежей, перед Иоанном возникает Сильвестр.

Собственно, на этот раз Сильвестр всего лишь приглашает царя и великого князя взглянуть на работы, под его попечением ведущиеся в пострадавших от огня кремлевских палатах, восстановленных с неподражаемой быстротой. Об иноземных живописцах, задержанных по дороге в Москву ливонскими рыцарями, ни слуху ни духу, да Сильвестр, патриот, сторонник полной изоляции Московского царства от еретически-зловредной Европы, и не дожидается никаких иноземных художников, намеренных шустрым Шлиттом и застрявших в пути где-то между Ригой и Юрьевом, а с похвальным рвением набирает по новгородским монастырям, по соборам, по иконописным и иным мастерским, своих, русских умельцев, объявляет им волю царя-государя и на практике осуществляет излюбленную им идею порядка, обстоятельно изложенную им в «Домострое», которая состоит в том, чтобы умельцы, под страхом справедливого наказания, то есть битья, но не до смерти, беспрекословно исполняли его приказания, а его приказания контролируют каждый их шаг, каждый мазок и дотошно расписывают весь распорядок работ, определяют место каждой кисти, каждой стремянки, каждой миски с водой, указывают размеры, назначение и расположение всех лесов и настилов и, разумеется, пространно обозначают все сюжеты настенных картин, которые царю-государю надлежит лицезреть изо дня в день вплоть до погребальной плиты.

Сильвестр оказывается организатором работ замечательным, может быть, непревзойденным. В полной тишине, чинно, не теряя даром минуты рабочего времени целая толпа мастеров трудится над украшением где подновленных, где полностью восстановленных царских палат, не жалея ни позолоты, ни синева, хотя со времени истребительного пожара протекает не более года, кое-какие фигуры уже завершены, кое-где уже начертаны красноречивые надписи, в одном месте фигуры только начаты, в другом только намечены, там завершен фон, в другом месте закончено обрамление, поскольку работы, благодаря усердию и остроумным расчетам Сильвестра, ведутся не штучно, одним заслуженным мастером, каких в распоряжении Сильвестра и не имеется, а коллективно, кто в чем горазд или кто к чему определен неоспоримым и неоспариваемым распоряжением протопопа, так что замысел уже очевиден, и батюшке-царю есть на что поглядеть.

Замысел Сильвестра, начетника и плакатиста, до крайности прост: на протяжении всей своей жизни московский царь и великий князь всякий день, всякий час, при дневном свете и при свечах должен получать полезные и наиболее полезные наставления уму и духу его, чтобы в конце концов превратиться в молельника, в праведника на троне, на что Сильвестр, сразу видать, надеется твердо.

Уже в сенях, около двенадцати метров длины и до девяти ширины, при входе вверху, в малом круге писан Господь Саваоф на престоле сидящий, в недрах сын, над ним Святой Дух, по большому же кругу в семи отделах изображения не менее впечатляющие, призванные внушать трепет, пока, разумеется, не примелькаются, не надоедают и станут неприметны для оравнодушенных глаз от каждодневного многократного лицезрения, причем первым идет «Благословение Господне на главе праведного» состоящее из двух молящихся мужей и летящего Ангела благословляющего, так что представляется вступившему в сени, что именно ему предназначено благословение Ангела. Далее следуют: «Сын премудр веселит отца и мать», «Поучение приемлет источник бессмертия, из уст справедливого каплет премудрость», причем это изображение сопровождается пояснением, лестным для Иоанна, что это царь сидит на пре-



столе млад, а на главу его венец возлагает Ангел летящий, и во избежание кривотолков лику писаного младого царя приданы черты Иоаннова лика, «Зачало премудрости: страх Господень. Стяжи разум Вышнего и вознесет тя и почтет тя и обымет тя и даст главе твоей венец нетленный и гривну злату на выю твою», «Дух страха Божия», «Пути праведных подобно свету светятся», «Сердце царево в руце Божии», где вновь молодой царь с Иоанновым ликом сидит на престоле со скипетром и державой, а в облаке Спасов образ Вседержителей, младого царя обеими руками благословляющий.

Ещё более знаменательна, практически для Иоанна более важна Золотая палата, в которой по стенам верхний ярус занимает десять картин, изображающих достославные подвиги Моисея, а нижний предоставлен под второй десяток картин, на которых Иисус Навин в положениях самых различных, но всюду одинаково с пресветлым Иоанновым ликом, верхом на коне, во главе исключительно конного войска, въезжает в покоренные города и в каждом городе посекает, не зная пощады, всех до единого, царей и народ, избивает, истребляет всё смеющее дышать, причем на иных картинах избияния и истребления осеняются Саваофом на облаке с державой в левой руке или одной Рукой благословляющей, так что протопоп Благовещенского собора Сильвестр не столько в милосердии, сколько в зверской жестокости наставляет молодого царя и великого князя, твердо уверенный в том, что милосердие надлежит применять только к избранным и своим, тогда как врагов надлежит истреблять без зазрения совести до седьмого колена, мораль, которую Иоанн впитывает с самого детства из всех наставлений, включая зловещий, на кровавый жертвы призывающий Ветхий Завет.

Конечно, поп Сильвестр откровенно льстит Иоанну, в некотором смысле возвышая его до Иисуса Навина, за что Иоанн попа, разумеется, не бранит, однако в глаза здесь все ему льстят, на коленях стоят, лбом об пол стучат, лестью в такой перенасыщенной атмосфере общего славословия немного возьмешь. Берет поп другим: он верно понимает душевное стремление Иоанна, его представление о государе, наводящем ужас на иноверных, истребляющем врагов своих огнем и мечом до пятого, шестого и седьмого колена, идущего походом на нечестивых, на агарян-мусульман, чего его воеводы не сумели или не захотели понять, тогда как тут, пусть аляповато, наивно, не мудрствуя, представлено ясно и красочно, кого и за что благословляет кладезь справедливости и премудрости Бог Саваоф.

Уже появление попа Сильвестра в кровавой кутерьме народного бунта с зычным пастырским гласом, с воздетой десницей, с восторгом в глазах производит на Иоанна такое сильное впечатление, что он возвышается до публичного покаяния, которое, как известно, дается не каждому. После осмотра возрожденных из пепла кремлевских палат и к его сердцу, к его сознанию обращенных изображений, обрадованный, как всякий человек действия, дружным кипением общих работ, так стройно и эффективно организованных, он с новым вниманием приглядывается к хитроумному благовещенскому попу.

Хитроумный благовещенский поп очень многим привлекает его. Сильвестр, в отличие от большинства светских и церковных служилых людей, не домогается чина протопопы, без особого лицемерия вслух именует себя наипоследнейшей нищетой, грешным, непотребным Сильвестришкой, стяжает богатства честной торговлей, а не прижиливает на каждом шагу того, что плохо лежит, скромно живет, в трудах богослужебных и письменных, кропотливо и тщательно составляет свой «Домострой», понемногу и собственными трудами писца приобретает довольно солидную библиотеку, проводит много времени среди книг, может быть, не совсем твердо, однако всё же читает по-гречески и во всех этих отношениях представляется едва ли не чудом в сравнении с прочими духовными лицами, зараженными тщеславием, честолюбием, свои бесценные дни проводящими в греховном стяжании, в ненавистном Христу сребролюбии, в непозволительном обжорстве и пьянстве, не только не охочими до книжной премудрости, но в массе своей изначально невежественными, порой не знакомыми с грамотой.

Сам страстный книжник, составитель обширной и ценной библиотеки, начатой при поощрении и участии митрополита Макария, Иоанн наконец обретает достойного собеседника, исключительно редкого при скудном просвещенными умами московском дворе, а страстный спорщик встречает упрямого оппонента, который никогда не отступает от раз навсегда принятых положений, так что один вечно ищет, взыскует, сомневается и добивается истины в вечно изменчивых и запутанных делах управлениях, особенно трудно дающейся в его неудобном, часто болезненном положении решительного, крутого правителя и в то же время увлеченного, до упоения, со страхом и догматически верующего христианина, тогда как другой хладнокровно отрезвляет его давно известными, за века устоявшимися, отвлеченными, закаменелыми аксиомами, и до того занимают его эти премудрые и премудреные прения, эти отчасти богословские, отчасти доморощенно-философские споры и рассуждения, что Иоанн то и дело одаривает Сильвестра редкими рукописями из собственного книгохранилища, знак искреннего дружелюбия, чуть не влюбленности со стороны всякого завязтого книжника.

Не менее занимательны для него беседы с протопопом Сильвестром о многосложном домашнем хозяйстве, которым он распоряжается так же страстно, как берется за всё, и в котором не может быть наставника лучшего, чем дотошный творец «Домостроя». С увлечением, отыскав наконец благодарного слушателя, Сильвестр по всех подробностях разворачивает перед ним ими обоими горячо любимый идеал неутомимого домоводства, усердного трудолюбия, чистоты тела, одежды, покоев и кухни, неукоснительного порядка, рачительной бережливости, неутомимого скопидомства, не чуждого расчетливой скупости, семейной строгости, основанной на любви и взаимности уважения, широкого гостеприимства и тороватости, от сердца идущего благонравного нищелюбия. Сильвестр уверенно, обстоятельно излагает ему, как беречь старое платье, как ставить заплаты, как богоугодно наказывать провинившихся слуг, как мыть посуду, как амбары в порядке держать:

— А в житницах у ключника был бы всякий запас и всякое жита: солод и рожь, овес, пшеница не сгноено, и не накапала бы, и не навьяло, не проточено от мышей и не слеглося, и не затхло бы ся. А что в бочках или коробах: мука и всякий запас, и горох, и конопли, и греча, и толокно, и сухари, ржаные, и пшеничные, то было бы всё покрыто и судно твердо и не намокло бы, и не сгнило и затхлося. А всему бы тому была мера и счет: сколько чево из села или из торгу привезут, и записать, и что весовое, то завесити, и сколько коли отдаст чево на расход или взаймы и на всякий обиход или кому государь велит чево дати, то всё записать же. И сколько чево сделают, то бы было ведомо ж: и хлебы, и калачи, и пиво, и вино, и брага, и квас, и кислые щи, и уксус, и высевки, и отруби, и гуца всякая, и дрожжи, и хмелины, то бы было всё у ключника в мере и записано, а хмель и мед и масло и соль вешено.

Нетрудно заметить, что звезд с неба поп Сильвестр не хватает, что его ум, ограниченный и сухой, не производит сколько-нибудь свежих, оригинальных, собственных мыслей. Нигде и ни в чем он не приветствует нового, а лишь утверждает прежде бывшее старое, общеизвестное, так везде и во всем. Честное слово, любая домохозяйка в случае нужды сумеет поставить заплату, любой сколько-нибудь добросовестный ключник ведаёт, что необходимо оберегать вверенное ему зерно от мышей, а прошляпит, потравит хоть горсть, хозяин спустит три шкуры с него, под горячую руку спустит и последнюю шкуру, если ключник холоп, то есть раб, а не спустит, стало быть повезло, что хозяин круглый дурак. Чтобы ставить заплаты и оберегать зерно от мышей, не надо ни слушать попа, ни читать его «Домострой». На заплатах и сбережении всякого рода хлебов держится мир, иначе давно полетел бы вверх ногами в тартарары.

И то, что Иоанн выслушивает попа со вниманием и подпускает так близко к себе, свидетельствует только о том, как одинок он в юношеском своем одиночестве, как нуждается в добром, бескорыстном, пусть даже плоско-наставительном слове.

Собственно, серьезных, не житейски-практических знаний, забирающих на вершок выше посуды, соломы или плетения кружев, у попа Сильвестра немного, возможно, и нет никаких.

Эту скудость Иоанн скоро заметит и впоследствии разглядит в своем собеседнике самого забубенного попа-невежу, каким только и может быть русский поп в своем подавляющем большинстве, начисто отрешенный, отрезанный хотя бы от намека, от призрака светской науки.

Это неумолимый догматик, начетник, сеятель прописных истин, человек умеренности и аккуратности, человек застывшей нормы во всем, охотно распространяющий плоские, далекие от гуманности правила, вроде того, что слуг, детей, жену рачительный хозяин дома прямо-таки обязан колотить для порядка, однако всегда указующий с торжественно воздетым перстом, что колотить надо не до смерти, не железом, не палкой, не в ухо, не по глазам, не под сердце, лучше всего по мягким местам, самым естественным, вишь ты, предназначенным для битья, бить же не с сердцем, а хладнокровно, не нанося битьем оскорбления, если случится ударить и посохом, то не до смерти, главное же после битья, даже и посохом, непременно побитого пожалеть и простить, чтобы побитый по естественным мягким местам или посохом по чем ни попало душой не поник, обиды не затаил, не загулял да с кругу не спился. Это неутомимый ревнитель порядка во всем, ревнитель однообразия, пунктуальности, радостный почитатель регламента, без строжайшего соблюдения каждого пункта или подпункта не мыслящий ни чужой, ни собственной жизни, и уж если он рекомендует мыть ложки и плошки после каждой еды и ставить на полку, то непременно ставить на полку опрокинуто ниц.

И как только поп Сильвестр примечает, что батюшка-царь слушает его проповеди с горячим вниманием, он принимается его наставлять и приводить в порядок его домашнюю жизнь. Изю дня в день он твердит, как часто батюшка-царь должен призывать духовника, как часто и по каким поводам держать с ним совет, какие ему давать приношения, как храм посещать, как ездить на богомолье, как жену любить и учить, как каяться, как слушаться духовника, что есть, сколько есть, сколько пить вина, в какие дни возлегать на ложе с женой, когда ложиться, когда подниматься от сна, когда какие сапоги обувать.

В особенности же поп Сильвестр учит царя Иоанна смиряться, прощать ближнему своему и, главное, подставлять другую ланиту, и так долго, так упорно твердит про эту замечательную ланиту, отчего-то наводящую мысль о тех грамотах, которые батюшка-царь только что решил отобрать, что именно про ланиту Иоанн станет помнить дольше всех прочих речей и больше всего, с ядовитейшей злостью, с какой-то горькой язвительностью примется возмущаться именно настойчивым наставленьем попа всегда и во всем подставлять ланиту царя и великого князя бьющим по ней подручным князьям и боярам.

Иоанн счастлив, что у него наконец завелись расторопные, исполнительные помощники, почти что друзья, с которыми можно живое, нерасчетливое, невзвешенное слово сказать, которым можно иногда душу открыть, если не всю, чего он не делает никогда, то хотя бы какую-то часть, благодаря которым легче дышится в его одиночестве, рядом с которыми он светлей и примирительней смотрит на грешный, порой омерзительный мир. Ради счастья живого общения он готов смиряться, внимать и даже следовать наставлениям. В порыве чувств он доходит и до того, что по пунктам живет, совершая насилие над своим независимым, честолюбивым характером. Если уж надо, ничего не поделаешь, он спит по пунктам, пьет по пунктам, ходит в церковь по пунктам, кается и любит по пунктам, выказывая поразительную покорность, какой в нем прежде не было никогда и следа. Кажется, уж он и другую ланиту готов подставлять.

В самом деле, он утихает, его личная жизнь становится упорядоченнее, ровней, он приветлив и ласков в семье, он терпелив и сдержан с придворными, но всё это лишь семейная, личная, частная жизнь. Попу Сильвестру не удается воздействовать на бытие и деяния царя и великого князя. Иоанн твердо держит слово, произнесенное с лобного места, отодвигает в сторону ненависть и вражду, прощает прежние прегрешения и прежнее зло, которые творили подручные князья и бояре в беспомощные дни его бессильного отрочества, однако по-прежнему относится к ним недоверчиво, осторожно, понемногу убирает из Думы самых отъявленных воров и смутьянов, клеветников и крамольников, кое-кого без лишней строгости отсы-

лает на выдержку в монастыри, а протоиерей Федор, его духовник, как будто затворяется сам, своей волей обрекается на строжайший пост и суровость всечасных молитв. На место воров и крамольников он понемногу выдвигает новых людей, на преданность и честность которых рассчитывает, на достоинства которых надеется положиться, жалуется в Думу дядю царицы Захарьина, Хабарова, Куракина, Пронского, Палецкого, в самом деле пробует соединиться со своими боярами христианской любовью, как обещал.

Однако его ухищрения не приносят желанного мира, поскольку он принужден обстоятельствами и осмеливается затронуть самые болезненные, самые жизненные интересы подручных князей, бояр и монастырей. Не помогает и обновление Думы. Именно первейшие думные бояре с надменной небрежностью, грубо, самодовольно пытаются ставить царя и великого князя на место, при первом удобном случае указывая ему, что он для них лишь звук пустой, лишь заведенная отцами формальность, а истинная власть в боярских руках, что своей власти они ни под каким видом не отдадут, провозгласи он себя хоть царем, хоть бог знает чем. Затлевает неприятный, тягучий конфликт, грозящий роковыми последствиями не одному царю и великому князю, но всему Московскому царству, опасный конфликт, в котором Иоанну дорога и необходима любая поддержка, любое, пусть не самое дружеское плечо.

И тут вопрос: чью сторону держит Сильвестр?

## Глава восемнадцатая

### Послы

Между Москвой и Литвой давно ведутся непримиримые споры о то, кому должны принадлежать исконные русские земли, уворованные Литвой, причем в этом споре, разрешимой только силой оружия, создается своеобразное равновесие, когда Москва, постоянно терзаемая с востока и с юга татарами, не имеет достаточно сил, чтобы возвратить эти уворованные земли вооруженной рукой, а Литва в той же мере бессильна их удержать, тем более осуществить свои новые, тоже воровские, очевидно наглейшие притязания, несмотря на вынужденное объединение с далеко не дружественной, вовсе не родственной Польшей в удивительное, несколько даже загадочное содружество, король которого, избранный польскими панам, такими же своевольными, как их братья по духу московские князья и бояре, не располагает ни доходами своего государства, ни естественным королевским правом что-либо решать нас вой страх и риск, поскольку любой польский пан, хотя бы хлебнувший лишку в шинке, имеет право на любой запрос избранного им короля ответить своим хамским «не хочу», и предложение короля будет без промедления отклонено, как и предложение любого из панов, к тому же польский король не имеет и войска, без которого любой король неизбежно превращается в призрак, а государство обречено умереть под ударами хищных соседей.

В результате затяжных войн, которые велись в конце пятнадцатого и в начале шестнадцатого столетий, московским великим князьям, все-таки имеющим кое-какие собственные доходы и войско, удалось кое-что отобрать и окончательно охладить наступательный пыл литовских грабителей, однако Литва, скорей всего по инерции, не соображаясь с реальным соотношением сил, всё ещё надеется продвинуться на восток, отхватить исконные русские земли до самой Москвы, а Москва всё ещё рассчитывает, отбившись как-нибудь от татар, восстановить бывшее Русское государство от Пскова и великого Новгорода до Киева, Волыни и Галичины. Ни та, ни другая сторона своих притязаний и надежд не таит, воевать не воюет, однако не соглашается и прочный мир подписать, а чтобы как-нибудь извернуться в этом не самом удобном, отчасти комическом положении, стороны время от времени подписывают между собой перемирие, обе втайне надеясь к истечению закрепленного в перемирных грамотах срока приготовиться к большой, непременно победоносной войне. Последнее перемирие подписывается в 1542 году, на семь лет, и в 1549 году срок перемирия должен истечь. Обе стороны не могут не сознавать, что не готовы к войне и что волей-неволей придется возобновить ненавистное им перемирие. Москва копит средства на новый поход против казанских татар, её неустроенному, давно устаревшему войску не по плечу пока и татары, так что в сторону наглой Литвы нечего даже глядеть. В наглой Литве тоже не помышляют о каком-либо серьезном предприятии против медленно, но верно набирающей силы Москвы. Сигизмунд Старый, подписавший семилетнее перемирие, только что умер. Его преемник Сигизмунд август Второй не располагает временем об этой для него вполне приятной утрате поставить в известность Москву, тем более не помышляет об окончании или продлении перемирия. Новый польский король, он же литовский великий князь вообще не занят ничем, что хотя бы отдаленно касалось государственных дел. Влюбчивый, похотливый, капризный, он берет в жены Варвару, из семьи могущественных князей Радзивилов, однако женится тайно, поскольку ни родители, ни польское панство своего согласия на этот брак не дают, и вот новый польский король и литовский великий князь целый год до изнеможения бьется за свое священное право жениться на ком ему вздумается и в конце концов одерживает самую для него дорогую победу. Где тут раздумывать о войне или мире? Он и не думает. Да если бы и подумал, всё равно думать не о чем, в его казне денег нет, ему войско не на что содержать, а панство денег королю не дает, действуя приблизительно так же своевольно и широко, как московские князья и бояре, обокравшие чуть

не до нитки и без того далеко не обильную казну Иоанна. Да если бы у Сигизмунда августа и деньги нашлись, доблестное польско-литовское панство воевать не желает, разумеется, если не брезжит надежда на безнаказанный, легкий грабеж, и в польско-литовском неопределенном содружестве всё чаще, по примеру беспрестанно воюющих европейских держав, прибегают к наемным войскам. Впрочем, невнимание Сигизмунда Августа к московским делам извиняет не одна влюбленность в жену. До конца перемирия целый год. К чему ломать голову, торопиться куда?

Для головы Иоанна тоже имеется более важный предмет, с деньгами у него тоже туго, он спит и видит новый казанский поход, к тому же, как видно, у него неплохие осведомители, он располагает довольно верными сведениями о неблестящем положении польского короля и литовского великого князя. Зато не медлят подручные князья и бояре, на доходы которых он так неожиданно для них намеревается посягнуть. Дмитрий Бельский, старейшина Думы, сговорившись с Михаилом Морозовым, отправляет грамоты воеводе и епископу виленским, в которых запрашивает, каково намерение нового польского короля и литовского великого князя, и предлагает литовской стороне направить послов на Москву, затем боярин и окольничий бьют челом царю и великому князю, то есть ставят его в известность о содержании грамот, именно в этом порядке: сперва составляются и отправляются грамоты и только после этого самовольного, самостоятельного решения бьют царю и великому князю челом, точно хотят указать, кто действительно правит в Москве, а кто лишь имеет громкое имя царя и великого князя.

Собственно, боярская Дума поступает по отчине и дедине, то есть использует свое старинное право сноситься с иными державами, то ли полученное, то ли присвоенное несколько поколений назад при малолетних великих князьях, начиная с великого князя Василия Дмитрича. В этих самовольно составленных грамотах, направленных в Вильну, нельзя было бы ничего крамольного углядеть, если бы при великом князе Василии Ивановиче это право независимых внешних сношений не было ограничено, а фактически отнято у подручных князей и бояр, так что всеми переговорами отец Иоанна занимался самостоятельно, держа совет лишь с немногими приближенными, избранными боярами. Тем более неуместны эти самовольные грамоты после того, как Иоанн, при молчаливом согласии подручных князей и бояр, венчался на царство, чем провозглашался новый порядок в ведении всех государственных дел, а потом, после покаяния перед святителями, на земском соборе недвусмысленно объявил, что отныне сам лично станет заниматься всеми делами, именно для того, чтобы пресечь своеволие и произвол. Разве подручные князья и бояре забыли об этом? В том-то и дело, что не забыли, что помнят прекрасно, оттого и торопятся с грамотами задолго до окончания перемирия, даже ценой унижения, ценой политического ущерба для Московского царства, поскольку всегда первым просит о мире тот, кто слабей. Своими своевольными грамотами подручные князья и бояре намерены показать, что они остаются полными хозяевами в великом княжестве, а царь только так, не более чем скоморох, бесправный статист, подобный никчемному польскому королю и литовскому великому князю, который без дозволения панства не смеет шагу ступить, даже выбрать жену. Только с виду эти самовольные грамоты дело довольно пустое, тем более что ведь подручные князья и бояре хлопочут о государственном деле, стараются, пекутся о мире с Литвой в предвидении нового предприятия против казанских татар, в действительности же они как ни в чем не бывало, точно государь всё ещё отрок и нуждается в попечении, вершат государственные дела по своему произволу, и промолчи Иоанн, реальная власть так и останется у подручных князей и бояр, на его долю так и останется одно золоченое представительство с державой и Мономаховой шапкой на неприкаянной голове, как во времена его жалкого детства, а Московское царство постигнет та же горькая участь, какая впоследствии постигнет попавшую под власть своевольного панства как будто обширную, как будто могущественную Речь Посполитую. Выходит, выходка с грамотами малозначительна только на вид. В сущности, тут реша-

ется судьба Иоанна, а вместе с ним и судьба Московского царства, его будущее величие, если Иоанну удастся отобрать реальную власть у подручных князей и бояр, награбивших земель и казны в его малолетство, или его вырождение и ничтожество, если недостойное, разрозненное, вечно между собой ссорящееся боярство станет править по своему корыстному усмотрению, как уже правило и достаточно показало себя в предыдущие четырнадцать лет, когда татары вновь стали рыскать чуть не под носом Москвы, и непримиримое различие между боярством и Иоанном именно в том, что Иоанн, защищая свое только что обретенное право на бесконтрольную, самодержавную власть, в то же время печется о независимости и величии Московского царства, вверенного ему, по его убеждению, Богом, тогда как боярство не помышляет ни о независимости, ни о величии, ни вообще о судьбе Московского царства, как раз этого у московского боярства давно уже нет. Отныне московских князей и бояр влекут, точно муху на мед, лишь собственные, исключительно корыстные интересы, лишь новые привилегии, новые льготы, новое освобождение от даней и пошлин, поступающих в казну царя и великого князя, ещё новые земли, вдобавок к полученным или неправо присвоенным, да привычная умирительная возможность бесконтрольно забирать полной горстью из казны царя и великого князя, всё раскрасть, что ещё не раскрадено, как Шуйские покрали золотые блюда. Разве не так? Ведь если оценить по достоинству правление подручных князей и бояр за истекшие четырнадцать лет его малолетства, так, кроме грабительства и пролитой крови, они сделать ничего не сумели. В сущности, это наследственная склонность у почти всех, если не всех, подручных князей и бояр, поскольку с самого начала русской истории, с пресловутого, едва ли не измышленного в свое оправдание Рюрика, дружинники князя, ставшие позднее боярами, как и сами князья, только и делают, что воюют и грабят, большей частью воюют и грабят свою родимую Русскую землю. Исторического опыта на что-нибудь дельное, на созидание, на высшее благо Русской земли подручные князья и бояре приобрести не смогли.

Похоже, только из челобитья узнавши о незаконно отправленных и принятых грамотах, Иоанн отзывается одобрением, не подав виду, как он унижен и оскорблен, и продолжает заниматься своими делами, то есть проверкой тарханов, учетом наличных земель, состоянием торговли и поступлением доходов в казну, однако лишь только гонцы доставляют из Вильны согласие начать переговоры о мире, о добром пожитии между двумя государями и государствами, он объявляет подручным князьям и боярам, на каких условиях желает и соглашается вести переговоры с этим всегдашним и неустанным врагом, таким образом громко заявив о своем исключительном праве решать, как мириться и с кем воевать.

Он наотрез отказывается от вечного мира с Литвой, верное доказательство, что внешняя политика уже всесторонне обдумана им, по всей вероятности, совместно с митрополитом Макарием. Он может принять только новое перемирие, всего на несколько лет, не больше пяти. Многолетние бесчинства подручных князей и бояр приучили его тщательно охранять и таить свои задушевные замыслы и раскрывать их только в самый нужный, в самый последний момент. Тем более как истинный, уже многоопытный дипломат он не находит полезным объявлять о своих истинных намерениях литовскому великому князю и польскому королю Сигизмунду августу, стремясь, естественно, его обмануть и вынудить первым предложить перемирие, что даст ему преимущества и возможность ставить условия, с чем подручные князья и бояре, как ещё много раз покажут их действия, либо не желают считаться, либо вовсе не разбираются в такого рода дипломатических тонкостях.

Своим представителям Иоанн повелевает потребовать, чтобы Литва на все дальнейшие времена оставила вздорную мысль о Смоленске и возвратила Заволочье и Себеж. В сущности, это обычные требования Москвы в переговорах с Литвой, но Иоанн идет дальше, он настаивает на том, чтобы Литва возвратила Гомель, Витебск и Полоцк, именно потому, что Гомель, Витебск и Полоцк литовцы доброй волей не отдадут ни за что, а от Смоленска и Заволочья могут отречься, поскольку не имеют сколько-нибудь серьезного войска, чтобы эти исконные

русские города удержать за собой. На что он рассчитывает? А рассчитывает он как раз на то, что неисполнимые требования принудят заgreбистую Литву отказаться от вечного мира, который ему, московскому царю и великому князю, до тех пор противен и в тягость, пока Литва владеет исконными русскими землями. Мысленно он уже решил сам с собой, что война с Литвой неизбежна. Он заранее оповещает об этом подручных князей и бояр:

– За королем наша извечная вотчина – Киев, Волынская земля, Полоцк, Витебск и многие другие русские города, а Гомель отец его взял у нас во время нашего малолетства. Так пригоже ли теперь с королем вечный мир заключать?

Затем прямо и ясно излагает тот моральный закон, которого намерен держаться всегда и отступления от которого не потерпит ни от кого, никогда никому не простит:

– Если теперь заключить вечный мир, то вперед уже через крестное целование нельзя своих вотчин искать, потому что крестного целования нарушить никак нигде не хочу.

Именно для того, что не нарушать непрекаемого для него, священного и святого крестного целования, когда придется воевать с Литвой за возвращение исконных русских земель, это чрезмерное, заранее не исполнимое требование включается в так называемую опасную грамоту от Иоанна, московского царя и великого князя, к Сигизмунду августу, литовскому великому князю и польскому королю, причем Иоанн именуется в грамоте своим новым титулом: царь и великий князь, так ненавязчиво и вместе с тем жестко понуждая литовского великого князя и польского короля либо открыто признать за ним новый титул, либо так же открыто отринуть его.

В литовскую Вильну опасную грамоту доставляет уже не гонец, а посланник Загряжский, передает её радным панам Губке и Бричеву, затем пересказывает Сигизмунду Августу соборное повеление московского царя и великого князя Иоанна Четвертого по случаю кончины его отца Сигизмунда Августа Первого, всё идет чин по чину, как принято во всех европейских столицах.

Как и предполагалось, Сигизмунд август ни о каком возвращении Витебска, Полоцка, Гомеля и слышать не хочет и предлагает вести переговоры только о перемирии, с чем и отпускает Загряжского в обратный путь. Что касается нового имени, ответная грамота адресуется всего лишь «Божьей милостью государю всея Руси и великому князю Московскому, Владимирскому», с дотошным перечислением всех находящихся под рукой Иоанна бывших самостоятельных, а ныне бесправных княжений Русской земли. Новое имя не признается. Сигизмунд Август просто-напросто не в состоянии это новое имя признать, если его не принудят к такому признанию силой, поскольку одним разом поставит себя ступенью ниже великого московского государя. Отчего? Да оттого, что в тогдашней Европе императором, кесарем, то есть царем, именуется один-единственный правитель так называемой Священной Римской империи германской нации, все прочие монархи именуются намного поуже, всего лишь королями, а то и маркграфами, так что в соответствии с принятой там иерархией короли, не говоря о ничтожных маркграфах, формально находятся в вассальной зависимости от императора. Признать Сигизмунд Август московского великого князя царем, ему придется признать его первенство, его верховенство над своей королевской персоной, а там, глядишь, придется признать и его законное право на исконные русские земли, до Киева и Волыни включительно. Стало быть, по обстоятельствам тогдашней европейской политики вопрос об официальном признании нового имени московского великого князя вовсе не сводится к одной игре будто бы слишком большого Иоаннова самолюбия, как мнится легкомысленным историкам, либералам и балалаечникам. Вопрос об имени – вопрос политический, жизненно важный, вопрос о положении Иоанна, а вместе с ним и Московского царства среди европейских государей и государств, оттого он с такой упрямой настойчивостью и выводит свое родословие не от кого-нибудь, а от римского кесаря Августа. Пока европейские государи уничижительно именуют его лишь великим князем Московским, Владимирским и прочих северо-восточных русских



земель, они помещают его много ниже себя и переговоры ведут с ним не как равные с равным, а через губу, свысока, с полупрезрением сеньора, снисходящего до возни со своим несколько о себе возомнившим вассалом, что в дипломатии всегда является серьезным, подчас решающим преимуществом.

Снисходительность, полупрезрение не заставляют себя долго ждать, в самом посольстве литовского великого князя, в то же время и польского короля. Согласие на переговоры Сигизмунд август дает как великий князь и король, но посольство направляет от имени Рады польского панства, а возглавляет его всего лишь виленский воевода Станислав Кишка, а сопровождают его маршалок Ян Комаевский и писарь Глеб Есман, то есть что-то вроде предводителей губернского и уездного дворянства Литвы, к тому же представители малоизвестных или вовсе никому не известных литовских фамилий, таких людей не отправили бы послами ни в вену, ни в Рим, ни в Стокгольм, ни в Париж, да там такого рода послов едва ли бы и пустили дальше порога.

Все-таки и этих оскорбительных литовских послов принимают по-русски торжественно и забавно. Станислав Кишка следует из Вильны на Минск, Борисов, Оршу, Дубровну и на тогдашней московской границе дает о себе знать наместнику во всё ещё спорный Смоленск. Наместник гонит гонца, запрашивает Москву, как поступить. Москва указывает, тоже гонцом: послов принять с честью, везти обходным путем, в стороне от Смоленска, чтобы и во сне хищным литовцам не снился русский Смоленск, привал сделать в Дорогобуже и ночевать, ждать из Москвы малый обоз с пропитанием, поскольку с этого часа послы кормятся из царской казны, да в тех глухоманях никакой еды всё одно не достать, из Дорогобужа править на Вязьму.

Ознакомясь с инструкцией, смоленский наместник направляет навстречу послам не самых именитых, не самых влиятельных из своих приближенных, руководствуясь известной мерой по Сеньке и шапка, чтобы вровень считались с воеводой и маршалком. Встречаются. Торчат друг перед другом верхами до последней возможности, подстерегая противную сторону в малейшем движении, чуть не в моргание и вздохе, поскольку тот, кто первым на землю сойдет, согласно обычаю, показывает меньшую значительность, меньшее достоинство своего государя. Улучают минуту. Единым духом вываливаются из седел, скидывают шапки, несмотря на трескучий мороз января, долго, с крайней мерой достоинства тискают руки друг друга, выказывая всю наличную силу и твердость намерений, заводят ласкательную, напыщенную и оттого запутанную речь, в которой приветствуют послов, направленных братом московского царя и великого князя, тут же разнообразными мелкими ухищрениями низводя этого брата до положения не равного, а младшего, подчиненного, подручника по-московски, вассала по-ихнему, задают множество вопросов о здоровье этого будто бы брата, о здоровье королевы Варвары, детей, воевод, выслушивают ответную речь, с теми же ухищрениями, с теми же вопросами о здоровье, мерзнут ужасно, наконец вспрыгивают в седла с поразительной быстротой, поскольку тот, кто вскочил первым, таким нехитрым, но верным способом славит своего государя. Затем встречающий ждет и посланный ждет. Один ждет, чтобы тот объехал его. Другой ждет, чтобы тот его пропустил, поскольку и тут оскорбляется или возвышается честь государя. Русские все-таки пересидживают. Литовцы все-таки объезжают. Во время этой неудобной и томительной процедуры интересуются именем посланного, именем встречающего, именами свиты, именами родителей, местом рождения, званием и родством, все сведения тотчас с быстроконным гонцом сообщаются своему государю, так что в обе стороны заваривается суматошная скачка. Виленский воевода, маршалок, писарь и свита движутся впереди, смоленские бояре несколько отстают и в оба глядят, чтобы никто из приезжих куда-нибудь не свернул, поскольку каждый иноземец в московских пределах находится под бдительным и неусыпным надзором и без сопровождения шагу не смеет ступить, из беспредельного страха занести на православную землю растленный католический дух или какую иную заразу. Движутся медленно, в ожидании дальнейших распоряжений, которые даются Москвой, а то и останавливаются надолго прямо

в поле или в лесу, если до известного пункта распоряжения Москвы не успевают прийти. В таких вполне предвиденных случаях кормят послов на убой, до одурения накачивают медами и винами, сидят часами в палатках или возят по городу, стараясь под благовидными, на худой конец под любыми предлогами в крепость не допускать, даже близко к крепости не подвозить. Пропитание послов и сопровождения с очевидным намеком на свое богатство и щедрость Москва берет на себя. По ямам для посольства и багажа держат верховых лошадей и упряжки, причем подводчики, отбывающие установленную повинность, нередко сбегают вместе с санями и лошадьми, так что приходится останавливаться и вылавливать беглецов по бесконечным непроходимым лесам, а когда подводчики не сбегают, то тащат у послов всё, что плохо лежит, а при удаче и то, что лежит хорошо.

С такими хлопотами, долгими остановками, терпеливой борьбой за священную честь своего государя во время каждого сиденья верхом на морозе дней десять тащатся от Дорогобужа до Вязьмы, от Вязьмы до Можайска, от Можайска наконец до Москвы, постоянно пересылаясь гонцами, от которых ждут расписания каждого шага и каждой минуты в пути. Останавливаются в подмосковном селе, предлагают посольству изготовить себя для торжественного мгновения, когда оно вступит не куда-нибудь, но в стольный град Русской земли. Из стольного града прибывает конвой приблизительно из двух сотен саней, окружает послов, оттесняя посольских служителей, которым вступать в стольный град русской земли полагается только пешком. Чуть не на каждой версте на рысях подходит новый конный отряд, в каждом отряде кони одной масти и конники в одеяниях одного цвета, последним, самым почетным конвоем подходят московские жильцы на белых конях, в терликах красного цвета.

Наконец намечается встреча с представителями царя и великого князя всея Руси, которым предстоит вести переговоры с послами, и главный фокус заключается в том, чтобы обе стороны прибыли в установленный какими-то неведомыми расчетами пункт единовременно, минута в минуту, по причине чего какие-нибудь три версты тащатся часов пять или шесть, как повезет. По бокам почти баснословного шествия толпится народ, согнанный приставами, закрывши все мастерские и лавки, чтобы знали послы, как велик царь и великий князь всея Руси. Встречаются. Вновь испытывают терпенье друг друга, подкарауливая, кто первым низринется из седла. Говорят речи. Замученных до смерти, иззябших до белого каленя послов везут наконец в отведенный им дом, непременно вдалеке от Кремля. По стенам покоев тянутся широкие лавки, покрытые красным сукном, на которых послам полагается днем сидеть, ночью спать, о чем послы своим иноверным умом не доходят и по дурости просят постелей, на что им отвечают откровенным презрением, даже грубым отказом, поскольку варвары, черт знает кто.

Послов держат строго. Они получают полное пропитание от царя и великого князя всея Руси, каждый день доставляются на подворье точно определенные меры хлеба, соли, мяса, перца, сена, овса, дров для печей и плиты. Самим послам покупать не дозволяется ничего. Не дозволяется выходить без конвоя, который препятствует послам заходить в лавки, тем более шастать по частным домам. К послам не допускают никаких посетителей, ни из соплеменников, ни тем более из русских людей. Вместе с тем послам выказывают полное и недвусмысленное презрение на каждом шагу, поскольку православная церковь всякое общение с иноземцами почитает за грех.

Дня три послов выдерживают в полном одиночестве и небрежении, чтобы успели проникнуться должным почтением к царю и великому князю всея Руси, а в это время царь и великий князь совещается с думными боярами, то есть думные бояре почтительно, однако упрямо спорят о том, кто станет вести переговоры на посольском дворе, чьи люди, чью сторону станут эти люди держать, зная прекрасно, сколь многое будет зависеть, с какой интонацией, с каким попустительством или твердостью будут передаваться московские предложения литовским послам.

Из затянувшихся споров Иоанна выручает литовская сторона. Посольство прибывает неуважительное, составленное из людей далеко не первейших, знатнейшим московским кня-

зьям и боярам поругание чести опускаться до общения с каким-то виленским воеводой малоизвестных кровей, тем более с маршалком. Поневоле подбирают людей незначительных, стоящих на третьих, если не на четвертых или пятых местах. Первым лицом определяется Михаил Вороной из рода Боброка, славного Куликовской победой, нынче полузабытого, оттертого в тень, вторым Василий Замыцкий, третьим дьяк Иван Выродков, человек и вовсе не знатный, чуть не простолюдин. Именно через них, далеких от Думы, от влиятельных важных постов, Иоанн может вести переговоры волей своей, самовластно, активно, не справляясь то и дело с приговорами недоброжелательно настроенной Думы.

Только покончив с этой томительной процедурой, состоящей из недомолвок, подводных течений, неискренности, уязвляющих самолюбие шпилек, прикрытых почтительными поклонами, послов извещают, что завтра царский прием.

В самом деле, девятнадцатого января 1549 года близко к полудню послы выходят из дома. Во дворе послов ожидают думные бояре не самого первого толка и следят безмолвно за тем, чтобы навстречу им послы сделали как можно больше шагов. В сани садятся. Едут шажком. Кругом теснится празднично разодетый народ, вновь освобожденный от трудов и забот безоговорочным, подчас и хлестким попечением приставов. Въезжают Спасскими воротами в кремль, всё пространство которого забито тем же праздным, глазающим с перебранками и смехом народом. Послов подводят к крыльцу и отбирают оружие. Во дворец вводят правой лестницей, предназначенной для христианских послов, но не средней, самой почетной, вновь давая понять, какая шапка нынче по Сеньке. Более знатные бояре провожают в палаты, битком набитые князьями, боярами знатнейших фамилий и древними старцами, владельцами самых седых, самых длинных бород, набранными из посадских людей и представительства ради усаженных на лавки вдоль стен, причем все молчат и не кланяются, точно не примечают послов, поскольку никому не желается брать на душу грех и мимолетных взглядов в сторону иноземцев. Самые знатные подводят посольство к царю и великому князю всея Руси.

Иоанн возвышается на престоле, стоящем в углу, в простенке двух окон, на стене образ Спасителя, над головой Богородица, сам в шитых золотом длинных одеждах, голова не покрыта, остроконечная шапка возле него на скамье, в руке длинный посох с навершием в виде креста, по правую руку на подставке чеканного серебра держава из массивного золота, по обе стороны престола четыре телохранителя-рынды в белых турецких кафтанах, у каждого серебряный бердыш на плече, несколько позади на скамье вызолоченная лохань с рукомойником, в которой Иоанн с брезгливой тщательностью вымоет руки после приема послов, чтобы очиститься от греха общения с иноверцами, то есть еретиками.

Дворцовый дьяк Митрофанов представляет Станислава кишку царю и великому князю всея Руси. Станислав Кишка передает в его руки грамоту Сигизмунда Августа, польского короля и литовского великого князя. При этом имени Иоанн поднимается и делает шаг с передней ступени престола, выслушивает определенные обычаем приветствия и пожелания доброго здравия, в свою очередь спрашивается здоров ли, благополучен брат наш Жигизмонд и. выслушав благоприятный ответ, возвращается на прежнее место. Станислав Кишка в своем польском кафтане церемонно поднимается на одну ступень, чтобы поцеловать руку царя и великого князя всея Руси. Иоанн протягивает руку брезгливо и между тем вопрошает, как изволил доехать посол до Москвы. Станислав Кишка держит ответ:

– Божьей милостью да государя нашего да твоим государским жалованием здорово есмь доехали.

Станислава Кишку усаживают на скамью близко от печи, что почитается местом почетным, почет измеряется чуть ли не каждым вершком. К руке Иоанна подводят маршалка Комаревского, писаря Есмана, после чего Иоанн принимает подарки. Дьяк Митрофанов Бакака на всю палату гудит, величая Иоанна царем:

– Которые с вами наказанные речи ко государю нашему от государя вашего, и государь наш царь и великий князь всея Руси те речи вам велит говорить.

Станислав Кишка поднимается, кланяется по-польски, откидывает голову назад и торжественно, блюдя честь своего государя, заготовленную речь говорит.

Иоанн слушает, склонив голову несколько набок, хорошо понимая по-польски, приглашает послов:

– Станислав, Ян, Глеб, будьте у нас у стола.

Пристав Замыцкий отводит Станислава, Яна и Глеба в Набережную палату, где послам надлежит ожидать, пока Иоанн в золоченой лохани смое с рук своих тяжкий грех общения с ними и воссядет за стол в средней палате, а думные бояре рассядутся вокруг большого стола. По знаку Замыцкий подводит Станислава, Яна и Глеба к дверям. В дверях Станислава, Яна и Глеба перенимает окольничий Умной-Колычев, проводит в палату, усаживает за особенный овальный стол, а против каждого из послов садятся по чину Вороной, Замыцкий и Выродков, то есть Михаил, Василий, Иван. Подают есть и пить Иоанну, боярам, лишь после них, вновь по чинам, Михаилу и Станиславу, Василию и Яну, Ивану и Глебу, чтобы каждый сверчок твердо знал свой шесток.

Отобедали. Поднимаются чинно. Меняются небольшими речами. Станислав, Ян и Глеб отправляются восвояси к себе на подворье на лавках сидеть. Станислава, Яна и Глеба сопровождают Михаил, Василий, Иван, отчужденно и холодно, всего лишь оказывая иноверным послам громоздким этикетом определенную честь.

## Глава девятнадцатая

### Имя царя

Только после этой торжественной церемонии следуют серьезные, подлинные труды и волнения. Двадцать второго января Станислав кишка первым делом пытается с недвусмысленной точностью выяснить, с кем именно ему предстоит переговоры вести, то есть от кого персонально исходят самые первые грамоты, направленные виленскому епископу и панам радным: от самого царя и великого князя всея Руси или от думных бояр. Михаил Вороной отвечает по истине, как оно приключилось в действительности, что приговорили между собой и составили грамоты дни думные бояре, а царь и великий князь всея Руси только дозволил им грамоты к вам отослать, да и обращение к панам радным служит лучшим тому подтверждением, поскольку Иоанн презирает все эти самозванные сборища, ослабляющие власть государя, а с ним ослабляющие и самое государство. Благодаря такому прямому ответу Станислав кишка уясняет себе, что не царь и великий князь всея Руси своей волей пока что истинно правит этой жутко морозной Москвией, а боярская Дума и что мнением и волей царя и великого князя всея Руси в предстоящих переговорах он может вполне пренебречь.

Он и пренебрегает и выдвигает условием вечного мира, о котором по заведенному ритуалу в первую очередь заводятся многословные прения, давнее требование отдать высокочтимой Литве всего-то-навсего Великий Новгород, Псков, Торопец, Великие Луки, Ржеву и ряд других основанных русскими землепроходцами городов, в которых никогда не заводилось и духа бесстыдной Литвы. На этом достаточном основании Михаил Вороной твердо, как велено, отвергает нелепые требования заклятого хищника и, в свою очередь, выдвигает условием вечного мира требование царя и великого князя всея Руси возратить ему Мономахову отчину, то есть Киев, Полоцк, Витебск, Волынь, разъясняя непристойно жадным послам, что все эти земли испокон веку русские, что из Русской земли выхвачены единственно силой оружия и что ни Литва, ни тем более вовсе посторонний польский король не имеют на них никаких исторических прав, точно так, как на Великий Новгород, Псков, Торопец и другие искони тоже русские города.

Станислав Кишка с притворной невинностью возражает:

– Посол что мех: что в него вольешь, то и несет. Исполняем от короля и Рады данное поручение.

И от имени своего короля и своей Рады отводит обвинение в том, что Литва завладела русскими городами силой оружия:

– Города ваши пусты стояли, иные совсем развалились, не имели ворот. Государи наши не мечом взяли их, ни пак израдоу.

То есть, говоря простыми словами, взяли то, что плохо лежало, разоренное и разграбленное татарским разбоем треклятого хана Батыги, когда Русская земля, окровавленная, израненная, изодранная в клочки, не имела воинов для обороны с востока и с запада, тогда как прежде треклятого хана Батыги никакого литовского княжества никто не слышал, а Мстислав Храбрый приноравливал диких литовцев землю пахать, выходит на нашу же безвинную голову приноравил.

Расходятся, утомясь, отчетливо понимая, что впереди между Москвой и Литвой война и вона за возвращение и удержание исконных русских земель. Станислав Кишка остается с надеждой, что Литва прежние захваты удержит, если не силой, так хитростью, да к ним и Великий Новгород, и Псков, и все прочие русские города пристегнет. Михаил Вороной уходит тоже с твердой надеждой, что Московское царство, окрепнув, и Великий Новгород, и Псков, и прочие русские города сохранит за собой, и Мономахово достояние отберет у татей ночных, поскольку именно татями почитает алчных до чужого литовцев.

Отдохнули. Обдумали. На другой день заводят осточертевший спор о Смоленске. Станислав Кишка, точно не знает истории, как нынешний балалаечник и либерал, упрямо твердит:

– Без отдачи Смоленска приказано не мириться.

Михаил Вороной вновь повторяет свои увещания, выставя на вид, что исконно русского города, одного из первых русских городов, поставленного в те поседельные времена, когда в варварской литовской земле не начиналось и сколько-нибудь приличных селений, царю и великому князю всея Руси не резон отдавать, да и понято-то обычным умом это несуразное требование толком нельзя.

Горячатся. Сильно кричат. Чуть не доходят до драки, что нередко приключается в сложном процессе дипломатических прений. Прерываются, чтобы вкусить пищу, поспать, отдохнуть, собраться с телесными и духовными силами и снова ринуться в бой за исконный русский Смоленск, без которого бедная Литва ни дня, ни часа не способна прожить. Однако наутро, двадцать четвертого января, получив строжайшее указание Иоанна. Михаил Вороной объявляет рассеивающим сомнения тоном:

– Царь и великий князь всея Руси из Смоленска ни единой драницы не уступит.

Таким образом, вечный мир рушится окончательно, к тайному удовольствию обеих сторон. Соглашаются заключить перемирие, уже не на семь, а всего на пять лет, чего и добивается рассудительный Иоанн, так что первую часть переговоров его люди проводят в его интересах и добиваются полной победы. Остается составить обменные грамоты, подписать, привесить печати, разобрать по рукам, одну Вильне, другую Москве.

Кажется, это уже сушие вздоры, ведь договорились, то есть ни до чего не договорились, вернее сказать, переписи прежние грамоты и подписывай с Богом, однако как раз в этот момент и открывается самая ответственная, для Иоанна решающая, самая трудная часть словесных баталий между Кишкой и Вороным.

Иоанн требует от своих представителей непременно вписать в обе грамоты его новый титул, его высокое царское имя. Слишком многое воплощается для него в этом имени. Без сомнения, имя царя психологически необходимо ему, как прочная опора для личности, как новая возможность для самоутверждения, избавления от ощущения своей малоценности, так настойчиво, с таким грязным цинизмом внушаемой в течение многих лет безоглядного боярского самовластия, когда и в самом деле его лишили всего, кроме жизни. Естественно, это очень много для него самого, за это внешнеполитическое признание своего нового имени он не может не бороться исступленно, изо всех сил.

И всё же одним униженным самолюбием неустоявшегося, колеблющегося, не совсем в себе ещё уверенного венценосного юноши необходимость признания царского имени ещё не исчерпывается. Подручные князья и бояре уже дали понять, отправляя грамоты виленскому епископу и панам радным в Литву, что по-прежнему не считаются с ним и не признают его притязаний на власть, в любой её форме, не говоря уже об единодержавной власти царя. Он понимает отлично, что для возвращения законной, утраченной за время младенчества власти ему нужен престиж, ему позарез необходимо признание со стороны хотя бы одного польского короля и литовского великого князя, после чего подручным князьям и боярам станет намного трудней отстранить его от действительного, а не только марионеточного управления царством, важного для него не только само по себе, но и как единственное условие для исполнения тех обещаний служить торжеству справедливости, которые он дал всей русской земле в присутствии митрополита и всего духовенства, что для него, человека истинной веры и клятвы, человека слова, данного на кресте, нешуточно важно, для него в верности крестному целованию смысл жизни и высшая честь.

Далеко ещё и это не всё. В быстро крепнувшем сознании Иоанна его личное дело уже превращается именно в царское, всегосударственное, и признание царского имени польско-литовской короной в его представлении означает выдвижение ещё вчера второсортного Московского

великого княжества, по статусу равного только скудной Литве и далеко уступающего Польскому королевству, на первое место в Европе или по меньшей мере на один уровень со Священной Римской империей германской нации.

Польско-литовское посольство все эти оттенки и тонкости понимает отчетливо и отвергает требование чересчур возмнившего о себе москвиты самым решительным образом, не испытывая желания, не располагая и правом поставить своего безвластного, только что не бесштанного короля по статусу ниже какого-то захудалого государя какой-то Руси, вместо которого, как убедились послы, правят подручные князья и бояре.

Михаил Вороной, исполняя непосредственно данный наказ Иоанна, бьется с Кишкой несколько дней. Кишка вполне резонно возражает ему, что в прежних грамотах никакого царского имени не стояло и стоять не могло, так не следует ставить и в этой. Михаил Вороной возражает, тоже резонно, что прежде в грамотах царского имени потому не стояло и стоять не могло, что Иоанн был летами мал и не венчался на царство именем Бога, а в нынешней грамоте царскому имени быть потому, что Иоанн в свой возраст взошел и на царство венчался законным путем, принявши высокий венец из рук самого владыки митрополита. На сто Кишка, в свою очередь, возражает, опять же не без резона, что никаких видимых прав московский великий князь на такое венчание не имеет и что, разумеется, православный митрополит ему, католику, не указ. Михаил Вороной, уже менее твердо, указывает на Владимира Мономаха, женатого, как-никак, на византийской принцессе, и на великого князя Ивана Васильевича, тоже, как-никак, женатого на византийской принцессе, что, по закону крови, дает их потомку неоспоримое право наречься царем. Натурально, беспочвенный кишка ни о каком родстве и праве не желает и знать, а писарь Глеб Есман лопочет в неподдельном испуге, что будет лишен головы, если этакое непотребное имя в грамоту впишет, а потому эдакого имени ни под каким видом не станет писать.

Ну, если не головой, то всё же польско-литовское посольство очень рискует, согласись оно в перемирную грамоту вставить беспокойное имя царя, ему имя своего короля и великого князя много дороже, как бы ни стеснена была литовской радой и польским сеймом власть этого великого князя и короля и сведена почти до нуля, однако упорство послов в немалой степени объясняется также и тем, что они установили в первый же день, кто в этой стране истинный властелин, а кто лишь пыжится стать властелином. Они третируют требования царя и великого князя, потому что самого царя и великого князя третируют его собственные князья и бояре, которым имя своего царя и великого князя не только не дорого, но острее ножа, ровно кость в горле стоит, поскольку ставит предел их самовластию.

Иоанн тоже улавливает, отчего послы упираются с таким необоримым упорством и слышать ничего не хотят, в особенности про Мономаха и Софью Палеолог. Он попадает в положение нестерпимое. Ему уже не отречься от своего царского имени. Отречение непременно вновь превратит его в невинного мальчика для разного рода показательных шествий и дворцовых торжеств, с державой, с посохом, с вызолоченным рукомойником для мытья царских рук, однако без тени, без призрака подлинной власти в руках. Тогда прощай и данное слово о справедливости, и Казань, чего доброго, снова заставит из собственных рук чаши с медом татарским послам подавать, этого оскорбления он тоже никогда не может забыть.

В то же время ему ни под каким видом не следует обращаться за пониманием и поддержкой к подручным князьям и боярам, которые наверняка его не захотят ни понимать, ни поддерживать, именно потому, что, тоже считаясь родством с Мономахом, не желают отдавать ему реальную власть, своеволием присвоенную в мрачные лета его одинокого малолетства, а желают оставить его в прежнем состоянии куклы в золоченых одеждах с безвредной шапкой на голове, вопреки тому, что сами одобрили венчанье на царство и целовали крест на верность царю. Обращение за пониманием и помощью к подручным князьям и боярам лишь унизит его, лишь подтвердит, что никакой он не царь, а всего-навсего кукла, не повелитель, не истинный

властелин, единственно своей волей исполняющий свое царское дело, данное ему, по его понятиям, Богом. В этом случае его ждет не одно унижение. Обратившись за пониманием и поддержкой к подручным князьям и боярам, он тем самым признает, что именно им принадлежит верховная власть, и таким образом, действительно пока что не утвердившись как истинный правитель и царь, утратит в их глазах самое право на власть, если не на всю целиком, то на самые существенные её рычаги.

И всё же он обращается к ним. На что он рассчитывает? скорее всего, он рассчитывает на то, что боярская Дума значительно обновилась со дня заговора и народного бунта, что из прежнего состава на своих местах удерживается только четверо неблагонадежных бояр, что в течение прошедшего года ему удалось ввести в Думу восемнадцать новых бояр, все-таки отобранных из массы других, хотя бы слегка и на глаз проверенных им, должных быть ему благодарными за свое возвышение, прямо-таки обязанных его поддержать.

Рассчитывает напрасно. Пятого февраля он собирает боярскую Думу и, страстный охотник обстоятельно развивать свою мысль, много говорит тем, кто по своему положению и назначению должны быть его единомышленниками, соратниками, помощниками в таком важном вопросе, как назначение Московского царства, а с ним и царя, в сонме множества мелких, мельчайших и малозначительных европейских держав, кто прежде других способны и обязаны понимать, как именно в этом смысле необходимо в перемирных грамотах полностью начертать его новое имя, впервые в истории русской государственности недвусмысленно, напрямую сливая в единое целое правителя, державную личность с державой, ставя между царем и царством знак равенства, воздвигая таким образом новую, ценнейшую идею нераздельности государственной власти, в согласии с которой уже давно попавшие в положение подручных князья и бояре должны переродиться из возмутителей спокойствия, из воинственных претендентов на верховную власть в добрых советников, в мирных исполнителей единой воли царя и великого князя.

Естественно, именно перерождения в мирных, законопослушных советников, исполнителей единой воли царя и великого князя они страшатся пуще чумы. Хлебнувши полной воли, самовластные четырнадцать лет, вкусившие блаженную сладость анархии, ещё большую сладость растаскивания полной горстью казенных земель, уклонения от уплаты даней и пошлин да вольготного кормления в городах и в тянущих к ним волостях, подручные князья и бояре не расположены так просто отказываться от самовластья и приятной возможности впредь без опаски, покойно тащить в свои сундуки всё, что в Московском великом княжестве плохо лежит.

Доводы подручных князей и бояр довольно умны, в сущности, неоспоримы. Они опираются на традицию, на отчину и дедину, на благословение прародителей, на примеры истории, которые прекрасно известны и широко начитанному царю. В русских княжествах издавна повелось, что бояре приговаривают, а князь своим словом лишь утверждает их приговор, так что могут согнать со стола и выставить за городские ворота хоть в чем мать родила, объявив, что не люб, могут в полках отказать или вдруг увести свои и городские полки с поля битвы, могут, хоть изредка, задушить, зарезать, убить, как Андрея, народом любимого, по заслугам нареченного Боголюбским, если вздумает выйти из жесткой, корыстолюбивой воли думных бояр. При этом они старательно забывают уроки той же истории, которая говорит, что именно своеволием подручных князей и бояр Русская земля низведена до ничтожества и что по их несомненной вине татары и Литва до сей поры безнаказанно лютуют над ней.

Так же недвусмысленно, откровенно они разъясняют молодому царю и великому князю, что есть дело земское, общее, ведать которое следует единственно приговором подручных князей и бояр, а есть дело государево, личное, до которого им дела нет и которое по своему усмотрению решает сам государь, как есть Русская земля и есть государев удел. В сложившихся обстоятельствах, продолжают они, земское дело требует Литве уступить, поскольку Русской



земле грозит враг казанский да враг крымский, а третьего врага Русской земле не поднять. Имя же касается одного государя, из-за одного государева имени Русской земле неразумно третьего врага накликать. Исходя из полного, безоговорочного отделения земского дела от государева, боярская Дума выносит свой приговор: царского имени в перемирных грамотах не писать.

Подручные князья и бояре абсолютно правы со своей точки зрения, они приговаривают так, как приговаривали всегда, на их стороне неистощимая сила традиции. Иоанн тоже абсолютно прав со своей точки зрения, поскольку переменялась вся европейская жизнь, в свете этих принципиальнейших перемен боярская традиция устарела и может применяться только во зло. Если принимать во внимание перемены в отношениях между европейскими государствами, на стороне Иоанна будущее величие Московского царства, пока ещё скрытое за туманами по меньшей мере двух грядущих столетий, ещё только слабо угадываемое, но уже предсказуемое, поскольку повсюду в Европе впадают в ничтожество те народы и государства, где вопросы государственной важности продолжают самостийно решать князья да бояре, напротив, возвышаются те, в пределах которых вопросы государственной важности решаются единственно твердой волей монарха, абсолютного, не ограниченного ничем и никем, кроме Бога.

Московскому царству в ближайшие два-три столетия предстоит либо разделить жалкую участь всеми попираемой Италии, Германии, Речи Посполитой, ещё лишь возникающей, но уже шагнувшей на скорбный путь разложения и упадка благодаря самовластию радных панов, либо встать в один ряд с Англией, с Австрией, с Францией, которые именно в этот поворотный момент европейской истории становятся ведущими державами сначала Европы, потом и всего мира, методически вытесняя Испанию. Вне всякого спора, от принципиального выбора между царем и подручным боярством зависит целостность Московского царства и его безопасность от нашествия внешних врагов.

Выбор неизбежный, эпохальный, но трудный. На стороне подручных князей и бояр очевидный фундамент окостенелой традиции, на стороне Иоанна лишь слабый призрак, сотканный из пророческих предчувствий мираж да исключительное самолюбие болезненно уязвляемой личности, которые неизвестно к чему приведут. Подручные князья и бояре имеют все резоны повелевать, запрещать, ограничивать его притязания на единодержавную власть, водить её на одно невинное представительство, на хозяйничанье в своем особном, царском уделе. Царь и великий князь тоже имеет свои резоны отстранять от власти подручных князей и бояр и единолично, по своему усмотрению исполнять своё царское дело как в своем особном царском уделе, так и по всей Русской земле, поскольку эгоистическое самовластие мелких властителей в самое короткое время привело к разбойному разорению именно земства, благополучие которого они лицемерно защищают от посягательств царя и великого князя, но не умеют защитить от посягательств татар и Литвы, к ослаблению войска, к беззащитности и западных, и южных, и восточных украин, которые теперь они будто бы намерены защищать.

Обе стороны желают уладить это вполне смертоносное разногласие миром, однако ни одна из них даже не помышляет пойти на уступки, но каждая упрямо, безоговорочно требует, чтобы другая смирилась, сдалась, отказалась от своих наследственных прав, передала ей желанную верховную власть, а это значит, что им ни под каким видом не уладиться миром.

Как раз в этот напряженный, чреватый серьезнейшими последствиями, опалами и казнями, отравлениями и тайной борьбой, поистине переломный момент на скользком поприще государственных дел выступает прямолинейный, далекий как от компромиссов, так и от государственных дел поп Сильвестр, которому не пристало мешаться в этого рода дела, если неукоснительно следовать известному слову о непроходимой грани между Кесаревым и Боговым, выступает, натурально, не как государственный деятель, как в другой стране и намного позднее выступит знаменитый кардинал Ришелье, умевший прозорливо рассчитывать расстановку наличных, так или иначе сложившихся политических сил, но именно как поп, с Еванге-

лием в руках, с моральным наставлением и приговором, инструментами малопригодными для решения запутанных проблем внутренней и внешней политики.

Поп Сильвестр поет свою любимую песнь, то есть проповедует забвение всего эгоистически-личного, смирение, покорность, ту самую другую ланиту, которую ни у кого не замечается желания подставлять, но отчего-то проповедует смирение, покорность и другую ланиту одному Иоанну, а не подручным князьям и боярам, хотя в качестве служителя церкви обязан звать к смирению, покорности и ланите каждую из непримиримо завраждовавших сторон. Поп Сильвестр, моралист неукротимый и страстный, нисколько не сомневается в своей правоте и едва ли подозревает о том, что втемяшивается не в религиозную, а в политическую борьбу, причем не на стороне, а против царя и великого князя, которого наставляет с пожаром в глазах, желая, конечно, всевозможного блага ему. Предлагая смириться, покориться, подставить другую ланиту, он предлагает отказаться от власти, оставить её подручным князьям и боярам, которые вовсе не блещут смирением, покорностью и желанием подставлять другую ланиту, они и за первую душу вытрясут, только волю им дай.

Именно Иоанн, непоколебимо уверенный в том, что верховная власть дана ему Богом, согласиться на смирение, покорность и другую ланиту не может, права лишен. Поп Сильвестр, привыкший видеть, с каким вниманием молчаливые ряды безропотных прихожан выслушивают тексты Евангелия, с какой расторопностью десятки умельцев исполняют его приказания, когда он командует росписью кремлевских палат, тоже не в состоянии остановиться и только усиливает свою не идущую к делу однообразную проповедь о смирении, покорности и безропотном приятии оскорблений, нанесенных, что ни говорите, а все-таки царской ланите.

Они оба очень похожи и в то же время очень различны. Оба страстные, неукротимые, неуступчивые, склонные властвовать над людьми, оба впечатлительные, с сильно развитым воображением, способным рождать причудливые видения, оба наделены даром слова, оба усердные книжники и увлеченные толкователи прочитанных книг. На какой бы предмет ни устремлялась мысль одного, как обнаруживается в более или менее короткое время, что тот же предмет в равной мере занимает другого. Между ними никогда не случается, чтобы один говорил, а другой выслушивал с молчаливым согласием. Всякая встреча этих двух охотников до красноречия становится диалогом, беседой, чаще взволнованным спором на отвлеченные темы, в первую очередь спором о воле Бога и земном поведении смертного, раба Бога, благоговейно внимающего Небесным предначертаниям, ибо и тот и другой во всем полагается исключительно на веления господина и пытается их распознать.

Их беседы тем жарче, тем неоконченней, что в желании распознать и постигнуть, в жажде Божественной истиной сталкиваются слишком неодинаковые, слишком несовместимые по своим свойствам умы. У попа Сильвестра ум догматический, твердый, застывший, как вылитый в форму металл. Поп Сильвестр не ищет, потому что давно нашел и не сомневается в найденной истине. Он ни к чему не стремится, потому что всей душой доволен достигнутым. Он действует в хорошо обжитом пространстве привычного, в пределах от реальной жизни удаленного храма и потому не колеблется, всегда знает, что делать, как поступить, то есть спастись постом и молитвой от любых частых и государственных бед. Он всегда имеет дело с одним и тем же предметом, с христианским учением, и потому не рассуждает, а проповедует и наставляет. Его мысль напоминает обломок скалы, позабытый в безводной пустыне.

Ум царя Иоанна в вечном движении, в поиске, гибкий, своевольный, капризный, однако пронизательный и глубокий, а потому не управляемый никаким внешним влиянием, горьким опытом одиноко-тревожного детства настроенный добиваться причин, самим положением гонимого и непризнанного царя обреченный колебаться, раздумывать, сомневаться во всем, прежде чем родится решение запутанных, всегда многосложных государственных дел. Царь Иоанн стремится отыскать достаточное философское основание для своих обширных, большей частью неумеренных притязаний как во внутренней, так и во внешней политике и потому

часто пробудет, перебирает, отбрасывает, гонится за другим, часто недоволен и самим собой и своим положением. Вкруг него всё в беспрестанном движении, так свойственном живой жизни, ему приходится действовать в сложных, переменчивых, как правило непредвиденных, непредсказуемых обстоятельствах, на скрещении интересов, желаний и воли тысяч и сотен тысяч самых разных людей и племен, как в собственном царстве, так и вне его уже довольно обширных пределов на тысячи верст, так что ему каждый раз всё приходится решать наново, тщательно взвешивать, ошибаться, исправлять свои же ошибки и всегда страшиться вновь впасть в заблуждение и неверно решить. По своему характеру, по своему положению царь Иоанн не имеет друзей, его окружают враги, всегда угрожающие ему если не уничтожением, не отрешением от власти, гибелью всех надежд или смертью, то позором бесчестия, так что у него редко остается время на проповедь, наставление, увещевание, он защищается чаще, чем нападает, он отражает и наносит ответный удар, он не склонен к мирной, тем более бездельной беседе, он ведет смертельно-опасный, яростный бой. Его мысль напоминает кипящий вулкан, всегда готовый выплеснуть наружу горящую лаву, испепелить всё, что встанет у него на пути, а в иные минуты способный уничтожить себя самого.

Царь Иоанн разворачивает свои доводы в пользу настоятельной необходимости писать в перемирных грамотах свое полное, именно царское имя. Поп Сильвестр твердит о смирении, о покорности и о ланите. Как государственный человек и правитель царь Иоанн не может не понимать, что все в иных случаях верные соображения о смирении, о покорности, о ланите в переговорах между враждующими на смерть державами неуместны, если не глупы. Как ему не взять в толк, что и без того прежде крохотная, с булавочную головку, безгосударственная Литва покрала едва ли не половину исконных русских земель, а смиришь, покорись, ланиту подставь, так за милую душу пожрет вновь Смоленск, который великой кровью еле отбили, пожрет и Великий Новгород, и Псков, и Москву. Однако как верующий, искренно отдающий себя в полную власть всевидящего Христа он не может не склоняться перед смирением, покорностью и ланитой, не может не думать о том, что вера в милосердного Бога велит склонять голову перед враждебными обстоятельствами, уступать, жертвовать личным, принимать покорно, если не благодарно, все без исключения удары судьбы. Поп Сильвестр полностью удален от государственных дел и не в силах понять, что в долговечной битве враждебных держав смирение, покорность, другая ланита обыкновенно принимаются как очевидное подтверждение слабости и лишь прибавляют несговорчивой наглости, презрительной агрессивности тем, перед кем христиански смирился, кому подставил другую ланиту.

Случайно выведенный из своей насиженной кельи в иные, загадочные, чужие пространства, не дающиеся его застылому разумению, не отвечающие молитвенному настрою души, натолкнувшись на вязкое, неодолимое сопротивление будто бы зеленого, на самом деле давно и стремительно повзрослевшего юноши, в котором по ограниченности ума не способен не видеть всего лишь своевольный каприз, всего лишь заблуждение молодого, неопытного правителя, поп Сильвестр поступает привычно, как всегда в таких случаях ведет себя с теми овцами, которые взялся пасти. Он призывает Бога в свидетели своей правоты, аргумент безотказный, поскольку прежде времени воля Бога никому не известна, она известна задним числом. Царь Иоанн не склонен попу уступать, ведь он государь, твердо поверивший в то, что посредством его желаний и дел сам Господь незримо управляет земными делами, так ему ли Господней воли не знать?

Поп Сильвестр и не думает возражать, в вопросе о происхождении и сущности монархической власти оба они солидарны. Его беспокоит имя, а вместе с именем пределы власти новоявленного царя, без которой жили привольно и которая по этой причине не должна, по его соображениям, распространяться на земство, а вместе с земством не должна касаться и привилегий, которыми благоденствуют монастырские земли, потому что тут решается не один частный вопрос, писать или не писать в перемирных грамотах имя царя, решается общий вопрос о

разграничении полномочий, о судьбе привилегий, о праве царя и великого князя единолично, по своему усмотрению регулировать земскую жизнь, как регулирует жизнь своего наследственного великокняжеского удела, то есть, в сущности, имеет ли царь и великий князь право воротить себе украденные у него земли, зажиленные дани и пошлыны, расхищенную казну, или земли, дани и пошлыны, расхищенная казна так и останутся в полной воле любостяжательных монастырей, князей и бояр.

Безусловно, поп Сильвестр, как и митрополит Макарий, возможно стоящий за ним, как и все владетели, игумены и архимандриты, стоит за полную неприкосновенность нагло присвоенных привилегий, даней, пошлин, звериных и рыбных ловищ и пашен. Как после кровавого бунта он являлся спасать повинные боярские головы, так и в этом важнейшем вопросе о царском имени, о власти, о привилегиях, о данях и пошлинах, о разворованных землях он целиком на стороне подручных князей и бояр. Он действует смело и широко, не без посягательства на одну из стародавних традиций. Ни до, ни после этого малодостойного происшествия думные бояре в своих приговорах не прибегали к авторитету нравственных норм, им глубоко безразличных, если не чуждых, тем более не трактовали о греховности того или иного политического деяния, о желательности или нежелательности которого составляется их приговор. Именно поп Сильвестр внушает им неуместную мысль, что на душу молодого царя ляжет грех, если перемирные грамоты с новым именем не примут послы и польский король в ответ затеет войну, потому что воле Бога противно биться за одно царское имя, а не за земли, из чего следует, что ни поп Сильвестр, ни думные бояре не считают греховой войну за приобретение новых земель, как не находят зазорным и грешным отхватить у собственного царя и великого князя немалую толику черных, то есть тяглых земель с деревнями, с землепашцами, звероловами и рыбаками, с данями и пошлинами, которые взимаются с них в пользу царской казны.

Когда во второй раз, восьмого февраля, Иоанн собирает боярскую Думу и настаивает на необходимости вписать в перемирные грамоты свое царское имя, думные бояре в один голос пугают его Божьей карой, если кровь прольется за имя, и стоят непреклонно на том, что исполнить его повеление им непригоже. Со своей стороны, поп Сильвестр пугает Иоанна видениями, которые служат ему безотказно. В его видениях будто бы является воля Божья и сам Бог так ему прямо и говорит, что царю Иоанну нехорошо в таком важном деле, как мир и война, держаться за имя царя.

Иоанн обладает горячим воображением, его вера велика и крепка, в изнеможении от длежащихся многими часами молитв с ним самим время от времени приключаются галлюцинации, и ему не стоит труда поверить в рассказы проповедующего попа, будто его наставник и друг в самом деле бывает удостоен видений, однако и видения не убеждают его. Замечательно: чем дольше он стоит на своем праве на царское имя, тем чаще попа Сильвестра посещают видения, точно у него с Богом постоянная и безотказная телефонная связь. Наконец обилие видений становится явно безмерным. Подручные князья и бояре начинают посмеиваться над ретивым и речистым попом, Курбский, его верный сподвижник по одурачиванию царя и великого князя, ярый защитник от царского гнева, выражает сомнение, являлся ли и в самом деле перст Божий вдохновенному взору попа или поп нарочно выдумывал чудеса и видения, желая мечтательными страшилками запугать Иоанна. Другими словами, здравомыслящим современникам представляется, что поп попросту лжет во имя вернейшего достижения своих вовсе не мечтательных, а вполне земных и низменных целей.

Однако любознательный Иоанн начал знакомство с Ветхим и Новым Заветом значительно раньше, сперва под дружелюбным присмотром доброго митрополита Иоасафа, после изучал великую книгу по наставлениям образованного митрополита Макария, государственника, сторонника сильной великокняжеской власти, вернейшей, надежнейшей защитницы церкви, нечто сотканное из ветхозаветных легенд и вольно трактуемой византийской истории. Он твердо усвоил идею отделения Кесарева от Божьего и, несмотря ни на какие мечтатель-

ные страшилки попа, не склонен поступаться своим царским именем, от имени Бога данным ему митрополитом Макарием, своими землями, своими доходами, именно потому, что кесарю предназначено как зеницу ока беречь и земли и доходы и имя, и вновь, два дня спустя, одиннадцатого февраля, он созывает думных бояр и вопрошает, уместно ли согласиться на умаление его царской чести, опустив в перемирных грамотах его царское имя.

И всё же уверенность его поколеблена. Рассказы и враки попа сильно действуют на его христианскую совесть. Ужас греха в душе его слишком велик, и чтобы хорошенько расшевелить этот ужас, почти первозданный, многих усилий не надо, а тут красочные картины, живые образы, чудовища на чудовищах, бесы на бесах, сковородки на сковородках, которыми нашпиговывает свои таинственные видения неизобретательный, недалекий, догматически мыслящий поп. Как не задуматься, как не остережся, как не поискать опоры на стороне.

Вместо того чтобы властным окриком всесильного самодержца, с привлечением стражи, если до неё дело дойдет, как и полагается непреклонному библейскому кесарю, оборвать неуместные, далеко не безвинные разглагольствования подручных князей и бояр, он трижды созывает боярскую Думу, трижды упрасивает своих малограмотных воевод вникнуть в серьезность его государевых доводов, трижды набирается мужества склонить перед ними свою нештучную гордыню, трижды унижается перед ними, упрасивая не ронять его государевой чести перед иноземным, коварным, к тому же иноверным властителем, и подручные князья и бояре отлично улавливают его колебания, верно чувствуют его неуверенность в своей правоте, его незрелость, его неготовность управлять самовластно и окончательно приговаривают, как в первый, во второй, та и в третий раз выкинуть царское имя, в результате этих оскорбительных для царского достоинства прений уступив лишь несколько оговорок о русской грамоте и о будущем намерении твердо стоять за его высокое имя:

«Написать полный титул в своей грамоте, потому что эта грамота будет у короля за его печатью, а в другой грамоте, которая будет писаться от имени короля и останется у государя в Москве, написать титул по старине, без царского имени. Надобно так сделать потому, что теперь крымский царь в большой недружбе и казанский также: если с королем разорвать из-за одного слова в титуле, то против троих недругов стоять будет истомно, и если кровь христианская прольется за одно имя, а не за земли, то не было бы греха перед Богом. А начнет Бог миловать, с крымским делом доделается и с Казанью государь переведается, то вперед за царский титул крепко стоять и без него с королем дела никакого не делать...»

Попутно выясняется, если повнимательней взглянуть в текст приговора, что уже в это время никто из подручных князей и бояр не помышляет о возвращении исконных русских земель, прихваченных неугомонной Литвой, что главным направлением военных действий они полагают Крымское ханство, даже Казанское отодвигается ими на второй план и чуть ли не почитается опять-таки делом исключительно государевым.

Иоанн не соглашается с ними. Он пробует измором взять литовскую сторону. По его повелению Михаил Вороной продолжает настаивать, чтобы царское имя писалось не только в московской грамоте, но и в грамоте польского короля и литовского великого князя, когда же Станислав кишка упирается наотрез, Михаил Вороной отпускает его восвояси, наказав с ним поклон королю, но отклоняет просьбу о новом приеме, тем более просьбу о царской руке, потому что, дает пояснение, московским царем и великим князем на польско-литовское посольство слово положено гневное.

Коса, разумеется, находит на камень. Станислав кишка с Комаевским и Есманом отъезжают, да уезжают недалеко. Польско-литовским послам много лучше, чем московским князьям и боярам, известно, что Сигизмунд Август не помышляет о войне ни за земли, ни тем паче за какое-то имя, к тому же не имеет средств воевать, тогда как их отъезд без царской руки означает разрыв и войну, хотя бы сугубо формальную, да и задиристая панская спесь не позволяет отъехать со срамом.

Послы возвращаются. Михаил Вороной вновь заводит речь о новом имени московского царя и великого князя. Тут Станислав Кишка совершает любопытнейший пируэт. Собственно, напрямик он уже не отказывается признать невесть откуда свалившееся на него имя царя, он только указывает, что не имеет полномочий от своего короля и великого князя, а потому просит составить такую бумагу, в которой бы черным по белому говорилось, каким образом московский государь на царство венчался и откуда его предки приобрели это самое царское имя.

По сути, послов остается только дожать, однако Иоанном вновь овладевают сомнения. Человек умный, он не может не понимать, что для польского короля и литовского великого князя возвращение вспять не только до Софьи Палеолог, но и до Владимира Мономаха, жена-того на византийской принцессе, не покажется достаточным основанием для его царского имени. В то же время он твердо уверен, что в вопросе о титуле нельзя отступать ни на шаг, и, в свою очередь, изобретает замечательный пируэт: никакой оправдательной бумаги послам не давать, потому что на писаное слово в Литве и Польше составят такие же писанные ответы, завяжется переписка на два или три сундука, и речь об имени невозможно станет вести.

Станислав Кишка разводит руками: без бумаги какой разговор. Некоторое время толкуются на этом ещё не истоптанном месте, пока не выдерживаются приличия и не надоедает топтаться. Наконец писцы принимаются за свои прямые обязанности и строчат под диктовку, с московской стороны с полным именем царя и великого князя, со стороны польского короля и литовского великого князя лишь с одним великокняжеским именем, что на дипломатическом языке означает победу Сигизмунда Августа, достигнутую не без возмутительной помощи московских думных бояр, и поражение Иоанна, поскольку на лестнице титулов и чинов король стоит ступенью повыше великого князя и с полным правом может говорить с Москвой свысока, тон обыкновенный в сношениях Литвы и Польши со своим неподатливым восточным соседом, который Иоанн усиливает переменить, для чего прямо необходимо поставить себя ступенью выше хоть и бессильного, но чрезвычайно спесивого польского короля.

## Глава двадцатая

### Грамоты

Как нарочно, унижения сыплются на него не от одного польского короля и литовского великого князя. Крымский хан, этот кровавый властитель диких кочевий, ведет себя ещё оскорбительней, как государя не ставит его ни во что, в своих хамских посланиях обращает его в бессловесного данника. Захватив Астрахань, раздобревшую на данях и пошлинах от торговли между Востоком и Западом, однако скудную и воинским духом и войском, разорив город до основания, выведя множество пленных, таких же татар, Саип-Гирей, точно потешаясь над неудачным казанским походом, шлет грамоту московскому князю, полную дерзости и презрения и к нему самому и ко всей Русской земле:

«Ты был молод, а нынче уже в разуме: объяви, чего хочешь: любви или крови? Ежели хочешь любви, то присылай не безделицы, а дары знатные, подобно королю, дающему нам 15 000 золотых ежегодно. Когда же угодно тебе воевать, то я готов идти к Москве, и земля твоя будет под ногами моих коней...»

С тем вместе до Москвы доходит известие, что царский гонец, отправленный в Крым, обещан и что хан захватывает московских торговых людей, обращая в невольников и в своих слуг. Иоанном овладевает истинный гнев, В этом деле он царь, в этом деле он самодержец, единовластный правитель. Он и не думает призывать подручных князей и бояр на совет. Весь его крутой нрав выступает наружу. Никаких даней, даже безделиц, тем более никаких пятнадцати тысяч дукатов. Он не только не отвечает на возмутительное послание зарвавшегося разбойника, живущего единственно грабежом да жестким мясом молодых кобылиц, тем самым уже нанося ему оскорбление, он повелевает швырнуть в темницу ханских послов, таким откровенным нарушением дипломатической этики нанося Саип-Гирею ещё большее оскорбление.

Между тем его положение день ото дня осложняется. Отступление от острова Роботки казанский правитель Сафа-Гирей празднует как свою заслуженную большую победу, и празднует сильно, безумно, точно срывается с цепи. В марте, не успевают Станислав Кишка, Комаевский и Есман воротиться в родные края, гонец доставляет из Казани известие, что Сафа-Гирей, напившись пьян до потери сознания, зацепился неверной ногой за мраморный умывальник, ударился головой и вскорости помер, не вызвав у более трезвых подданных огорчения, зато причинив им множество беспокойств. Окрыленные радостным случаем сторонники крымского хана возводят на опустевший престол Утемиша, его двухлетнего сына. Правительницей при нем становится мать нового казанского хана, дочь ногайского хана Юсуфа, что обеспечивает Казани верную помощь многочисленных и злобных ногайских племен. Ожидая неминуемого удара Москвы, казанцы отправляют к крымскому хану гонца за гонцом и требуют и просят и умоляют о помощи. Одного из казанских гонцов перехватывают степные казаки и грамоты доставляют в Москву. Из грамот становится очевидным, что Казань, кочевые ногаи и Крым могут наконец достигнуть согласия, между ними давно не бывалого, поскольку между разбойниками согласие приключается редко. Того гляди, в самом деле увидишь татарских коней под Москвой.

Необходимо спешить, ни под каким видом не упустить благоприятный момент, пока Утемиш-Гирей мал, а его мать не упрочила союза Казани ногаев и Крыма.

Все вместе, и собственные князья и бояре, и польский король, и крымский хан, наносят ему крайне болезненный, сильный удар, какой только можно нанести каждому человеку, любому из смертных: они покушаются на его гордость, ущемляют его самолюбие, понижают самооценку, сминают его представление о своем личном значении во вверенном его попечению царстве. У слабых духом в таком положении опускаются руки, посредственность пуска-

ется на мелкие и пошлые хитрости, чтобы удержать свой шаткий челнок при помощи каких-нибудь крохотных приобретений, вроде знаков отличия, только одаренный и сильный в одно мгновение возвышается над враждебными обстоятельствами и становится ещё одаренней, ещё сильнее, чем был, его энергия прибывает и рвется вперед, иногда возвышаясь до гениальности.

Иоанн созревает быстро, у всех на глазах, преграды лишь возбуждают, закаляют его. Не успевают подручные князья и бояре отпраздновать свою нечистую победу над ним, полагая, что им удалось сохранить за собой во всей полноте реальную власть над так называемой земщиной, как он изобретает великолепное противодействие им. Неподалеку от Разрядной избы в кремлевской подновленной оgrade в несколько дней собирается новая изба с высоким крыльцом, с двустворчатыми дверями, с сенями, с большой горницей для писцовых работ, с другой поменьше для дьяков, а для архивов с клетью внизу. В избе размещается вновь учрежденный Посольский приказ. Отныне именно сюда передает Иоанн все свои распоряжения и предположения по вопросам внешних сношений. Дьяки и подьячие, исполнительные, проворные, грамотеи, начетники, опытные в делах, умеющие составлять бумаги с соблюдением всех международных правил и норм, обдумывают, обставляют необходимыми ссылками на обычай, на прежние договоры, по необходимости сами приходят на совет к царю и великому князю, вносят поправки и уточнения и лишь после этой предварительной кропотливой, определяющей самую суть документа вносят его, как и полагается делать любому приказу, в боярскую Думу, в которой, кстати сказать, не все бояре умеют читать и писать. Благодаря приказу посольских дел инициатива в посольских делах отныне всегда исходит от Иоанна, а думные бояре пасуют перед составленной черным по белому грамотой.

Соорудив боярскому своеволию прочный предел из обыкновенной писчей бумаги, он с тем большей решимостью принимается готовить новый поход на Казань. Естественно, для похода деньги нужны, и как только Адашев доводит до его сведения первые итоги проверки неправомерно приобретенных жалованных грамот, тотчас следует несколько решительных, жестких распоряжений царя и великого князя, у которого в самом деле понемногу ожесточается сердце. Похоже, до нашего времени из этих грамот доходит только одна, от четвертого июня 1549 года, направленная дмитровскому городовому приказчику. Этой грамотой лишаются торговых и таможенных привилегий в Дмитрове, Кимрах и Рогачеве монастыри и соборы, в том числе московский Успенский Симонов монастырь, московский Рождественский монастырь, московский Вознесенский монастырь, дмитровский Никольский Песношенский монастырь, тверской Благовещенский Перемерский монастырь, а также московский Успенский собор, однако торговые привилегии некоторых крупнейших монастырей пока что им оставляются:

«И аз, царь и великий князь, ныне те все свои грамоты жалованные тарханные в одних своих в таможенных пошлинах и в померных порудил, опричь троецких Сергиева монастыря и Соловецкого монастыря и Нового девича монастыря, что на Москве, и Воробьевские слободы...»

В июле запыленный татарский гонец вручает ему послание правительницы Казани, в котором дочь ногайского хана именем своего малолетнего сына требует заключения мира, точно уже сговорились с воровским Крымом и с разбойной ногайской ордой. Немирный, мятущийся, стремящийся всюду поспеть, Иоанн на неприличное требование отвечает резко и грубо: о мире не гонца присылают просить, о мире ведут переговоры послы. Послов упрямая дочь ногайского хана присылать не желает. Её нежелание означает войну.

Точно спеша все дела обстроить перед новым походом, он женит Юрия, глухонемого, малоумного младшего брата, на княжне Иулиане Палецкой, возвышая, располагая к себе этим браком счастливого князя-отца, велит служилым людям большого полка идти к Суздалью, передового к Шуе и к Мурому, сторожевого к Юрьеву-Польскому, полки левой руки к Ярославлю, полки правой руки к Костроме, двоюродному брату Владимиру Старицкому сватает Евдо-



кию Нагую, старинного тверского боярского рода, отошедшего в Переславль-Залесский на московскую службу, возможно, сватает по совету Сильвестра, сторонника и почитателя крепкого брака, преследователя и ненавистника малейшего блуда, так что решился в кремлевских палатах изобразить нагую блудницу, танцующую перед Христом, в напоминание известной истории, наконец отправляет послов взять крестное целование с польского короля и литовского великого князя о неукоснительном и наиполнейшем исполнении подписанных грамот о перемирии. Послам даются наистрожайшие указания: вновь требовать, чтобы Сигизмунд Август признал новое имя московского государя, потребовать также, чтобы крестное целование исполнялось по всем пунктам, в особенности что касалось взаимного возвращения пленных и беглецов, поскольку Иоанн ни под каким видом не хотел бы сам нарушить крестного целования, особо же просить свободы пленным боярам Овчине-Оболенскому и Голице-Булгакову за выкуп в две тысячи золотом. Во главе посольства он ставит окольного Михаила Морозова, с ним едут другой Морозов и дьяк Карачаров, все трое приблизительно в том же ранге, в каком были Кишка, Комаевский и Есман.

То ли Михаил Морозов оказывается абсолютно бездарным послом, то ли в угоду думным боярам не выказывает должного рвения, чтобы исполнить волю царя и великого князя, то ли сам лично не имеет желания её исполнять, только переговоры ведутся формально, поспешно и на всех пунктах проваливаются, даже на тех, где не стоило труда настоять на исполнении интересов Московского царства, тем более что в Кракове окольному противостоит луцкий епископ Валериан да Сапега, дипломаты далеко не первой руки.

В соответствии с повелением, первая речь заводится о царском имени. Михаил Морозов обязан наиточнейшим образом, слово в слово передать поручение Иоанна, его доказательства, разъясняющие, что Иоанн требует титула по обычаю, принятому между европейскими государями:

– Дело знаменитое, все государи христианские имя свое пишут по венчанию, а короли по коронованию.

В пример передается через послов, что Ольгерд королем не писался, а Ягайло, Ольгердов сын, корону на себя возложил, и все прочие государи стали писать его королем. Напоминается также, что имя Иоанн получает от своих прадедов, причем не совсем осторожно называется имя великого князя Владимира Мономаха, который как-никак царем не писался.

Однако Европе московские дела не пример, Европа никогда просто так не позволит Москве то, что позволяет себе, стало быть, Ягайло тут не при чем, и Сигизмунд Август с небрежным смешком повелевает послу передать, что прежде ни сам Иоанн, ни его отец, ни его дед не писались царями, а что до Владимира Мономаха, так ведь это чересчур уж давнее дело, к тому же Киев есть и вовеки пребудет вотчиной польского короля и литовского великого князя, из чего следует, что польский король и литовский великий князь больше прав имеет именоваться царем киевским, чем Иоанн царем московским, да польскому королю и литовскому великому князю царский титул не надобен: царский титул не принесет ему ни почестей, ни славы, ни выгод.

Наперед угадывая возражения Сигизмунда Августа, многократно повторенные Станиславом Кишкой в Москве, Иоанн передает маловерными устами Михаила Морозова:

– Если польется кровь, то она взыщется на тех, которые покою христианского не хотели, а тому образцы были: Александр-король деда государя нашего не хотел писать государем всея Руси, а Бог поставил на что? Александр-король к этому придал ещё много и своего. А ныне тот же Бог.

Сигизмунд Август по понятным причинам не желает припоминать это пренеприятное происшествие и обходит эту слабо прикрытую угрозу молчанием, а Михаил Морозов со своей стороны ничего нового не может или не хочет или не считает нужным прибавить и тем при-

знает правоту польского короля и литовского великого князя, тем вновь способствуя унижению своего государя.

Для Иоанна не менее, а в некотором смысле даже более важно настоять на прямом исполнении крестного целования о перебежчиках, которых обе стороны уже несколько раз обязывались возвращать восвояси и никогда не делали этого, не в силах одолеть соблазна приобрести ещё одного, хоть и беглого, воина, и он увещевает устами Михаила Морозова:

– И ты, брат наш, порассуди, чтобы это неисполнение на наших душах не лежало: или вычеркни условие из грамоты, или уже будем исполнять его, станем выдавать всех беглецов.

Сигизмунд Август и тут изворачивается, вычеркивать из перемирных грамот условие о выдаче перебежчиков не находит удобным, а насчет крестного целования высказывается неопределенно, заверяя не в меру покладистого посла, точно уже наострившегося сбежать, что ни в чем против подписанных пунктов не поступает, всё делает заведенным порядком, по старине, будто бы позабыв, что именно старина закрепляет право каждого служилого человека свободно переходить от одного государя к другому.

На просьбу же взять большой выкуп всего за двоих воевод Сигизмунд август отвечает уже прямой наглостью, стоящей наглости крымского хана: в обмен на двух воевод он требует Чернигов, Мглин, Дроков, Попову гору, Заволочье и Себеж, что уже не сообразно ни с чем и объясняется одним малопрстойным желанием покруче оскорбить своего московского брата, как они один другого именуют по этикету, ни с того ни с сего надумавшего именоваться царем, то есть кесарем, то есть императором, равным императору Священной Римской империи, а более никому.

Получив и эту пощечину, в точности переданную Михаилом Морозовым, ожесточившийся, с жадной скорой, непременно громкой победы, которая одна крепче всевозможных венчаний и пререканий с упрямым соседом утвердит его право на новое имя и принудит и крымского хана и польского короля изъясняться с ним более учтивым, если не почтительным тоном, двадцать четвертого ноября Иоанн во второй раз, отстояв в храме Богородицы долгую покаянную службу с надеждой на милосердие Сына Её, выступает из Москвы во Владимир, взяв с собой брата Юрия, на Москве оставив своим наместником Владимира Старицкого, неосторожно подавая подручным князьям и боярам крамольную мысль о замене правителя.

## Глава двадцать первая

### Преобразования

Отчего он повелевает полкам собираться по разным городам, расположенным в неблизком расстоянии один от другого? В этом решении нельзя не видеть рачительного хозяина Русской земли, который хлопочет о сносном размещении большой массы служилых людей, о пристойном их пропитании, о приготовлении пищи не на кострах в открытом поле вокруг малонаселенного, утратившего свои былые богатства Владимира, как учинялось прежде московскими воеводами, идущими на Казань, а в домашних условиях, в печах посадских людей, под присмотром тамошних домовитых хозяев.

В его решении есть и другая, довольно щекотливая сторона. Наглядевшись два года назад на бестолковые, полубезумные распри подручных князей и бояр из-за мест на полках, он зараннее разъединяет неуживчивых претендентов на воеводство, оставляет самых важных из них без полков, а во Владимире собирает лишь немногих князей и бояр, что-то походящее на главный штаб, верно, надеясь в душе, что таким простым способом ему удастся если не примирить, то хотя бы остудить накал диких страстей, которые каждый раз мутят головы воеводам, как только они сходятся в очумелой схватке за власть, не жалея ни жирных ланит, ни глубоко почитаемой, лелеемой и холимой растительности на голове и лице.

Он заблуждается. Диких страстей ничем не остудишь, раз они дикие, кроме крепкого кулака. Как только приходит пора расписывать воевод по полкам, подручные князья и бояре вновь забирают это важнейшее дело в свои дрожащие от нетерпения алчности руки, отстранив царя и великого князя точно так, как отстранили в начале переговоров с Литвой, предоставляя ему одно формальное право безучастно следить за взметнувшимся шквалом взаимных срамных оскорблений, за грязной склокой и мордобоем да по завершении этой идиотской баталии, когда они станут бить челом с лицемерным благообразием и смирением, утвердить их неразумный, способный только повредить приговор, независимо от того, одобряет он или не одобряет выбор разгоряченных князей и бояр.

Неизвестно, заваривается ли на этот раз военный совет слишком скандальным, заранее ли изготавливается к нему Иоанн или на ходу изобретает способ притупить распрю без применения карающей власти, которой на эту минуту, по правде сказать, и нет у него, только внезапно он вызывает из Москвы митрополита Макария, рискуя оставить стольный град на одного Владимира Старицкого. Макарий является, соединяется с владыкой крутицким Саввой, в главном соборе Владимира оба пастыря служат молебен о даровании православному воинству победы над нечестивыми, после чего, пользуясь молитвенным настроением служилых людей, митрополит, духовный владыка Русской земли, наставляет князей и бояр, уговаривает прекратить греховную грызню за места и считаться родством уже после счастливой победой над агарянами.

Кое-как удастся уладиться, поистине с помощью Божией. Посмирневшие воеводы отправляются в путь. Идут по разным дорогам, на значительном расстоянии полк от полка. С большим полком, подошедшим из Суздаля, едет верхом, как все служилые люди, сам Иоанн.

Природа точно берется испытать московское войско. Снова самая середина зимы, как два года назад, когда всюду можно пройти, только два года назад терзали оттепели и рушились с потеплевших небес проливные дожди, а на этот раз свирепствуют жуткие холода, птицы падают на лету, даже во время движения мороз добирается до костей, что, впрочем, немудрено, поскольку многие служилые люди одеты по-прежнему скудно, ночью под кустами да под шалашиками замерзают насмерть десятками, вновь, ещё не встречали врага, серьезная убыль в рядах.

Разумеется, для Иоанна на каждой стоянке раскидывается роскошный утепленный шатер, но в прочем он терпит те же лишения, своим видом и словом, вседневным напомина-

нием о неодолимой силе Христа, направившего православные полки на неверных, ободряет служилых людей, «забыв негу, роскошь двора и ласки прелестной супруги», как в раздушенном стиле сентиментальной поэзии изъясняется чувствительный Карамзин.

Спустя три недели измотанные полки соединяются в Нижнем Новгороде. Пока воины отдыхают, а воеводы приводят в порядок поредевшие, растрепанные ряды, Иоанн выдвигается вперед во главе собственного полка, составленного из служилых людей его наследственного великокняжеского удела, и устраивает стоянку на острове Роботке, не столько по исключительному удобству этого места, сколько из гордого презрения к нежелательному с точки зрения суеверия этого нарочитого удвоению грозных обстоятельств.

Четырнадцатого февраля 1550 года он видит Казань, первый и единственный потомок победоносного Владимира Мономаха, пришедший к татарской столице с полками, а не с протянутой рукой, унижительно молящей подать в качестве милостыни ярлык на княжение. Он видит крепость как будто неважную, деревянную, прямо ничтожную в сравнении с каменным московским кремлем, особенно неказистую по колону в зимних снегах. Вид крепости его ободряет. Сознание превосходства над малолетним Утемишем-Гиреем и его матерью, дочерью ногайского хана, оставшихся после кровавых усобиц без воевод, придает ему мужества. С царским полком он занимает берег озера Кабана и отсюда расставляет остальные полки: большой полк Дмитрия Бельского, с Шиг-Алеем в придачу, на Арское поле, полки правой и левой руки в долине замерзшей Казанки, осадные пушки на льду Поганого озера и в устье Булака.

Пушки открывают пальбу. Полки со страшным грохотом глухих барабанов и дикими завываньями странно-воинственных труб со всех ног скачут на приступ. Из ворот крепости им навстречу ходкой рысью вылетают отряды конных татар. Бьются упорно, до наступления ночи, обе стороны несут большие потери, у татар гибнут один из крымских ханов Челбак и сын одной из бесчисленных жен Сафы-Гирея, что сильно действует на дух татарского войска. Уже начинает казаться, что ещё один сильный натиск, рывок и московская конница на плечах побежавших татар ворвется в Казань.

Ничего подобного не происходит. С наступлением ночной темноты московским полкам приходится отойти. На другой день приступают к осаде, в надежде задушить татар огнем пушек и голодом. Стоят одиннадцать дней. На Сретенье в ночь, на повороте зимы, внезапно налетают с юга не по времени теплые ветры, проливные дожди обрушиваются на землю, как два года назад, «и наступила большая теплота, – сокрушается летописец, – и весь лед покрыла вода на Волге», портится порох, из пушек нечем стрелять, костры не горят, ни обсушиться, ни похлебки сварить, воины тощат, болеют, кончаются сухари и мука, окрестности разграблены до последней соломины, у татар и черемис уже нечего взять, полкам грозит голод, какой готовился осажденной Казани, беда за бедой.

В каком ужасном состоянии впечатлительный Иоанн! Летописец, видимо, взятый в поход для прославления царских побед, видит его «со многими слезами, что не сподобил его Бог к путному шествию», главное, не сподобил во второй уже раз, что вдвойне чувствительно для него. Смятенный, со сдавленным сердцем дает он приказ отступать. «А от Казани пошел государь во вторник на Зборной неделе, а Казани не взял...»

Возвращаются тяжело, под дождем, снова водой, идущей поверх сизого волжского льда. Посошные ратники из сил выбиваются, помогая неокормленным лошадям тащить неподъемные пищали и пушки. Медленно, с натугой идут. Впереди большой полк, за ним остальные полки. Назади на случай наскока обрадованных татар легкая конница сторожевого полка. С этой конницей отступает и Иоанн.

Он размышляет, он то и дело оглядывается назад, на спасенную непогодой Казань. Вторую неудачу не объяснить ни кознями капризного случая, ни даже праведным гневом Христа, будто бы обрушившего новое наказание за грехи. Необходимо понять и вновь приступить, но приступить уже по-иному. А как?

Кажется, первой приходит очевидная мысль о неодолимых трудностях зимних походов. Полки вынуждаются преодолевать громадные расстояния нетронутым бездорожьём, в морозы снега выше колена, а то и по грудь, в ненастье мокрый снег, вода поверх льда, продушины, потери пушек, гибель людей. Может быть, правы татары, налетая на Русскую землю в конце лета, по первой осени, передвигаясь сухими лощинами, балками, до начала дождей? Может быть, летом двинуться в следующий раз на Казань?

Он поднимается на холмы, на пригорки, разглядывает незнакомую местность, страшится обнаружить погоню татар, которые могут идти по пятам, в устье Свияги, верстах в тридцати от Казани, позвав Мстиславского, Щенятева, Микулинского, Морозова, Шиг-Алея, поднимается на гору, названную Крутой, далеко назади видит проклятую, не дающуюся в руки Казань, впереди открывается Нижний Новгород, Вятка. Услужливый Шиг-Алей, выговаривая скверно по-русски, поясняет, что с запада под горой лежит озеро Щучье, из озера речка бежит, называется щука, обтекает гору с севера и впадает в Свиягу, весенним разливом гора обращается в остров, от половодья на всё лето до осени остаются озёрки и болотца, закрывая подступы с юга. Он видит: гора неприступна, точно природой сооруженная крепость, и, может быть, странно ему, что его воеводы, десятки раз проходившие с полками эти места, не обратили внимания на такое удачное, самой природой укрепленное место.

Он склонен к быстрым, являющимся в мгновение ока решениям, и как будто решение напрашивается само собой, без особых усилий ума, тем более, что он прекрасно и во многих подробностях знает историю, а вся история землепашеской, торговой, по своей природе мирной, миролюбивой Русской земли в возведении крепостей по всем своим рубежам, отовсюду открытым, для круговой обороны от кочующих наглых соседей, не так уж давно Иван Васильевич, дедушка, основал Иван-город, а Василий Иванович, батюшка, основал Васильсурск немногим более ста верст от Казани, воевода Бутурлин лет пятнадцать назад в три недели поставил в литовской земле земляную крепость на острове Себеж, оснатив пушками, подвезя в достатке порох и ядра, наготовив хлебный запас.

Однако все эти крепости возводились единственно для обороны обнаженных, истощенных набегами, равнинных украин, он же озабочен созданием постоянного укрепленного лагеря, тоже с пушками, с порохом, с ядрами, с хлебным запасом, откуда сподручней и ближе повести новое наступление на точно заколдованную Казань, чтобы не таскать за собой громадный обоз, сосредоточить и держать здесь пригодное войско, хотя бы полки сторожевой, передовой и запасный, а от Владимира, Ярославля и Костромы вести полки большой да правой и левой руки, причем вести налегке, не утомляя, сберегая силы служилых людей и коней. Укрепленный лагерь должен быть поместительным, сильным, татарин под носом, на конный переход или два, большого лагеря разбить не дадут, как тут быть?

Мысль вспыхивает, но по своему обыкновению он не принимает тут же решения, даже летопись, которую составляют обыкновенно задним числом, потом дополняют и переправляют множество раз, об этом событии извещает в довольно расплывчатых, допускающих противоречивые толкования выражениях:

«И пришел царь и великий князь на Свиягу, и взъехал на крутую гору, и с ним мало от вои его яко 30, и рассмотря величество горы тоя, и человеколюбивый Бог виде благоутробие его, и еру велию, и подвиг православные ради веры, вложи в сердце его свет Благоразумия, по благодати Божией на той бы ему горе поставить город казанского для дела и тесноту бы учинить казанской земле...»

Свежими, молодыми глазами он видит не только далеко открытую холмистую местность, прилегающую ко всё ещё неприступной Казани, и эту прежде никем из его воевод не примененную Круглую гору. Свежими, не приобывшими к такому нелепому зрелищу, именно молодыми глазами наконец видит он боевые действия своих плохо вооруженных, необученных служилых людей. Вся разом, без расчета и плана, дико вопя, бросается конница на приступ к

укрепленному городу, обнесенному хоть деревянными, да высокими и прочными стенами, не соблюдая никакого военного строя, не придерживаясь ни десятков, ни сотен, ни какого-либо порядка, все скопом и каждый сам по себе, врезаются в ряды таких же конных татар, перемешаются, перемешиваются, взмахивают топорами и кистенями и скорее продавливают татар своей массой, чем одолевают искусством и блеском оружия. А его воеводы, которые с такой диковинной яростью предъявляют свои потомственные права на вождение полков? Воеводы никого никуда не ведут, не управляют ничем, в превратностях битвы не отдают никаких приказаний, не группируют и не перегруппировывают по мере надобности вверенной им разномастной, сломя голову скачущей конницы. Воеводы сами скачут сломя голову впереди этой необузданной массы и бьются с врагом как обыкновенные воины, не оказывая ясной мыслью вождя никакого влияния на исход столкновения, так же мало ответственные за поражение, как за победу, если бы каким-нибудь чудом победу довелось одержать. Он видит перед собой не армию, подобную римским когортам, а беспорядочную толпу кое-как вооруженных людей, и для него остается неразрешимой загадкой, как эта стихийно скачущая, беспорядочная толпа может ворваться в пределы укрепленного города, кроме как на плечах опрокинутого врага, не выказывающего желания опрокидываться, разве что взобраться на стены верхом на конях?

Поразительно, как этот начитанный юноша, выучивший почти наизусть не одни жития святых и подвижников веры, он и обширные летописные своды, в затруднительных случаях всегда оборачивается назад, вглядывается и вдумывается в седы глубины истории, однако ищет там и находит не одну только измозоленную традицию, отчину и дедину, как щепетильные его воеводы, в гнев обиды друг другу дерущие бороды из-за мест, но большей частью обращает внимание на деяния редкие, необычные, нарушающие традицию, утучненные пока что никем не разгаданным, но уже вызревающим зерном благодетельной новизны.

Так и на этот раз ему на ум приходит драматическая история Стародуба. Было так, что лет пятнадцать назад к порубежной нашей западной крепости подступили алчущие захватов литовцы коронного гетмана Радзивила, с наемными пехотинцами, с пищальниками и пушками, обложили со всех сторон, днем и ночью били из пушек по стенам, прикрываясь деревянными турами, шаг за шагом приблизились к израненным стенам, так что пули и стрелы залетали прямо в бойницы, но гарнизон, которым командовал Федор Овчина-Телепнев-Оболенский, отбивал все атаки, несмотря на большие потери. Тогда изловчились приведенные литовцами наемные немцы, подвели под стены подкоп, траншеи наполнили бочками с порохом, взорвали и внезапно ворвались в пролом. Тогда многие московские воины были побиты, злоязычные литовцы хвалились, что до тринадцати тысяч, хотя гарнизон едва ли доходил до трех сот, кое-кто достался в полон, с ними сам воевода Федор Овчина-Телепнев-Оболенский, так в полоне и сгинул.

Немного времени утекло с той черной поры, необыкновенное взятие Стародуба должно бы крепко-накрепко засесть в памяти воевод, а вот ни один из них не поразмыслил на домашнем досуге ни об турах, ни об подкопах под стены, из чего следует, что с этими тугодумными воеводами, с этими как песок на ветру рассыпающимися полками ему Казани не взять, а одна ли у него не примете Казань? Иные воеводы, иные полки на такие победы нужны. Не у Бельского, не у Горбатого, не у Серебряных-Оболенских – у коронного гетмана Радзивила придется учиться брать города.

Учиться он рад, всегда, во всем и у всех. Поразительно, не как в прошлый раз, он въезжает в Москву со светлым, даже с веселым лицом, с ощущением непременной победы, которая ждет впереди, готовый к новым, пусть тяжким, долгим, но не бесплодным трудам.

Москва нежданно-негаданно поддерживает его окрепшую веру в себя, в свой разум, в силы свои стихийным, смутным брожением. Вторая подряд неудача в отрядясь неслыханным, наступательном столкновении с вековым врагом, не дающим покоя, вызывает догадки и толки. Знаменательно, что в неудачах никто не винит молодого царя и великого князя, точно в

его неожиданных действиях всем чувствуется струя новизны. Торговые люди, мастеровые, простые посадские жители, натерпевшиеся от своеволия без пригляда очумевших князей и бояр, во всех бедах одного и другого похода винят старейшего воеводу Дмитрия Бельского, в самом деле мягкотелого, ординарного, не способного ни на что, ни на доброе, ни на злое, причем, кто шепотом, а кто и погромче, толкуют между собой, может быть, припоминая о черных деяниях другого из Бельских, Семена, о несомненном предательстве, уверяют, будто в своих кровавых набегах лихие казанцы щадят богатейшие вотчины наибольшего из воевод, понятно, что платят за малодушие или измену. Чего доброго, повсеместные толки вот-вот раскалятся до возмущения, если не до нового бунта, в кипенье которого, безразлично, виновного или безвиновного, князя Бельского разорвут на куски, а следом за ним всё семейство, родню и его служилых людей, да князь Дмитрий кстати отправляется в иной мир платить за грехи от вполне преклонной старости лет, не выжав ни из одной души огорчения, зато породив новые ожесточенные битвы, с ущербом для волос и бород, за лестное и далеко не бескорыстное право первенствовать в Думе.

Кажется, Иоанна мало заботит и смерть первейшего из воевод, и скоморошья баталии среди знатнейших бояр. Его мысли сосредоточены на Казани. План действий намечается сам собой, из неотвязных размышлений о язвительной, нестерпимой неудаче второго похода. Мало позора, мало болезненно уязвленного самолюбия, победа нужна позарез, в третий раз невыносимо возвращаться с пустыми руками, с бесплодной потерей пушек, снарядов и служилых людей, народ засмеет, подручные князья и бояре без соли сожрут. Печальный исход Иоанну отлично известен, а чтобы венец верной победы добыть, чтобы взять наконец проклятый оплот разбоя и грабежа, хоть измором, по стопам Радзивила, коли приступом нельзя одолеть, лишь бы унять татар навсегда.

Стало быть, что же необходимо, чтобы одержать окончательный верх над осточертевшими русским кочевниками? Необходимо много крупнокалиберных пушек, много тяжелых чугунных и каменных ядер, много пороха для беспрестанной, усердной пальбы, ещё больше пороха, который на этот раз десятипудовыми бочками загонят в подкоп и взорвут, то есть снова и снова деньги нужны, а пуще всего подручных князей и бояр необходимо унять, остановить вредоносные свалки за места воевод, где прямой силой, где властным окриком взять себе право ставить на полки кого поумней, а не у кого борода подлинней.

Он призывает Алексея Адашева, требует полный отчет, наказывает разыскивать с новым усердием и отбирать без пощады прежние грамоты, лишать привилегий монастыри, никому и ни под каким видом не подтверждать освобождение от главных даней и пошлин, которые берутся с земли, основного богатства царской казны, вновь выдавать лишь полетные грамоты, уставные и льготные, за верность, за службу давать. Он учреждает царские кабаки, запретив частным лицам торговлю горячительными напитками, чтобы единственно одного царя и великого князя обогащало исконное русское безобразие, однако вволю пить разрешается лишь на Святой неделе и в Рождество, а в прочие дни велит отправлять окончательно пьяных в темницы.

Затем в другой раз призывает ан помощь митрополита, как в начале второго похода призывал во Владимир, понемногу обращая Макария в свою правую руку, и приступает к подручным князьям и боярам, вместо топора палача приставляя к горлу христианское наставление первоблюстителя. Он требует полного и безоговорочного упразднения проклятого местничества, чтобы впредь и не пахло этим гнусным дурманом на Русской земле, верно, не сознавая, что поднимает руку на самый корень русского понимания жизни, где свой своему поневоле брат, от века доньше и во веки веков на все времена.

Дружно, всем скопом, один к одному, подручные князья и бояре встают на дыбы. И как им не встать на дыбы, когда кровное отнимают у них, всё то, что имеется за довольно скудной, хоть и бессмертной душой, единственное надежное, неделимое право на почтенное положение

и власть, без которого все они не больше, чем нуль, если не меньше нуля. Не могут они своего кровного добровольно отдать, хоть режь на куски, не может какой-нибудь стариннейший князь, от Рюрикова или Мономахова семени, стоять под каким-нибудь Алешкой Адашевым, и без того они едва терпят, что ему даден Казенный приказ.

В том-то и дело, что это история давняя, всеми корнями в родимую землю ушла. Русские князья, а с ними дружина, из которой стали бояре, шесть столетий беспечно бродили по обширным просторам Русской земли, где миром, где силой оружия, где зовом собравшихся на вече посадских людей переменяя княжение, то основываясь на праве родства и наследования, то с легким сердцем нарушая эти права, нигде не вкореняясь в русскую землю, никакими прочными узами не связанные с городами и весями, кроме обязанности, принятой добровольно и по обычаю временной, их защищать по случаю от подобных себе или от внешних врагов, а вместе с этой обязанностью и приятным правом взимать с защищаемых посадских людей посильную, подчас и непосильную дань мехами, хлебом и пленными, смотря по размерам своего недюжинного аппетита и силе меча. Следом за князьями шесть столетий подряд неприкаянно слоняется и дружина, постепенно возвышаясь до положения ближних бояр, и точно так же нигде не задерживается, не вкореняется в мимо неё идущую русскую жизнь, ни душой, ни сколько-нибудь созидательным делом не прикипая к городам и селениям, куда ни занесет переменчивая судьба беззаботного князя, к которому нанялась за харчи да за долю в собираемых данях и грабежах. Харчи и дани взимаются дружиной самостоятельно, в форме кормления с городов и селений, которые князь распределяет между самыми ближними тем же порядком древности рода и старшинства, как сам пересаживается с одного стола на другой, и как князь взимает с княжения дань мехами, хлебом и пленными, так и боярин, определенный в наместники и волостели, взимает свою долю натурой с посадских людей, землепашцев, звероловов и рыба-рей, обыкновенно определенную стародавним обычаем, а при случае ровно столько, сколько рука, держащая меч, заберет, воровская, антинародная власть, недаром и говорят на Руси, что князья да бояре бессовестные грабители, хуже татар.

С течением времени, не довольствуясь данями, каждый князь, каждый боярин превращается в землевладельца, объявляя своей неприкосновенной и вечной собственностью целые волости, по праву всё того же меча, заселяет свои вотчины обязанными трудиться холопами, то есть рабами, русскими пленными, которых нахватывают во множестве во время беспре-станных набегов и грабежей, заеваясь только сосед, и обильно кормится с вотчины, которая поставляет задаром и хлеб, и мясо, и мед. Этот насущный доход дополняется платой с земли, отдаваемой в аренду всё тому же землепашцу, зверолову и рыба-рю, которые тоже свободно, гонимые единственно своей доброй волей бродят по слабо заселенным пространствам беспре-дельной Русской земли, то спасаясь от разорения, грозящего от набега поганых или собствен-ных, православных князей, то в поисках лучшего места, вечной русской мечты, составив на этот счет присловье о том, что человек ищет где лучше, а рыба где глубже, то просто так, в силу неодолимой привычки, сложившейся веками скитаний и переселений на новые земли, сперва за Оку, за Волгу, после за Камень и дальше в Сибирь до самого Тихого океана. Разумеется. Ненасытные князья и бояре при каждом удобном случае возвышают арендную плату, однако в ответ на это понятное следствие вотчинной жадности лукавый оратай, зверолов и рыба-рь снимается с места, которое так и не успел насидеть, и отправляется в путь, с топором и котом-кой, как щит используя против произвола владельца земли благодатную бескрайность русских равнин да неприступность лесов и болот, так что необдуманной жадности всегда находится неодолимый предел.

Ещё горше поруха – многим раденьем московских, сперва удельных, позднее великих князей, миролюбивых стяжателей, накопителей, рачительных собирателей земель и богатств, окончилось золотой время междоусобий, когда, бесстрашно отринув ещё вчера истово дан-ное крестное целование, можно было вдосталь пограбить ротовея-соседа, обратить в пепел его



селенья, храмы, монастыри, не щадя православных святынь. А нынче беда, поди на татар, единственную жизнь клади за почитаемого да всё внеземного Христа. За что подручным князьям и боярам, и с этой стороны учуявшим недобрый, неодолимый предел, любить своего государя, ни с того ни с сего учредившегося Божией милостию царем?

Один остается источник бесконтрольного обогащения – имя, в котором редко слышится что-нибудь от земельных владений, усадеб и сел, как слышится в имени такого же европейского служилого человека, зато заключена вся родня, во все стороны и сверху вниз, какой-нибудь Иван, сын Федоров, Овчина-Телепнев-Оболенский, от пяти десятков до ста человек, каждый с дружиной, а то и с целым полком, все крепко стиснуты в один костистый кулак, за родню радеют толпой, то отцу и сыну честь, коли отец при царе горохе ходил воеводой большого полка или в великом Новгороде кормился наместником, так и сыну и внуку и правнуку ходить и кормиться, родись хоть дурак дураком, уступать ни под каким видом нельзя, не то другие семейства толпой налетят, ототрут, затолкают в какие-нибудь ничтожные волостели, хорошо под Москвой, а то в Вятке, в Перми, где землепашцы, звероловы и рыбаки до того редко живут, что ни аренд, ни даней, ни пошлин не с кого драть, а без аренд, даней и пошлин разве житье?

И вдруг Иоанн, провалив два похода против по их убеждению неодолимой Казани, затевая в те же края третий поход, посягает на семивековую систему насыщения с подвластных земель и с руководящих постов. Понятно, что подручные князья и бояре стоят как стена. Сметливый Иоанн на неумолимых приверженцев родства и свойства выпускает митрополита Макария. Подручные князья и бояре и против митрополита стеной. У Иоанна, человека горячего, нетерпеливого, однако расчетливого, с холодным умом, разумеется, чешутся руки снести с плеч долой пару-другую самых пустых, самых упрямых голов, а нельзя, ни под каким видом не может забыть, что перед святителями и людом московским покаялся, помнит слово, данное на кресте, с плеч голов не снимать, но и спускать своеволию – себя подручным князьям и боярам головой отдавать, а потому грозит, сулит монастыри и опалы. Подручные князья и бояре стеной. В сущности, все княжеские и боярские головы надлежит снести до одной, чтобы истощилась семивековая привычка места занимать родством да свойством, и по сей день сия бессмертная привычка жива, не предвидится ей ни дна, ни покрывки.

Все-таки уговариваются. Подручные князья и бояре готовы ко в чем уступить, лишь бы главнейшее осталось за ними. Появляются два указа за печатью и подписью Иоанна. В первом царь и великий князь уступает подручным князьям и боярам исконное право занимать места по родству и свойству, однако только в мирное время, и выговаривает себе верховное право отменять их бездарное право на время войны:

«Лета 7058 приговорил царь государь с митрополитом и со всеми бояры в полках быти княжатам и деется боярским с воеводами без мест, ходити на всякие дела со всеми воеводы, для вмещения людем, и в том отечестве их нет унижения, которые впредь будут в боярах или в воеводах, и они считаются в отечестве...»

Зато вторым указом он выговаривает себе верховное право в военное время самому лично, своим разумением и произволом назначать воевод не расчету мест, родства и свойства, а как польза военного дела велит:

«А воеводам в полках быти, большой полк, да права рука, да лева рука по местам, а передовой да сторожевой полки меньше одного в большом полку воеводы, а до правой и левой руки и до другого в большом полку дела нет, а с теми без мест, кто с кем в одном полку послан, тот того и меньше, а воевод государь прибирает, рассуждая их отечество, и кто кому дородился, и кто может ратный обычай содержать...»

Тут же он заходит на подручных князей и бояр с другой стороны. Сплоченные жаждой воровского обогащения, они в едином строю отбивают у него корыстное право в мирное время считать родством и свойством, как искони повелось, то есть прежде всего считаться родством и свойством при назначении на выгодные места наместников и волостелей, на которых им

простор дорогой братъ, сколько взял, – он с решимостью жесткой, непримиримой урезывает права самих наместников и волостелей, втесняет эти прежде расплывчатые права в определенные рамки закона, причем за пренебрежение начертанными им рамками грозит суровыми карами, чего не слыхано отродясь, при самом дедушке, Иване Васильевиче, грозном правителе, после Ярославовой Правды, чуть не пятьсот лет спустя, издавшем первый судебник, не было и помину и карах наместникам и волостелям, брали, сколько могли, обычай такой, а он что?

Подручные князья и бояре волнуются, почуя серьезный ущерб своей калите, а тут Алешка Адашев, выскочка, неизвестного племени, исправно исполняет его указание и представляет новый Судебник, изготовленный под руководством и наблюдением самого Иоанна, не куда-нибудь представляет, а в Казенный приказ. С лобного места Иоанн уговаривал выборных от городов и селений: «Оставьте ненависть и вражду, соединимся все любовию христианской», и обещал громогласно: «Отныне я ваш судия и защитник». И вот в самом деле отныне всякому боярину, окольникову, дворецкому, казначею, дьяку, наместнику, волостелю, тиуну и любому прочему судие несладко придется, если в голову себе заберет не по правде судить, ибо уже третья статья определяет не сулящие вольготной жизни последствия:

«А который боярин, или окольниковый, или дворецкий, или казначей, или диак в суде посул возьмет и обвинит кого не по суду, а обыщется то в правду: и на том боярине, или на окольнике, или на дворецком, или на казначее, или на диаке взятии исцев иск, а пошлины на царя и великого князя, и езд, и правда, и пересуд, и хоженое, и правой десяток, и пожелезное взяти втрое, а в пене что государь укажет», в общем, кучу денег придется в казну отвалить за нерасчетливо, нескрывтно взятый посул.

Ещё более строгие меры применяются к тем ответственным лицам, которых царь-государь пошлет разбирать самые серьезные дела, то есть дела о татьбе и разбое:

«А пошлю которого неделщика имати татей и разбойников, и ему имати татей и разбойников безхитростно, а не норовити ему никому; а изымав ему татя или разбойника не отпустить, ни посулов не взяти; а опричных ему людей не имати. А поноровит который неделщик татю или разбойнику по посулам, а его отпустит и уличат его в том; Ино на том неделщике истцов иск доправити, а его казнити торговою казнию да вкинуть в тюрьму, а в казни, что государь укажет...»

Однако Иоанн уже довольно знает изворотливый норов подручных князей и бояр, знает отлично по опыту, что закон подручным не писан и что на их совесть положиться ни на полушку нельзя, и потому он догадывается поставить их под гласный контроль выборных от земли, от городов и селений, чтобы выборные от земли неподкупленным оком наблюдали правосудие наместников и волостелей и о всяком неправосудии царю-государю били челом. Об этом в Судебнике тоже статья:

«А бояром и детем боярским сидити, за которыми кормления с судом с боярским, а на суде у них и у их тиунов быти, где дворской дворскому, да старосте и лучшим людям, целовальником. А судные дела у наместников и у их тиунов писати земским диаком; а дворскому да старосте и целовальником к тем судным делом руки свои прикладывать. А противни с тех судных дел слово в слово, писати наместничим дьяком; а наместником к тем противнем печати свои прикладывати...»

И особо указывает в той же статье:

«А без старосты и без целовальников не судити...»

Затем вменяется в обязанность всем наместникам и волостелям старост и целовальников при себе завести.

Оградив своих подданных от произвола в суде, он ограждает от расхищения казенные, то есть, как их называют, черные земли, уже изрядно разграбленные во времена подлого боярского самовластия, что в горле подручных князей и бояр едва ли не самая острая кость:

«А кто сорет межу, или грань ссечет, из цареви и великого князя земли, или у боярина, или у монастыря, или боярской у монастырского, или монастырской у боярского: и кто в тех межу сорет, или грань ссечет, ино того бить кнутием, да истцу на нем взять рубль. А хрестьяне меж себя, в одной волости или в селех, хто у кого межу переорет или перекосит, ино волостелю или посельскому имети на нем за боран два алтына...»

Вместе с тем он стесняет переход крестьян из владения во владение, опять же заботясь о прочных доходах казны, поскольку большей частью уходят с черных земель, разоряемых наместниками и волостелями, уходят в монастыри и к боярам, всё ещё огражденным жалованными грамотами от даней и пошлин в казну:

«А хрестьянам отказыватися из волости в волость и из села в село один срок в году: за неделю до Юрьева дни осеннего и неделю по Юрьеве дни осеннем. А дворы пожилые платят в полех за двор рубль да два алтына, а в лесех, где десять верст до хоромного лесу, за двор полтина да два алтына. А который хрестьянин живет за кем год, да пойдет прочь, и он платит четверть двора; и два года поживет, и он платит полдвора; а три года поживет, и он платит три четверти двора; а четыре года поживет, и он платит весь двор, рубль и два алтына. А пожилое имати с ворот; а за повоз имати с двора по два алтына; а опричь того на нем пошлин нет. А останется у которого хрестьянина хлеб в земли, и как тот хлеб пожнет, и он с того хлеба, или с стоячего, даст боран, да два алтына. А по кои места была его рожь в земли, и он подать цареви и великого князя платит со ржи; а боярского ему дела за кем жил, не делати. А попу пожилого нет, и ходити ему вон бессрочно воля. А которой хрестьянин с пашни продается кому в полную в холопи, и он выйдет бессрочно ж, а пожилого с него нет: а который хлеб его останется в земли, и он с того хлеба подать цареви и великого князя платит, а не похочет подати платити, и он своего хлеба земляного лишен...»

Однако тут же, последним пунктом этой обширной статьи, он фактически запрещает продажу в холопы, позволяя бессрочным холопам выход бессрочный и без выплаты пожилого, то есть останавливает закрепощение кабальных землепашцев, звероловов и рыбаей, после чего ещё с одной стороны стесняет вотчины и монастырские земли: Судебник воспрещает выдавать кому бы то ни было жалованные грамоты, а старые грамоты должны быть отобраны все.

Этим обновленным сводом законов он не только подтверждает на деле свое крестоцеловальное слово, сказанное всенародно с лобного места, он указывает подручным князьям и боярам, что не напрасно, не для красного словца принял грозное имя царя, что он истинный царь во всех решающих определениях власти, в отправлении правосудия, в даровании привилегий, в ограждении собственности на землю, в ограждении независимости черносошных землепашцев, звероловов и рыбаей, что произволу подручных князей и бояр и в самом деле приходит конец.

В доказательство того, что он нисколько не шутит, Иоанн повелевает Алексею Адашеву не медля ни дня разыскать все удержанные тарханные грамоты и отменить эти дающие широкие привилегии грамоты его царским именем.

Алексей Адашев выказывает исполнительность чрезвычайную. Его люди, приданные Казенному приказу, пускаются иметь жалованные грамоты с усердием удивительным, нередко чрезмерным, всюду указывая строптивым и недовольным владельцам привилегий и льгот на статью в обновленном Судебнике, однако, сами не обремененные привычкой к исполнению любых установлений, статей и Судебников, тракуют её весьма расширительно, что не может не означать общего широкого наступления на привилегии и льготы вотчин, церквей, монастырей и самого митрополичьего дома, жиреющих от привилегий и льгот за счет казны царя и великого князя, и так жаль держателям жалованных грамот своих чудодейственных привилегий и льгот, освобождающих от даней и пошлин, следующих в казну, что кое-кто решается подать челобитье царю и великому князю, среди них игумен Серапион, настоятель самого богатого Троицкого Сергиева монастыря:

«И наместници Деи наши и волостели и их тиуны людей их и крестьян и дворников, которые живут за монастырем и торгуют монастырским товаром, судят их и всякие пошлины на них емлют сильно, и на мытех мытчик с их людей и с товару и емлет пошлину и судит их сильно через наши жалованные грамоты, а приказшики де наши городовые ямские денги с них емлют по городом, и в том же у них их людем и крестьяном и дворником чинитца продажи и убытки великие...»

Действительно, решительная отмена привилегий и льгот несет вотчинам, церквям, монастырям и митрополичьему дому убытки великие, зато возрождает законный источник пополнения царской казны, обремененной расходами, тоже великими, на новые пушки и порох, так что жалованные грамоты изымаются всюду, и если где оставляются, то оставляются одни судебные привилегии, впрочем, большей частью опричь душегубства, однако царская воля не всех под одну гребенку стрижет, кое-где привилегии увеличиваются, захватывают новых владельцев, когда в малонаселенных местах Иоанну необходимо стеснить, ограничить неудержимую жадность царских наместников.

## Глава двадцать вторая

### Приготовления

Татары неустанным разбоем и кровью то и дело напоминают ему, что он должен спешить. Не успевает он рассмотреть и обнародовать новый Судебник, не успевают расторопные люди Алексея Адашева как предначертано развернуться с усиленным взиманием даней и пошлин, прежде ускользавших от казны в сундуки подручных князей и бояр, церквей и монастырей, как воевода Путивля князь Семен Шереметев гонит гонца: по южным украинам рыщут отряды вечно голодных крымских татар.

Иоанн тотчас повелевает собраться полкам, отдохавшим в безделии скуки три месяца, причем и сам намеревается на Ильин день оставить Москву и обосноваться на время похода в Коломне, откуда можно прикрыть Рязань или Тулу, смотря по тому, куда татары направят набег. Ещё дворянская конница, не довольная новой тревогой, развалисто поднимается с мест, а уже Иван Дмитриев, голова станичных украинских постов, доносит более определенную и более тревожную весть: до двадцати тысяч татар в разных местах бродами переходят Донец, того гляди, батюшка-царь, разбоем обрушатся на украинные города.

Двадцать первого июля Иоанн прибывает в Коломну и держит ставку в кремле, таком же каменном, как и московский, но с более высокими башнями и более толстыми стенами, истинный воин в дозоре дозором стоит на слиянии Коломенки, Москвы и Оки. С ним казначеем Адашев, государевым дьяком Выродков, воеводами Горбатый, Микулинский, Морозов, Василий Серебряный-Оболенский.

С обостренным вниманием, родившимся в недобрых казанских походах, осматривает он свое беспорядочное, нестройное воинство и пробует завести в нем хоть какой-то порядок, повелевает составлять десяти и сотни, причем не по волостям и посадам, а по спискам, изготовленным дьяками, чтобыдесятники и сотни во время похода держали назначенных им людей при себе, однако никакие усилия этих безвестных младших начальников не помогают придать стройности ополчению, собранному из разных уделов, вотчин, уездов и волостей, составленному из воинов столь несравнимых достатков, что кони одних круглый год на отборном овсе, а кони других не всякий день и сено находят в яслях, у одних так и рвутся вперед, вырывая поводья из рук, у других так и норовят отдохнуть или свалиться с копыт.

Шестого августа гонец от Шиг-Алея доносит, что тысяч тридцать татар, приведенных крымским царевичем, рыщут по мещерским да рязанским местам. Полки, всё так же тяжело и нестройно, начинают выдвигаться от Коломны на юг, чтобы встретить врага на удобной позиции. Лазутчики мигом извещают об этих приготовлениях распорядительных и чутких татар, и татары, пройдя дугой по украинам, несолоно хлебавши поворачивают назад, не испытывая желания на смерть сразиться с полками царя и великого князя.

Ещё дней десять стоит Иоанн с полками в Коломне, пока не приходит подтверждение от дальних степных сторожей, что опасность действительно миновалась. Распустить полки он все-таки не решается и на всякий случай отправляет на оборону Рязани, причем воеводой большого полка назначает, отныне и впредь своей волей, согласно с указом, князя Горбатого, на передовой ставит воеводу Морозова, сторожевой доверяет Воронову-Волынскому, а далеко на юг, в крепость Пронск, решается посадить князя Курбского, пока что абсолютно неизвестного, наконец входящего в историю его царствования с большими претензиями, но в самой скромной, в самой незначительной должности, свидетельство неопровержимое, ясное, что недобро прославленный князь не имеет ни малейшего голоса в совете царя и великого князя.

Иоанн с таким напряжением думает о несносных татарах, что эти закоренелые враги христианства начинают являться во сне, и однажды, вскоре после возвращения из Коломны, в его наэлектризованном мозгу возникает ночное видение, вновь он видит Круглую гору, как видел

воочию полгода назад, и слышит веление поставить на той горе крепость на устрашение казанским татарам, на прочное охранение московских украин, главное для того, чтобы в крепости содержалось московское войско и, выходя из неё, тревожило и воевало казанских татар.

Видение приходится кстати. Если бы даже никакого видения не было, он бы должен был его выдумать, поскольку с помощью голоса свыше проще всего убедить не столько истинно верующих, сколько язычески суеверных подручных князей и бояр. Он собирает боярскую Думу и пересказывает всё, что так счастливо увидел во сне, с поэтическими подробностями, с энергией убеждения, так как обладает сильным воображением и незаурядным даром оратора и мастера письменных дел.

Впечатление производится сильное, но недостаточное, чтобы сдвинуть с места малоподвижное московское общество, состоящее из своекорыстных, озабоченных лишь собственным обогащением и возвышением людей. В качестве последнего довода он на совещание думных бояр призывает казанского князя Кострова, татарина, перебежавшего на московскую службу, и татарин изъясняет думным боярам стратегическую важность Круглой горы, её природную неприступность, сродни неприступности казанских холмов, а также удобство подходов из Нижнего Новгорода по реке и близость сильно укрепленной Казани, которой такое соседство не может прийти по нутру.

Доводы вполне земного татарина подкрепляют неземное указание свыше, явленное Иоанну во сне. Бояре приговаривают. Летописец заносит:

«И умыслил царь и великий князь город поставити на Свяиге на устье на Круглой горе...»

Умыслить всякое дело довольно легко ещё легче, сидя по лавкам, приговаривать, тогда как поставить крепость на Круглой горе почти невозможно. Предполагается воздвигнуть обширное укрепление, в котором укроются значительные запасы пороха и оружия, накопится продовольствие, соберутся служилые люди, чтобы в один переход достигнуть Казани и либо взять её приступом, либо разорить всё что возможно вокруг. Для сооружения такой крепости потребуется немалое время, если из дерева, то до полугода, а на каменную несколько лет. Татары близко, татары умучат наездами, в лучшем случае положат много людей, а то и вовсе не позволят вести строительные работы, поскольку не могут не понимать, что для них московская крепость на Круглой горе вроде нацеленной в спину стрелы, окрест леса подожгут, дымом задушат, выше строительства Волгу перекроют ладьями, ни хлеба, ни пушек подвезти не дадут. Полками оградить стройку тоже нельзя, ополчение не годится для многодневных стычек, боев, обороны в открытом поле, наступлений и отступлений, к тому же сторожевые полки очень скоро нечем станет кормить, поскольку домашних припасов достанет разве на месяц.

Подручные князья и бояре, все без исключения люди военные, ничего не понимают в строительстве. Иоанн, и без того не доверяющий им, советуется с умельцами, приведенными Выродковым, дьяком и розмыслом, как в те времена именуются самородные русские инженеры, уже замеченным во время походов и взятым в помощники востроглазым царем. Умельцы находят способ простой, стародавний, испытанный веками неустанных российских мытарств. Иоанн видел и сам, как после опустошительного пожара в считанные недели восстала из пепла Москва и защеголяла смолистыми срубами новых домов и новых церквей. Отчего?

А оттого, изъясняют умельцы царю и великому князю без робости, что в округе верст на сто по рекам и речкам сноровистые старатели топора загодя валят лес, вытесывают, высушивают, в срубы кладут, метят венцы, разбирают и ждут беспечно, когда им на прибыток что-нибудь загорится в Москве, горящей чуть не каждое лето, тут сметливые люди меченые бревна связывают в плоты, сгоняют вниз по реке, на берегу продают погорельцам за хорошую цену и на теплом ещё пепелище ставят новехонький дом всего-то в день или два. Стало быть, батюшка-царь, где-нибудь повыше на Волге, где злой чужой глаз щепы не найдет, злое ухо топора не услышит, в зимнюю пору изготовить справные срубы для стен, для башен, для пожилых домов и церквей, по весне спустить вниз и собрать недели в две или в три, татары и глазом не успеют

моргнуть, а там пускай себе лезут по крутизне да на стены под пушки, пищали и стрелы, милости просим, с укрепленного места не стоит труда их отбить, нам, батюшка-царь, не впервой, на том и стоим по сёднешний день.

План принимается. Старшин Иоанн избирает башковитого Выродкова. Выродков нанимает на царские деньги плотников, кузнецов, закупает хлеб, лук, чеснок, ветчину, составляет длиннейшие списки погужной повинности с вотчин боярских да монастырских да с черных земель, причем у окрестных князей и бояр, игуменов и архимандритов как правило не оказывается годных для возки бревен лошадей и людей, с ними наместники и волостели царским именем ведут чуть не войну, в то же время потихонечку-полегонечку наживаясь на их посильных даяниях, тогда как помимо возчиков на прикрытие нужен отряд служилых людей, для них корм, корм для коней, деньги из царской казны так и текут, уже не ручьем, а рекой.

Место зимних трудов Иоанн назначает под Угличем, во владениях смиренного князя Ушатого, сам следит за приготовлениями отряда воинов и отряда умельцев, призывает Выродкова с отчетами и в те же дни принимает меры для обороны Москвы от нападения с юга, необходимой вдвойне, если под Казань в самом деле придется летом идти, когда крымские татары выбегают из кочевий размяться и пускаются пограбить на Русь.

Он пытается уговориться с Сигизмундом Августом о совместных предприятиях против татар, осточертевших заносчивым полякам не меньше, чем русским, кстати Сигизмунд Август присылает послом Станислава Ендровского и с ним неожиданно престарелого князя Михаила Голицу-Булгакова, и Ендровский извещает любезно, что плененного давным-давно воеводу нынче Москве возвращают без выкупа, одной милостью польского короля и литовского великого князя, а от имени польского короля и литовского великого князя заученно говорит:

– Докучают нам подданные наши, жида, купцы государства нашего, что прежде изначала при предках твоих вольно было всем купцам нашим, христианам и жидам, в Москву и по всей земле твоей с товарами ходить и торговать, а теперь ты жидам не позволяешь с товарами в государство твое въезжать.

Освобожденного воеводу Иоанн принимает милостиво и с лаской, выпрашивает старика о здоровье, подпускает к руке, велит сесть, жалует шубой, приглашает обедать, намереваясь расспросить поподробней о литовских и польских делах, да Голица-Булгаков, слабоумный от скудной природы своей, хилый от долгого плена и старости, бьет челом, что истомился совсем, так что приходится отпустить его на подворье и выслать кушанье со стола своего, в знак милости и уважения к выпавшим на долю его испытаниям. Ендровскому же Иоанн, знающий историю преступной секты жидовствующих, наделавших бед на Русской земле, отвечает со злобой:

– Мы к тебе писали не раз о лихих от жидов, как они наших людей от христианства отводили, отравные зелья к нам привозили и пакости многим нашим людям делали, так тебе бы, брату нашему, не годилось и писать о них много, слыша их такие злые дела.

С тем и отпускает Ендровского, а от себя послом отправляет Остафьева с грамотой:

«Я послал грамоты всем своим порубежным наместникам, чтобы на наших землях повиляли твоим сторожам стеречь прихода татарского; и велел своим наместникам беречь твоих сторожей, чтобы им от наших людей обид никаких не было. И ты бы так же в Каневе и в Черкассах своим наместникам приказал накрепко, чтобы они на своих землях нашим сторожам место дали, и какие вести у твоих наместников про татар будут, и они бы наших наместников без вести не держали...»

Натурально, грамоту велит подписать своим царским именем, твердо держа свою честь и почетное место на красной лестнице европейских властителей, хоть и предвидит, что спесивый король такой обидной грамоты не возьмет и вновь заведет тоскливую речь о правах именовать царем, и наперед велит Остафьеву отвечать:

– Станут говорить: прежде московские писались всегда великими князьями, а теперь государь по какой причине пишется царем? Отвечать: государь наш учинился на царстве по

прежнему обычаю, как прародитель его великий князь Владимир мономах венчан на царство Русское, когда ходил ратью на царя греческого Константина Мономаха, и царь Константин Мономах тогда добил ему челом и прислал ему дары: венец царский и диадему – с митрополитом Ефесским, кир Неофитом, и на царство его митрополит Неофит венчал, и с этого времени назывался царь и великий князь Владимир Мономах. А государя нашего венчал на царство Русское тем же венцом отец его Макарий-митрополит, потому что теперь всею землею Русскою владеет государь наш один.

Сторожи имеют большое значение, особенно если держать их в Каневе и в Черкасах, как можно ближе к пределам крымских татар, однако важнее всего по вести от сторожей дать скорый и сильный отпор набегу хищных татар, которые страсть как не любят отпора. С этой целью Иоанн придумывает расселить вокруг Москвы тысячу отборных, по его наблюдению, надежных и подготовленных служилых людей, с тем, чтобы в считанные часы их можно было собрать и поставить первый заслон, пока ещё не решительный, пробный, однако сознательно создаваемый прообраз постоянного московского войска, способного заменить скверно обученное, ещё сквернее вооруженное, организованное, а потому и небоеспособное дворянское ополчение, к тому же состоящее под началом подручных князей и бояр. Служилые люди подбираются по его указанию, только те, кому он, недоверчивый, решается доверять. Затем дьяки Алексея Адашева составляют царский указ, который гласит:

«Лета 7059, октября в 1 день, царь и великий князь Иоанн Васильевич всея Руси приговорил с бояры: учинити в Московском уезде, да в половине Дмитрова, да в Рузе, да в Звенигороде, да в Числяках и в Ординцах и в Перевесных деревнях, и в Тетеревичех и в оброчных деревнях, от Москвы верст за шестьдесят и за семьдесят, помещиков, детей боярских, лутчих слуг, 1000 человек, а которым бояром и околничим быти готовым в посылки, а поместий и вотчин в Московском уезде у них не будет и бояром и околничим дати поместья в Московском уезде по 200 четвертей, а детям боярским в первой статье дати поместья по 200 ж четьи, а другой статье детям боярским дати поместья по 150 четьи, а сена им давати по толку ж копен, на колко кому дано четверных пашни, опричь крестьянского сена, а крестьяном дати сена на выть по тридцати копен, а которой по грехом из тое тысячи вымрет, а сын его к той службе же не пригодится, ино в того место прибрать иного. А за которым бояры и за детьми боярскими вотчины в Московском уезде или в ином городе, которые близко от Москвы, верст за пятьдесят или шестьдесят, и тем поместья не дати...»

Далее следует поименный список всех избранных служилых людей, всего набирается с казначеями 1078 человек, земли же им следует отвести под поместья 118 200 четвертей, или 59 100 десятин.

Писцы в Казенном приказе принимаются разыскивать по книгам свободные земли, пригодные для испомещения избранных служилых людей, прислужники Алексея Адашева пускаются по уезду исполнять ясно выраженную волю царя и великого князя, однако тут вновь обнаруживается, что именно близь Москвы чуть не все черные земли разобраны и неявленным чудом да явным мошенничеством приписались к вотчинам и монастырям, и так ловко проделалась эта паскудная операция с черными землями, что никаких концов не найдешь, к тому же Алексей Адашев обнаруживается не боек искать, то есть ссориться с подручными князьями, боярами да монастырями, отрезать же от своих угодий необходимые для воинской службы десятины пашен, лугов и лесов подручные князьям и бояре, тем более настоятели монастырей не желают, так что поместий избранным служилым людям вокруг Москвы не находится и царский указ остается бессильной бумагой.

Иоанн не сдается. По южным окраинам, в опустошенных, никем не заселенных местах, от Алатыря на суре до Путивля и от Нижнего Новгорода к Звенигороду начинают, пока понемногу, то здесь, то там, возводиться укрепленные городки, с тем, чтобы впоследствии выстроить две защитные линии против крымских татар, вокруг городков расселить служилых людей и



обязать их нести там не временную, по два-три месяца в летнюю пору, а постоянную службу по охране укреплений.

Наконец, вооруженный отряд, отправленный с дьяком Выродковым под Углич, наводит его на совершенно новую мысль, поддержанную несчастным опытом провалившихся казанских походов. Он создает первое на Руси постоянное, уже не конное, а пешее войско, подобное недавно возникшей европейской пехоте, однако с той существенной разницей, что европейскую пехоту составляют наемники всех наций и государств, отпетые головорезы, собираемые под одним знаменем на поход или два, отпетые головорезы, по своей прихоти переходящие из одной армии в другую, враждебную первой, смотря по тому, какой король больше заплатит, буяны и баламуты, разоренье для мирных горожан и селян, тогда как по мудрому замыслу московского царя и великого князя пехота набирается из русских свободных людей, состоит на жалованье у государя и служит ему всю свою жизнь, разумеется, без намека на вредоносное право свободного европейца покинуть службу как вздумается и отправиться за удачей в чужие края.

В том же году набирается около трех тысяч стрельцов из пищалей, как первоначально русскую пехоту именуют в официальных бумагах, а позднее называют просто стрельцами. Ежегодное жалованье определяется в четыре рубля. Кроме денежного довольствия, стрельцам выдается из казны долгополая епанча, своим покроем несколько напоминающая польский кафтан, шапка и сапоги, отсыпается порох, отвешивается мука и крупа. Ревнитель нравственности, Иоанн позволяет стрельцам, чуть не вменяет в обязанность семейную жизнь, потому что, по его убеждению, блуд является чуть ли не самым страшным из всех известных пороков, а когда становится очевидным, что государева жалованья стрельцам и стрелецким семействам с женами и детьми не достает и на самую скромную жизнь, вблизи городов этим воинам отводятся целые слободы, где их поселяют в собственные дома, отводят им участки земли и разрешают заниматься ремеслом и торговлей, что с течением времени губит прекрасную мысль о хорошо обученной дисциплинированной профессиональной пехоте и превращает стрелецкое войско в ещё худший сброд, чем конное ополчение служилых людей.

На три тысячи пеших стрельцов требуется двенадцать тысяч рублей одними деньгами, затем три тысячи шапок, три тысячи пар Сапогов, три тысячи епанчей, уйма пороха, муки и крупы. Военные расходы Иоанна беспрестанно растут, а доходы остаются всё теми же, с прибавлением лишь тех даней и пошлин, которые поступают с отменой жалованных грамот. Этого мало. Если он действительно жаждет одолеть Казанское ханство и навсегда покончить с этой опасностью крови, грабежа и полона на Русской земле, он должен открыть новый, серьезный и обильный источник прихода в казну. Такой источник нетрудно найти, он под рукой, но семью запорами закрыт для него, не одним упорным сопротивлением, не одним эгоистическим нежеланием чем-нибудь поступиться ради общего дела, хотя бы копейку уступить государю на войско, на новый казанский поход, которые Иоанн сумел бы сломить, этот источник заперт ещё более сильным запором – его собственным убеждением, всеми его предрассудками, всем его воспитанием с самого раннего детства под руководством умелого, прозорливого, политически искушенного митрополита Макария, пустившими корни так глубоко, что он не в состоянии отступить от них, извергнуть их из себя. Для того, чтобы только подумать зачерпнуть из такого источника, необходима глубокая, душу раздирающая борьба.

## Глава двадцать третья

### Источник

Первоначально воспитанный нестяжателем Иоасафом, Иоанн, вознамерившийся создать не ординарное, подобное презренным европейским монархиям или восточным деспотиям государство, но ещё не бывалое, неповторимое, единственное в мире Святорусское царство, оплот православия, грозу агарян, не может не понимать, что в самом основании православия давно завелась какая-то гниль, разлагающая, растлевающая светлую веру в Христа. Растление происходит каким-то странным, непостижимым, чуть ли не фантастическим образом и в то же время обыденно-просто, как-то само собой, малоприметно для самого православия.

С первых дней своего непредвиденного пришествия на Русскую землю православная церковь присваивает себе соблазнительное, суемудрое право молиться за тех, кто хоть и с верой отошел в иной мир, да по каким-то причинам не успел принести ни ближним, ни дальним даже самой скудной капли добра, искупающего, что ни говорите, греховную жизнь, без чего, как известно, не открывается Царство Небесное, причем не имевшему времени для взращивания плодов добра и братской любви достаточно принести в близлежащую церковь бескровную жертву, то есть заплатить попам соответственно своим прегрешениям, и всё, за данную сумму церковь станет честно и с твердой верой в Божие милосердие молиться за спасение души и самого закоренелого грешника, хотя бы убийцы и негодяя, вместо этого закоренелого грешника вымаливая у Бога прощение всех его прегрешений.

Русский человек, ещё не тронутый никакими грехами, а потому не имеющий причин проникать в самый дух христианства, зато наделенный беспримерной смекалкой, не тратит много времени даром, чтобы сообразить, что ему и не надобно взращивать какие-то плоды, хоть добра, хоть братской любви, что он может жить, как жил во все дохристианские времена до внезапного крещения Русской земли мечом и огнем незабвенного киевского князя Владимира, то есть без больших и даже без малых грехов, и в этом случае ничего не платить корыстолюбивым попам, а коли попытает бес согрешить, вплоть до татьбы, так и тут сокрушаться не стоит, следует только хорошо заплатить за помин души, в прямом соответствии с размером греха, а там уж поп или монах сделает свое доброе дело, похлопочет за него в высших сферах, где их купленными за деньги молитвами скостят ему вес грехи.

Так и ведется чуть не с первого дня, когда до русского добродетельного язычника начинает доходить свет христианства с помощью меча и огня. Проживая по деревенькам и починкам в повседневных тяжких трудах до кровавого пота, в уединении, вдали от соблазнов, добродетельный русский язычник не имеет ни времени, ни желания, ни возможности сколько-нибудь значительно согрешить, огражденный от греха прочной прожорливой многодетной семьей, уединением в непроходимых лесах и непрерывным трудом землепашества, рыбных ловель и звероловства на благо жены и детей, этим неразрушимым фундаментом всех добродетелей, и потому редко обращается к церкви, разве что по праздничным дням, больше языческим, чем христианским, да по случаю свадеб, похорон и родин, а в прочих делах, то есть в торговлишке да на княжеской службе, переселившись из деревеньки в развратный посад, грешит себе на здоровье всю жизнь, убивает и грабит, обмеривает и обвешивает, нарушает крестное целование, после чего, нагрешившись в полную меру, приходит к благой мысли о том, что пришла пора душу спасать, и всё спасение души видит единственно в том, чтобы от награбленного, наворованного, нажитого бесчестьем отломить кусок побольше на церковь, а отломил – так и дело с концом, можно с чистой совестью отправиться на свидание с Богом.

И заваривается несусветная дичь на Русской земле. То князь, то боярин, главные тати и воры, то купец, то лесной душегуб, почуя приближение смерти, жертвуют немалые деньги на монастырь. В полном убеждении, что свет иноку ангел, а свет мирянину инок, подыски-

вается усердный монах, процветающий на хлебе, воде и молитве до шести и больше пудов, монаху отводится земля поблизости от княжеских или боярских хором, в торговом ряду или на полянке к ближнем бору, отпускаются средства на строительство келий, на возведение храма, и на эти бескровные, однако явным образом грехом добытые жертвы усердный монах воздвигает обитель, либо в черте города, либо за городской чертой, либо в ближнем бору, так что в тесном посаде, имеющем не более пяти, шести, десяти тысяч посадских людей, набирается десятка полтора мужских и женских монастырей, а в каждом монастыре иной раз до десятка церквей, в пример и на великий соблазн прочим грешникам, поскольку прочие грешники, поощренные обустривать свою грешную душу за бескровные жертвы, тоже несут в необустроенный, только что заложенный или давно процветающий монастырь свою посильную, тоже грехами добытую плату, кто медный колокол на пять, на десять, на двадцать пудов, кто возок восковых, всех размеров, включительно до пуда, свечей, кто золотой, кто серебряный оклад на икону, кто золотой крест, кто золотую кадильницу, кто расшитое золотом облачение, кто бочку медку, кто два бочонка винца, кто пшеничных хлебов, кто десяток овец, в зависимости от нажитого грабежом и насилием состояния, от меры греха и фантазии, и не успевает глазом моргнуть усердный настоятель монастыря, как на нем дорогие одежды, на столе вместо черствого хлеба свежайшие белые булки, вместо ключевой водицы пьянящие вина и мед, а вместо усердных молитв суета по устройству трапезных и кладовых, по расширению сенокосов и выпасов, по возне с всегда недовольными высокой арендной платой землепашцами, звероловами и рыбаками, по сбережению, приумножению и надежной охране непомерно растущих богатств, когда-то осужденных Христом.

И тогда не выдерживает бедный инок искушения угарным соблазном земной суеты и становится толстомордым игуменом, погрязшим в обжорстве, пьянстве и ещё менее пристойных грехах. К нему присоединяются такие же бедные иноки, сердцу которых сытый стол и вино также милее корки черствого хлеба и пресной воды из ручья, и вчерашние аскеты и схимники, уходящие от развратного мира в обитель благочестия и братской любви, чтобы строить и спасать свою грешную душу в запредельных лишениях, в тяжких трудах, в истязаниях греховного тела, в беспрестанных дневных и ночных молитвах, неприметно для себя погрязают в земном и мирском, не имеют нужды и не видят пользы в трудах, а молитвам отдаются поспешно и кратко, какие молитвы, там и тут глаз да глаз, где сено свезут, где муку украдут, где мелко вспашут, где и вовсе продрыхнут целый день под кустом.

Лишь немногие праведники, до глубины души оскорбленные таким беззастенчивым искажением, таким лжемудрым попранием святости, подчас насильственно вытолкнутые из обители соблазна взащей фривольно пирующей братией, полные покаяния и смирения безропотно покидают изгаженные пороком, насиженные, обжитые места и пешим ходом, с тощей котомкой, в мужицких лаптях отправляются на поиски безлюдного, располагающего к духовным подвигам места, пробираются за Волгу, её бесчисленными притоками поднимаются к безмолвным, почти неприметным истокам, добираются до Сухоны и Шексны и там, в нехоженных дебрях, расчистив крохотную полянку в дремучем лесу, ставят убогую келейку, вновь, как заповедано святыми угодниками, живут своими трудами, на корке черствого хлеба, на пресной воде из ручья, в непрестанных вседневных и всенощных молитвах, избегнув такого прилипчивого земного соблазна, в бескорыстии и нестяжании, в тихой радости, не ведая ни больших, ни даже малых грехов, поскольку в этом глухом, абсолютном безлюдье не с кем и нет причины грешить.

Вместе с этими праведниками, то обгоняя их, то ступая по их малоприметным следам, теми же звериными тропами, теми же лесистыми берегами, по тем же рекам, речушкам и ручейкам, в те же безлюдные непроходимые дебри пробирается вечно тоскующий по вольной волюшке русский мужик, из поколения в поколение уходящий от грабежа наместников и волостелей, от грабежа великого и удельного князя, боярина, игумена и лютого их тиуна, где-нибудь

близко, верстах в двадцати, в тридцати, расчищает полянку в темном лесу, ставит избу, одним топором валит вековые деревья, иное в три, иное в четыре обхвата, выжигает десятину-другую, в золу бросает зерно, бьет рыбу острогой, берет зверя в ловушки и петли, растит детей, нянчит внуков, изредка появляется перед кельей свято отшельника, чтобы помянуть умерших да окрестить родившихся вновь, и живет, в сущности, так же, как он, в непрестанных трудах, без больших и даже без малых грехов, поскольку в его большой крестьянской семье все и всё на виду, никто не смеет солгать, никто не смеет украсть, тем более никто не желает жены ближнего своего, ибо незачем лгать, незачем и нечего красть, тем более на многие версты вокруг не видать ни жены ближнего, ни его самого. Былинные времена, приблизительно можно сказать.

Однако истощаются понемногу и эти былинные времена. Чуть слышно, а всё же по невидимым тропам шествует глухая молва о праведной жизни отшельника. В поисках той же праведной жизни к одиноко приютившейся келейке пробирается то один жаждущий духовного просветления, то другой, просит пастырского благословения, ставит рядом свою убогую келейку, принимается за труды по расчистке полянки, сам очищается коркой черствого хлеба и чашей студеной воды из ручья, проводит дни и ночи в молитве и живет без больших и даже без малых грехов, поскольку в этой богоспасаемой пустыньке не возникает и тени желания согрешить, да и при желании вряд ли отыщешь не выдуманного своекорыстным начетчиком, а подлинного греха.

Соблазн и возможность подлинного греха пробираются в бедную пустыньку неприметно, как-то сами собой, точно тать по нощи. Каждый отшельник молится в своей бедной келейке, смиряет свой нрав одной коркой черствого хлеба и чашей студеной воды из ручья, а наберется таких отшельников больше пяти, возникает потребность всем вместе возносить к Богу молитвы, вместе славить, вместе служить строгим уставом определенные службы, к тому же и корок черствого хлеба отчего-то не хватает на всех, приступает нужда по-крестьянски валить вековые деревья, выжигать десятину, две или три, бросать зерна в золу, чтобы кормиться хоть и несытно, однако ж своим, до непосильности тяжким, однако честным трудом.

И высылают братия своего наистарейшего в мир, к ближайшему князю или боярину, а то и прямиком к великому князю в Москву бить челом, чтобы велел заложить монастырь и грамотой закрепил в вечное владение и пашни и звериные и рыбные ловли окрест. И ближний князь, и боярин, князь великий рады-радехоньки случаю этак вот просто, за здорово живешь сделать вклад на помин своей уже от грехов почерневшей души этими дальними, малолюдными, никакого дохода не приносившими в их казну и пашнями и звериными и рыбными ловлями, и князья и бояре дают широко, щедрой и наищедрейшей рукой десять, пятнадцать, двадцать верст во все стороны от того счастливого места, где их просят и где они велят заложить монастырь.

Так рядом с убогой келейкой истинного отшельника рубится деревянная церковь, рубится большая хоромина с общей трапезной, с кухней, с утепленными кельями, рубятся амбары и клетки, заводится большое хозяйство, без которого никакому монастырю не прожить. Другая начинается жизнь. Монастырь влечет к себе мир, и мир приходит к монастырю. На монастырские пашни и ловища забредают беглые мужики, по прежнему уходящие в непроходимые дебри от корыстных и властных князей и бояр, от сборщиков даней и пошлин, валят и жгут вековые деревья и бросают зерна в золу, не подозревая, конечно, о том, что это уже не вольные, а монастырские пашни и ловища и леса и даже болота десять, пятнадцать и двадцать верст на все стороны от каждой монастырской стены. Монастырь лукаво молчит, лет пять не трогает приблудившихся землепашцев, звероловов и рыбаков, позволяет обжиться, встать на ноги, подобрать, обзавестись и хлебом и зверем и рыбой, за тем у того же ближнего князя, боярина или великого князя спрашивает грамоту за подписью и печатью, которой освобождается монастырь от даней и пошлин, открывает вольным землепашцам, звероловам и рыбакам свое священное право на пашни, ловища, леса и болота, что означает, что надобно монастырю и дани и пошрины и арендную плату исправно вносить, и не успевают вольные землепашцы,

звероловы и рыбаки в себя от изумления прийти, как они уже не вольные землепашцы, звероловы и рыбаки, а монастырские, подневольные, обязанные дани, пошлыны и аренды исправно вносить, то есть то проклятое тягло тянуть, от которого было укрылись в тех будто бы благодатных, непроходимых, во все стороны вольных местах.

С этого малодостойного дня монастырь становится собственником не только полученных в обмен на очистительные молитвы пашен и ловищ, но и собственником чужого труда, а собственник чужого труда не имеет ни нужды, ни охоты растрачивать свое время и силы в неустанных трудах на земле, и бескорыстное нищее трудолюбивое монастырское братство роковым образом, медленно, но неуклонно превращается в корыстолюбивое, скопидомное, бездельное монастырское братство, строго оберегающее и со всем букетом земных, отринутых было страстей и сует приумножающее свое, монастырское достояние.

Глядь, ещё вчера неприметный монастырек, трудами иноков походивший на убогую мужицкую деревеньку, трудами подневольных землепашцев, звероловов и рыбаков обустроивается, раздвигает пределы и обносится высоченными, сперва деревянными, а впоследствии каменными стенами с могучими башнями, хорошо, если на одной из вечно страдающих от набегов украин, а то и в темной глуши, хотя до той глуши, в которой завелась та первая келейка первым отшельником, никакой враг ни с какой стороны не доскачет, хоть три года скажи, так что неприступностью своих укреплений Кирилов Белозерский монастырь, например, превосходит укрепления Великого Новгорода, которому исстари угрожают и Швеция и Ливония и Литва.

И уже за кованые ворота просто так не проникнешь, не поставишь свою нищую келейку рядом с другими, не вплетишь свой молитвенный голос в общий хор дано и ночью молящихся иноков. Дудки. Недаром старики говорят, что деньги к деньгам. Как за пользование вчера ещё вольными пашнями, лесами и ловищами пришлый землепашец, зверолов и рыбак обязывается вносить аренды, дани и пошлыны, первоначально натурой, позднее деньгами, так и пришлый монах должен платить за право вступить в преображенное монастырское братство, причем и самый неимущий обязан внести минимальную плату в десять рублей, то есть ежегодное содержание двоих пехотинцев-стрельцов, в противном случае ему покажут от ворот поворот. Новый инок – новый доход, этот не ко благу зародившийся монастырский закон уже не отменяется никогда. Отныне монастырь превращается в своеобразное предприятие, подобное любому другому торговому предприятию, с той существенной разницей, что предприятие-монастырь, торгуя молитвами, попирает заповеди Христа, который, как известно тому, кто читает Евангелие, осуждает богатство и бичом изгоняет торговцев из храма, к тому же предприятие-монастырь не совсем честно поступает со своими заказчиками молитв, поскольку из каждых десяти монахов девять неграмотны и на слух выучивают несколько расхожих евангельских текстов и несколько расхожих молитв, убежденные в своей великолепной наивности, что каждое слово, идущее к Христу от монаха, способно спасти и самую грешную душу, а иные в своем самонении доходят и до того, что без молитвы и мир не мог бы стоять, каково?

Благодаря столь странному убеждению каждое слово монаха ценится на вес золота. Хотите, чтобы вас поминали в день вашего ангела и в день вашего присоединения к праотцам, оставьте немного, а лучше много земли или денег на корм для всей братии и для тех нищих, которые в эти календарные дни могут постучать или не постучат в ворота избранного вами монастыря, и наивные русские грешники отписывают монастырям кто деревеньку, кто лесок, кто селцо, кто злато да серебро, сопровождая дарение перечислением блюд, которые должны будут употребиться благочестивыми иноками в эти печальные поминальные дни, нечто вроде языческой тризны, с указанием, на сколько лет достанет отписанного добра, с твердой верой, что чем лучше станут питаться благочестивые иноки в эти печальные поминальные дни, тем на том свете станет легче маяться проявившей щедрость душе, и так стараются эти наивные русские люди, что в каждом монастыре набирается от пятидесяти до двухсот дней в году даровых

обильных кормлений, естественно, независимо оттого, на какой день, постный или скоромный, выпадает по завещанию это даровое кормление, хотя наиболее плодотворными, в смысле молитвы, почитается именно неукоснительно соблюдаемый пост и достойная инока худоба.

Точно так же, если желаете, чтобы по вашей грешной душе служились заупокойные службы с занесением вашего смертного, едва ли честного имени в сенаники, то есть синодики, налойный, литийный, алтарный, постенный, вседневный и сельный с сельники, то есть с вкладом целым селом, раскошеливайтесь, не жмитесь, сколько отвалите, ровно на столько и получите заупокойных молитв, и наивные русские грешники отваливают широко, от всей безоглядной русской натуры, не то что селами, а целыми вотчинами, подчас оставляя своих кровных, вплоть до малых детей, без гроша, смиренно умоляя благочестивую братию, чтобы после кончины дарителя не оставили малых детей без куска.

Когда же обильные вклады на кормы, на заупокойные службы с течением времени становятся обыденным делом, в наивные русские умы проникает более практическая, до изумления изворотливая идея: поминания поминаниями, а надежней всего постричься на старости лет, провести в обители остатние дни и предстать пред всевышним полным монахом, поскольку уж кого-кого, а монаха всевышний непременно за всё сразу простит. Само собой разумеется, что и эта замечательная идея для своей реализации требует значительных средств. По десяти рублей монастыри запрашивают только с убогих и сирых, с богатых берут по богатству, в зависимости от ценности вклада можно получить отдельный стол и отдельную келью или общий стол и тесную келейку на двоих, а можно получить келью в две, в три комнаты, можно с прислугой, можно с освобождением от оста и молитв.

Чего же ради отказывать себе в своих любезных привычках? И богатые вкладывают в избранный монастырь всё, что успели поднакопить, где лихоимством, где казнокрадством, где прямым грабежом, то есть с тысячами людей, которые нисколько не подозревают о том, что отныне своим неустанным трудом спасают грошовую душу своих прежних беспутных и далеко не человеколюбивых владык.

Хитроумная практика пострижений превращает монастыри в богадельни, однако не богадельни для убогих и сирых, безногих, слепых, лишившихся сил, как должно быть по смыслу христианского вероучения, а в богадельни для богатых и знатных, в своего рода пристанище для боярской и княжеской знати, отошедшей от дел, где пожить можно с приятностью, с большими удобствами, с услужливо-преданными холопами, то есть рабами, и тем временем без всяких хлопот вернейшим способом каждый день, каждый час спасать свою грешную душу.

Вклады на корм, вклады на поминание, вклады на пострижение – монастырь богатеет стремительно, как на дрожжах, втихомолку беззаконно прихватывает там казенные, там мужицкие земли, в одном месте пустошь, в другом месте покос, в третьем звериные и рыбные ловли, меняет, покупает и продает, контролирует большую часть сделок по купле и продаже земли, становится самым крупным землевладельцем, самой доходной торговой организацией, причем полностью или частично освобожденной от даней и пошлин, тоже в обмен на молитвы, и самым крупным ростовщиком, заламывающим абсолютно небожеские проценты, так что должники то стоном стонут, то криком кричат, когда приходится взносить в монастырскую кассу на проценты проценты или вовсе по милости монастыря по миру Христа ради идти.

В итоге, после невероятных превращений одной нищенской келейки, московским монастырям принадлежит ни больше ни меньше как третья часть всех угодий Московского царства, которые обрабатываются трудом, нет, не бедных иноков, а почти семисот тысяч землепашцев, звероловов и рыбаков, которые вносят им арендную плату натурой или деньгами, тогда как всё население под рукой Иоанна не превышает по одним данным пяти, по другим данным восьми миллионов подданных. На одни доходы митрополита можно содержать тысячу пехотинцев-стрельцов и ещё около четырех тысяч на нескромные доходы новгородского архиепископа, то есть почти вдвое больше, чем может содержать царь и великий князь из казны.

В общей же сложности все московские монастыри ежегодно собирают доход приблизительно в девятьсот тысяч рублей, на которые можно содержать превосходную, самую современную, прекрасно обученную и вооруженную армию тысяч в двести пехотинцев-стрельцов с лучшей, образцово поставленной артиллерией, что может сделать Московское царство первейшей военной державой всего тогдашнего мира, не только непобедимой, но и победоносной, способной устоять против любого врага, даже против турок-османов, перед которыми в животном страхе трепещет Европа.

Уже эта непомерная масса богатства сама по себе противоречит всем церковным и монастырским уставам, противоречит всем представлениям о нравственном содержании и назначении христианства, противоречит обыкновенному здравому смыслу. Вместе с тем эта непомерная масса богатства противоречит самым душевным замыслам Иона. Он мечтает создать великое, всем народам на удивление, Святорусское государство, а какая же святость в разжиревших, расслабленных от сладкой, сытой и пьяной жизни монастырях? Никакой святости в этих разжиревших монастырях не имеется и не может иметься, а имеется большей частью беспросветный разврат.

Неравенство, естественное следствие безудержной жадности обогащения, как ржавчина разъедает всё церковное ведомство. Доходы, почти баснословные, скапливаются в жадных, неуступчивых, лицемерных руках иерархов, тогда как простые попы живут бездоходно, сами поднимают десятину-другую нещедрых северно-русских песков да суглинков да глин, к тому же поднимают кое-как, спустя рукава, без нужной сноровки и без особого тщания, редкие прихожане скудно оплачивают кое-какие неперенные требы, тем не менее десятая часть и этих скудных оплат изымается в казну епископа, архиепископа и митрополита. Немудрено, что в массе своей приходские попы влачат жизнь в нищете, отчего-то для них неспасительной, пьянствуют и бесчинствуют, подстрекая своим непотребством куда более добродетельных прихожан время от времени своих дошедших до паскудства попов колотить, или, в поисках дарового даяния, покинув запустевший погост, неприкаянно бродят по Русской земле, одним своим истасканным видом унижая авторитет и достоинство пастыря.

К ним присоединяются толпы таких же пропившихся, таких же голодных монахов. Уходит в прошлое общий стол в разжиревших обителях. Всё в когда-то благочестивых обителях растлевают самый запах богатства, и корма выдаются в каждую келью пропорционально внесённому вкладу, отчего бедным вкладчикам достается хлеб да вода, тогда как на столах щедрых дарителей не переводятся обильные, прихотливые яства, причем русская сметливость, не имеющая, как известно, границ, пускается на ухищрения почти фантастические, вроде сказочной архиерейской ухи, изготавливаемой на курином бульоне и подаваемой в постные дни. В душе бедных монахов, содержащихся на куске хлеба с ковшом воды из ручья, вместо предусмотренного уставами благочестия ухищрения этого рода отчего-то вызывают хищную зависть, в душе немногих, в самом деле благочестивых, рождается отвращение. Одни требуют себе на стол таких же сладких кусков, другие обличают впавших в грех лицемерия в чревоугодии и призывают воротиться на праведный путь, то есть воротиться к заповеданному, изначально присущему равенству, к спасительной корке черствого хлеба для всех, к воде из ручья. Понятно, что впавшие в грех лицемерия и чревоугодия изгоняют и тех и других без разбора, а бывает, колотят игумена и архимандрита, которые набираются мужества пресечь бесчинства и блуд, а не понимают внушения, так прогоняют взащей.

Привольной, омерзительно-грязной становится хваленая монастырская жизнь, неизбежное следствие неуказанного пристрастия к собственности. Прелюбодеяние откровенное, причем в одни монастыри допускаются распутные женщины, в других монахини и монахи проживают совместно. Содомский грех. Мордобитие не то что в кельях, укромно и тихо, но и в месте святом, в самом храме и в алтаре, в присутствии прихожан.

И как прежде за монастырскими стенами, на просторах трудолюбивой, разгульной, беззаботной Русской земли, безгрешно и в поте лица добывают свой хлеб скромные землепашцы, звероловы и рыбаки, чтят отца и мать свою, не из страха греха, о котором думают меньше всего, а потому, что не могут не чтить, не лгут, не воруют, не напиваются что ни день до потери сознания, отвращаются от распутства до такого остервенения, что неверных жен, если такие всё же случаются, закапывают в землю живьем.

Чему может научить распутная церковь этих естественных праведников? Решительно ничему хорошему, только дурному. И по-прежнему масса этих затерянных в непроходимых лесах и болотах землепашцев, звероловов и рыбаков пребывает в милом сердцу язычестве, как в дохристианскую эру. По-прежнему являются между ними волхвы, несмотря на угрозу быть сожженными по приговору церковных властей, и гадают по звездам, а в городах указывают будущее по книгам аристотелевским и звездочетным, в канун Иванова дня сходятся ночью, пьют самогон, играют, пляшут целые сутки, тем же порядком встречают Василия Великого, Богоявление и Рождество, в Троицкую субботу плачут, вопят, гремят вокруг могил, прыгают, бьют в ладони, поют древние песнопения, в утро Великого четверга жгут солому и кличут покойников, самими попами в этот день кладут соль у престола и после этой соли лечат недужных, подобно проклятым ими волхвам, юродивые баснословят о явлении святой Анастасии и святой Пятницы, скоморохи бесчинствуют, грабят зазевавшихся путников по дорогам. Против же попов и монахов растет озлобление, и близится неровный час, когда взбунтуются эти безгрешные землепашцы, звероловы и рыбаки и примутся вешать на одной осине князя, боярина, попа и монаха.

Страстный богомолец, истинный странник, Иоанн по меньшей мере три раза в год пускается в долгое богомолье из монастыря в монастырь, так что едва ли существует такая обитель на Русской земле, которой бы царь и великий князь не посетил многократно во время своих молитвенных странствий, и все обители предстают перед ним в безобразии: невежество, пьянство, разврат, попечение не столько о Боге, сколько о бременном стяжании, запустение духа да беспутство торжествующей плоти. До того уж местами дошло, что в своем безобразии не стесняются самого государя. Непотребство и срам. Безобразия, масса растлевающих, растленных богатств, идущая на разврат, приводит Иоанна по меньшей мере в волнение, порой в праведный гнев. В самом деле, он, государь, правитель православной державы, которому не перед кем-нибудь, но перед Богом держать ответ за державу и подданных, нуждается в каждом рубле, в каждой десятине земли, не для себя лично, не для забав и распутства, не для приятного препровождения времени в беззаботном безделье, а на упрочение устаревшей, боеспособность утратившей военной организации, которая живет и ветшает уже лет пятьсот, на литье пушек, на комплектование и обучение новых, пехотных полков, без которых никаких крепостей не возьмешь, никого Святорусского государства не учредишь, а тут, вопреки и духу и букве христианского вероучения, собираются громадные земли, скапливаются громадные средства, а тратятся эти средства на что? На сладкую жизнь! Для кого? Для монахов, для игуменов и архимандритов, для епископов и архиепископов, для самого митрополичьего дома! И с такими монахами, с такими игуменами и архимандритами, с такими епископами и архиепископами с митрополичьим домом в придачу он Святорусское государство создаст?!



## Глава двадцать четвертая

### Собор

Самое простое: властью царя и великого князя отобрать эти земли, эти доходы, эти громадные средства и тем принудить беспутных монахов поститься, в чем и состоит призвание и назначение монаха, что для монаха много пристойней, чем погрязать в обжорстве, пьянстве и многих гораздо худших, а то и вовсе презренных пороках, непременных спутников развратительного богатства. Тем проще совершить это благодеяние, что уже тридцать лет, со дня первого выступления немецкого монаха Мартина Лютера, вся Европа занимается именно изъятием церковных богатства и монастырских земель, вооружившись обновленным верованием, основание которого является бедная церковь, в полном соответствии с заповедями Христа. Грубее, но эффективнее всех прочих европейских монархов поступает Генрих Восьмой, христианнейший английский король, который, послав подальше своекорыстного римского папу, самовольно объявил себя главой английской апостолической церкви, упразднил напрочь монастыри за их полнейшей ненадобностью, присоединил все монастырские земли к землям английской короны и этим кощунственным шагом заложил прочный фундамент многовекового могущества Британской империи. В Германии, где власть монархов ничтожна, чуть ли не призрачна, миром дело изъятия церковных богатств и монастырских земель миром не обошлось, в Германии пролились реки крови и только что завершилась Шмалькаденская война между протестантскими и католическими князьями, в сущности, с тем же долгожданным итогом, то есть с упразднением монастырей и ликвидацией монастырского землевладения, причем и в Англии и в Германии вовсе не осталось монастырей. Во Франции тоже догматические расхождения с римско-католической церковью вертятся вокруг сомнительного права церкви обладать богатствами и землей, и там, где протестантам удастся выиграть этот исторический спор, не столько убеждением, бессильным против неискоренимого порока стяжания, сколько силой оружия, закладывается прочный фундамент для бурного развития и процветания нации.

Иоанн бы и отобрал, ему не занимать решимости на крутые поступки. Но, с одной стороны, он верит самозабвенно и фанатически, без тени сомнения, а потому чтит православие превыше всего, что есть на земле. С другой стороны, он отлично знает историю церкви, стало быть, знает, что церковь, вооруженная анафемой и костром, – самый беспощадный, самый жестокий палач, много беспощадней самых отъявленных палачей королевских и царских, поскольку может расправиться не с одним бранным телом, что для верующего представляется, беспрекословно и истинно, лишь избавлением от временного и тягостного земного страдания, церковь может обречь, и обрекает время от времени, на вечные муки бессмертную душу, что для истинно верующего страшнее, чем неизбежная, неотвратимая телесная смерть. Он знает, что его грозный дед уже делал попытки освободить православную церковь хотя бы от части земельных и прочих богатств, что православная церковь решительно воспротивилась этим попыткам и что деду, человеку неробкому, пришлось со смирением и покаянием отступить. Он, естественно, знает, что в столкновении с церковью никто не поддержит его, ни подручные князья и бояре, которые не ведают об ином средстве спасти свои грешные души, кроме покупной молитвы монаха, тем более что и сам Иоанн свято верует в покупные молитвы и не отказывает церкви в дарениях, ни поп Сильвестр, этот проповедник скопидомства и накопительства, ни Адашев, ни в одном крупном деле не показавший себя человеком решительным и даровитым, ни тем более митрополит, который хоть и видит пороки попов и монахов, но не позволит тронуть богатств и земли. В своей тяжбе за церковные богатства и земли, без которых ему не создать регулярную, боеспособную армию, а значит не утвердить прочно и на веки веков своего царского имени, тем более не воздвигнуть Святорусского государства. Выходит, что в борении за чистоту, за благообразие неблагообразного церковного быта он окажется

абсолютно один, что обернется неминуемым поражением, а за поражением может последовать отлучение, то есть и незамедлительная утрата земной власти и вечные муки бессмертной души. Есть поразмыслить над чем, прежде чем ввязаться в единоборство с самым могучим противником, в котором он в то же самое время признает своего лучшего друга, наставника и опору в державных трудах.

Он размышляет, одолеваемый страхом анафемы. Лишь под давлением беспощадной необходимости он отбрасывает свои колебания и втайне от всех составляет вопросы, на которые должен быть получен прямой и ясный ответ. Он призывает в Москву всех епископов, игуменов и архимандритов, а с ними митрополита, думных дьяков и думных бояр, и двадцать третьего февраля 1551 года в своих царских палатах он своей царской волей открывает церковный собор, впоследствии получивший имя Стоглавого, который мог бы стать, но не становится переломным в истории его сложного, многотрудного, трагически-прекрасного царствования, в истории государства Российского, в истории русского православия.

В своем углу, в простенке между двух окон, молодой царь и великий князь сидит в царском кресле в глубоком молчании. Думный дьяк торжественно и напевно читает молодым царем и великим князем составленную загодя речь:

– Отец мой Макарий всея Руси и архиепископы и епископы и весь освященный собор. В предыдущее лето бил есми вам челом и с бояры своими о своем согрешении, а бояре такоже, и вы нас в наших винах благословили и простили. А яз по вашему прощению и благословению бояр своих в прежних во всех винах пожаловал и простил, да им же заповедал со всеми хрестьяны царствия своего в прежних во всех делах помириться на срок, и бояре мои все, приказные люди и кормленщики со всеми землями помирились во всех делех. Да благословились есми у вас тогды же Судебник исправить по старине и утвердити, чтобы суд был праведен и всякие дела непоколебимо во веки. И по вашему благословению Судебник исправил и великие заповеди написал, чтобы то было прямо и бережно, и суд бы был праведен и беспосулно во всяких делех, да устроил по всем землям моего государства старосты и целовальники, и сотские, и пятидесятские по всем градам и по волостям и уставные грамоты пописал. Се и Судебник перед вами и уставные грамоты, – прочтите и рассудите, чтобы было наше дело по Бозе в род и род неподвижно по вашему благословению. Аще достойно, сие дело на святом соборе утвердив и вечное благословение получив, и подписати на Судебнике и на уставной грамоте, которой в казне быти. Да с нами соборне, попрося у Бога помощи во всех нуждах, посоветуйте и рассудите и умножите и утвердите, по правилу Святых опостол и Святых отец и по прежним законам прародителей наших, чтобы всякое дело и всякие обычаи строилися по Бозе в нашем царствии, и при вашем святительском пастве, а при нашей державе, а которые обычаи в прежние времена, после отца нашего великого князя Василия Ивановича всеа Руси и до сего настоящего времени поизшаталися, или в самовластии учинено по своим волям, или прежние законы, которые порушены, или ослабно дело, небрегомо Божиих заповедей, что творилося, и о всяких земских строениях и о наших душах заблуждении, – о всем о сем довольно себе духовне посоветуйте и на среди собора сие нам возвестите, и мы вашего святительского совета и дела требуем и советовати с вами желаем, о Бозе утверждати нестройное во благо. А что наши нужи, или которые земские нестроения, и мы вам о сем возвещаем. И вы, рассудя по правилам Святых апостолов и Святых отец, утверждайте во общем согласии вкупе, а яз вам, отцам своим, и с братиею, и со своими бояры челом бью.

Собственно, в своей терпеливо, многократно продуманной, заранее изготовленной речи Иоанн призывает служителей церкви заложить правовые и нравственные основы прочного мира, ненарушимой справедливости по всей русской земле, которые будут держаться не на каких-либо самовластных, своевольных желаниях и приговорах, а на прописях Святых апостолов и Святых отцов, причем в первую очередь этих прописей неоспоримых должны неукоснительно держаться и сами служители церкви, чтобы затем проповедовать эти неоспоримые

прописи темным, склонным к попранию всех законов и прописей, особенно же склонным к взаимной вражде прихожанам. Только неотступного следования этим бесспорным, общепризнанным прописям и требует он от епископов, игуменов и архимандритов, от рукоположенных блюстителей православия, по наивности молодых своих лет и веры своей полагая, что кому же и следовать этим замечательным прописям, как не им, блюстителям и владыкам, что по этой причине они последует ими сыздетства затверженным прописям охотно и беспрекословно, предполагая, ещё не вдоволь изведав горьких опытов жизни, что блюстители и владыки ещё будут ему благодарны за открытые, честные указания на повсеместное поправление ими же затверженных прописей и примутся так же честно, так же открыто восстанавливать поправленные, едва ли не позабытые прописи Святых отцов и апостолов по всем церквям и монастырям.

Он ошибается. Жестокое разочарование его ожидает. Столь представительный церковный собор противодействует всем его добрым намерениям с тем же эгоистическим, лукавым упорством, что и боярская Дума. Его вступительную речь выслушивают с покорным, он равнодушным молчанием, с его горькими укоризнами в адрес возмутительно разложившейся церкви, которых никто не оспаривает, потому что их невозможно оспорить, как будто и соглашались, мол, да. Кое-что в жизни церкви в самом деле разошлось с заповеданной евангельской простотой, как будто принимают запреты против безобразий, против бесчинств, творимых в монастырях, но вдруг обнаруживается на освященном соборе, что православная церковь, без очищения которой ему не сотворить Святорусского государства, беспощадно непримиримая ко всякого рода инакомыслию, удивительно миролюбиво, умирительно снисходительна к собственным, очевидным, намозолившим глаза прегрешениям, и принятые собором запреты оказываются большей частью половинчатыми, даже двусмысленными, не столько преграждающими, сколько открывающими новые лазейки, какими пороки просачиваются и в церковную, и в монастырскую, и в повседневную светскую жизнь. Вместо доброго согласия церкви с царем и великим князем в деле строительства Святорусского государства на освященном соборе завязывается скрытая, искусно запутываемая, однако упорная, неуступчивая борьба. Против кого? Против избличенного в пороках, растленного, избезобразившегося царя и великого князя? Нет! Борьба избличенной в пороках, растленной, избезобразившейся церкви, погрязшей в грехе, начиная с митрополита, кончая последним монахом, против набожного, благочестивого, избравшего путь великих свершений царя и великого князя, взвалившего на себя тяжкий груз великой идеи нового общества и нового государства, именно очищенных от растления и греха.

Разумеется, освященный собор принимает Судебник без лишних слов, единодушным одобрением и единодушным согласием, о чем и просил Иоанн, однако не успевают высохнуть чернила писца, который исправно заносит на пергамент это решение, как выясняется, что именно церковь не испытывает никакого желания следовать только что утвержденным статьям. Церковь стремится полностью освободиться из-под юрисдикции царя и великого князя, то есть отказывается от судебного разбирательства в соответствии с теми законами, которые сама же считает обязательными для всего Московского царства. Отныне игумены и архимандриты, совершившие светские преступления, должны представлять перед судом митрополита или архиепископа, тогда как в прежние времена все светские преступления служителей церкви подлежали суду светских властей, то есть суду царя и великого князя. Куда эти перемены ведут? Эти перемены ведут к полнейшему обособлению церкви от Московского царства, к полнейшему невмешательству царя и великого князя в дела церкви и соответственное увеличение власти митрополита, за которым сохраняется право вмешиваться во все дела и действия светских властей.

По счастью, известно самому последнему неучу и дураку, что суд митрополита и архиепископа ещё мздоимней, ещё неправедней, чем суд наместников и волостелей, поставленных на должность царем и великим князем, не говоря уже о суде самого царя и великого князя, и многие игумены и архимандриты, многие попы и монахи сами просят оставить прежний

порядок, то есть просят судить их не церковным, но царским судом. Иоанн тут же находится и уступает многочисленным просьбам. В итоге простые приходские попы и монахи, совершившие светское преступление, получают возможность самим выбирать между церковным и царским судом. Высшие иерархи попадают в не совсем удобное положение, когда их подчиненные отказываются судиться у них. Иоанн успевает заметить это прежде других. Он искусно использует вполне понятное замешательство иерархов, выхватывает из-под юрисдикции церковных властей всех тех землепашцев, звероловов и рыбаков, которые пашут, сеют и убирают, сдают шкурки белок и соболей, поставляют к столу игуменов и архимандритов свежую рыбу и свежее мясо, то есть около семисот тысяч несчастных арендаторов монастырских пашен и ловищ, с которых добродетельные монахи три шкуры дерут, и утверждает старую формулу:

«А кому будет чего искати на их монастырском прикашике и на слугах, и на монастырских крестьянах, ино их сужу яз, царь и великий князь...»

Таким образом, в важнейшем вопросе права суда митрополит и архиепископы выторговывают для себя кое-что, Иоанн, в свою очередь, выторговывает кое-что для себя, оберегая свое исконное право судить и получать судебные пошлины как с ответчиков, так и с истцов, и обе стороны остаются весьма и весьма недовольны друг другом. Освященному собору надлежит утверждать мир и согласие, тем не менее освященный собор взрыхляет почву для новой, ещё более ожесточенной борьбы за власть между церковью и царем.

И это ещё только начало. Приходит черед вопросам царя и великого князя, составленным в его уже обозначившейся манере, легко различимой, резко, порывисто, язвительно, колко, со всеми оттенками открытой, прямой укоризны. Вопросы, как и предыдущая речь, произносятся на то поставленным дьяком, всё так же торжественно, мерно, с холодным сердцем равнодушного исполнителя, с холодным лицом, отчего возникает впечатление своеобразное, неожиданное, поначалу даже ошеломляющее, заставившее освященный собор глухо, тревожно молчать.

Устами думного дьяка Иоанн вопрошает, угодно ли Богу, а если не угодно, так на ком сыщется грех, если попы и монахи невежественны, и начальной грамоте не обучены, службы не знают, места занимать недостойны по всем уставам церковным, а места занимают, и занимают по мзде? На ком сыщется грех, если попы и причётники в церкви пьяны всегда, без страха стоят, бранью бранятся, из уст их часто исходят неподобные речи, пьяными входят в святое место алтарь, иной раз бьются друг с дружкой до крови, отчего миряне, бесчинства их зря, гибнут душой и те же непотребства творят? Угодно ли Богу, а если не угодно, так на ком сыщется грех, если попы и монахи стригутся не спасения ради, но ради покоя телесного, чтобы предаваться безделью, обжорству и пьянству? Угодно ли Богу, а если не угодно, так на ком сыщется грех, если игумены и архимандриты свои должности получают по мзде? Угодно ли Богу, а если не угодно, так на ком сыщется грех, если не знают ни Божьей службы, ни братства, ни общей трапезы, а покою себя в своих кельях с гостями и тем пустошат монастырь? Угодно ли Богу, а если не угодно, так на ком сыщется грех, если попы и монахи алчны, жадны, всячески беспокойны, одержимы всякими нуждами? Угодно ли Богу, а если не угодно, так на ком сыщется грех, если не радеют о Божьей церкви, о монастырском строении, о братстве, в котором обязываются жить все монахи? Угодно ли Богу, а если не угодно, так на ком сыщется грех, если в монастыри даются на помин вотчины, села и прикупы, а в монастырях не прибывает новых строений, а старые строения приходят в негодность, в таком случае куда идут эти прибыли, кто всем этим корыствуется? Угодно ли Богу, а если не угодно, так на ком сыщется грех, если из монастырской казны дают деньги в рост, когда Божественное Писание и мирянам возбраняет проценты? Угодно ли Богу, а если не угодно, так на ком сыщется грех, если церковные службы разнятся в разных местах, где двуперстие, где троеперстие, где аллилуйя сугубая, а где трегубая, многие ошибки в книгах церковных, иконы пишутся кем ни попало и как Ому в ум ни взбредет? Угодно ли Богу, а если не угодно, так на ком сыщется грех, если монахи держат у себя отроков, без стыда принимают жен и девиц? Угодно ли Богу, а если не

угодно, так на ком сыщется грех, если монастыри, и без того пребогатые землей и доходом, не стыдятся требовать милостыни от царя и великого князя? Угодно ли Богу а если не угодно, так на ком сыщется грех, если богадельни, устроенные милосердием христианским, наполняются не престарелыми и недужными, а молодыми и здоровыми тунеядцами? Угодно ли Богу, а если не угодно, так на ком сыщется грех, если многие монахи, монахини, даже миряне хвалятся какими-то пророчествами и сновидениями, скитаются из места в место со святыми иконами и требуют денег непристойно, бесчинно, будто бы на построение церкви? Угодно ли Богу, а если не угодно, так на ком сыщется грех, если древние церкви пустеют, а новые воздвигаются не усердием к вере, а греховным тщеславием и скоро так же пустеют от недостатка в полах, иконах и книгах? Угодно ли Богу, а если не угодно, так на ком сыщется грех, если в нарушение уставов великих князей архиереи берут с попов за поставление и два рубля, и три, и четыре, а попы берут за венец с новобрачных, берут за исповедь, за крещение, за причастие, за погребение? Угодно ли Богу, а если не угодно, так на ком сыщется грех, если служитель церкви украшается золотом и бисером, плетением и шитьем, подобно жене? Угодно ли Богу, а если не угодно, так на ком сыщется грех, если монахи и монахини имеют жительством один монастырь? Угодно ли Богу, а если не угодно, так на ком сыщется грех, если церковь отказывается вносить полонянные деньги, идущие на выкуп тех христиан, которые томятся в татарском плену?

В сущности, это риторические вопросы, поскольку ясно и без того, что все эти мерзости не угодны Богу и что грех сыщется на митрополите, на архиепископах и епископах, на игуменах и архимандритах, которых в тот судный час вопрошает царь и великий князь, замысливший создать Святорусское государство, и нечего дивиться тому, что прямота и ясность этих беспримерных, без сомнения, насущных запросов, заключающих в себе такие жестокие обличения, повергают митрополита и весь освященный собор в полное и долго не преходящее оцепенение. В записях, которые с должным тщанием ведутся исправным писцом, все первые сорок беспощадных запросов царя и великого князя оставлены без ответов, точно митрополит и освященный собор их не слышат или не ведают, что отвечать, поскольку митрополит и освященный собор ничего путного в свое оправдание ответить не могут и добровольно взвалить грех осквернения на себя.

Однако и двадцатилетний Иоанн никому не позволяет шутить над собой, характер у него отзывчивый, добрый, однако вовсе не мягкий. Возможно, именно в этом месте молодой царь и великий князь, всегда пылкий, со страстью относящийся ко всякому делу, теряет терпение, властным жестом прерывает размеренное чтение думного дьяка и в гневе вопрошает собравшихся грешников, отчего гробовым молчанием сковались их языки и что они все-таки могут ответить ему.

Поневоле приходится отвечать, однако что отвечать? Ведь это они постригаются не спасения ради души, а покоя ради телесного, свои места занимают по мзде, невежественны, едва умеют читать, знают службы спустя рукава, пьянствуют, в кельях держат отроков и разгульных девиц, дают деньги в рост и пускают по ветру доходы с вотчин и сел, которые даются им на срочное или бессрочное поминание вдоволь нагрешившей усопшей души, истрепетавшей от ужаса адских мучений. Признать так же открыто и ясно, что все их деяния есть наипаскуднейший грех, бесстыднейшее попрание правил, завещанных Святыми апостолами и Святыми отцами? И при этом не стореть от стыда? Никакая церковь никогда не решалась на такие признания, усердно тая свои прегрешения за толстыми стенами церквей и монастырей, беспощадно истребляя всех тех, кто задает ей такие неприятные, грозящие потерей доходов вопросы.

Понятно, что митрополит, архиепископы и епископы, игумены и архимандриты не горят от стыда и ничего не хотят признавать. Однако признаний требует царь и великий князь, и уже по смыслу и тону запросов немудрено догадаться, что от ответов им не уйти. Лукавые, владеющие вредным искусством своекорыстного искажения истины, они ничего не оспаривают,

понимая, что ничего оспорить нельзя, но отвечают весьма общими, весьма туманными фразами, в которых не содержится ни возражения, ни признания в том, что православная церковь на данный момент в самом деле погрязла в постыдных, едва ли простимых грехах.

Иоанн же настаивает. Тогда освященный собор пропускает мимо ушей всё срамное, всё непристойное, непотребное, вдребезги разрушающее самый фундамент вероучения и без особенной прыти, неспешно принимается обсуждать никого не затрагивающие, отвлеченные укоризны царя и великого князя, которые касаются форм и приемов богослужения. Принимают решение: троеперстие и трегубую аллилуйю под страхом анафемы запретить, повсеместно ввести двуперстие и аллилуйю сугубую. Впрочем, принимают вынужденно, формально, лишь бы отвязаться от навязавшегося на их шею молоденька ещё царя и великого князя, об исполнении решения никто не печется, и двуперстие по-прежнему соседствует с троеперстием, как трегубая аллилуйя соседствует с аллилуйей сугубой. Ничего не меняется, если никто не испытывает желания изменить.

Иоанн чутко улавливает этот дух сопротивления, дух желания оставить всё, что он осудил, на привычных местах и поскорей разойтись, возвратиться к своим излюбленным питиям, возлюбленным отрокам и непотребным девицам, к такому удобному, такому уютному житию непросвещенных, темных людей, добровольно принявших на себя многотрудную миссию просвещать, нести свет заблудшим, по неведенью бродящих и блудящих во тьме. Он требует определенных ответов и ясных решений самых коренных, самых насущных проблем, разъедающих церковную жизнь, точно ржа.

Митрополит, архиепископы и епископы, игумены и архимандриты мнутя, пускаются маневрировать, как всегда мнется и маневрирует схваченный за руку плут. Однако не им заморочить и одурачить его. Среди них он самый начитанный, самый образованный, самый безгрешный и самый умный, он легко распознает их малограмотные уловки, рассчитанные на простаков. Как свидетельствует расположение записей, он круто меняет ход обсуждения. Он больше не желает вопрошать в пустоте. Думный дьяк по-прежнему торжественно, монотонно зачитывает его сорок первый запрос. Тут он прерывает добросовестного слугу властным взмахом нервной руки и понуждает освященный собор отвечать. С этого места между царем и великим князем и освященным собором завязывается нечто похожее на диалог, то есть царь и великий князь запрашивает внятно, определенно, бескомпромиссно, а освященный собор вертится, юлит и ловчит ускользнуть от прямого ответа.

Очень строго относящийся ко всему, что касается веры, Иоанн диву дается: можно ли закоснеть до такого упорства в грехе? Он, государь, правитель Русской земли по рождению, человек светский, поставленный ведать устройством земным, облеченный тяжелой властью миловать и казнить, страшится хотя бы мысленно нарушить крестное целование, хотя бы на малую толику отступить от клятвы, скрепленной обращением ко Христу, тогда как лица духовные, добровольно принявшие сан, давшие нерушимую клятву неукоснительно следовать священным для всего православия заповедям Христа, священные заповеди Христа попирают, грешат каждодневно, утопают в непотребстве и смраде, но не только не отрекаются в омерзении, в ужасе от непотребства и смрада, а ещё у него на глазах плетут хитроумные петли, чтобы непотребство и смрад сохранить и по-прежнему жить противно священным заповедям Христа. Псы блюющие, свою блевотину стерегущие, как обязаны стеречь свою душу и чистейшей, без соринки, без пятнышка представить её на Страшный, неподкупный. Последний, непогрешительный суд, на котором спросят за всё, могут спросить и за этот странный, умонепостижимый собор.

Роль царя и великого князя и роли святителей меняются. Кажется, он не сомневается в том, что вот сейчас он усовестит этих заблудших, так легко, так спокойно пребывающих во грехе церковных владык, как они усовестили его три года назад, когда он по их слову помиловал зачинщиков кровавого бунта, и они одумаются, как три года назад одумался он, пока-

ются перед ним, как три года назад покаялся он перед ними, дадут крепкое слово перед ликом Христа жить в благочестии, в чистоте, как три года назад дал слово он, тоже перед ликом Христа, установить справедливость на Русской земле, станут данное слово держать, как держит он, противоборствуя не только желанию, но и очевидной необходимости смирить виновных опалами и смертной казнью казнить.

Не тут-то было. Заваривается обыкновенная несусветная чушь, наподобие известной ловли в ступе пестом. Благочестивые наставники в праведном житии, обязанные твердо вести наши земные, явным образом заблудшие души одним им ведомой дорогой в пресветлое Царство Небесное, обязанные подавать нам пример праведной жизни, служить нам образцом, на его прямые запросы прямых ответов не желают давать, сколько бы он ни спрашивал их. Ни в одном глазу не стыдятся перед ним, они запутывают самое очевидное дело, причем запутывают так топорно, так примитивно, так неискусно, что кругом белые нитки торчат, то ли откровенно не уважают его, то ли по небрежению, из нежелания снизойти до него оттого, что в их глазах все эти запросы не более как причуда царя и великого князя, ещё мальчика, то ли просто-напросто от недостатка ума.

Так, царь и великий князь заводит речь о распущенности, как белого, так и черного духовенства, пусть его тешится, молод ещё, поборники благочестия сетуют, что содомский грех сплошь и рядом прельщает непотребных мирян, и пускаются в пространные рассуждения о благотворном воздействии аскетической жизни, имея в виду не себя, поставленных высоко, а низко стоящих мирян, попутно задумываются над сложнейшей проблемой обыденной жизни: если какая-нибудь монахиня вдруг заболеет, может ли её исповедовать поп? Да тут сомнение в чем? А тут сомнение в том, что ведь это мужчина!

Царь и великий князь недоволен вольностями и прямыми ошибками в иконописи, а ему отвечают, чтобы он поглядел, что творится в кремле. Иоанн и глазом не успевает моргнуть, как извлекается жалоба Ивана Висковатого, дьяка, в которой благочестивый дьяк то ли притворно, то ли искренно негодует, что в царских платах писано неподобно, явным образом копая яму Сильвестру, ведавшему росписью царских палат: «написан образ Спасов да тут же близко него написана жонка, спустя рукава, кабы пляшет, а написано под нею: блужение, а иное ревность и иные глумления». Зацепившись наконец за подходящую тему, блюстители благочестия негодуют, тон поднимается, иерархи готовы браниться. Макарий берет под защиту Сильвестра, изъясняет доходчиво, что в картине не допущено никакого кощунства, поскольку она изображает порок, посрамленный Христом. Всё же в акты Стоглава помещается громоздкое описание неугодной иерархам картины, точно они увидели её в первый раз, помещается явным образом для того, чтобы проваландать как-нибудь время и после, за недосугом, ничего не решить.

Все-таки, как ни вертятся, к каким уловкам ни прибегают, блюстители благочестия испытывают на себе давление личности Иоанна, раздражительной, сильной, активной, не склонной подчиняться чужому влиянию, не позволяющей никому шутить над собой и над своим положением царя и великого князя. Он повторяет самые неприятные, самые болезненные запросы и требует на них отвечать. Блюстителям благочестия приходит против желания находить сколько-нибудь, хотя бы по видимости, приемлемые ответы. На основании этих вымученных ответов они принимают уклончивые, половинчатые решения, исполнение которых либо невозможно совсем, либо в действительности даже вредно для положения церкви.

Без возражений, охотно и энергично соглашаются архиепископы и епископы, игумены и архимандриты преследовать малейшее отклонение от норм благочестия, в тех случаях, когда они должны преследовать прихожан, причем обнаруживается, против их воли, должно быть, что в общем люди простые живут нравственной жизнью и всем рукодельцам, землепашцам, звероловам и рыбакам можно поставить на вид лишь невинные развлечения и неискоренимую приверженность к немудрящим, но поэтичным обрядам простодушной языческой старины, хотя эти обряды никому и ничем не вредят.

Однако блюстителей благочестия больше всего беспокоит именно эта стойкая приверженность к незатейливой языческой старине. Архиепископы и епископы, игумены и архимандриты вменяют в обязанность низшему духовенству искоренить прапрадедовские обряды как гнусность, наказывают приходским попам наставлять, грозить, казнить епитимьей, не впускать в церковь ослушников, внушать прихожанам страх Божий, учить целомудрию, миру в соседстве, житию без ябеды, кражи, разбоя, лжесвидетельства и клятвопреступлений, точно эти простые рукоумельцы, землепашцы, звероловы и рыбаки только и делают, что убивают, грабят, крадут, строчат ябеды друг на друга, не умея ни писать ни читать, дают ложные показания, не имея нужды ни в государевом, ни в церковном суде, и преступают крестное целование, в котором им необходимости нет.

Кроме того, мирянам предписывается обязательное ношение бороды, по смешной, однако для блюстителей благочестия чрезвычайно важной причине: по глубочайшему убеждению архиепископов и епископов, игуменов и архимандритов, безбородый мужчина уподобляется женщине, вызывает в ближнем срамное желание и тем понуждает содомский грех, которого не встречается в обыденной жизни рукоумельцев, землепашцев, звероловов и рыбаков, зато полным-полно в осуждаемых Иоанном обителях.

Затем запрещают мирянам невинные развлечения, начиная с игры в шахматы и наслаждения музыкой, кончая игрой в зернь, а представления скоморохов, любимое зрелище простонародья по праздничным дням, прямо объявляются богопротивными.

Всё тем же рядовым прихожанам запрещают вступать в храм с главой непокрытой, вносить в алтарь мед, пиво и хлеб, исключая просфоры, и возлагать на престол так называемые сорочки, в которых иногда особенно счастливые младенцы выходят на свет, точно вносить что-либо в алтарь или что-либо возлагать на престол им доступно собственной волей, без дозволения корыстных попов.

Под страхом отречения запрещают читать две единственные светские книги, которые уже имеют некоторое распространение строго в пределах охраняемого от светской науки Московского царства: «Аристотелевых врат», содержащих кое-какие сведения из астрономии и медицины, и «Шестикрыла», в котором помещены астрономические таблицы Иммануила Бен Якоба.

Под строжайший запрет попадает любое общение с иноземцами, дабы не оскверниться беззаконием препакостных европейских держав, не перенимать обычаев, не прельститься на прелесть латынства, что квалифицируется как преступление, за которое ослушников казнить православная церковь именем православного Бога.

Иоанн ничего не возражает на эти гневливые строгости, его самого беспокоит упорная приверженность простого народа к седой языческой старине и руки он после общения с иноземцами тщательно моет, прямо у них на виду, дабы как-нибудь из рук в руку к нему не пристал развратный католический дух, однако куда больше его беспокоят бесчинства и безобразия православного духовенства, как низшего, так особенно высшего, которое не столько способно наставить на путь истинный своим малограмотным словом, сколько своим прискорбным примером совращает с пути истинного простых прихожан, и он настойчиво предлагает блюстителям благочестия обратить свои законные строгости на самих же себя.

В ответ, помявшись и поюлив архиепископы и епископы, игумены и архимандриты принимаются искоренять пороки низшего духовенства, однако в качестве первейшего средства для исправления более чем сомнительных нравов, укоренившихся между попами, не измышляют ничего лучшего ябеды, только что запрещенной простым прихожанам. Таким образом, по царскому велению, по благословению святительскому в приходские церкви назначаются протопопы, поповские старосты и десятские, обязанный строжайше следить, чтобы попы и дьяконы и прочие служки служили исправно, во храмах стояли со страхом и трепетом, читали Евангелие, Златоуста, жития, прологи, служили молебны о здравии царя и великого князя, не брани-



лись, не сквернословили, пьяными ни в храм, ни в алтарь не вступались и не бились до кровопролития в этих местах, причем попы, предназначенные и словом и делом учить прихожан благочестию, обязаны беспрекословно, под страхом действительно страшного отлучения подчиняться любому и каждому замечанию протопопа, поповского старосты и десятского, людей, предполагается, искусных в писании, добрых и житием непорочных, а протопопы, поповские старосты и десятские обо всех провинностях попов и дьяконов и прочих служек обязаны доносить высшим церковным властям, тогда как попы и дьяконы и прочие служки, в свою очередь, обязаны доносить на протопопов, поповских старост и десятских тем же высшим церковным властям, так что для водворения благочестия в церкви в жизнь церкви вводится всеобщая слежка и повальный донос.

Затем, все-таки понимая, что неграмотные попы и дьяконы и прочие служки не могут читать ни Евангелия, ни Златоуста, архиепископы и епископы, игумены и архимандриты предписывают повсюду заводить школы для обучения чтению и письму, впрочем, не нынешних, а будущих служителей церкви, однако обязанность содержать эти школы своим добродетельным пожертвованием вменяется самим попам и дьяконам прочим служкам, словно во внимание взять совестясь то всем известное обстоятельство, что низшее духовенство, обобранное духовенством высшим, живет в нищете, подчас непотребной и безобразной, так что не всегда, кроме водки, хватает на хлеб.

С увлечением обсуждают и затем утверждают новые правила церковного пения, звона, литургии, службы утренней и вечерней, определяют строго блюсти, чтобы книги церковные и богослужебные велись без ошибок, а иконы писались с древних греческих или с икон Андрея Рублева, причем этим святым делом дозволяется заниматься единственно тем, кто от иерархов и государя признаваем достойным, не одним только искусством иконописания, но и беспорочностью жития.

В обителях вводят общую трапезу, инокам предписывают отослать от себя юных слуг, никаких особ женского пола в кельи свои не впускать, пьянственных питий у себя не держать, жажду утолять только квасом, для забавы не шататься по селениям и городам, а преступивших правила извергать из обителей и отлучать от святынь.

После такого рода решений может представиться, что архиепископы и епископы, игумены и архимандриты беспрекословно исполняют все пожелания молодого царя и великого князя, который, как выясняется, куда более печется о благочестии, чем сами блюстители благочестия, громоздят запреты в угоду ему и с готовностью принимают нововведения, которые он предлагает ввести, пользуясь деликатной формой запросов, однако они не затрудняют себя размышлением, что заставит попов и дьяконов и простых служек не драться, не вступать в алтарь пьяными, читать Евангелие и Златоуста, что заставит иноков обходиться квасом вместо вина, особ женского пола к себе не водить, не шататься по селениям и городам, то есть не задумываются над тем, каким чудодейственным способом, кроме доноса, исполнятся эти действительно позарез необходимые нововведения.

Иоанн возмущен, что богадельни населяются вовсе не теми людьми, для которых эти богоугодные заведения предназначаются самим своим основанием, и архиепископы и епископы, игумены и архимандриты, точно были глухи и слепы до этого дня, принимают решение изгнать из богаделен всех здоровых и молодых туляков, переписать больных и калек на освободившиеся места, наделить одеждой и пищей, расход средств поручить целовальникам, избранным из посадских людей, а инокам и попам оставляют лишь научение обитателей богаделен страху Божьему, причастие да погребение этих несчастных, однако содержание означенных богаделен предается единственно одному христианскому милосердию, а зрителям прямо предлагается добывать пропитание хождением по дворам.

Помявшись, пожавшись, заказывают впредь чернецам и черницам скитаться из места в место со святыми иконами и требовать денег на сооружение новых церквей, а не уймутся,

отдавать иконы в прежние храмы, чернецов и черниц переписывать, распределять по обителям, отдавать здоровых телом в работы, немощных наделять одеждой и пищей, на что надлежит жертвовать митрополиту, архиепископам и епископам и самому государю, точно в обителях каждый кусок на счету, так что в результате такого изворотистого решения испомещение бродячих чернецов и черниц становится для обителей источников новых доходов, будто им не довольно доходов с обширных владений, обширной торговли и ростовщичества.

Выслушав повторные упреки царя и великого князя, устанавливают, что попов и дьяконов должны избирать прихожане, попов не моложе тридцати лет, дьяконов не моложе двадцати пять лет, жития, естественно, нравственного, грамоте знающих, а как обнаружится, что худо знают чтение и письмо, так посылать по училищам, которые только ещё предполагается учредить на средства тех же малограмотных, малоимущих дьяконов и попов, и тут же архиепископы и епископы, игумены и архимандриты охотно урезают денежное довольствие дьяконов и попов, определив за венчанье с новобрачных взимать по алтыну, за второй брак по два алтына, за третий брак по четыре алтына, а за крещение, исповедь, причастие и погребение вовсе не требовать мзды, между тем из этих жалких доходов выплачивать митрополиту, архиепископам и епископам за поставление московский рубль и так называемую благословенную гривну, и словно в насмешку над обездоленными попами и дьяконами приговаривают, что служителям церкви не гоже украшать себя златом и бисером, плетением и шитьем, подобно жене, оставляя подобные украшения для одного высшего духовенства, приравненного таким образом к лицемерно презираемым женам.

Наконец блюстители благочестия осуждают торговлю церковными должностями, вымогательство со стороны вышестоящих церковных чинов и предписывают архиепископам и епископам поставлять в игумены, в попы, в дьяконы, в ключари и в причетники даром, не требуя мзды, как до той поры у архиепископов и епископов было в обычае, нисколько не задумываясь над тем, что впервые мздоимство и пьянство в среде духовенства было осуждено освященным собором ещё два с половиной века назад, тем не менее мздоимству и пьянству всё ещё не положен предел.

Решения этого рода, более рекомендательные, чем действенные, скорее походят на кость, которую собрание иерархов, точно в насмешку, швыряет молодому царю и великому князю, слишком цепко к ним привязавшемуся. Они слишком мало могут удовлетворить Иоанна. В каждом ответе на его укоризненные запросы, в каждом пункте, в каждой статье он чует сопротивление, которое ему оказывают архиепископы и епископы, игумены и архимандриты, не желающие расставаться со своими бесчисленными богатствами и обширными привилегиями, вступающими в прямое противоречие с заповедями Христа о бедности, о добывании хлеба в поте лица, о презрении к утехам жизни мирской, как понимает смысл этих заповедей сам Иоанн.

Однако сопротивление иерархов вовсе не охлаждает, а лишь раздражает и воспаляет молодого царя и великого князя, оказавшегося в положении едва ли не безысходном, поскольку третье поражение под Казанью не может не стать для него роковым для всех его притязаний, в первую очередь концом самостоятельного правления, в сущности, ещё не начавшегося. В этом собрании архиепископов и епископов, игуменов и архимандритов он оказывается совершенно один, без поддержки, без сочувствия, без одобрения, хотя бы тайного, поскольку искушенный в делах церкви Макарий предусмотрительно не допустил на освященный собор ни одного из ненавистных ему нестяжателей, которые одни могут одобрить стремление молодого царя и великого князя возратить православную церковь к очистительной бедности раннего христианства. В одиночку сражается он за свое царское имя, за себя самого, за свое будущее, а с ним вместе и за будущее всего Московского царства, для которого настало долгожданное время навсегда положить законный предел набегам диких племен, набегам опустошительным и кровавым, обрести прочный мир и в обстановке никем ненарушимого мира, как ему возмечталось,

превратиться в Святорусское царство, что возможно лишь после обновления церкви, этого фундамента святости и христианской морали о всепрощении и братской любви. В его пылкой, нетерпеливой душе поднимается удушливый гнев. Тон его запросов, вначале рассудительный, ровный, с каждым часом меняется, Пока не становится колким, язвительным, нетерпеливым и нетерпимым. Он не убеждает, не уговаривает, он обличает, он требует от собрания блюстителей благочестия, чтобы православная церковь по крайней мере поделилась своим достоянием с терпящим лихое бедствие государством.

Как ни уклоняются блюстители благочестия от обсуждения этого самого большого вопроса, пристало ли церкви приобретать, продавать, давать деньги в рост, все-таки приходит черед и кабальных процентов, и неоплатных долгов, на погашение которых князья и бояре, всё чаще в последнее время, передают монастырям свои вотчины, таим образом подчас не только впадая в крайнюю бедность, что Иоанна не особенно огорчает, но теряя бесценную, в его глазах, боеспособность, ради которой они и наделяются вотчинами и ради которой Иоанн берется их защищать, вернее спасать, от корыстолюбия бессовестных иноков.

В сущности, на коварный запрос о кабальных процентах погрязшим в ростовщичестве иерархам нечего возразить, они и не пытаются возражать, хорошо понимая, что любые проценты на суммы, данные в долг, противоречат идее христианства о святости бедности и о братской любви. Архиепископы и епископы, игумены и архимандриты заминают эту неприятную, опасную тему, самую идею ростовщичества обходят благоразумным молчанием, оставляют в стороне громадные проценты, которые дерут с князей, бояр и служилых людей, естественно, главнейших своих должников, разоренных до того, что выходят в поход без панциря и с одним кистенем, и соглашаются обсудить лишь копеечные долги своих арендаторов, сидящих на монастырской земле. Собственным арендаторам они готовы давать деньги в долг без процентов, однако за такую изворотливую уступку они требуют куда более серьезных уступок со стороны молодого царя и великого князя, только что воспретившего, об этом есть статья в обновленном Судебнике, обращать в холопы неоплатного должника, этой статьей останавливающего начавшийся было процесс прикрепления землепашцев, звероловов и рыбаков к владельцу земли. Они выпрашивают у него на первый взгляд скромное право лишь вносить в писцовые книги имена должников, отлично зная по опыту, что написанное пером не вырубишь топором и что запись сама по себе уже прикрепляет должника к владельцу земли. Таким способом они публично обводят вокруг пальца молодого царя и великого князя. И молодой царь и великий князь. Пока ещё не улавливая, где тут собака зарыта, соглашается на обмен такими уступками. Так монастыри становятся родоначальниками крепостного права на Русской земле.

В том, куда деваются прибыли от подаренных сел и от прикупов новых сел и земель, кто ими корыствуется и достойно ли иноков впутываться в бесчисленные тяжбы о праве владения спорной или прямо несправедливо приобретенной землей, Макарий просто-напросто не считает нужным отчитываться, поскольку не может не знать, какие хищнические доходы получает он сам и с какой стремительностью разрастаются владения митрополичьего дома, а следом за ними разрастаются владения и доходы своекорыстных святителей. Чтобы ликвидировать самый корень запроса о доходах и землях, по его указанию зачитывается не один десяток будто бы исторических документов, разъясняющих те основания, отчего-то упущенные составителями Евангелия, на которых покоится неприкосновенность церковных имуществ, среди них так называемая грамота императора Константина Римскому папе Сильвестру, о подложности которой Макарий, возможно, не знает, ярлык хана Узбека митрополиту Петру, тоже поддельный, состряпанный в канцелярии митрополита, послания православных святителей, среди которых, естественно, не оказывается ни одного послания нестяжателей, в особенности самое свежее послание новгородского архиепископа Феодосия, объявившего святотатцами всех, кто попытается освободить церковь от её недвижимого имущества, после чего, облегченно вздохнув, архиепископы и епископы, игумены и архимандриты единогласно принимают решение,

которым воспрещается кому бы то ни было владения церкви восхитить или отъять, причем каждому посягнувшему на владения церкви грозит отлучение, то есть, в переводе на реальный язык, отлучение грозит молодому царю и великому князю, который с тем и собрал архиепископов и епископов, игуменов и архимандритов, чтобы они своей волей поделились с его тощей казной своими чрезмерными, можно сказать, противоестественными имуществами.

В итоге, Иоанн остается ни с чем. Может быть, он ещё тешится слабой надеждой, что, внявши наставленьям собора, православное духовенство само собой очистится от скверны порока и поселит в душах своих благочестие, а по делам и примеру православного духовенства благочестие затеплится и в душах многих русских людей, всё ещё твердо приверженных возлюбленной языческой старине, без чего не видать никакого Святорусского государства, он не получает от церкви земельных угодий, необходимых для прокормления служилых людей, чтобы они по первому зову царя и великого князя выступали в поход конно, людно и оружно и не с пустыми руками, с воодушевлением и жаждой победы, а не безучастно и с многими нетями, также не получает и денег, необходимых для литья пушек и вооружения стрелецкой пехоты, без которой, как он дважды убедился на горьком и поучительном опыте, никакую крепость не взять. Дьяк Иван Выродков со товарищи уже валит под Угличем тысячетлетние сосны и готовится по весне заложить русскую крепость на речке Свияге, а ему в третий раз предстоит вести под Казань всё те же плохо вооруженные, скверно организованные полки, тогда как у него уже не остается права на поражение. Либо он победит, либо подручные князья и бояре вновь оттеснят его на задворки кремлевских плат и во всю прыть и сласть бросятся грабить беззащитную от них Русскую землю, как в плачевные времена его сиротливого детства.

## Глава двадцать пятая

### Напряжение

Иоанн сознает, что он кругом прав, и как государь и как верующий христианин, и что архиепископы и епископы, игумены и архимандриты его провели. В его положении государя, затеявшего трудную, затяжную войну не на жизнь, а на смерть, необходимо сосредоточить в своих руках все наличные средства Русской земли и на эти средства создать боеспособную, несокрушимую армию, и если громадные средства в нарушение евангельских заповедей переключались в кладовые монастыре, где они употребляются без всякого толку, без малейшей пользы для Московского царства, большей частью на чревоугодие, распутство и пьянство, то он прямо обязан в интересах Московского царства, которое необходимо обезопасить вперед на века от набегов разбойных кочевников, эти громадные средства хотя бы частично изъять. Как верующий христианин, получивший первоначальное воспитание под руководством митрополита Иоасафа, достаточно хорошо знакомый с историей христианства, он убежден, что инокам и попам недостойно жить жизнью порочной, соблазняя мирян, вымогать привилегии, стяжать и прямо захватывать земли захватом, жить корыстно, давать деньги в рост под чудовищные проценты, прибирать к бездельным рукам в счет погашения долга и процентов на долг недвижимое имущество должника, пускать по миру вдов и сирот, и тоже прямо обязан изъять эти громадные средства в интересах самой разжиревшей, пресыщенной церкви, которой только бедность воротит её первоначальную чистоту.

И кто ему станет противодействовать, если он решится эти громадные средства изъять? Церковь сама? Но православная церковь оттого с таким постоянным смирением покорствует власти царя и великого князя, что без его власти не в состоянии себя защитить. Землепашцы, звероловы и рыбаки, которые насыщают до отвала прожорливых иноков своим тяжким, неустанным трудом? Землепашцы, звероловы и рыбаки с удивительным постоянством бегут с монастырских земель, кто на вольную волю в казачьи станицы, кто в бесприютные гулящие люди, лишь подальше от слишком жадной, слишком корыстной, слишком жесткой монастырской руки, так что в иных монастырских владениях стоит пустыми треть деревень. Подручные, но непокорные, вечно готовые к смуте князя и бояре, которые чуть не все должны монастырям больше, чем могут уплатить даже потерей всех своих вотчин? Подручные князя и бояре рады радешеньки избавиться от долгов и сохранить за собой, тем более возвратить свои вотчины, отошедшие монастырям за долги. Служилые люди, больше половины которых довольствуется третьей, четвертой, а то и десятой долей надела, тогда как монастырям принадлежат обширные пашни, ловли, луга и тысячи деревень? Служилые люди будут благодарны царю и великому князю, если он за счет монастырских земель обеспечит их полным наделом.

Тогда что удерживает его от прямого, в сложившихся обстоятельствах спасительного насилия? Молодость, неуверенность в себе ещё только подступающего к подлинной власти правителя? В какой-то мере и то и другое. Но ещё более удерживает его уже пробужденная трезвость политика. Он сознает, что было бы чистейшим безумием восстановить церковь против себя в тот момент, когда ведется война с басурманами, когда именно идеей торжества православия он пытается вдохновить на подвиг свое далеко не героическое, напротив, довольно шаткое воинство, когда в мечтах ему грезится Святорусское государство. К тому же, церковь грозит ему отлучением за малейшее посягательство на недвижимость монастырей, а отлученный он не царь, не великий князь, а по всей вероятности труп.

Его сильный, энергичный, изворотливый ум с поразительной быстротой отыскивает иное решение, мудрое, почти безболезненное и потому приемлемое для обеих сторон. Как только для него становится очевидным, что любостяжатели, возглавляемые митрополитом Макарием, не дадут ему ни гроша на войну с басурманами, он опирается на авторитет нестяжателей.

Правда, нестяжателей к тому времени остается немного. Любостяжатели изгоняют их отовсюду как своих непримиримых и крайне опасных врагов. К тому же эти проповедники истинного благочестия мужественно отвергают всякую мысль попользоваться чем-нибудь от добрых мирян и живут единственно трудами собственных рук, а руки у них оказываются малоприспособленными к черному труду лесорубов и пахарей, отчего их повседневную пищу составляет хлеб из плохо смолотого невеяного овса, суп из капусты да рябина с калиной, под видом одежды они носят лохмотья, а достояния у них уда меньше, чем достояние побирушек, кормящихся милостыней, так что аскетическим мытарствам в глухих северных пустынях многие иноки предпочитают благоустроенные обители, где сытно и пьяно, где сотни, тысячи землепашцев, звероловов и рыбаков, оставленные братией без пашен и ловель, предоставляют им труды своих нестяжательных рук.

И всё же авторитет этих затерянных в заволжских дебрях пустынников, этих добровольных аскетов, фанатически преданных незамутненной евангельской истине, стоит высоко даже в среде самих слабодушных любостяжателей, а простые люди, всегда сердобольные к любому несчастью, относятся к ним с состраданием, поскольку все видят, что нестяжатели, обрекающие своей волей себя на крайнюю бедность, безусловно честны и чисты, благочестивы и благородны, бесхитростны и безобидны, немудрено, что некоторые из них пользуются куда большим почтением, чем сам митрополит и его подручные епископы и архимандриты.

Понятно, что не найдя понимания у митрополита и его подручных епископов и архимандритов, Иоанн за помощью обращается к униженным и гонимым, заранее уверенный в том, что нестяжатели безусловно поддержат его. Ещё продолжают лукавые, сложные, не без притаенной враждебности прения между молодым царем и святителями в кремлевских палатах, А гонцы скачут в Перфильеву пустынь к знаменитому старцу Артемию, к ростовскому епископу Алексею, везут на просмотр запросы молодого царя и великого князя, первые ответы на них архиепископов и епископов, игуменов и архимандритов и просят широко известных вождей нестяжательства высказать свое мнение в собственноручных грамотах на имя царя и великого князя, и этим мнением Иоанн до того дорожит, что в Троицкий Сергиев монастырь к бывшему митрополиту и своему первому воспитателю отправляет Сильвестра.

Вожди нестяжательства одобряют намерение молодого царя и великого князя возратить многим стяжанием раздобревшие обители, где гнездится порок, к благородной бедности первого христианства и через бедность, через труды собственных рук привести иноков к благочестию, к беспорочному житию, а на запрос, из какого источника черпать средства на выкуп русских пленников из басурманского рабства, Иоасаф отвечает совершенно определенно:

«О искуплении пленных, чтобы не с сел имати тот окуп, имати бы окупы из митрополичьи и из архиепископли, и изо всех владычных казн, и с монастырей со всех, кто чего достоин, как, государь, ты пожелаешь, на ком что велишь взятьи...»

Не менее определенно вожди нестяжательства осуждают владение селами, ростовщичество и торговые операции монастырей, однако эти сугубо мирные люди, твердые проповедники ненасилия, противники насилия в любой его всегда грешной форме, своеобразные предшественники несмирённого Льва Николаевича Толстого, остерегают царя и великого князя от принуждения с его стороны, от властного захвата монастырских земель, полагая, что игумены и архимандриты сами собой, своим разумением, восприятием в душу истинной сущности Божественного Писания должны отказаться от корыстолюбия и любостяжания, от сел и земель, от сладчайшей жизни чужими трудами в грехе.

Призывы к ненасилию не расходятся с намерениями самого Иоанна. Молодому царю и великому князю и в голову не приходит ввязаться в войну против церкви, как по всей Европе с редким остервенением воют последователи учения Мартина Лютера. Его не прельщает и ловкое предприятие умного и беспощадного английского короля, в один прекрасный день объявившего себя единственным главой национальной церкви и на этом простом основании

забравшего в государственную казну все монастырские земли, попутно упразднив и сами монастыри, с чего и началось стремительное возвышение Английского королевства. Иоанн, опираясь на авторитет нестяжателей, рассчитывает получить хотя бы малую часть монастырских земель и все те доходы, которые отняты у него бесчестными и бессчетными монастырскими привилегиями.

Первого мая 1551 года, уже своей собственной волей, лишь из приличия и в знак примирения ссылаясь на согласие митрополита и всех иерархов, он вписывает в решения Стоглавого собора в качестве новой статьи письмо Иоасафа о полонянных деньгах, отбирает все монастырские земли, пожалованные в смутные времена его беспросветного малолетства, прекращает пожалования из царской казны и без того чрезмерно богатым монастырям, возвращает владельцам их вотчины, незаконно присвоенные любостяжателями, наконец 101-й статьей, мая в 11-й день, ограничивает, почти останавливает приобретение новых земель:

«Царь и великий князь Иоанн Васильевич всея Руси приговорил с отцем своим с Макарием митрополитом всея Руси, и с архиепископы, и с епископы, и со всем собором: что впредь архиепископом, и епископом, и монастырем вотчин без царева ведома и без доклада не покупати ни у кого, а князем и детем боярским и всяким людем вотчин без доклада им не продати же, а кто купит и кто продаст вотчину без доклада, и у тех, кто купит, денги пропали, а у продавца вотчин, а взяти вотчина на государя и великого князя безденежно. А которые люди наперед сего и по ся места вотчины свои давали в монастыри по своим душам и родителей своих по душам в вечный поминонок, или которые впредь учнут потому же вотчины давати в вечный же поминонок, и тех вотчины у монастырей никому не выкупати...»

Казалось бы, архиепископы и епископы, игумены и архимандриты все как один должны восстать против таких чувствительных и необратимых потерь, однако Иоанн очень просто и безболезненно смиряет их несправедный гнев: он не касается земель и доходов митрополичьего дома, и митрополит, получи эту посильную мзду от царя и великого князя, прехладнокровно отворачивается от тех, кого только что с таким обилием подставных аргументов, так настойчиво защищал, разумеется, защищая себя самого.

Возможно, кое-кто из архиепископов и епископов, игуменов и архимандритов все-таки возражает, причем из самых сильных, самых богатых и потому особенно влиятельных и опасных для власти царя и великого князя. Иоанн, только что так изворотливо напавший на земельные владения церкви, тотчас переходит в нападение и на некоторых её представителей. И что же митрополит? А митрополит, такой же самодержавный монарх в делах церкви, каким самодержавным монархом Иоанн ещё только намеревается стать в делах государства, но только что обеспечивший неприкосновенность земель и доходов митрополичьего дома, Без единого возражения выдает их молодому царю головой. Феодосия, автора послания, в котором святотатством именовалось любое отторжение монастырских земель, задерживают в Москве и низводят с архиепископской кафедры, а на его место в Великий Новгород отправляют близкого к нестяжателям Серапиона. В те же дни из Пафнутьевой пустыни спешно доставляют старца Артемия и поселяют в келье Чудова монастыря. Для душевной беседы с Артемием Иоанн и на этот раз посылает Сильвестра, и протопоп удостоверяет его, что проповеди Артемия ни в чем не расходятся со всеми почитаемыми канонами христианства, после чего Артемия поставляют игуменом в Троицкий Сергиев монастырь, где он сменяет ярого любостяжателя Серапиона, затем, челобитьем Артемия, поставляют игуменом Спасо-Ефимьева монастыря, богатейшего в Суздале, его ученика и сподвижника Феодорита.

Поставив в нескольких ведущих епархиях и монастырях нестяжателей, заранее заручившись их безусловной поддержкой, Иоанн в том же мае 1551 года предпринимает общий пересмотр всех жалованных грамот, когда-либо данных как церковным, так и светским владельцам земли. Подготовленная загодя, после нескольких попыток и проб, новая проверка проводится организованно и широко, как событие первостепенной государственной важности, с забла-

говременным уведомлением владельцев жалованных грамот, чтобы они были готовы к проверке, причем на этот раз, по всей видимости, проверка производится без Алексея Адашева, поскольку свои подписи под просмотренными и исправленными тарханами ставят дьяки Юрий Сидоров и Кожух Кротский.

Безоговорочно подтверждаются все жалованные грамоты на малозначительные, второстепенные привилегии, выданные главным образом дедом и отцом Иоанна. Ограничительно подтверждаются грамоты, освобождающие от уплаты посошной дани, ямских денег, тамги и мыта, выданные главным образом в правление великой княгини Елены Васильевны, то есть в несчастные годы боярского своеволия. Все грамоты, не получившие подписи Сидорова и Кротского с мая по сентябрь 1551 года, утрачивают свою охранную силу.

Реформа податного обложения проводится продуманно и в защиту государственных интересов, всюду упраздняя те привилегии, которые стесняют и обедняют казну. Привилегии монастырей, расположенных в городах, отменяются полностью, так что в городах все дани и пошлины становятся царевы. Естественно, стараниями нестяжателя старца Артемия полностью утрачивает свои привилегии Троицкий Сергиев монастырь, и без того богатый сверх всякой меры. Отныне все монастыри уплачивают в казну ямские деньги, тамгу, посошные люди, мыт, а в ряде случаев также полонянные и пищальные деньги, причем для монастырей устанавливается жесткая норма выплат с шестисот четвертей пашни, тогда как служилые люди платят полонянные и пищальные деньги лишь с восьмисот, круче бремя дани и пошлин падает только на плечи черносошных землепашцев, звероловов и рыбаков, которые те же деньги платят с пятисот четвертей.

Это ещё не беда. Ему ещё придется не раз отступить, наделять привилегиями и снова их отбирать. Но всё же в этот переломный момент он получает назад разграбленные в период боярского самовластия владения, получает назад такие деньги с дани и пошлин, которые можно пустить на содержание стрелецкой пехоты и пушки.

События торопят его. В том же знаменательном мае возвращается его посланник Яков Остафьев, и возвращается не один. Будучи в Кракове, покорный воле молодого царя и великого князя, Остафьев отказывается принять королевскую грамоту на имя всего лишь московского великого князя. Так вот, вместе с ним этот оскорбляющий царское достоинство документ везет Гедроит, полномочный представитель польского короля и литовского великого князя.

Иоанн тотчас призывает подручных князей и бояр и вопрошает, как вопрошал два года назад, пригоже ли ту поносную грамоту взять, раз уж Яков не взял её из рук самого Сигизмунда, и вновь, как два года назад, подручные князья и бояре не поддерживают своего государя в его столкновении с иноземным монархом, упрямо твердя, что необходимо додержать до урочных лет перемирие с ляхами и литвой, приговаривают поносную грамоту взять, хотя, после того как Остафьев от неё отказался, такой приговор ещё более роняет имя, а с именем и влияние московского царя и великого князя, как в самом царстве, так и во мнении и без того прегордых соседей его. Иоанну удастся настоять лишь на том, чтобы в ответной грамоте прописать польского короля Сигизмунда Августа единственно великим князем литовским, по его же примеру сославшись на старину: мол, ты сам не извечно на королевстве, прародители твои были на великом княжении и писались великими князьями с незапамятных лет.

Это оскорбительное послание Иоанну вручает с подчеркнутой сухостью: не принимает подносимых подарков, на пир к столу не зовет, руки целовать не дает, что на языке посольского этикета означает его крайнее неудовольствие. Несколько испугавшись, что его неприкосновенность будет нарушена, Гедроит берет грамоту с таким недостойным поименованием уполномочившего его государя, он, едва оставив Москву, на втором яме, бросает её со словами, что за такую грамоту ждет его лютая казнь от его короля.

Иоанн понимает то, что подручные князья и бояре понять не хотят: рано или поздно предстоит война за исконные русские земли, захваченные Литвой, что польский король, он же



литовский великий князь, не признает его права именоваться московским царем не из одних королевских капризов, а главным образом потому, что признание его царского имени на основании родства с обоими Мономахами неминуемо ведет к признанию его права на древние русские города, удерживаемые польским королем и литовским великим князем, как непризнание Сигизмунда Августа польским королем с его стороны означает прямое и непреклонное отрицание его права на те же древние русские города. Когда разразится война? Кроме Бога, это никому неизвестно. Война может разразиться в любой день и час. Чтобы отодвинуть её хотя бы на ближайшее время, нужны не двусмысленные уступки подручных князей и бояр, нужно как можно скорее покончить с беспокойной Казанью и победой над давним и всё ещё сильным врагом указать на свою возросшую силу, обезопасить себя от коварного внезапного вторжения с открытых восточных украин, выгадать время для подготовки победоносного похода на запад, ибо чаще одерживает победу тот, кто хорошо приготовился и выступил первым.

И он не теряет времени даром. Он готовит свой третий по счету казанский поход. Пушечных дел мастера отливают новые осадные пушки. Стрелецкой пехоте устраиваются учения, каких не знает ополчение служилых людей. Он разыскивает мастеров, знакомых с успешным проведением осадных работ, русских мастеров, правду сказать, не находит, поскольку русское конное воинство привыкло брать крепости либо измором, либо наскоком, отыскивает приبلудного немецкого мастера, дает ему в помощь русских учеников, разрабатывает с ними план стремительной и беспримерной осады Казани.

В те же дни являются посланцы ногайского хана Юсуфа, отца казанской правительницы, деда малолетнего Утемиш-Гирея. Юсуф предлагает дочь свою, вдову Сафы-Гирея, отдать в жены Шиг-Алею, давно перебежавшему на московскую службу, с тем, чтобы столь неожиданным браком скрепить дружбу между Москвой и Казанью и учредить мир на вечные времена. Иоанн отвечает уклончиво, что ответ даст тогда, когда в Москву придут вельможи казанские, верно, проволочкой надеясь удержать оголодавших татар от разбоя, а тем временем отдает приказы полкам.

С прежними оголтелыми наскоками на казанскую крепость покончено его властью и разумением. Он действует осторожно, обдуманно, с расчетом так направляя полки, чтобы скрыть движение каравана Белозерских ладей, которым сплавляется целый город вниз по Волге к Свияге. Для охраны каравана, погрузки и выгрузки выдвигается целое войско с многими знатными воеводами во главе, показавшими под Казанью всю меру своей безграничной и постыдной бездарности. Передовой полк ведет князь Петр Булгаков и окольный Карпов, большой полк у князя Юрия Булгакова-Голицына-Патрикеева и Данилы Захарьина-Юрьева, брата царицы Анастасии, полк правой руки доверяется конюшему Федорову и князю Дмитрию Палецкому, с полком левой руки идут боярин Морозов и князь Нагаев, сторожевым полком командует боярин Хабаров и окольный Карпов.

В его глазах всё это люди малонадежные, неумелые полководцы, его постоянные супротивники в Думе. Ни на одного из них не решается он вполне положиться и, точно в насмешку над ними, общее командование походом отдает татарину Шиг-Алею, а с ним отпускает пять сотен конных татар из Касимова, скорей всего для охраны, на случай, если воеводы затеют новую склоку или прямо вздумают бунтовать.

Пока служилые люди нагружают ладьи сработанными в течение долгой зимы срубами башен, стен, церквей и жилых изб и движется вниз по реке, отряды служилых казаков Бехтеяра Зюзина стремительно и без лишнего шума занимают все перевозы на Каме, Волге и Вятке, с повелением задерживать всех идущих из Казани или в Казань и тем оберегать тайну плывущего каравана. Одновременно от Мещеры степями на Волгу пробираются служилые казаки атамана Северги и Елки, которым надлежит нище татарской столицы построить ладьи и двинуться вверх на Казань, всего две тысячи пятьсот человек.

Самые надежные полки с Семеном Микулинским, Федором Адашевым, отцом Алексея, Петром Серебряным-Оболенским и Федором Ромодановским идут из Москвы привычной дорогой к Нижнему Новгороду. От Нижнего Новгорода князь Петр Серебряный-Оболенский, взяв один полк, стремительным маршем является под Казанью, побивает в посадке многих сонных татар, немногих живых берет в плен, отполонивает, сколько может, русский полон и, не мешкая, не давая татарам опомниться, возвращается к Нижнему Новгороду.

План удастся на славу. Казань не подозревает о намерении московского царя и великого князя. Караван Шиг-Алея и Выродкова достигает устья Свияги двадцать четвертого мая, в день всех святых, в самое подходящее время, должно быть, заблаговременно рассчитанное в Москве: разлив Волги, Свияги, Шуки и озера Щучьего затапливает плоскую равнину в глубину на несколько метров, так что гора Крутая на неделю-другую превращается в остров и ладьи пристают к ней беспрепятственно, плывя легко, точно по морю.

Вся поверхность горы, приблизительно сто пятьдесят десятин, покрыта девственным лесом. Войско, предводимое Шиг-Алеем, около десяти тысяч воинов, тотчас берется за дело. Служилые люди валят лес топорами, в несколько дней очищают пространство будущей крепости, поют молебен, святят воду, обходят с иконами по всей окружности будущих бастионов, ставят стены, возводят башни воротные и башни глухие, закладывают церковь Рождества Пресвятой Богородицы, готовят избы для воинов гарнизона, амбары для хлеба и пороха, и четыре недели спустя на прежде безлюдной горе возвышается русская крепость, стены которой на восемь метров поднимаются над вымытыми природой обрывами, неприступная, грозная, наводящая ужас не одной прочностью, но самой дерзостью замышления.

В суеверных умах язычников нагорного правого берега Волги, черемис, чувашей, мордвы, эта гением московского царя и великого князя вознесшаяся твердыня, поднявшая ввысь верхи башен, купол православного храма и русский крест, превращается в вещественный символ могущества внезапно явившихся московских пришельцев. Подвластные татарам, обложенные непосильным ясаком, они не имеют важных причин подниматься на защиту Казани. Но и с русским народом они враждуют давно, частенько пограблывают восточную сторону Московского царства, затворяют пути ан Урал, время от времени переходят на московскую службу и скоро ей изменяют, тем не менее всякий раз, когда обстоятельства и переменчивость нрава принуждают их обратиться к русским за помощью, эти наивные племена находят у них радушный прием и забвение прежним предательствам.

Вид грозной крепости вновь приводит нагорные племена на московскую сторону. Племена бьют Шиг-Алею челом, чтобы взял их под высокую руку великого московского государя, простил прежние их прегрешенья, их селенья и земли воевать не велел, определил ясак полегче татарского и указал, как им жить. Шиг-Алей своей волей ничего не решает, тем более ничего не решают подчиненные ему воеводы, и депутацию нагорных племен спешным порядком переправляют в Москву.

Внимательно выслушав коленопреклоненные моления в какой уже раз повинившихся подданных, Иоанн своим острым чутьем, так рано обозначившимся под давлением слишком крутых обстоятельств, улавливает те внезапные преимущества, которые он получает без боя, без пролития крови, одним возведением сильной крепости в угрожающей близости от свирепой Казани, в нужном месте и в нужное время. Во-первых, к нему сама собой переходит чуть ли не половина Казанского ханства, что само по себе серьезно ослабляет татар. Во-вторых, с этой половины татары теряют хоть и нестойких в сражении, однако злых, отчаянных воинов, в особенности искусных лучников из черемис. В-третьих, татары теряют обильный ясак, то есть деньги, без которых, как он успел убедиться на опыте, не ведется никакая война. Разумеется, стольких горьких потерь не выдержит беспредельно корыстолюбивое татарское племя, в особенности ханы и мурзы, и без того плохо ладающие между собой, между ними заварится новый

раздор, что, без сомнения, окончательно погубит татар, поскольку губительную отраву раздоров он на своих подручных князьях и боярах хорошо испытал.

И он, только что грубо и жестко обошедшийся с представителями спесивого, постоянно его унижающего польского короля и литовского великого князя, подчеркнуто милостиво принимает поволжских повстанцев, руку дает, принимает дары. Он требует от них клятву верности, они охотно клятву дают, и он жалует нагорные племена царской грамотой, привешивает к ней золотую печать, позволяет приписаться к Свияжску, на три года вовсе прощает ясак, щедро одаривает из своих кладовых, приглашает к столу и тем упрочивает их естественное желание мирно жить в пределах обширного и богатого Московского царства.

Своим воеводам, хлопотавшим в Свияжске, он жалует европейские золотые монеты, которые в его царстве служат чем-то вроде медалей, поскольку не имеют хождения в качестве денег, а с медалями отправляет приказ привести все нагорные племена к присяге на верность, переписать ясачное население и отобрать среди черемис несколько тысяч лучников на царскую службу. Племена безропотно принимают присягу, меняя суровое татарское подданство на милостивое московское. Вожди и старейшины черемис, чуваш и мордвы сотнями спешат явиться в Москву, чтобы лично засвидетельствовать свою нерушимую преданность московскому государю. Иоанн щедро одаривает новых подданных доспехами, тканями, шубами и конями, без счета сыплет золото и серебро, лаской и щедростью покупая союзников прямо под носом Казани.

Ещё одна мудрая мысль осеняет его. Ему представляется, что наступил тот счастливый момент, когда так же лаской и миром, бескровно, одним постоянным давлением можно покорить и Казань, что заставит присмиреть и задуматься не только собственных подручных князей и бояр, но и заносчивого польского короля и литовского великого князя. Для такого давления мало одного отложения нагорных племен от Казани. Потери потерями, однако потери пока что ощущаются слабо, татары почувствуют потерю ясака и воинов какое-то время спустя, когда войско ослабнет, когда истощится казна. Куда более наглядное и сильное впечатление произведет удар по Казани, нанесенный её неожиданно-негаданно её вчерашними налогоплательщиками.

Шиг-Алей получает царский указ. Набирает воинов среди нагорных племен и переправляет на московских ладьях под Казань. Татары высыпают навстречу. Завязывается упорная сеча, и пока в ход идут сабли и стрелы, чуваш и черемисы мало чем уступают бойким татарам. Тогда татары выволакивают из крепости пушки и открывают пальбу. Сами по себе мелкие ядра людям наносят мало вреда, однако гром канонады приводит в ужас не привычных к огненному бою язычников, и эти воины, бесстрашные минуту назад, разбегаются в панике, оставив на поле сражения с полсотни пленных и около сотни убитых.

На большее едва ли можно было рассчитывать, затеяв эту скороспелую, скоротечную, на живую нитку подготовленное испытание татарской веры в себя. И расчет Иоанна оправдывает себя. В самом деле, подобных стычек были прежде сотни и тысячи, они неизменно завершались в пользу победоносных татар, однако на этот раз незначительный эпизод имеет серьезные, к тому же предвиденные последствия. Смятение охватывает Казань. Крымские татары под предводительством хана Кащака, любовника вдовой правительницы, бряцают оружием и клянутся в ближайшие дни перерезать русских собак, но немного задерживаются, поскольку прежде резни недалековидный, вздорный Кащак соблазняется учинить переворот, один из тысяч, подточивших самое основание прежде могучего Казанского ханства, смысл которого в том, чтобы жениться на вдовой правительнице, зарезать её сына Утемиша-Гирея и попользоваться бесконтрольной властью в Казани. Правда, и тут у него на пути возникают преграды. Набег черемис пробуждает воинственность окрестных чуваш. Вооруженные, дерзкие, они являются перед ханским дворцом, грозятся зарезать Кащака и его крымских бандитов и требуют бить челом Иоанну, чтобы взял Казань под свою государеву руку, справедливо предполагая, что русская власть снисходительней и разумней татарской.

У вознегодовавшего хана Кашака достаёт храбрости разделаться с назойливыми чувашами по-татарски, то есть устроить резню. Менее закаленные в подобных свалках чувашаи, естественно, разбегаются по своим благословенным непроходимым лесам, и все-таки дух мятежа распространяется подобно степному пожару. Ропщут рядовые татары, которым давно осточертели бесконечные раздоры и перемены власти в уже пропитанном кровью ханском дворце. Рядовые татары, подобно всем рядовым, тоскуют по порядку и миру и требуют от казанских ханов и мурз вступить в переговоры с Москвой, угрожая неугодным пришельцам из далекого Крыма, кичливым и наглым, скорой расправой. Наиболее ретивые из казанских ханов и мурз, посчитав, что под их бунчуками не более двадцати тысяч воинов, шлют за помощью в союзную Астрахань, к ногам и в Крым, не допуская сомнения в том, что братья по крови и вере непременно помогут против христианской Москвы, тогда как братья по крови и вере только и думают, как бы с них шкуру содрать. Наиболее трезвые из казанских ханов и мурз, тоже кое-что подсчитав, поглядевшись вокруг, обнаружив, что на этот раз русскими перекрыты все подступы, все степные пути, по которым могли бы подойти астраханцы, ногаи и крымцы, склонны вступить в переговоры с Москвой, однако из осторожности медлят, справедливо опасаясь и царского гнева, с одной стороны, и крымских головорезов Кашака, с другой. Самые трусливые, самые подлые из казанских ханов и мурз тайком перебегают на московскую сторону, бросая своих братьев по крови и вере в беде, пополняя в Касимове отряды служилых татар.

Не успевает хан Кашак оглянуться, а уж против него вся Казань. Вчерашний головорез внезапно испытывает панический ужас, почуя коварный нож у себя за спиной. Ему удается собрать три сотни верных сторонников. Совместными усилиями они грабят ханский дворец и, бросив жен и детей, вдовую правительницу и Утемиша-Гирея, прорываются из Казани на север, вероятно, рассчитывая перевалить за Урал и уйти к братьям по крови и вере в пока что вольное Сибирское ханство. Им и тут не везет. Русские захлопывают капкан, заблаговременно поставленный на хищного зверя. Воевода Зюзин, извещенный постами, достойно встречает беглых татар. Большая часть отряда Кашака была им перебита. Сам Кашак и сорок пять воинов его личной охраны отдаются в полон. Головорезов в полном составе, не уронив ни единого волоса с головы, отправляют в Москву, на правый суд царя и великого князя.

В Москве эта жалкая кучка трясущихся пленников представляется верным предвестником близкой победы. Все они, вчерашние удалыцы, слишком известны жестокостью, грабежами и пролитой кровью, причем не столько кровью подданных московского царя и великого князя, сколько кровью казанских татар. Зрелище беспощадных врагов, захваченных в плен, новый дар пробуждает в восприимчивой душе Иоанна. Он прозревает неисчерпаемые возможности нового, невооруженного, психологического воздействия на самых неустрашимых, самых закоренелых противников русской земли. Перед ним раскрывается удивительная цепь обстоятельств. Вот на прежде безлюдной Круглой горе воздвигается крепость, ещё её пушки не сделали ни единого выстрела, а в Казани уже царит паника, защитники татарской твердыни разбегаются, как тараканы, ощутив московскую силу. Следовательно. Необходимо давить и давить, не столько применять, сколько обнаруживать свою непреклонную силу, чтобы получить Казань без сражений и приступов, и он решается показать приговоренной Казани свою твердость и свою справедливость: все пленники во главе с ханом Кашаком, бежавшие от гнева ограбленных, притесненных ими казанских татар, черемис и чуваш, кончают жизнь под топором палача, по его мнению, кровавый, но необходимый урок последним защитникам крепости, приглашение казанским ханам и мурзам прекратить доброй волей сопротивление и отдаться на милость московского царя и великого князя, равно вершащего праведный суд над супостатом своим и чужим, равно прощающего того, кто несет ему повинную голову.

Желаемый результат достигается с поразительной быстротой. Вдовствующая правительница, разъяренная, сжигаемая жаждой мести за позорную гибель любовника, сбежавшего от неё, грозит страшными карами неверным ханам и мурзам, повелевает укрепить стены города,

пробует набрать воинов в соседних кочевьях, всегда готовых на резню и грабеж, причем обещает платить золотом и серебром столько, сколько запросят за кровавый воинский труд.

Окруженные со всех сторон, ввиду новой русской твердыни, вразумленные свирепыми казнями Иоанна, ханы и мурзы не боятся истерических кар явно утратившей разум правительницы. Посольство за посольством скачет из Казани в Свияжск. Ещё недавно бесстрашные предводители разбойничьих шаек, то и дело вероломно нападавших на беззащитную, миролюбивую, истекающую кровью Русскую землю, ханы и мурзы валяются в ногах Шиг-Алея, мало-значительного брата по крови и вере, перебежавшего на московскую службу и теперь представляющего в их глазах безмерную власть царя и великого князя, умоляют воротиться в родные края верховным правителем, лишь бы царь и великий князь Казань не пленял, и то предлагают в жену ему постылую вдову убиенного Сафы-Гирея, то клятвенно обещают отослать её и её сына Утемиша-Гирея пленниками в Москву в придачу к женам и детям, брошенным беглым Кашаком. Бессильная действительно покарать бесстыдных предателей, вдовствующая правительница покушается на жизнь Шиг-Алея. Шиг-Алею, столько же осторожному, сколько ничтожному, удастся разгадать её умысел и благополучно остаться в живых. Очередная свора перепуганных ханов и мурз сломя голову скачет в Москву и на этот раз падает в ноги самому Иоанну, выпрашивая, как высшей милости, Шиг-Алея в цари.

Иоанн не может не согласиться, однако радость бескровной, вдвойне приятной и почетной победы не кружит его головы. Его условия непримиримы и жестки: Казань выдает головой вдовствующую правительницу и её сына Утемиша-Гирея, тем пресекая раздоры и тайные сговоры против нового хана, поставленного Москвой, выдает вдов и детей Кашака и его лихачей, освобождает всех русских пленных, обращенных в рабов, и лишается всех нагорных владений, уже принятых под высокую царскую руку, а не будет исполнено хотя бы одно из условий, в сентябре полки царя и великого князя двинутся на Казань огнем и мечом.

Послы соглашаются, соглашаются безоговорочно и скачут с вестью о мире в Казань. Следом за ними Иоанн отправляет в Свияжск своего подручника Алексея Адашева с первым серьезным самостоятельным поручением: Алексею Адашеву надлежит проследить за неукоснительным исполнением всех поставленных Иоанном условий, в особенности за безболезненным отторжением нагорных земель и выводом пленных, однако никаких особенных полномочий ему не дается, он всего лишь представляет персону царя и великого князя, тогда как реальная власть остается за князем Семеном Микулинским, в Казани при Шиг-Алее поручается быть Юрию Булгакову-Голицыну, Патрикееву, Ивану Хабарову и дьяку Выродкову, а принять вдовую правительницу и её сына от казанских ханов и мурз выпадает на долю Петра Серебряного-Оболенского.

Шестого августа Алексей Адашев прибывает в Свияжск и не дает татарам опомниться. Уже на другой день он осматривает так удачно возведенную крепость и официально знакомит Шиг-Алея с условиями, на которых касимовскому татарину передается казанский престол. Шиг-Алей, в прошлом уже терявший этот престол кознями казанских ханов и мурз, приходит в смятение. Без нагорных земель ему долго не царствовать, своих важных потерь ханы и мурзы ему не простят. Он вопрошает, слегка патетически:

– Что ж будет царство мое? Могу ли любви ждать от подданных, уступив Руси знатную часть казанских земель?

Естественно, с его соображениями никто не считается, какими бы резонными они ни казались. В Казань шлют гонцов и требуют выдачи вдовствующей правительницы и её сына, претендента на трон. Ознакомившись с волей московского царя и великого князя, вдовствующая правительница сначала падает в обморок, возможно, притворный, затем рыдает, проклинает свою злую судьбу, в которой отчасти виновата сама, целует крышку гроба своего незабвенного мужа, памяти которого так легко изменила, и вслух завидует его вечному и ледяному покою.

Ханы и мурзы будто бы тоже рыдают, потише и без причитаний над гробом, однако им жаль вчерашнюю власть, поскольку у каждого из них руки настолько в братской крови, что было бы смешно рыдать по таким пустякам. Если они и жалеют о чем, так это ясаки с нагорных племен, без которых привольная жизнь ханов и мурз становится скудной, а без набегов на Русь, с которыми придется поневоле проститься, и многократно скудна. Возможно, в душах ханов и мурз ещё теплится надежда как-нибудь извернуться, исхитриться, запутать и затянуть замирение с Москвой, а там, глядишь, как-нибудь пронесет, кто-нибудь двинет на помощь орду, авось из Крыма, авось из ногайский степей.

В Свияжск прибывают послы, вертятся. Униженно кланяются, держа за пазухой нож, кланчат нагорные земли, не особенно хлопоча о безразличной для них судьбе бывшей правительницы и её теперь уже бывшего сына. Адашев пока что остается непреклонен и тверд: либо мир, либо война. Девятого августа послы отбывают к своим печальным казанским пенатам. Десятое августа уходит на сборы. День спустя Петр Серебряный-Оболенский принимает бывшую ханшу и её годовалого сына и речными путями доставляет в Москву.

Как ни опасается он за малоуважительное положение московского ставленника, чуть не половину ханства уступившего вековому врагу, жажда власти гонит Шиг-Алея вперед. Его нукеры скачут в Казань спешно готовить к торжественному вселению ханский дворец. Два дня спустя новый хан является под стены Казани. Его сопровождают московские воеводы, поставленные на то Иоанном, три сотни касимовских служилых татар и две сотни московских стрельцов, вооруженных огненным боем, то есть пищальями. Разбивают шатры. Проводят в ожидании тревожную ночь.

Лишь четырнадцатого августа в полдень выезжает из крепости глава всех мусульман, окруженный муллами и нукерами. Вновь начинается торг, главным образом на прилавке нагорные земли. Вновь татары получают жесткий, непреклонный отказ, уже от самого Шиг-Алея, за спиной которого стоят Булгаков, Хабаров, Выродков и ещё не виданные стрельцы, пехотинцы с ручными пищальями, каких не имеют татары.

Глава мусульман удаляется, на прощанье ничего не сказав, нагорные земли до крайности нужны и ему. За его спиной затворяют ворота. Шиг-Алей снова ждет, хорошо понимая, что ворота внезапно могут раскрыться и что его могут за милую душу изрубить на куски. Ждет целый день. Наконец его впускают в Казань. Он занимает долгожданный ханский дворец. По его личному указанию все посты во дворце занимают стрельцы.

Не позволяя ему обидеться, обдуматься, московские воеводы требуют выдачи пленных. Шиг-Алей отправляет на поиски пленных своих служилых татар из Касимова. Касимовцы рыщут по городу и приводят на ханский двор от двух до трех тысяч изголодавших оборванных пленных, малую часть всех казанских рабов, в разное время захваченных в русской земле. Несчастных без промедления отправляют в Свияжск, где они обретаю свободу, а с ней вместе получают одежду и пищу. Затем разыскивают пленников по улусам и стойбищам. Общим числом, по утверждению летописца, освобождают до шестидесяти тысяч русских рабов, трудом которых кормились и жирели кочевые татары.

Кажется, татарским разбоям приходит конец.

## Глава двадцать шестая

### Противодействие

Иоанн имеет все основания для торжества. Чуть не силой принуждает он подручных князей и бояр, во времена его малолетства допустивших разорить все восточные волости Московского великого княжества, воевать с татарами не по-прежнему, в глухой, малодейственной обороне, а по его разумению, решительным наступлением на Казань, терпит их упрямое, порой затаенное, порой открытое сопротивление, с прискорбием наблюдает нестройные наскоки скверно обученных, не знающих дисциплины полков, и вот подтверждается его правота, одной решимостью нападения, одной силой обдуманного давления усмиряется разбойное ханство и приводится в покорность Москве, а стрельцы, его детище, составляют ханский конвой.

В начале сентября 1551 года князь Юрий Булгаков-Голицын-Патрикеев доставляет в Москву счастливую весть о возведении на казанский престол Шиг-Алея, покорного исполнителя воли царя и великого князя, повествует о бесконечно радостном освобождении исстрадавшихся пленников, хвастается, что повсюду наши отряды побивают мелкие шайки татар, не желающих принимать новую, московскую власть, и в присутствии думных бояр торжественно передает договорные грамоты, в которых Казань клятвенно обязуется жить в вечном мире с Москвой и на которых стоят печати казанских ханов и мурз, лучшее доказательство, что он был кругом прав, а подручные князья и бояре кругом были не правы.

Он успокаивается. Он отзывает из-под Казани воеводу Данилу Захарьина. Юрьева, ведавшего там большой полк, и князя Хилкова, в Казани оставляет только Ивана Хабарова с двумя сотнями московских стрельцов, а в Свияжске пол Семена Микулинского, на безмолвную угрозу Казани, чтобы татарам не вздумалось рушить установленный мир. Он милостиво одаривает Шиг-Алея, его ханов и мурз дорогими одеждами, посудой золотой и серебряной и, конечно, деньгами, рассчитывая купить, пусть и дорого, благорасположенность и смирение вчерашних разбойников и предупредить их измену, такую естественную для разбойничьих нравов степных пастухов.

Теперь с полнейшей уверенностью в своей правоте отдается он главнейшим заботам: войско, казна, оборона южных украин, издавна беззащитных перед набегами крымских татар. Отчуждение незаконно присвоенных монастырских черных земель позволяет несколько укрепить конное ополчение служилых людей раздачей новых поместий или прирезкой прежних до установленных обычаев норм, чтобы выставлять по южным украинам более надежный заслон, однако южные украинки слишком обширны, и ему все-таки не хватает поместий, а с нехваткой поместий не хватает служилых людей.

Пересмотр жалованных грамот старательными дьяками Сидоровым и Кротким заканчивается к зиме, и казна пополняется даяниями и пошлинами, которые до того времени обильно кормили монастыри да подручных князей и бояр, так что к первой тысяче он может прибавить ещё несколько тысяч пеших стрельцов. Он продолжает теснить ошеломленных его столь важной и громкой удачей подручных князей и бояр, понемногу отбирая от них бесконтрольную власть над беззащитными городами и волостями, где наместники беззастенчиво грабят посадских и посошных людей, с безумной неадаптивностью сея по городам и селениям зловредные семена пока что мелкого бунта, когда то там, то здесь избивают их доводчиков и тиунов, а чаще, ограбленные, униженные, посадские и посошные люди разбегаются в разные стороны, кто на вольную волю бог весть куда, кто на Каму, кто на заокские, открытые для татар, зато привольные земли.

Алексей Адашев продолжает принимать челобитья, как ему было велено пять лет назад, по самым выразительным, разоблачающим кромешный разбой управителей Иоанн принимает решения, которые коробят подручных князей и бояр. Среди них, может быть, самый черный,

едва сдержанный гнев вызывает челобитье Важской округи, подписанное Ивашкой Юрьевым да Васюком Максимовым да по три человека от каждого стана, всего же поставили подписи двадцать один человек.

Челобитчики рассказывают, что у них в Шенкурье и в Вельске многие дворы на посадах и в волостях, а в станах и многие деревни запустели не от войн, не знаемых в этих дальних, бездорожных краях, не от даней и пошлин царя и великого князя, которые они вносят исправно, а от наместников, от их тиунов, от доводчиков, от обыскных грамот, от разбойников, от лихих людей и от татей, которых наместники должны ловить, да не ловят, так что от насилия, от татбы и продаж многие из посадов разошлись по иным городам, а из станов и волостей по монастырям бессрочно и без отказа, то есть в полную кабалу, которая все-таки легче власти наместника, а иные разбрелись порознь неизвестно куда, наместники же, волостели и тиуны свой корм с посадов, станов и волостей изымают сполна, приводя к полному разорению богатейший из северных округов.

Уставной грамотой Важскому округу Иоанн прекращает кормления и передает суд, а с ним сбор даней и пошлин тамошним выборным людям:

«И яз царь и великий князь Иоанн Васильевич всея Руси и важен, и шенкурцов и Вельского стану посадских людей и становых шенкурцов... пожаловал: на Ваге, в Шенкурье на посаде и в Вельску на посаде важскому наместнику, в Шенкурье и в Вельском стану важского наместника тиуну и его пошлинным людям, и в станех и в волостех, вперед быти не велел, а велел есми у них быти, по их челобитью... излюбленным головам, которых людей... себе излюбил... и оброк есми на них по их челобитью... положил деньгами... полторы тысячи рублей в год, а давати тот оброк в мою цареву и великого князя казну казначеем Ивану Петровичу Головину да Федору Ивановичу Сукину, да дьяку нашему Истому, Ноугородову одинова в год...»

И, убедившись неложно, что мирные жители Важского округа доброй волей готовы вносить этот немалый оброк, лишь бы избавиться от татарского нрава кровопийственных московских наместников, Иоанн уже подбирается к полной отмене кормлений по всему Московскому царству, единственная мера, которая не только может остановить повсеместное разорение станов и волостей, но и серьезно пополнить казну, не увеличив даней и пошлин, но лишь наладив их правильный сбор.

Внезапные донесения из Казани его обрывают в самом начале. Обнаружилось: казанские ханы и мурзы главным образом оттого миром передались на милость московского царя и великого князя, пригрозившего им внезапно воздвигнутой твердыней Свияжска, что им стали невмочь грабежи и бесчинства крымских братьев по крови и вере хана Кашака. На это важное обстоятельство Шиг-Алей, никудышный политик, человек бездарной судьбы, не обращает никакого внимания. У этого многократного ставленника Москвы свои кровные счета с неблагоприятной Казанью, дважды его изгонявшей, и потому, в третий раз взойдя на шаткий казанский престол, Шиг-Алей упивается разнузданной местью, разнообразно утесняя бывших гонителей, смещая неугодных с постов, всюду поставляя на опустелое место касимовского татарина.

Своей более чем дурацкой, прямо преступной политикой Шиг-Алей с громадным успехом плодит недовольных, к которым охотно примыкают ущемленные в своих прежних грабительских интересах ханы и мурзы, даже рядовые татары, утратившие лакомые доходы с нагорных земель и даровой труд русских пленников, возвращенных на Русь. Оставшихся в неволе рабов они куют в кандалы и прячут с глаз долой подальше по ямам и прочим тайным местам, а самые озлобленные входят в сношения с ногайской ордой, выпрашивая себе военную помощь и нового, своего, природного хана.

Вместо гибкой политики мелких уступок и бескровных угроз, отлично отрезвляющей охмелевшие головы тех, кто привык жить чужими трудами, Шиг-Алей действует извечным татарским коварством и неоправданной дерзостью нерасчетливого глупца. Он не разыскивает по ямам и закутам припрятанных русских рабов, что рано или поздно должно привести к вме-



шательству московских полков. Это и в голову ему не приходит, поскольку и сам он такой же грабитель. Верно, забыв, кто возвел его на казанский престол, он нагло требует возвращения нагорных земель, не умея подумать о том, что своим ни в какие ворота не лезущим требованием рано или поздно не может не вызвать законный гнев Иоанна, для которого нет ничего святого, чем подписанный договор. Ему этого мало. Он не зовет на совет казанских ханов и мурз, прибирает к рукам имущество впавших в немилость противников, с изумительной жадностью пополняет гарем и устрашает подданных капризными казнями, «и мало ещё, – передает летописец, – царь на коего казанца оком ярим поглянув и перстом указа, они же вскоре того часа мечи на кусы рассекоша», таким испытанным методом татарских междоусобий лишая себя московской поддержки, с одной стороны, а с другой, собственными руками возжигая в Казани мятеж, тогда как воевода Хабаров, поставленный на то, чтобы укрощать, урезонивать взбесившегося от угара внезапной полученной власти татарина, во всех безобразиях потакает ему и ещё в его темные предприятия впутывает московских стрельцов, за что боярин заслуживает по меньшей мере скорейшего смещения с должности как воевода злокозненный и бездарный.

Едва получив донесения о бесчинствах, творимых Шиг-Алеем в Казани, его будто бы покорным слугой, Иоанн отзывает Хабаров с Выродковым, а на их место отправляет князя Дмитрия Палецкого и старейшего дьяка Ивана Клобукова, служившего ещё великому князю Василию Ивановичу, отцу Иоанна, а с ними дорогие дары и строжайший наказ о нагорных землях забыть навсегда и русских пленников всех до единого возвратить, только тогда, напоминая он в грамоте, «кровь на обе стороны перестанет навеки».

К сожалению, князь Дмитрий Палецкий ведет себя не умнее Хабарова. Вскоре проведая, что во все стороны скачут гонцы, к ногаям и в Крым, призывая вторжение на Русскую землю, и что в самой Казани зреет заговор против мстительного, спесивого, явным образом постороннего хана, ей на горе поставленного, по её же просьбе, Москвой, он не только не одергивает, не приводит к здравому рассудку перепуганного, озлобленного Шиг-Алея, но ещё, по примеру Хабарова, в тех же безобразиях потакает ему, поскольку сам во всю свою жизнь умел только грабить, мстить и казнить.

Поддержанный московским боярином, Шиг-Алей решает последовать злосчастным золотоордынским заветам. Он призывает на пир всех своих недругов, прежних и новых, одних уже уличенных в измене, других ещё только подпавших под подозрение в составлении заговора против него, угощает жирными яствами, накачивает, вопреки закону Аллаха, вином и, когда у гостей заплетаются языки и головы кругом идут, подает условленный знак. Покорные его воле, в покои врываются касимовские татары и хладнокровно вырезают ханских гостей, как овец, числом, передают, до семидесяти. Шиг-Алей по глупости торжествует, не подозревая о том, что после устроенного им кровавого пира участь его решена. Палецкий сдуру вторит ему.

Удостоверившись в том, что его наместники не способны оберечь столь необходимый, столь желанный мир в татарской столице, Иоанн отправляет им в помощь Алексея Адашева, наказав наконец образумить несчастного хана и добиться согласия на введение московских полков, которые одни в накалившихся обстоятельствах могут остановить вполне назревший, готовый разразиться мятеж.

Явившись в Казань полномочным представителем московского царя и великого князя, Алексей Адашев, в присутствии Палецкого, наставляет Шиг-Алея приблизительно так:

– Ты сам видишь измену Казанцев. Они изначала лгут государям московским. Еналея, твоего брата, убили. Тебя самого несколько раз изгоняли. Хотят убить и теперь. Нужно непременно призвать в Казань московских людей и тем её и тебя укрепить.

Приняв изначально за истину, что татарам ни под каким видом русскому человеку верить нельзя, Алексей Адашев идет напролом, запугивает до смерти и без того перепуганного Шиг-Алея, напомнив злодейскую смерть единокровного брата, и прямо требует призвать русских воинов, не попытавшись первоначально пресечь дурацкую склонность Шиг-Алея к резне, кото-

рая является главной причиной возможного мятежа. Хитрый ум Шиг-Алея тотчас улавливает эту оплошность случайно выдвинутого, но слабо одаренного и вовсе не подготовленного политика. Он изворачивается, хитрит, надеясь ещё крепче уцепиться за власть, обращается к одному Палецкому, минуя Адашева, сообразив, что старший здесь родовитый князь, а не безродный постельничий:

– Ваша правда, прожить мне в Казани нельзя. Я Казанцев раздосадовал сильно.

Непонятно, чего ожидают Адашев и Палецкий от человека, который только что здорово живешь приказал вырезать семь десятков своих соплеменников. Они толи молчат, толи бормочут что-то невнятное, во всяком случае Шиг-Алей, убедившись, что москвиты не осуждают его за резню, во всех своих бедах обвиняет Москву, даже осмеливается предъявлять своим благодетелям ультиматум:

– Я обещал казанцам выпросить у царя и великого князя нагорную сторону, и если пожалует меня царь и великий князь, если мне нагорную сторону даст, то мне в Казани жить можно, и, пока я жив, до тех пор Казань царю и великому князю будет крепка. Если же нагорной стороне не быть у меня, мне к царю и великому князю из Казани бежать.

Ни посредственный, неумелый Адашев, ни тем более высокомерный, беспечный, по мелочам интригующий Палецкий не способны сообразить, что этот малозначительный каверзник, мелкий злодей над ними куражится, что это трус, ничтожный наглец, что надо всего лишь властно прикрикнуть да гневно притопнуть ногой, и Шиг-Алей мелким бесом кинется исполнять ясно выраженную волю царя и великого князя, однако ни тот ни другой не в состоянии употребить свою, в сущности, безграничную власть, оба мнутя, прибегают к изъяснениям, здесь неуместным:

– Если тебе к царю и великому князю бежать, так призови в Казань московских людей.

Вполне естественно, что в такого рода пустых рассуждениях искусный в надувательстве Шиг-Алей несколько даже наглет и плетет бессмысленный вздор, уже окончательно не принимая в расчет Алексея Адашева, только что не хохоча князю Палецкому прямо в лицо:

– Я мусульманин и не введу в Казань христиан, но также я не хочу изменить царю и великому князю. Ехать мне тоже некуда, кроме царя и великого князя. Дай мне, князь Дмитрий, клятву, что царь и великий князь меня не убьет и придаст к Касимову, что пригоже придать, так я здесь лихих людей ещё изведу, пушки, пищали и порох испорчу, а царь и великий князь приходи сюда сам и сам промышляй.

Алексей Адашев и Дмитрий Палецкий имеют ясный, чрезвычайно важный приказ, который в сложившихся обстоятельствах выполнить довольно легко, были бы решимость и воля, однако оба растеряны, несамостоятельны и беспомощны, оба не в силах представить, что предпринять в ответ на дурацкие речи явным образом преступного жулика, и, вместо того, чтобы два-три денька подержать мошенника в его временно ханских покоях, которые охраняют свои же стрельцы, христиане, будто бы недостойные находиться среди мусульман, кликнуть Семена Микулинского с полком и спокойно, с сознанием своей силы занять татарскую столицу без боя, без крови и жертв, пока заговорщики, возбужденные подлым насилием со стороны Шиг-Алея, не готовы к сопротивлению, а сторонники Москвы ещё очень сильны, что вот, мол, батюшка-царь, какая беда: Шиг-Алей, сукин сын, отказывается исполнять твое царское повеление, так мы на крайние меры пошли. И что бы после этого Иоанн? Головы бы им отрубил? Нет, Иоанн за такой важный подвиг наградил бы обоих и ещё приблизил к себе. Дорога открыта и с той и с другой стороны, тем не менее оба не смеют и пальцем пошевелинуть, то есть обнаруживают недостойную слабость или наклонность к измене.

Сторонники Москвы, привыкшие саблей решать все дела, нагнав себя на беспомощность поставленных царем воевод, не способных с толком употребить свою громадную военную силу и безмерную власть, посудив, порядив, в те же дни отправляют к Иоанну тайных

послов, и послы быют царю и великому князю челом: Казань, мол, желает избавиться от Шиг-Алея, но повиноваться власти наместника, которого изволит ей дать Иоанн:

– Если не исполнишь воли народа, то откроется бунт, скоро и неминуемо. Удали бедствие, удали злодея, нам ненавистного. Пусть русские войдут в стольный град наш, мы выедем в поместья или в села свои. Хотим во всем зависеть от воли своей, будем тебе усердными слугами, а если обманем, пусть наши головы падут на Москве!

Видимо, и для самого Иоанна такое предложение с их стороны является неожиданным. То ли подчиняясь требованиям подручных князей и бояр, то ли желая выиграть время, он передает послов боярину Шереметеву, которому они должны изложить свои доводы и совместно с которым должны разработать план передачи верховной власти в Казани от хана к наместнику московского царя и великого князя.

И в беседах с боярином Шереметевым послы сторонников власти Москвы продолжают настаивать, что Шиг-Алей злодей и тиран, что побивает и грабит всех татар без разбора, дочерей и жен берет от них силой, табуны коней, стада верблюдов, отары овец отгоняет к себе. План вырабатывают такой: в Москве послов не меньше трехсот, все они остаются заложниками, лишь один, самый влиятельный из сторонников власти Москвы, возвратится в Казань, приведет своих настрадавшихся от грабежей и резни соплеменников под руку московского царя и великого князя, благодарные соплеменники новые клятвы дадут, впустят в город наместника, город царю и великому князю сдадут, ханы и мурзы расселятся там, где им велят, кто в городе, кто в посаде, кто по кочевьям своим, дани и пошлыны ханские станут давать царю и великому князю, имущество и владения бездетных ханов и мурз, Шиг-Алеем злодейски преданных смерти, царь и великий князь возьмет на себя, лишь бы Шиг-Алея и духу не было больше в Казани, а если сторонники власти Москвы не исполнят того, пусть царь и великий князь заложникам головы рубит, а Шиг-Алея выгнать из Казани легко, стоит взять от него московских стрельцов, сам стремглав побежит, сучий хвост.

Иоанн одобряет этот вполне реалистический план и велит Алексею Адашеву вновь отправляться в Казань, чтобы свести Шиг-Алея с престола, в обмен на смирение обещая несчастному неудачнику всю свою царскую милость, которой изворотливый Шиг-Алей и без того не обижен.

На этот раз задача упрощается чуть не до детской игры. Алексею Адашеву предстоит опереться не только на две сотни московских стрельцов, но и на содействие значительной части казанских татар, готовых своей волей передаться Москве в полное подданство, лишь бы сбросить свои окаянные головы от бессмысленных злодейств то ногайского, то крымского ставленника, а теперь касимовского шакала. На долю Алексея Адашева выпадает всего лишь выказать рассудительность и твердость характера, и Казань мирно признает спасительное для неё верховенство Москвы, что для неё, как уже многие разумные головы сами видят в Казани, предпочтительней верховенства Крыма или ногайской орды, раз иссякли силы оборонить свою независимость.

Алексей Адашев с поразительной бестолковостью умудряется и тут провалить поручение, которое, кажется, готово исполниться чуть ли не само собой. Он вновь принимается уговаривать бесстыдного касимовского татарина, не требует, как должно требовать представителю московского царя и великого князя, а всего-навсего просит впустить полк Семена Микулинского и передать верховную власть наместнику царя и великого князя, причем сулит многие царские милости, однако не отводит московских стрельцов от дворца и таким образом обнажает перед беспомощной, безвластной марионеткой свою полнейшую бесхарактерность.

Натурально, марионетка продолжает куражиться:

– Не жалею престола. Я не мог или не умел быть на нем счастлив. В опасности самая жизнь моя здесь. Повинуюсь царю и великому князю, да не требует только, чтобы я изменил

мусульманству. Возьмите Казань, но без меня. Возьмите силой, возьмите договором, но только не из рук моих.

И благодарны премного, и выкатываясь поскорее отсель, ясно ведь всё, тем не менее Адашев безвольно отступает перед этой напыщенной декламацией изворотливого татарина. У него не хватает ума сделать то, что предлагают сделать сами татары, готовые дать клятву на верность Москве: отвести стрелецкую стражу, без которой Шиг-Алей в растревоженной им же Казани не продержится дня, сам побежит, с собаками не догнать. Так нет, Адашев совершает глупость за глупостью. Вместо того, чтобы без промедления ввести в Казань полк Семена Микулинского, не дожидаясь никому не нужного согласия Шиг-Алея, который держится только этим полком и близостью свияжской твердыни, пока не организовалась, не усилилась противная Москве сторона, уже снарядившая к ногаям гонцов просить помощи против нового хана, не любого им, он позволяет этому нелюбому самими татарами хану тянуть канитель.

Шиг-Алей измышляет черт знает что. Он предлагает Алексею Адашеву заклепать все казанские пушки, которые пока что мало охотников обратить против русских, вывести из строя все пищали и порох и вместе с Алексеем Адашевым покинуть Казань, то есть этой бессмысленной пакостью окончательно поднять всю Казань на дыбы. И Алексей Адашев не только соглашается исполнить эту беспримерную дурь, Алексей Адашев ещё позволяет разыгравшемуся на просторе татарину совершить преступление, абсолютно не нужное никому, прямо толкающее Казань на мятеж.

В самом деле, в ночь на шестое марта приказом Шиг-Алея касимовские татары заклепывают несколько пушек и вывозят из крепости кое-какие пищали и некоторое количество пороха, а поутру Шиг-Алей отправляется под Свияжск якобы на рыбную ловлю, пригласив в качестве свиты около сотни ещё не перебитых им ханов и мурз, однако не из числа тех, которые посылают к ногаям легких гонцов, замысливая измену, а верных приверженцев Иоанна, мало того, берет для охраны своей важной персоны московских стрельцов и таким образом прямо отдает Казань в руки всё ещё не готовых мятежников. Затем вся эта беспримерная дичь завершается вандализмом. В виду крепостных стен и башен Свияжска ничего не подозревающих ханов и мурз, казалось бы, охраняемых добросовестной приверженностью Москве и присутствием Алексея Адашева, окружают стрельцы и объявляют заложниками, а Шиг-Алей издевательским тоном объявляет неожиданным пленникам:

– Вы хотели меня убить, на меня били челом царю и великому князю, чтобы меня свел с престола, что я лихо над вами творю, а вам бы дал на мое место наместника. Так вот, царь и великий князь велит мне выехать из Казани. Я теперь еду к нему. Вас же с собой везу, там и управимся с вами.

Если бы в этот момент Алексей Адашев своими руками зарубил проклятого провокатора и лжеца, он был бы прав, поскольку этой малой жертвой отвел бы от Москвы и Казани большую беду. Однако Алексей Адашев не соображает последствий той подлости, которая творится у него на глазах, не размыкает конвой, не отпускает безвинных пленников на свободу, чем лишней раз была бы доказана добрая воля Москвы, а в полном согласии с бессмысленно мстительным Шиг-Алеем вводит ни в чем не повинных татар в крепость и докладывает Семену Микулинскому, что воевода может теперь беспрепятственно исполнить царское повеление и посадить в Казани наместника, наивность безмерная.

Семен Микулинский тоже не соображает последствий только что учиненного преступления как против татар, так и против интересов Москвы и как ни в чем не бывало отправляет с двумя казанцами грамоту, а в грамоте объявляет жителям татарской столицы, что, мол, царь и великий князь Иоанн Васильевич, вняв челобитью казанских послов, свел Шиг-Алея и дал им в наместники его, князя Семена Микулинского, который по этому случаю повелевает ханам и мурзам явиться в Свияжск присягать на верность московскому царю и великому князю, после чего он к ним пожалует сам, не имея мысли взять во внимание, что Адашевой и Шиг-Алее-

вой дуростью Казань оказалась во власти непримиримых противников царя и великого князя, которым легче умереть, чем явиться в Свияжск, где уже сидит под арестом сотня доверчивых бедолаг, и присягнуть тем, кто берет под стражу ни в чем не повинных людей.

Правда, эти озлобленные противники всего, что хотя бы отдаленно пахнет Москвой, пока что не обзавелись предводителем, поэтому отвечают на смехотворную грамоту с затаенным коварством, что, мол, к присяге всем сердцем готовы, не вопрос, только испрашивают предварительно милости выпустить из Свияжска ханов Чапкуна и Бурнаша, уже присягнувших на верность Москве, чтобы эти уважаемые, почтенные люди успокоили несмышленный черный народ своим крепким словом, что царь и великий князь в самом деле будет милостив к ним.

Ханов отпускают, не имея дара предвидеть подвох. Для присмотра за ханами отправляется Черемисинов, воевода московских стрельцов. Всё идет как по-писаному. Хань, уже готовые изменить, в присутствии Черемисинова клятвенно заверяют, что царь и великий князь слову своему не изменит. Казань присягает: и ханы с мурзами, и черный народ, и прибывшие с кочевий погонщики и пастухи. Ханские покои готовят встретить наместника. В Свияжск дают знать, что Микулинского с полком ждут с нетерпением и что московскому князю самое время вступить в управление вверенным царством и городом, покорным и смиренным.

Микулинский вперед отправляет свой легкий обоз под охраной семидесяти служилых казаков, вооруженных пищалями. Следом выступает сторожевой отряд Ромодановского, с которым бог весть для чего отпускают казанских татар, озлобленных коварством Шиг-Алея и попустительством Алексея Адашева, и Ромодановский с легким сердцем, не прозревая за ними черного умысла, точно татары испокон веку были не хищными татями, а вернейшими друзьями исстари миролюбивой Русской земли, позволяет нескольким ханам и мурзам отъехать в Казань, будто бы для того, что, мол, не терпится примерным отцам и мужьям провести сиротливо рыдающих жен и детей. Затем из Свияжска выступает отряд самого Семена Микулинского, в сопровождении Ивана Шереметева и Петра Серебряного-Оболенского. Двигаются медленно, без должной опаски, точно гуляют по родной стороне, грибы собирают, бьют лебедей. Навстречу им из кочевий выходят татары и приносят присягу на верность.

Каждым шагом, каждым движением московские воеводы обнаруживают беспечность и какое-то поразительное отсутствие даже обыкновенного здравого смысла именно там, где, кроме здравого смысла, необходимо проявить полководческое и дипломатическое чутье, и возмездие уже заносит над ними свой сокрушительный меч, и уже несомненная, одержанная дальновидной политикой Иоанна победа недомыслием и беспечностью воевод во главе с Алексеем Адашевым превращается в постыдное, уму не постижимое поражение.

Верные мужья, заботливые отцы, обесчещенные, оскорбленные Шиг-Алее, с непрости-тельной опрометчивостью младенческого неведения отпущенные московскими воеводами в и без того растревоженную, взбаламученную Казань, облыжно оповещают соплеменников и еди-новерцев о том, что христианские собаки вознамерились истребить всех жителей поголовно, что об этом злом умысле ведают все касимовские татары, что предстоящей резней из-под руки грозит сам Шиг-Алей, и в доказательство истины своей лжи указывают на беспричинное пленение ханов и мурз, верных Москве, вопрошая резонно сторонников и толпу, какие подарки после этого готовят христианские собаки верным детям ислама.

Только что готовые заключить верный мир и отдаться в подданство московского царя и великого князя, жители всё ещё сильного, хорошо укрепленного города возмущаются поголовно, в смятении затворяют на все запоры городские ворота и хватаются за оружие, и когда Ромодановский, следом Микулинский, Шереметев и Серебряный-Оболенский с плетущимся вместе с ними Алексеем Адашевым выходят на берег Булака, предвкушая радостные клики новых подданных победоносной Москвы, они с искренним изумлением видят ошетиненный город и слышат со стен озлобленные вопли вооруженных татар, в которых мешаются ожесто-

чение, жажда мести и клятвы скорей умереть, чем поверить лживым обещаниям христианских собак.

Черемисинов, успевший вовремя выйти из превратившегося в осиное гнездо восставшего города, докладывает ошарашенным воеводам:

– До сей поры мы лиха никакого не ведали, однако теперь, когда от вас прибежали ханы и мурзы и стали говорить лихие слова, то люди все замешались. Многие ханы и мурзы выехали с ними из города, один остался с ними Чапкун.

Воеводы отправляют под стены кое-кого из верных татар объявить:

– Зачем изменили? Вчера и даже сегодня ещё присягали, и вдруг изменили! А мы клятву свою держим, ничего дурного вам не делаем и не хотим.

Посланные возвращаются:

– Люди боятся побою, не слушают нас.

И воеводы преспокойно разбивают лагерь под стенами грозно бурлящего города, точно решились пообождать, что бунт уляжется сам собой, ужинают и с молитвой отходят ко сну, не озаботясь выставить охранение, а ночью татары делают вылазку и без особых хлопот уводят в плен несколько десятков полусонных служилых людей и обоз.

Постояв ещё день сложа руки, не предприняв решительно ничего, воеводы налегке, без обоза, не выручив пленных, отходят в Свияжск и отправляют Шереметева с донесением, что вот, мол, батюшка-царь, какая приключилась над нами беда.

Горькая весть приходит двадцать четвертого марта. Неизвестно, вскипает ли на этот раз несмиримое бешенство в душе Иоанна, вспыльчивого в иные минуты, но он один среди этих бездеятельных, вялых вершителей судеб русской земли отличается решимостью и дерзостью действия. Без промедления отправляет он на помощь Свияжску своего шурина Данилу Захарьина-Юрьева с отрядом московских стрельцов. С той же энергией он собирает подручных князей и бояр и объявляет поход, который раз навсегда покончит с беспокойной Казанью. В этом подвиге он видит свой долг перед Богом:

– Бог видит мое сердце, хочу не славы земной, хочу христианам покоя. Смогу ли некогда предстать пред всевышним, смогу ли сказать: се я и люди, Тобою мне данные, если не спасу их от свирепости вечных врагов Русской земли, с коими не может быть ни отдохновения, ни мира?

Хитроумные князья и бояре не могут не одобрить столь пылкой решимости молодого царя и великого князя, однако тут же осаждают его возражениями, смысл которых сводится к знаменитому смирению перед властью русского человека: да, но нет. Возражения склоняются к подлости: не пустить своего бесценного государя в поход. Шаткость Казани уже очевидна для всех. Только что у них на глазах Иоанн чуть было не одержал полной, главное, бескровной победы над этой проклятой твердыней, и если не одержал её в самом деле, то не как следствие собственных просчетов и слабости стратегического мышления, а единственно благодаря неисполнительности Алексея Адашева, подлости Шиг-Алея и нерасторопности Семена Микулинского. Разумеется, подручным князьям и боярам известно, что Казань представляет собой грозную, удачно расположенную, отлично обустроенную крепость, однако они также не могут не знать, что у этой крепости остается немного защитников, а сама крепость довольно стара и что, стало быть, на этот раз Иоанн не упустит победы, победа же молодого царя и великого князя не может не стать концом боярского своеволия, и без того они только что, после пересмотра жалованных грамот, лишились многих своих привилегий и отныне обязаны и дани, и пошлыны, и тамгу, и ямские и посошные деньги платить, остается ещё один шаг, чтобы они, от бескормицы и безденежья, лишились вотчинных и удельных полков и чтобы он забрал над ними всю власть.

Стало быть, ради сохранения за собой хотя бы части своей независимости, то есть своего своеволия, дозволяющего более служить своим собственным интересам, чем интересам Московского царства, и прикармливать всё, что плохо лежит, в первую очередь привилегии, земли

и право на разного рода поборы под видом кормлений, которые молодой царь и великий князь тоже, похоже, готовится отменить, им следует обесславить чересчур замашистого правителя, вырвать из его рук эту уже неминуемую, готовую свалиться как спелая груша победу и тем поставить на прежнее, безопасное место, возвратит в зависимое от них положение, навсегда лишит очевидного права повелевать, командовать ими.

И они сочиняют, по их соображению, неотразимый предлог: не следует царю и великому князю подвергать себя опасности очередного похода, ему следует оставаться в Москве, поскольку вполне вероятен набег ногаев или крымских татар, тогда царь и великий князь поднимет новое ополчение на защиту горячо любимого ими стольного града, да вряд ли и понадобится это новое ополчение, ведь ни ногаи, ни крымцы не решатся напасть, когда им станет известно, что сам царь и великий князь стоит на страже Москвы.

Всё это невинны, детские доводы, поразительно, что ни одного действительно смекалистого политика или просто умного человека не обнаруживается среди подручных князей и бояр. Ещё никогда не мешало татарским набегам присутствие великого князя в Москве, татары всегда нападают, когда захотят, не особенно рассчитывая на серьезный отпор именно по вине всё тех же неповоротливых, ленивых князей и бояр, вдруг оборотившихся пламенными рadeтелями о безопасности московских укреплений, тогда как в десятилетие своего самовластия хладнокровно взирали на татарские грабежи. Больше того, они не располагают хоть сколько-нибудь достоверными сведениями, что ногаи и крымцы и в самом деле готовят набег. В действительности все донесения лазутчиков и сторож говорят, что захватившие власть в Казани ханы и мурзы сносятся именно с ногайской ордой, что ногайская орда готова оказать Казани посильную помощь и что в Казань отправляется в качестве нового хана астраханский царевич Едигер Магмет и с ним пятьсот всадников, в этот момент ногаи не располагают большими силами. Не менее достоверно известно в Москве, что в Крыму только что, помощью Османской империи, воцарился новый хан Девлет-Гирей, яростный враг Московского царства, готовый обратиться в пепел все русские города, по заразителному примеру кровожадного хана Батыя, но пока что не собравшийся с силами, повязанный внутренними раздорами, то есть насильственным устранением своих прошлых, настоящих и будущих конкурентов, при помощи всё той же беспощадной татарской резни. Правда, Девлет-Гирей в поход на Москву понуждает турецкий султан, который поклялся Аллаху во что бы то ни стало выручить отчего-то прикипевшую к его любвеобильному сердцу Казань, которая от него за три тысячи верст, однако поклялся совершить это богоугодное дело не ятаганами собственных янычар, а саблями ногаев и крымских татар, из чего следует как раз то, чего приглашенные на военный совет подручные князья и бояре никак не хотят: Москве довольно выдвинуть небольшой заслон против крымских татар и спешить на Казань, пока эти пока что разрозненные мусульманские силы не сплотились в единый разящий кулак.

Естественно, и самые разумные доводы не в состоянии убедить тех, для кого победа молодого царя и великого князя острее ножа. Похоже, подручные князья и бояре считают решенным вопрос о месте своего государя и принимаются обсуждать, кто в таком случае возглавит поход на Казань, невольно обнажая высшую степень коварства своих тайных намерений. Одни настаивают, чтобы войско возглавил юный брат Иоанна, глухонемой, очевидно слабым умом, что позволит воеводам по своему разумению распорядиться полками и таким образом присвоить честь великой победы себе. Другие громко им возражают, и тут ещё в первый раз против Иоанна так явственно, с такой категоричностью выдвигают Владимира Старицкого: пусть войско возглавит двоюродный брат, объявляет эта клика подручных князей и бояр, не принимая, а может быть, именно взяв во внимание, что этот вялый, недалекий, склонный не столько к войне, сколько к покою уединения и созерцания молодой человек в списке претендентов на роль полководца должен стоять в последних рядах.

Иоанн не терпит соперничества и не доверяет подручным князьям и боярам ни в чем, тем более в решении таких важнейших проблем, как война и назначение на пост предводителя войска. Он объявляет решительно, что сам лично поведет полки на Казань, и уже никто из подручных князей и бояр не смеет открыто ему возразить.

Они изобретают иные препоны. Раз не удастся оставить Иоанна сидеть сиднем в Москве, надо охладить его пыл, отодвинуть поход на более позднее время, а там, глядь, стрясется не та, так другая беда или молодой царице приступят законные сроки рожать, авось и сам не возжелает в поход.

Они дружно указывают ему на чрезвычайные трудности непривычной летней кампании. Летом, многословно рассуждают эти рыцари удельных времен, бесстрашные и могучие в разрозненных стычках и никогда не размышляющие о том, что такое тактика, сто такое стратегия, уж не говоря о таких тонкостях, как психологическое давление на однажды дрогнувшего врага, такое дело, батюшка-царь, летом-то Казань превращается в крепость, надежно и многократно защищенную и непроходимыми лесами, и бесчисленными реками, и ржавыми, непросыхающими болотами, так что движение полков всё одно затянется чуть не до осени, ели полки не остановятся вовсе, своими доводами выказывают, кроме коварства, неумение осмыслить полученный опыт зимних походов. Напрасно Иоанн напоминает всем известные неудачи двух подряд зимних походов, причиной которых явились морозы, метели и внезапные сильные оттепели, напрасно указывает на блистательное возведение свияжской твердыни, с движением полков и сплавом целой крепости по весенней воде, подручные князья и бояре продолжают с далеко не благородным усердием стоять на своем, и когда он, не желая им подчиниться, уже отдает приказы полкам, все-таки оспаривают его, для пущей важности вызывают из Касимова близкого им Шиг-Алея, которого, несмотря на его недавний казанский позор, выдают за человека весьма осмотрительного и благоразумного, и смолкают только тогда, когда Иоанн, в ответ на уже знакомые причитания касимовского татарина, что летом Казань превращается в неприступную крепость, приводит самый неотразимый свой аргумент: леса и воды вокруг Казани, конечно, великие, да Бог и непроходимые места проходимыми делает и острые пути в гладкие претворяет. Тут уж и самые подлые, самые пошлые из подручных князей и бояр не измышляют, чем крыть.

Решив летний поход, Иоанн полностью повторяет счастливый план прошлого года, который позволил без потерь, с быстротой небывалой воздвигнуть укрепление на Круглой горе, лишь по необходимости видоизменяя и дополняя его. Тотчас, едва сошли льды, он отправляет отряд под командой Александра Горбатого и Петра Шуйского на усиление свияжского гарнизона и для подготовки казанского взятия, отряд московских стрельцов и служилых казаков под командой Глинского и умного и такой же отряд Заболоцкого и Сукина, должный выйти из Вятки, получают приказ перекрыть все перевозки на Каме и Волге, а усиленным разъездам в степи надлежит преградить путь Едигеру Магмету с его полутысячей конных ногаев. Михаилу Морозову и дьяку Выродкову поручается изготовить лады и сплавить на них около полутора сотен тяжелых осадных орудий, чтобы они своей тяжестью не замедлили продвижения конных полков. Ополчение служилых людей получает приказ собраться в Коломне, новгородским ополченцам сбор назначен в Кашире, а московскому ополчению в Муроме, то есть по всей южной линии, так, чтобы у лазутчиков составилось полезное мнение, будто московские полки по обычаю дедов и прадедов готовят заслон набегу крымских татар, а для того, чтобы в самом деле оставить надежный заслон, когда полки двинутся на Казань, возводятся две крепости, по примеру Свияжска: Шацк на левом берегу реки Шацы, притока Цны, и Михайлов на Проне, притоке Оки, с гарнизонами московских стрельцов, служилых казаков и пушкарей. Ведутся переговоры с вольными донскими казаками, три года назад перешедшими под руку Московского царства, чтобы иметь надежный заслон от Азова до верхнего течения Дона, на случай, если крымские татары все-таки ринутся на подмогу Казани. Круглым путем по левому берегу



Дона и левому берегу Терека скачет посольство к дружественному астраханскому властителю Ямгурчею с предложением вечного мира, чтобы удержать его от соблазна ввязаться на стороне Казани в войну.

В самый разгар этих многообразных, глубоко обдуманных приготовлений Иоанну доносят, что Семен Микулинский, наглухо затворившись в Свияжске, преступно бездействует, а прочие воеводы промедлительны и неискусны. Несчастья так и сыплются одно за другим. Усиленным разъездам не удастся преградить путь Едигеру Магмету, и этот решительный, отчаянный воин проскальзывает в Казань, занимает ханский престол и клянется Аллаху быть и оставаться до смерти непримиримым врагом христианской Руси. Направляемые сильной рукой, отряды казанских татар разлетаются в разные стороны и всюду причиняют русским селениям ощутимый урон, там угоняя от Свияжска оставленные без присмотра табуны и стада, там разгромив отряд зазевавшихся служилых казаков, перебив человек до семидесяти и отобрав у побежденных и мертвых ручные пищали, там взбунтовав местные племена и возвратив себе все нагорные земли, нигде не щадя русских пленных, а в Казани публично казнят всех тех, кто был взят в плен из отряда Микулинского и Адашева, так беспечно заночевавших под стенами мятежной Казани. Воеводы точно сговариваются исполнять повеления царя и великого князя спустя рукава, в действительности не умеют и не почитают пристойным для своей горячо лелеемой чести что-либо исполнять, привыкнув действовать в одиночку и на собственный страх и риск.

Это множество поражений, пусть мелких, но важных, уже затрудняет поход, поскольку на этот раз не удастся заблаговременно взять в кольцо блокады Казань. Однако и это не всё. В Свияжске свирепствует эпидемия. Сначала потеряв под Казанью обоз, затем проморгав под собственным носом табуны и стада, гарнизон Свияжска страдает от голода и мрет от цинги. От дисциплины, шаткой и прежде, не известной полкам ополчения, не остается следа. Служилые люди, а их тлетворным примером стрельцы задерживают многих женщин, освобожденных из казанского плена, и обращают их в всем и каждому доступных наложниц. Кое-кто уже не довольствуется столь обыкновенным удовлетворением изголодавшейся похоти и услаждается, несмотря на прекрасные бороды, содомским грехом, только что громогласно осужденным Стоглавым собором. Нечего говорить, что никто и не думает готовиться к казанскому взятию. Того гляди, эти больные, голодные, опустившиеся, утратившие стыд, потерявшие головы воеводы и воины сдадут без боя Свияжск, что в самом деле похоронит самую мысль о походе.

Пять лет назад Иоанн, убежденный, по святоотеческим книгам, в несомненном праве государя бесконтрольно миловать и бесконтрольно казнить, не задумываясь послал бы виновного в столь очевидных и столь тяжких грехах Семена Микулинского под топор палача, однако он крест целовал впредь не покушаться на опалы и казни и потому, что для него крестное целование превыше всего, не может подвергнуть Семена Микулинского ни опале, ни казни, как не может оставить виновного в попустительстве, явно преступном, без примерного наказания. Тогда он прибегает к боярской Думе и требует, чтобы провинившийся воевода был судим боярским судом. Бояре собираются, рассаживаются по лавкам, толкуют между собой и не находят воеводу виновным не только в попустительстве, но хотя бы в беспечности и ротозействе. Они полагают, что Семен Микулинский наказан уже самым сиденьем целую зиму в Свияжске, чего прежде не приключалось ни с одним воеводой, и называют это сиденье в боевом охранении от набега татар жестокой опалой, преднамеренно наложенной на бедного князя бессердечным царем, таким приговором точно ошпарив Иоанна крутым кипятком.

Бояре не находят ничего более тяжкого, как приговорить весь Свияжск к церковному покаянию. Из Благовещенского собора переносят мощи святых в Успенский собор, святят воду и отправляют в согрешившую крепость архангельского протопopa Тимофея с Освященной водой и с наставлением митрополита Макария. В своем наставлении митрополит обращается к воеводам и воинам так:

«Милостию Божиею, мудростию нашего царя и вашим мужеством твердыня христианская поставлена в земле враждебной. Господь дал нам и Казань без кровопролития. Мы благоденствуем и славимся. Литва, Неметчина ищут нашего дружества. Чем же можем изъяснить признательность Всевышнему? Исполнением Его заповедей. А вы исполняете ли их? Молва народная тревожит сердце государево и мое. Уверяют, что некоторые из вас, забыв страх Божий, утопают в грехах Содомы и Гоморры, что многие благообразные жены и девы, освобожденные пленницы казанские, оскверняются развратом между вами, что вы, угождая им, кладете бритвы на бороды свои и в постыдной неге стыдитесь быть мужами. Верю сему, ибо Господь казнит вас не только болезнию, но и срамом. Где ваша слава? Быв ужасом врагов, для них служите ныне посмешищем. Оружие тупо, когда нет добродетели в сердце, крепкие слабеют от пороков. Злодейство восстало, измена явилась, и вы уклоняете щит перед ними! Бог, Иоанн и Церковь призывают вас к раскаянию. Исправьтесь, или увидите гнев царя, услышите клятву Церковную...»

Человек твердой веры, Иоанн уповает на то, что, вняв молениям митрополита, Господь остановит в Свияжске разврат и цингу, и с ещё большей энергией готовит поход. С нетерпением, с придирчивым тщанием он сам наблюдает за погрузкой осадной артиллерии на ладьи и делает смотр ополчению, по росписи дьяков прибывшему в назначенный срок с тем же бедным оружием на тех же бедных конях.

Приходит время разводить воевод по полкам, и он властью царя и великого князя, вождя и правителя, каким он почитает себя по всем канонам богословской литературы, старательно изучаемой им в течение многих лет, доверяет командование лишь самым близким, самым надежным, то есть тем, кто не возражает открыто против его невиданных и неслыханных начинаний. Большой полк, собирающийся в Коломне, он дает Ивану Мстиславскому и Михаилу Воротыньскому, которого именует, в знак своей исключительной милости, слугой государевым, передовой полк поведут Иван Пронской-Турунтай и Дмитрий Хилков, полк правой руки поручается Петру Щенятеву и Андрею Курбскому, из малозначительных воевод крохотного порубежного городка вдруг выдвинутого на такую важную должность, полк левой руки доверяется Дмитрию Микулинскому и Плещееву, на сторожевой полк идут Василий Серебряный-Оболенский и Семен Шереметев, на свой собственный полк он ставит самых проверенных, Ивана Шереметева и Владимира Воротынского.

Воеводы подчиняются беспрекословно и отъезжают к полкам. Пора выступать и ему. Перед походом он устраивает управление государством. Формальным главой он оставляет несчастного брата Юрия, не способного ничем управлять, однако на этот раз не назначает при нем митрополита Макария в качестве главного советника по важным и наиважнейшим делам. Он составляет нечто вроде правительства из семи самых преданных, самых проверенных временем, ещё его отцу верно служивших бояр. В это правительство входят: Михаил Иванович Булгаков-Патрикеев-Голица, Федор Иванович Скопин-Шуйский, Федор Андреевич Булгаков-Патрикеев, Григорий Юрьевич Захарьин-Юрьев, Иван Дмитрич Морозов-Шейн, Иван Петрович Федоров и Василий Юрьевич Траханиот. В его отсутствие эти семеро землю ведают, всё решают и отвечают за всё.

Он прощается торжественно, на людях, чтобы видели все, с братом Юрием, прощается с царицей Анастасией, брюхатой на шестом месяце, обливающейся слезами. Спокойный и твердый, он утешает её, говорит ей о священном долге царя и великого князя, который надлежит исполнить достойно, уверяет, что смерть за отечество ему не страшна, поручает Богу жизнь её и младенца, а ей самой поручает всех несчастных и сирых:

– Милуй и благотвори без меня, даю тебе волю царскую, отворяй темницы, снимай опалу с самых виновных по твоему усмотрению, и Всевышний наградит меня за мужество и за благость тебя.

Анастасия стоит перед ним на коленях, молится вслух о его здравии, о победе и славе. Он поднимает её, прощается с ней поцелуем, следует в успенский собор, долго молится, тоже

о победе и славе, перед ликами Спасителя и апостолов, просит митрополита и иерархов быть ревностными ходатаями за Русь перед господом, утешителями царице, советниками его брату Юрию, при этом чувствительный летописец извещает потомство, что святители, бояре, народ, все присутствующие, конечно, в слезах, обнимают своего государя.

Выйдя из храма, Иоанн садится верхом и со своей личной охраной скачет в Коломенское. В Коломенском, веселый и лаковый, он обедает с воеводами, с боярами, с Владимиром Старицким, которые провожают его и с этого места должны воротиться в Москву, однако никто из них не успевает покинуть Коломенское, как влетает на полном скаку истомленный, почти без сил гонец из Путивля, русской крепости в самом дальнем углу юго-запада, с донесением неопределенным, однако более чем неприятным: от Северского Донца идут к московским украинам толпы татар, а сколько их и кто их ведет, сам Девлет-Гирей или кто-нибудь из хищных его сыновей, то выдвинутым далеко вперед сторожам пока неизвестно.

Иоанн не смущается движением крымских татар, предвиденным им, ободряет ближнее окружение, которое выказывает крайнее беспокойство, может быть, в тайной надежде, что не состоится нежеланный казанский поход, говорит, обращаясь к подручным князьям и боярам:

– Мы не трогали хана, но если он вздумал поглотить христианство, то станем за Русь, у нас есть Бог!

Теперь, перед лицом новой грозной напасти, он не отпускает от себя Владимира Старицкого, вместе с ним прибывает в Коломну, воевод находит в бездействии, несмотря на донесение другого гонца, что уже татарские орды поворотили к Рязани, передовой полк во главе с Пронским-Турунтаем и Хилковым направляет к Мстиславлю, большой полк Мстиславского и Воротынского ставит под Колычевом, полк левой руки с Микулинским и Плещеевым выдвигает к Голутвину, объявляет, что намерен дать решительное сражение, избирает для сражения подходящее место, объезжает полки, говорит воеводам и воинам о чести и благе защиты отечества, о вере Христа, одушевляет всех своей бодростью, в ответ вызывая громкие клики, что готовы за веру и за царя умереть, вечером пишет Анастасии с Макарием, что ждет хана без трепета, крепко надеясь на милость Всевышнего, на молитвы митрополита, на мужество войска, и призывает в эти тревожные дни открыть все храмы в Москве.

Ловкие лазутчики, проскальзывая, как змеи, мимо разведок и сторожей, доносят татарам о движении московских полков, станичники, взятые татарами в рязанских степях, передают вдохновенно, естественно, ничего толком не зная, что в Коломне великие силы собраны единой волей молодого царя и великого князя, и татарский набег, сильный только внезапностью нападения, замирает, верно, казанский урок понемногу охлаждает разбойничью прыть и татары приучаются понемногу страшиться непривычной, внезапной решимости московских полков, обыкновенно малоподвижных и мало опасных для них. Хан выражает намерение лучше по добру по здорову воротиться в крымские степи с пустыми руками, чем испытать позор поражения, однако подручные ханы и мурзы, ещё своевольней московских князей и бояр, не дают ему шагу ступить, не желают скакать спать без добычи, что для них куда как больший позор, чем позор поражения, и принуждают неглупого, но недавнего хана поворотить круто на запад, чтобы изгоном взять скудно защищенную Тулу, рассчитывая на проворство своих диких коней и нерасторопность московских полков, и только потом, взяв полон и разнообразное барахло, стремительно уйти за неприступную грань Перекопи.

Расчет подручных ханов и мурз отчасти оправдывается. Не успевают передовые отряды татар появиться под Тулой, как гонцы доносят о беде Иоанну. Иоанн, всегда решительный в нападении, повелевает Пронскому с Хилковым и Щенятеву с Курбским спешить с передовым полком и с полком правой руки на защиту тульчан, а Шереметеву с Воротынским готовить царский полк следом за ними, однако, как видно, передовой полк не высылает разъездов, принимает на веру донесения поздних гонцов, что под Тулу татар пришло тысяч семь, деревни пожгли, пограбили и ушли восвояси, и воеводы самовольно останавливают полки, не дожидая-

ясь повеления царя и великого князя, а Иоанн, поверив их уверениям, с царским полком остается в Коломне.

Между тем следом за передовыми шайками бесшабашных грабителей под Тулу накатывает всё татарское войско, с пушками, с турецкими янычарами, подарком султана, пушки ставятся с разбойничьей прытью, бьют по крепости раскаленными ядрами, и, едва занимаются пожаром дворы, янычары, обученные лучше татар, приступом лезут на стены.

Что крохотная Тула против бессчетной татарской орды? Сущий пустяк. Однако, по счастью, тульский воевода князь Темкин оказывается истинным воином, человеком решительным, верным слугой царя и отечества, какими следовало бы быть Пронскому с Хилковым да Щенятеву с Курбским, и энергия и распорядительность одного бесстрашного воеводы спасает город от разорения, а жителей от смерти, насилий, полона и грабежей. Князь Темкин тотчас отправляет гонца к самому Иоанну в Коломну, вооружает, не имея сильной дружины, поголовно всех посадских людей, включая подростков и женщин, одни, чувствуя уверенную, крепкую руку, расторопно и ловко тушат пожары, другие сбивают со стен янычар, почти без потерь для себя.

Иоанн получает донесение о бедственном положении маленькой Тулы во время обеда. Тотчас полкам дается приказ не мешкая перевозиться через Оку. Сам Иоанн, отстояв обедню в церкви Успения, получив благословение епископа Феодосия, верхом и в броне, выходит следом за своим царским полком. Уже к вечеру полки идут за Окой и на раннем июньском рассвете им остается до Тулы три часа бойкого хода, а полк Иоанна подходит к Кашире.

Этим стремительным движением всего двух полков обеспечивается окончательное спасение Тулы, ожидающей нового приступа отоспавшихся янычар. На востоке, при свете первого солнца, тульские ополченцы видят со стен густые клубы поднятой пыли, знакомые с детства, свидетельство движения конницы, то же обескураживающее свидетельство наблюдают ошарашенные татары. Следствие ясное: татары тот же миг в беспорядке снимаются с мест и кидаются в бегство, привычное для татей в ночи, захваченных на месте разбоя врасплох, и посадские воеводы, руководимые воеводой сметливым и смелым, распахивают городские ворота, бросаются в рукопашную схватку такой неистовой ярости, что многие искатели чужого добра, из менее прытких, остаются на поле стремительной сечи, с ними ханский шурин Камбирдей, и в качестве трофея счастливые туляки берут все татарские пушки. Когда Щенятев и Курбский наконец дотаскиваются до стен без них освобожденного города, на их долю достается только чужая победа.

Точно желая избавить их от позора, как ни в чем не бывало подсакивают новые отряды татар, рыскавших по окрестным селениям и не успевших оповеститься, что туляками сбита осада, так спешно коренная орда пускается в бегство, до семидесяти верст в день, на всем своем бесславном пути бросая загнанных лошадей. Щенятеву с Курбским так представляется случай ввязаться в сражение, русская сила настигает татарскую силу, и многие татары находят тут смерть, а кому достает прыти диких степных скакунов, те без памяти уносятся прочь. Щенятев и Курбский, витязи удельных времен, привычные к такого рода кратким набегам, настигают остатки бегущих на реке Шевороне. Кто-то из ханов умудряется удержать на берегу трусливо убегающих воинов, сплывает в десятки и сотни расстроенные ряды, вскипает настоящая сеча, жестокая, кровавая, быстрая, причем Андрей Курбский, второй воевода полка, бьется как простой воин, с безумной храбростью врывается в самую гущу татар, получает несколько сабельных скользящих ударов по голове и плечам, впрочем, малоопасных, поскольку остается в строю, что не помешает впоследствии беглому князю эти почетные раны поставить Иоанну в попрек, точно он не великую Русь защищал, а спасал жизнь самого Иоанна. Охочие воины легкими отрядами гонят татар до самого Крыма. Победителям достается весь ханский обоз, стадо верблюдов, косяки лошадей. Своим смелым натиском они возвращают награбленное добро и весь счастливый полон.

Склонный к метафорам, к впечатляющим символическим действиям, Иоанн тотчас отправляет в Москву отбитые татарские пушки, верблюдов, диковинку на Русской земле, и плененных татар, чтобы необыкновенным и радостным зрелищем надолго оставить в умах и в сердцах своих подданных светлую память об этой пока что малозначительной, однако первой яркой победе, одержанной его решимостью и его разумением, а вместе с ними неуываемой храбростью войска.

Из Москвы митрополит и бояре отправляют пленных татар в распоряжение Великого Новгорода, подальше от татарских границ. В Великом Новгороде дьяки рассылают татар в монастырские тюрьмы с приличным случаю наставлением обратить басурман в истинную, то есть в христианскую веру. Новгородские иноки, несильные в проповеди, соблазняют трусоватых и слабых поместьями в новгородской земле, а непокорных, более стойких, не желающих за тридцать Серебренников продавать свою веру зверски топят в реке.

Первого июля в Коломне собираются воеводы, счастливые, говорливые, шумные, уже расположенные на своих легких лаврах благополучно почить и разойтись по домам. Победой гордятся, каждый воинский подвиг пересказывают по нескольку раз, трофеями хвастают, однако не выказывают особенного желания вновь ополчиться и переть черт знает куда под Казань, довольно, повоевали, покрыли себя славой победы, чего же ещё? Тут Иоанн узнает саму по себе ужасную, а для его самолюбия нестерпимую правду о состоянии московского воинства: многие из служилых людей, то есть дворян, владельцев поместий, данных в пользование исключительно в обмен на беспорочную, безотказную службу, не явились к полкам, многие не имеют запасов для себя и коней, многие от двухнедельных подвигов до того утомились, что без стеснения говорят, что им не выдержать новый поход.

Иоанн не желает слышать никаких возражений. Поход состоится, самое время, после полученного урока крымский хан помощи Казани не даст. Воеводам с полками двигаться разрозно. Одна колонна идет на Рязань и Мещеру, другая на Владимир и Муром, причем в первую колонну он ставит победоносные рати, только что бывшие в деле, то есть недовольные новым походом, беспокойные, склонные к неповиновению, может быть, к бунту, а вторую составляет из самых надежных, никаких возражений не заявивших полков, в их числе запасный полк, полк левой руки под командованием Дмитрия Микулинского и свой царский полк во главе с Шереметевым и Владимиром Воротынским, и, что необходимо отметить особо, сам Иоанн, никогда полностью не доверявший никому из подручных князей и бояр, всегда ожидающий от них открытого мятежа или подлого заговора, отправляется с этим полком.

Мятеж, разумеется, происходит, по счастью, малый, бескровный, тем не менее мятеж глубоко драматический, поскольку сталкиваются лоб в лоб две непримиримые, не способные к взаимному пониманию взгляда на службу царю и отечеству: представление удельных времен о необременительной службе вольного воина, кому он заблагорассудит и когда его блажь поведет, а не заблагорассудит, не поведет, так имеет стариной освященное право на все четыре стороны пустить своего боевого коня, и представление государственное, представление нового времени о суровой службе солдата, который служит не себе самому, не своим пристрастиям и блажным пожеланиям, но царю и отечеству, не только за плату деньгами или поместьями, но и за совесть, за честь, а потому не имеет права уйти, когда вздумает и куда вздумает, но обязан повиноваться приказу своего командира.

Воспитанные на представлениях отходящих в прошлое удельных времен, к тому же чрезмерно дорожа давно изношенными, давно потускневшими новгородскими вольностями, все новгородцы, вопреки тому, что разведены по десяткам и сотням, каким-то образом собираются вместе, подступают к покоям царя и великого князя и бьют челом отпустить восвояси домой, поскольку, вишь, надежа царь-государь, обносились, проелись, три месяца в сборе, воевать нам невмочь, до Казани в живых не дойти, что летописец передает такими словами:

«Многие беспоместные, а иные и поместные многие да не хотяху долготы пути нужного шестввоати...»

Памятливый на оскорбления Иоанн крепко помнит не такое уж давнее челобитье новгородских пищальников с пальбой и резней, на которое пришлось отвечать заправской атакой конвоя. В сущности, на этот раз провинность новгородских ратников с точки зрения государственной сугубая, чрезвычайная, непростительная и непростимая, поскольку эти вольнолюбивые воины отказываются повиноваться во время войны, и если Иоанн сейчас спустит им, всё его воинство может молниеносно расползтись по домам, целиком и полностью оправдывая себя такими славными, такими счастливыми обычаями беспечальных удельных времен, когда полки сплошь и рядом уходили домой в канун битвы, оставляя своего князя нос к носу с врагом, и тогда не только на его бесталанную голову падет вечный позор, но он, уже навсегда, превратится в безгласного пленника собственных подручных князей и бояр, как любой русский князь бывал невольным пленником своей старшей, даже младшей дружины, либо желавшей, либо не желавшей за князем идти, как остается пленником польский король, без приговора спесивых, только у себя под носом видящих панов не смеющий ополчение собрать, отчего ещё вчера бесспорно могучее Польское королевство уже видимо начинает катиться к упадку.

Собственно, Иоанн в качестве государя, в качестве правителя нового времени прямо обязан наглядно, жестоко наказать замысливших неладное челобитчиков, лучше всего каждого десятого повесить или ввергнуть под топор палача, чтобы было впредь неповадно всем иным поместным и беспоместным бойцам по своему капризу выбегать из похода, по меньшей мере поместий лишить, опале предать, заточить в монастырь, однако, истинно верующий, он не в состоянии преступить через крестное целование, всенародно данное в том, что отныне прекращает опалы и казни, и он растерян, не знает, что предпринять, возможно, и прежний страх, испытанный во время предыдущего вооруженного новгородского челобитья, терзает его: а что если и на этот раз учнут по нему из пищалей палить?

В тревоге и размышлении проходит ночь, проходит день. Наконец он обнаруживает бескровное средство усмирения непокорных воителей. Если нельзя лишить головы на страх и в назиданье другим, то можно купить, тоже не без примера для всех остальных, и он обязуется под Казанью на свои средства кормить этих будто бы истомленных, будто бы в пух и прах проевшихся воинов, а после победы щедро наделить плодоносными казанскими землями, те же, кому покажется мало казанских земель и казанских кормов, могут безвозбранно разойтись по домам. Он рискует, конечно, ведь и остальные беспоместные и малопоместные воины, оболстившись негаданными прибытками из царской казны, могут попросить казанских земель и казанских кормов, а на целое воинство не достанет ни царской казны, не всего целиком Казанского ханства. Его выручают из трудного положения сами алчные новгородцы: после столь щедрой подачи они дружным криком выражают готовность идти хоть в Казань, хоть за Казань, хоть черту в пасть:

– Идем, куда угодно царю и великому князю! Он нам промышленник здесь и там, нами промыслит, как ему Господь возвестит!

Иоанну можно свободно вздохнуть, он и вздыхает, однако уже никогда не забудет подручным князьям и боярам ещё и этого мятежа, и годы спустя с неутихающим озлоблением в послании Курбскому вновь обрушит на мятежников свой праведный гнев:

«А насчет бранной храбрости снова могу тебя обличить в неразумии. Что ты хвалишься, надуваясь от гордости! Ведь прародители ваши, отцы и деды были так мудры, так храбры, и заботились о деле, что ваша храбрость и смекалка разве что во сне может с их достоинствами сравниться, и шли в бой эти храбрые и мудрые люди не по принуждению, а по собственной воле, охваченные бранным пылом, не так, как вы, влекомые силой в бой и об этом скорбящие, и такие храбрые люди в течение тринадцати лет да нашего возмужания не смогли защитить христиан от варваров! Скажу словами апостола Павла: «Подобно вам, буду хвалиться: вы меня

к этому принуждаете, ибо вы, безумные, терпите власть, когда вас объедают, когда вас в лицо бьют, когда превозносятся, я говорю это с досадой». Всем ведь известно, как жестоко пострадали православные от варваров – и от Крыма, и от Казани: почти половина земли пустовала. А когда мы воцарились и, с Божьей помощью, начали войну с варварами, когда в первый раз послали на Казанскую землю своего воеводу, князя семена Ивановича Микулинского с товарищами, как вы все говорили, что мы послали его в знак немилости, желая его наказать, а не ради дела. Какая же это храбрость, если вы равняете службу с опалой? Так ли следует покорять прегордые царства? Бывали ли такие походы на Казанскую землю, когда бы выходили не по принуждению, но всегда словно в тяжкий путь отправлялись! Когда же Бог проявил к нам милосердие и покорил христианству варварский народ, то и тогда вы настолько не хотели воевать с нами против варваров, что из-за вашего нежелания к нам не явилось более пятнадцати тысяч человек! Тем ли вы разрушаете прегордые царства, что внушаете народу безумные мысли и отговариваете его от битвы, подобно Янушу венгерскому? Ведь и тогда, когда мы были там, вы всё время давали вредные советы, а когда запасы утонули, предлагали вернуться, пробыв три дня! И никогда вы не соглашались потратить лишнее время, чтобы дождаться благоприятных обстоятельств, не думая ни о своих головах, ни о победе, а стремились только к одному: быстрее победить или быть побежденными, лишь бы воротиться поскорей восвояси...»

## Глава двадцать седьмая

### Казань

На кого он может положиться в своем предерзостном предприятии, грандиозном, на десятилетия, может быть, на века определяющем положение Московского царства, на кого и на что может он уповать, когда все открыто, ещё более тайно настроены против него, страшась победы его, а с ней страшась его возвышения, с кем может идти рука об руку в справедливой войне с иноверцами, с варварами, с коварным, с беспощадным национальным врагом, к тому же врагом непримиримым, бесчеловечным, не желающим прочного и равноправного мира?

Не на кого ему положиться, не на кого и не на что уповать, кроме, единственно, Бога, и третьего июля 1552 года он начинает великий поход на Казань долгим молением в коломенском Успенском соборе, обращая мольбы о помощи к Божьей матери, к той иконе, которая сопровождала великого князя Дмитрия на Куликово поле против замыслившего поработить Русскую землю Мамай, и такими молениями, в придорожной ли крохотной сельской деревянной часовенке, в походной ли церкви своей, сопровождается весь его тревожный, непредсказуемый путь.

Во Владимире получается отрадная весть, прибодлившая его и полки: в Свияжске изжились безобразия и цинга, Семен Микулинский, Петр Серебряный-Оболенский и Данила Захарьин-Юрьев ходили в нагорные земли, силой смирили мятеж непокорных племен, а покорные племена привели к новой присяге московскому царю и великому князю, своим успехом обеспечив спокойное продвижение идущим полкам. От этого верного знака неиссякаемой милости Божьей истово верующий Иоанн впадает в экстаз, следствие жестоких волнений, и долго со слезами молится в монастыре Рождества Богородицы и с умилением целует гробницу великого князя Александра Ярославича невского, подвиги которого в бережении русских украин скорбящей душе его служат неумолчным примером.

В Муроме его настигает послание митрополита Макария, который обращается, что не может не выглядеть несколько странным, не к подручным князьям и боярам, нехотя, с косыми взглядами бредущим в непреходящей важности, эпохальный, а им нелюбый поход, а к молодому царю и великому князю, замыслившему этот поход в защиту православия и на благо всей Русской земли. Митрополит ни с того ни с сего увещевает полного решимости полководца, чтобы был чист и целомудрен душой, смирялся в славе и бодрствовал в печали, ибо добродетели государя спасительны для государства, на что никакого подвоха не заподозривший Иоанн с искренней благодарностью отвечает, что поучение пастырское вписал в свое сердце, просит о непрестанной помощи наставлением и молитвой, извещает, что поход продолжается, и уповает на Господа, чтобы сподобил его воротиться с миром для христиан. И, дабы исполнилось моление его перед Господом о даровании победы его нестойкому, недостойному, тем не менее христианскому воинству, припадает к мощам святых угодников Муромских князя Петра и княгини Февронии.

Он деятелен все дни похода. Не зная усталости, то пеший, то конный, он осматривает полки, оружие и лошадей и с каждым шагом вперед обнаруживает небрежение и неправоту своих воевод. Как ни уговаривали его недруги, хитроумные, неприлежные к судьбе христианства и царства, отложить ополчение до зимы, стращая лесными чащобами, множеством рек и болот, летний путь оказывается удобным и легким. Он заблаговременно отправляет отряд наводить на реках наплавные мосты, затем к нему на поклон являются старейшины нагорных племен, молят простить за измену, почти что невольную, вновь приносят клятву на верность великой Руси и вызываются расчищать лес для удобного продвижения московского войска. По этой причине полки точно совершают прогулку пойменными лугами и широкими просеками, преодолевая за сутки от двадцати пяти до тридцати верст. Не слышать и о голоде, кото-



рым извиняли свою непокорность беспокойные новгородские ополченцы, ещё в Коломне преуспевшие известить весь свой домашний припас. Нетронутые леса полны ягод, лоси точно своей охотой выходят стадами навстречу своим едокам, птицы точно сами собой попадают в силки, в реках и речках рыба стоит косяками, нагорные племена снабжают свежим хлебом, медом и овощем, после дневного перехода кони в ночном насыщаются обильными травами.

Между тем по-прежнему нестройны полки, по-прежнему всякий воин бредет сам собой, вопреки повелению царя и великого князя ещё перед зимним походом, и ему приходится ещё раз собирать в своем шатре воевод, своевольных, беспечных, замшелых в преданиях удельных времен и потому не желающих ничего знать о важности строжайшей дисциплины в полках. Вновь требует он, чтобы воины были расписаны по десяткам и сотням, чтобы ни один не смел отлучаться из своего десятка, из своей сотни и чтобы избранные десятники и сотни отвечали за каждого воина, дело, по мнению витязей удельных времен, невозможное, неслыханное, ненужное. Только его присутствие принуждает их перестраивать полки по десяткам и сотням, и ополченцы хотя бы внешним видом становятся похожими на солдат, до тех пор, пока не скрываются с его умных, зорких, придирчивых глаз.

Второго августа благополучно переправляются за Алатырь и четвертого августа на берегу Суры соединяются с большим полком и с полком правой руки и в этих полках тоже расписывают воинов по десяткам и сотням и движутся далее зеленой равниной, минуя веселые рощи, холмы, проходя сквозь леса, пока наконец не открывается красавица Волга с её правым утесистым берегом, с песчаными островами и отмелями, с необозримыми лугами и дубравами на том берегу. Тринадцатого августа становятся лагерем у подножья Круглой горы.

Только теперь Иоанн видит собственными глазами то чудо стратегического маневра, которое одним своим грозным молчанием самым решительным образом сломило воинственный дух казанских татар, уже отдававшихся в подданство победителю, отринутых от этого благоразумного шага лишь неразумием Алексея Адашева и поразительной тупостью подручных князей и бояр во главе с Семеном Микулинским.

Этот во все стороны видимый знак новой мощи и обдуманной непреклонности великой Руси был славным детищем его нечаянного прозрения, когда он в первый раз поднялся на вершину Круглой горы, его ночных размышлений, его дерзновенного замысла, его неуступчивой воли. Не без чувства гордости обходит он крепость, всходит на глухие и воротные башни, заглядывает во все закоулки и погреба, уже наполненные провиантом и боевым снаряжением, осматривает воинов гарнизона, на этот раз сплошь бородатых, излечившихся посланием митрополита от содомского греха и цинги, благодарит за службу не достойного благодарности Семена Микулинского, точно и не числится за неряшливым, неисполнительным воеводой никаких упущений, стоит службу в новой, ещё пахнувшей свежим деревом церкви, но наотрез отказывается занять лично для него приготовленные хоромы, напомнив многозначительно-кратко:

— Мы на походе.

Он размещается в поле, в расположении собственного полка, в своем царском шатре, намеренный без промедления, лишь после необходимого краткого отдыха, выступить под Казань, пока татары не успели изготовиться к бою.

Не тут-то было. Подручные князья и бояре находят в Свияжске свои съестные припасы, заблаговременно спущенные по волге в ладьях. Походная пища, то есть хлеб, мед, рыба, лосятина, дичь, им осточертела до тошноты. С нагулянным аппетитом они набрасываются на родимые пироги, ватрушки и кулебяки, пьют заморские вина, шатаются по торговым рядам, целой ярмарке, которую для них учинили оборотистые купцы, понаехавшие, на этот раз безусловно уверенные в победе, из Москвы, Ярославля и Нижнего Новгорода, прицениваются к чудесам европейских и азиатских ремесел, торгуются, точно уже благополучно воротились домой, и вовсе не спешат воевать.

Иоанн держит совет с Владимиром Старицким и Шиг-Алеем, в свой шатер призывает разомлевших от удовольствий и праздности беспечных, бестолковых рыцарей удельных времен и дает им на отдых два дня, на третий день выступать. Шиг-Алей своим именем пишет к родственнику своему Едигеру Магмету, предлагает оставить безумную мысль о сопротивлении московскому царю и великому князю и выехать доброй волей к нему, за что принесшему покаяние послушнику будет дарована царская милость. Также пишутся прелестные грамоты к подручным ханам и мурзам, советуют оставить надменное желание помериться силами с могущественным московским царем, выдать мятежников, взбунтовавших прежде пришедший в покорность народ, и вновь присягнуть на верность царю и великому князю.

В тот же день, не дожидаясь ответа, Шиг-Алей высаживается на Гостин остров с отрядом касимовских татар, на прикрытие переправы московских полков под Казань. Иоанн выслушивает доклад воеводы Морозова, начальника артиллерии, может быть, втайне от остальных, поскольку Морозов и выроdkов, помощник его, готовят татарам неприятный сюрприз: всё то время, пока полки тянулись от Коломны до Волги, под их руководством в свияжских необозримых лесах рубились осадные башни, которые русское воинство ещё в первый раз намеревается применить во время взятия вражеской крепости, впрочем, русское воинство в первый раз собирается брать крепость приступом, и летописец исправно извещает потомков:

«Такоже и с нарядом государь отпустил на судах боярина своего Михаила Яковлевича и диака своего Ивана Выродкова, и башни и Тарасы рубленные велел привести, яже уготовлены, против Казани поставить...»

Шестнадцатого августа, несмотря на зарядившие проливные дожди, от которых вздуваются реки и речки и смывают мосты, Иоанн повелевает полкам перевозиться за волгу и вставать на позиции. Восемнадцатого августа он перевозится сам вместе с царским полком и во второй раз за короткое время видит неприступную крепость, которую любой ценой предстоит нынче взять, иначе быть ему не правителем, не государем, как время пришло. А всего лишь первым среди равных князей и бояр, как испокон веку велось в удельные времена, богатые на подвиги, богатые на измены и преступления, то есть отдаться на их полную волю и произвол.

Крепость, особенно хорошо в своей мощи открытая летом, высится на малодоступных холмах. С двух сторон она защищена речкой Казанкой и прорытым каналом Булаком, на тот день вышедшими из берегов от последних дождей. В этих местах по отвесным склонам холмов крепость опоясана мощными стенами, достигающими в толщину шести метров, в высоту метров восьми, сооруженными из двух рядов вкопанных в землю дубовых плах, пустые пространства между которыми заполнены гравием и песком. Со стороны Арского поля, где пологий спуск более удобен для приступа, стены в толщину достигают четырнадцати метров, а в высоту до двенадцати. Никакими пушками таких стен не пробьешь. К тому же Иоанн не может рассчитывать на искусство и мужество войска, никогда не бравшего никаких крепостей, разве измором, привыкшего в поле стоять, на деле уже показавшего, как оно мало пригодно для приступа. Остается уповать на милость Господню да на чудотворные свойства изготовленных тарасов и башен, которые он, читатель внимательный, перенял, должно быть, у греков и римлян. Впрочем, ещё остается возможность уморить голодом принятых в осаду татар, да и эта возможность невелика, поскольку своих воинов тоже придется чем-то кормить, а откуда ему же напасть столько хлеба и мяса, ватрушек и кулебяк, чтобы подручные князья и бояре, нос воротившие от лосятины, не стали роптать?

Он все-таки размечает позиции так, чтобы никакая помощь не проскользнула в Казань. Полки большой и передовой, как свою главную ударную силу, он выводит на Арское поле, полк правой руки занимает берег Казанки, откуда не предвидится приступа, сторожевой полк занимает устье Булака, а полк левой руки становится на его берегу, Шиг-Алей с касимовскими татарами занимает мусульманское кладбище за Булаком, наконец собственный полк он размещает на Царском лугу, откуда он может прийти на помощь большому полку. Для успеха при-

ступа, который всё же решается предпринять, и во избежание многих потерь он велит каждому воину приготовить бревно и каждому десятку во всех полках иметь при себе одну туру для защиты от неприятельских пищалей и стрел. Все воеводы, от воеводы большого полка до десятника, получают небывалый суровый приказ: без команды не выступать. Похоже, Иоанн, уже не воитель удельных времен, а командующий, руководитель полков, решает покончить с анархией на поле боя, до того дня царившей в полках, привыкших обороняться, но не учившихся и не научившихся наступать.

Двадцатого августа Иоанн получает от Едигера Магмета глупый и наглый ответ, плод дикой злобы и ненависти ко всему иноземному, а не серьезных раздумий государственного мужа, политика и вождя. В своей грамоте Едигер Магмет, пришлый хан, подобно всем мелким разбойникам, ослепленным своими прежними грабежами, поносит самое имя московского царя и великого князя, оскорбляет великую Русь, давних данников Батыева племени, бранит религию христианскую, прежде времени предрекает победу мусульманского, то есть татарского, воинства, с безрассудной наглостью приглашает молодого московского государя: всё, мол, готово, извольте на пир.

Пока выгружают тяжелые осадные пушки и ставят тарасы, из Казани выбегает с горстью татар подручный мурза Камай, решив для себя за благо переметнуться на московскую службу, пока до резни не дошло. Его новости неутешительны. Мешкотность воевод, возжелавших отложить поход до зимы, позволила Едигеру Магмету выкроить пять месяцев мира, и Едигер Магмет, бездарный политик, однако умный, храбрый, отчаянный вои, воспользовался отпущенным сроком сполна. Ему удалось укрепить Казань, запастись продовольствием так, что татарам не страшна и самая длительная осада, умножить численность войска до тридцати приблизительно тысяч казанских татар и до трех тысяч ногаев, правда, всё это отличные всадники, мало-пригодные для тяжелых осадных работ, да и опыта в осаде за всю свою не очень длительную историю татарское племя до этого черного дня накопить не успело. Однако недостаток опыта в осадных боях с лихвой возмещается тем беспамятным фанатизмом, который таит в себе мусульманство и который удается возжечь мусульманским священникам как во всем населении, так и в войсках. В результате население Казани охвачено безудержной страстью во что бы то ни стало отстоять свою независимость, одушевлено любовью к обычаям и воинской славе дедов и прадедов, до Батые и Чингис-хана включительно, пылает ненавистью ко всему русскому, в особенности к православной религии, что неизмеримо приумножает силы защитников крепости, и без того неприступной. Выходит наружу и ещё одно зловерное следствие неторопливости московских полков: хан Япанча с большим конным отрядом уходит в Арскую засеку, собирает воинов по кочевьям и готовится нанести удар в спину наступающим русским, так что осада уже не может быть и не является полной.

Однако уже нельзя отступать. Двадцать третьего августа, на рассвете, под лучами восходящего солнца, московские полки направляются с берега Волги каждый на свое приказом царя и великого князя отведенное место. Иоанн, большой мастер устраивать торжества, встречает полки под своим знаменем. На полотнище его знамени выткан нерукотворный образ Христа, ан верх древка водружен Животворящий Крест, бывший на куликовом поле с великим князем Димитрием. Он властным жестом руки останавливает движение полков. Вперед них на дорогих конях выезжают важные, торжественно одетые воеводы, за ними десятники, сотники, старшины московских стрельцов, атаманы служилых казаков, ханы и мурзы служилых татар, распускают знамена, трубы визжат, бьют барабаны и бубны. Иоанн, напрягая голос до последних пределов возможности обращается к воинам с приветственной речью:

– Приспело время нашему подвигу! Потщитесь единодушно пострадать за благочестие, за церкви святые, за православную веру христианскую, за нашу единоверную братию, христиан православных, терпящих долгий плен, страдающих от безбожных казанцев! Вспомним слово Христово, что нет ничего больше, как полагать души за други своя, припадем чистыми серд-

цами к создателю нашему Христу, попросим у Него избавления бедным христианам, да не предаст нас в руки врагам нашим! Не пощадите голов своих за благочестие! Если умрем, то не смерть это, а жизнь, если не теперь умрем, то умрем же после, а от этих безбожных как вперед избавимся? Я с вами сам пришел: лучше мне здесь умереть, чем жить и видеть за грехи мои Христа хулимого и порученных мне от Бога христиан, мучимых от безбожных казанцев! Если милосердный Господь милость свою нам пошлет, подаст помощь, то я рад вас пожаловать великим жалованьем, а кому случится до смерти пострадать, рад я жен и детей их вечно жаловать.

В глубоком молчании приблизительно двух десятков тысяч вооруженных людей Владимир Старицкий отвечает царю и великому князю от имени воевод и полков:

– Видим тебя, царь и великий князь, в истинном законе твёрда, за православие себя не щадящего и нас на то утверждающего, и потому должны мы все единодушно помереть с безбожными этими агарянами. Дерзай, царь и великий князь, на дела, за которыми пришел! Да сбудется на тебе слово Христово: всяк просяй приемлет и толкушему отвержется.

Сойдя с коней, царь и воеводы, десятники, сотники, старшины, атаманы, ханы и мурзы единым хором поют краткий молебен, вознося хвалу Господу, моля о решительной и скорой победе. После молебна Иоанн вновь возносится в седло своего аргамака, украшенного богатейшей попоной, осеняет грудь свою крестным знаменiem, взирая на образ Христа, осеняющий боевое знамя его, и ведет полки на Казань, произнеся точно клятву:

– О Твоем имени движемся!

Полки встают на позиции. Семь тысяч московских стрельцов и пеших служилых казаков по наплавному мосту переходят затянутый тиной Булак и взбираются по косогору, чтобы мимо крепости проникнуть на Арское поле. Захватив врасплох ещё в первый раз выступающих в бой пехотинцев, конные татары с визгом и воем вырываются из распахнутых настежь ворот, внезапным стремительным натиском расстраивают ряды и принуждают стрельцов отступить, однако юные воеводы Шемякин и Троекуров умелой командой и личным мужеством останавливают с непривычки дрогнувшее пешее воинство, и русская пехота, утверждая свое преимущество перед воинственной, но беспорядочно скачущей конницей, Иоанном предвиденное, встает грудью, выставив перед собой бердыши, отчего татарские кони, страшась самого вида ошетиленного железа, уносят растерявшихся всадников вспять, и стрельцы дают залп в беззащитные спины татар, бьют и колют бегущих, берут пленных, преследуют неприятеля до самого города и одерживают полную победу в этой непродолжительной стычке, первую победу русской пехоты, причем Иоанн, точно желая испытать свое детище, не дает приказа о помощи, и ни один из полков на этот раз не нарушает повеленья своего государя.

Победа явная, победа славная одушевляет всё московское воинство, однако воодушевление длится недолго. Двадцать четвертого августа разражается свирепая буря. Вихри ветра раздирают и уносят шатры воевод, в их числе и узорчатый царский шатер, высокие волны бьют и топят ладьи, не успевшие разгрузиться у пристаней, и запасы провианта и пороха попадают на дно. Леденящий ужас поражает суеверных воевод и служилых людей. Им грезится неминуемая голодная смерть. Все охвачены убеждением, что необходимо, минуты не медля, осаду снимать и, пока хищный голод не начал забирать свои бессильные жертвы, скорым шагом бежать по домам.

Перед лицом этого нового бедствия Иоанн оказывается абсолютно один. Даже если бы он захотел посоветоваться, спросить совета решительно не у кого. Сильвестр отсутствует, занятый службой в Москве. Как показал полный провал двух важных поездок в Казань, Адашев мало что смылит как в дипломатических, так и в военных делах. Противодействие и непорядки в Коломне не могли не представить ему со всей очевидностью, что Андрей Курбский, воевода пока что третьего или четвертого ранга, скорее встанет на сторону перепуганных воевод, чем

воспротивится им. Владимир Старицкий по своей ограниченности, по характеру пассивному, подверженному любым посторонним влияниям не годен ни на какие советы.

Да Иоанн, недоверчивый, скрытный, малообщительный, если и спрашивает совета, то лишь уважая обычай, идущий от дедов и прадедов, лишь ради соблюдения необходимых приличий, в действительности никакие советы ему не нужны. Он дает знать полкам, что его повелением припасы движутся из Свияжска, из волжских городов, из Москвы, что вместе с припасами спустят вниз столько теплой одежды, что её достанет на каждого воина, прибавляет, что, если понадобится, он намерен здесь зимовать, сам в эти критические дни и часы не сходит с коня, днем и при свете факелов ночью появляется под стенами крепости, знакомится с местностью, дает указания, где удобнее возводить осадные укрепления, ещё не знакомые и служилым людям и воеводам, и полки успокаиваются, осадные работы не прекращаются ни на день, ни на час, ставят пушки, защищая их турами или тыном из приготовленных его повелением бревен, пехотинцы из московских стрельцов и служилых казаков впервые отрывают нечто вроде окопов, чтобы из этих укрытий вести прицельный огонь по врагу, и казанская крепость вскоре берется в кольцо.

Столь необыкновенная тактика русских тревожит татар. До этого дня татары и русские действовали всегда одинаково: налетали на облюбованный город врасплох, сжигали и грабили пригороды, пробовали захватить крепость наскоком и при первой же неудаче стремительно отскакивали назад, уводя полон и добычу. И вот плотная цепь укреплений показывает татарам, что русские на этот раз не собираются уходить, и татары пытаются дружными вылазками сбить укрепления, крепко надеясь на то, что лихая беда рассосется как-нибудь мило и славно, как встарь: они выбросят из крепости плотную конную массу, русские бросятся скопом рубиться, расстроят ряды, каждый сам по себе, и в этом месиве поединков и стычек татары, сильные организацией, дисциплиной, одержат очередную победу, и русские уйдут, как пришли, как уходили всегда.

Двадцать пятого августа, когда московские стрельцы Шемякина и Троекурова передвигаются по Арскому полю к Казанке, чтобы отрезать город от луговых черемис, ещё верных казанским татарам, соединиться там с полком правой руки и возвести укрепления как можно ближе к стене, татары снова делают вылазку, но Иоанн, уже наученный опытом первой схватки стрелецкой пехоты и конных татар, тотчас бросает на помощь передовой полк князя Хилкова, благодаря своевременному вмешательству твердость пехоты соединяется с сильным натиском конницы, на этот раз все-таки сплоченной в десятки и сотни, и татары, по выражению русских, втоптаны в город, оставив на месте боя убитых и раненых. Очередная удача предоставляет возможность московским стрельцам окопать себя рвом, а служилым казакам засесть в так называемой Даировой башне, тогда как сторожевой полк и полк левой руки под покровом ночной темноты беспрепятственно ставят туры и пушки.

Изумленные татары молчат целый день и не делают вылазок, по всей вероятности, не представляя себе, что делать с новой тактикой русских. Перед вечером воины царского и большого полков, под прикрытием конницы Ивана Мстиславского, втесняются в пространство между Булаком и Арским полем, чтобы утвердить туры и выставить пушки, своими действиями окончательно замкнув кольцо окружения. Смысл происшедшего не укрывается от татар. Татарская конница с диким воем бросается в бой, в сопровождении спешенных всадников, должно быть, соблазненные примером уже показавших себя московских стрельцов, хотя спешенные всадники далеко ещё не пехота. Московские стрельцы при поддержке служилых казаков отбивают, как и вчера, все наскоки и конных и пеших татар и шаг за шагом неуклонно продвигаются к цели, а конница Ивана Мстиславского довершает разгром, так что мосты перед башенными воротами сплошь покрываются татарскими трупами. Пехота утверждается на валу и до самой ночи стреляет по крепости, пока ставят туры и пушки, затем отходит и закапывается в землю под турами, что делает её неуязвимой для конницы. Несмотря на большие потери,

татары всю ночь делают вылазки, не давая русским покоя, бьются копьями и мечами, бьются грудь в грудь, стремясь очистить выход из крепости, не давая русским передохнуть. Иоанн то и дело высылает к месту боя своих воевод для ободрения служилых людей, сам без устали молится в церкви, громко каюсь в своих прегрешениях, которые ведомы Господу, испрашивая милость Его, в одной его милости полагая залог победы христианства над мусульманством, а утром, когда бой затихает, велит всем полкам громко петь благодарственные молебны.

Днем, когда воины ещё отдыхают после ратных трудов, пушкари начинают беспрестанный обстрел укреплений, открывая тем самым правильную осаду. Татары отвечают мелкими вылазками, однако их без труда отбивают. Кажется, что участь Казани уже решена, остается только набраться терпения и отличиться мужеством в решающем приступе.

Однако упрямый, решительный Едигер Магмет недаром выучен на славном примере Батия и Чингис-хана, как Иоанн учится на славном примере Владимира Мономаха. Он применяет испытанный прием тех замечательных полководцев, которые вознесли власть кочевого татарского племени над земледельцами и ремесленниками Центральной Азии и Русской земли: ударить в спину внезапно и сильно, чтобы перепугать и рассеять застигнутого врасплох уже почуявшего победу врага. На другой день из Арского леса вылетает свежая конница Япанчи и сминает стражу передового полка. Но что-то не то уже завелось в московских войсках, передовой полк держится стойко и обороняет свой стан, обнесенный Тарасами и потому трудно доступный конным татарам. На подмогу передовому полку Иоанн направляет отряды Пронского, Мстиславского, Оболенского и сам, верхом возглавив свой полк, устремляет на Япанчу. Русские несут большие потери не только среди служилых людей, но и среди воевод, но всё же отбивают татар, и потрепанный Япанча вновь укрывается в Арском лесу.

С этого дня для русских наступают тяжелые времена. Сто пятьдесят тяжелых осадных орудий днем и ночью осыпают татарские укрепления ядрами. Вдруг на одной из башен, всегда в разное время, взвывается ханский бунчук, который, должно быть, служит сигналом. Тотчас из Арского леса с разбойничьим визгом вылетает отдохнувшая конница Япанчи, из всех казанских ворот высыпая заточенные в осаду татары, рассчитывая с двух сторон раздавить русских и заставить их убраться домой. Бои ведутся с малыми перерывами. Всадники Япанчи имеют русских кормленников, и подвоз провианта с берега Волги почти прекращается. Усталые воины остаются без пищи и отдыха, даже сухари достаются не всем. Того гляди, в самом деле придется осаду снимать и возвращаться с пустыми руками.

Иоанн созывает боярскую думу, однако слышит от подручных князей и бояр такие советы, которые называет впоследствии, в послании Курбскому, вредными. Он не отступает, он принуждает подручных князей и бояр приговорить, чтобы князь Горбатый-Шуйский разгромил Япанчу и очистил Арский лес от татар, на что князю дается полк конницы и несколько сотен московских стрельцов.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.